

KING COUNTY LIBRARY SYSTEM



31000029699983

АНРИ
ШАРЬЕР

ВА-БАНК

Роман

От автора
романа-бестселлера
«МОТЫЛЕК»



АЗБУКА

18+

АНРИ
ШАРЬЕР

Title: Va-bank
Author: Charrière, Henri

ВА-БАНК



АЗБУКА

Санкт-Петербург

УДК 821.133.1
ББК 84(4Фра)-445
Ш 26

Henri Charrière
BANCO
Copyright © Editions Robert Laffont, Paris, 1972

Перевод с французского Игоря Стуликова

Оформление обложки Ильи Кучмы

ISBN 978-5-389-09997-5

© И. Стуликов, перевод, 2015
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательская Группа
„Азбука-Аттикус“», 2015
Издательство АЗБУКА®

Памяти доктора Алекса Жермена Гибера, мадам Алекс Жермен Гибер, венесуэльцам, моим соотечественникам, и тысячам друзей: французам, испанцам, швейцарцам, бельгийцам, итальянцам, югославам, немцам, англичанам, грекам, американцам, туркам, финнам, японцам, израильтянам, шведам, чехам и словакам, датчанам, аргентинцам, колумбийцам, бразильцам — и всем тем, кого я забыл упомянуть, всем тем, кто оказал мне честь, обратившись ко мне в письменной или устной форме с вопросами: «Кем вы были, Патийон? И что вы сделали после каторги для того, чтобы у нас в руках оказалась ваша книга?»

То, что ты сам о себе думаешь, гораздо важнее того, что думают о тебе другие.

Неизвестный автор «Мотылька»

Глава первая

ПЕРВЫЕ ШАГИ НА СВОБОДЕ

— Удачи вам, *Francés!*¹ С этой минуты вы свободны. *Adios!*²

Офицер каторжной колонии Эль-Дорадо помахал нам рукой на прощание и повернулся спиной.

Вот так запросто я сбросил с себя оковы, которые таскал целых тринадцать лет. Под руку с Пиколино мы сделали несколько шагов вверх по крутой тропинке, ведущей от берега реки, где мы только что расстались с офицером, к деревне Эль-Дорадо.

И вот сейчас, в тысяча девятьсот семьдесят первом году, а точнее, вечером восемнадцатого августа, в своем доме старинной испанской постройки, я с удивительной ясностью снова вижу себя на дороге, усыпанной галькой, и в ушах у меня не только звучит, как тогда, низкий и ясный голос офицера, но и сам я делаю то же самое движение, что и двадцать семь лет назад, — поворачиваю голову в его сторону.

Полночь. За окнами темно. Но только не для меня. Для меня одного сейчас десять утра и светит солнце, я смотрю на спину моего тюремщика и понимаю, что ничего прекраснее я в жизни не видел! Он удаляется от нас, и это означает конец неусыпному надзору, преследовавшему меня ежедневно, ежеминутно, ежесекундно в течение всех этих тринадцати лет.

Последний взгляд на реку и поверх головы тюремщика — на остров в центре реки, место венесуэльской каторги; последний взгляд на ужасное прошлое, где меня топтали, унижали и смешивали с грязью целых тринадцать лет.

¹ Французы (*исп.*).

² Прощайте! (*исп.*)

И тут же в белесой дымке тумана, поднимающегося над рекой от перегретой тропическим солнцем воды, передо мною, словно на экране, замелькали образы минувших лет. Но я не желал участвовать в просмотре этого фильма; подхватив Пиколино под руку, я повернулся к странному экрану спиной и сделал решительный шаг вперед, передергивая при этом плечами, словно стряхивая с себя налипшую за тринадцать лет грязь.

Свобода? Но где? На краю земли, в глубине плато Венесуэльской Гвианы, в деревушке, со всех сторон окруженной девственными тропическими лесами, пышность которых не поддается описанию. Это самая крайняя точка на юго-востоке Венесуэлы, рядом с бразильской границей. Огромный зеленый океан, тут и там прорезанный водопадами и змейками рек и речушек; обширный зеленый массив, с редкими вкраплениями небольших сельских общин с часовнями посередине, где живут по духу и букве законов, достойных библейских времен, где пастору нет надобности молиться о любви к ближнему и простоте общения между людьми, поскольку это так естественно для жителей этих мест; они всегда так жили и живут по сей день. Нередко эти *pueblitos*¹ настолько разрознены между собой, настолько оторваны друг от друга, что появление в деревне залетного грузовика сразу же рождает вопрос: как ему удалось добраться сюда? Образ жизни этих людей, их мысли и чувства, понятия о любви не меняются веками. Они словно вышли из буколки, и миазмы цивилизации нисколько их не коснулись.

Одолев крутой подъем, в конце которого, собственно, и начиналась деревня Эль-Дорадо, мы замедлили шаг и дальше продвигались очень медленно. Я слышал, как сзади тяжело дышит Пиколино. Я тоже пытался перевести дух: набирал полные легкие воздуха и выдыхал осторожно, не спеша, боясь прожить эти чудесные минуты — первые минуты свободы — слишком быстро.

Перед нами открылось широкое плато. Справа и слева маленькие опрятные домики утопали в цветах. Нас заметили ребята-тишки. Они знали, откуда мы идем. Без всякой враждебности, напротив — вежливо и учтиво, они приблизились к нам,

¹ Деревеньки (*исп.*).

обступили со всех сторон и молча зашагали рядом. Кажется, они понимали всю серьезность момента и относились к нему со всем уважением.

У первого же домика полная негритянка продавала кофе и *arepas*¹. И лепешки, и кофе помещались на небольшом деревянном столе.

- Добрый день, мадам.
- *Buenos días, hombres!*²
- Два кофе, пожалуйста.
- *Si, señores.*

И добродушная толстуха налила нам две чашки восхитительного кофе. За неимением стульев мы выпили его стоя.

- Сколько с меня?
- Нисколько.
- Это почему же?
- Для меня большое удовольствие угостить вас первой чашечкой кофе на свободе.
- Спасибо. Когда отправляется автобус?
- Сегодня праздник, и автобусы не ходят. Но в одиннадцать поедет грузовик.
- Вот как? Спасибо.

Из дома вышла молодая девушка — черноглазая смуглянка.

— Заходите, отдохните немного, — предложила она, мило улыбаясь.

Мы вошли и сели. В доме уже собралось человек десять. Они сидели и пили ром.

- Что с твоим приятелем? У него все время вываливается язык.
- Болен.
- И что, никак нельзя помочь?
- Нет, он парализован. Ему надо в больницу.
- Кто же его будет кормить?
- Я.
- Это твой брат?

¹ Кукурузные лепешки с разнообразными начинками, готовят как в Венесуэле, так и в Колумбии (*исп.*).

² Добрый день, молодые люди! (*исп.*)

— Нет, друг.

— У тебя есть деньги, *Francés?*

— Да, немного. А откуда ты знаешь, что я француз?

— Здесь новости разлетаются быстро. Мы еще со вчерашнего дня знаем, что ты должен освободиться. Знаем и то, что ты бежал с острова Дьявола и что французская полиция хочет схватить тебя и вернуть на место. Но она здесь не распоряжается, да сюда ей и не добраться. Мы сами о тебе позаботимся.

— Почему?

— Да потому что...

— Что ты имеешь в виду?

— Выпей-ка рому да угости друга.

В разговор вступила женщина лет тридцати, почти черная. Поинтересовалась, женат ли я. Я ответил, что нет.

— Живы ли родители?

— Только отец.

— Он будет рад, когда узнает, что ты в Венесуэле.

— Да, конечно.

Следующим слово взял белый, долговязый и тощий. У него были большие, навывкате глаза, но взгляд светился добротой.

— Мой родственник не сумел объяснить, почему мы о тебе позаботимся. Теперь я попробую. Если человек не обозлился — а тут уж ничего не поделаешь, — то он может раскаться и, если ему помогут, стать добрым человеком. Вот почему в Венесуэле о тебе позаботятся: мы любим людей и с Божьей помощью верим в них.

— А как ты думаешь, за что меня держали на острове Дьявола?

— Наверняка за что-нибудь серьезное! За убийство или, может, за крупное ограбление. Сколько дали?

— Пожизненную каторгу.

— Здесь самое большее дают тридцать лет. Ты сколько отбарабанил?

— Тринадцать. Но теперь я на свободе.

— Забудь обо всем, *hombre*. И чем скорее, тем лучше. Свои страдания во французских тюрьмах, здесь, в Эль-Дорадо, — все забудь. Иначе злые мысли могут вызвать в тебе неприязнь

и даже ненависть к людям. Только если забудешь прошлое, ты снова сможешь полюбить людей и жить среди них. Поскорее женись. У наших женщин горячая кровь; та, которую ты выберешь, поможет тебе обрести счастье в семье и детях, и ты забудешь все свои прошлые страдания.

Пришел грузовик. Поблагодарив этих добрых, отзывчивых людей, я вышел из дома, поддерживая Пиколино под руку. Десяток пассажиров уже разместились в кузове. При нашем появлении они уступили нам самые лучшие места, поближе к кабине.

Машина словно угорелая неслась по скверной дороге, подсакивая на выбоинах и ухабах, а я тем временем предавался размышлениям об этих странных венесуэльцах. Ведь никто из них — ни рыбаки с залива Пария, ни простые солдаты из Эль-Дорадо, ни эти скромные люди, с которыми мне только что пришлось разговаривать в домике под соломенной крышей, — не имел образования. Они едва умели читать и писать. Почему в таком случае у них так развито чувство христианского милосердия, так ярко выражено благородство души, готовой простить однажды оступившегося? Откуда берут они нужные и ненавязчивые слова, чтобы ободрить бывшего узника? Откуда такая готовность прийти на помощь советом и всем тем малым, чем они располагают? И почему тюремные власти Эль-Дорадо, старшие и младшие офицеры, высокое начальство, люди, несомненно, образованные, разделяют те же идеи, что и простой народ? Они тоже за то, чтобы дать шанс заблудшему человеку, невзирая на его личность и характер преступления. Эти качества не могли быть заимствованы у европейцев. Значит, они пришли к ним от индейцев. Во всяком случае, перед венесуэльцами ты можешь снять шляпу, Папийон.

Наконец мы прибыли в Кальяо. На большой площади звучала музыка. Пятое июля в Венесуэле — национальный праздник. Публика была разодета во все пестрое — весьма характерная черта для тропических стран. Смешение всех цветов и оттенков: белый, желтый, черный и медно-красный. Медно-красный — это индейцы, их всегда отличишь по слегка раскосым глазам и блеску кожи. Мы с Пиколино слезли с грузовика вместе с несколь-

кими пассажирами. Среди них была молодая девушка. Она подошла ко мне и сказала, что платить не нужно, она обо всем позаботилась.

Шофер пожелал нам удачи, и машина тронулась с места. В одной руке я держал небольшой узелок, другой сжимал левую руку Пиколино, на которой осталось всего три пальца. Я раздумывал, что же нам делать дальше. В моем распоряжении было немного английских фунтов из Вест-Индии да несколько сотен боливаров — подарок моих учеников за уроки математики в Эль-Дорадо. Вдобавок ко всему имелось еще несколько необработанных алмазов, найденных в огороде под томатами.

Та девушка, которая заплатила за наш проезд, спросила, куда мы направляемся.

— Хотелось бы найти недорогой пансион, — ответил я, — где можно было бы остановиться.

— Идемте сначала ко мне, а там видно будет.

Мы последовали за ней, пересекли площадь и, пройдя метров двести, оказались на немощенной улице, вдоль которой тянулись низкие глинобитные домики, крытые соломой, толем и оцинкованным железом. Перед одним из них мы и остановились.

— Входите, почувствуйте себя как дома, — пригласила девушка, пропуская нас вперед. На вид ей было лет восемнадцать.

Мы попали в большую чистую комнату с утрамбованным земляным полом, круглым столом и несколькими стульями. На одном из них сидел мужчина лет сорока, с гладкими черными волосами, среднего роста. Цвет кожи у него был тот же, что и у дочери, — светло-кирпичный, индейские глаза. В доме жили еще три девочки, на вид четырнадцати, пятнадцати и шестнадцати лет.

— Мой отец и мои сестры. А это наши гости. Они освободились из тюрьмы Эль-Дорадо, и им некуда идти. Прошу великодушно их принять.

— Добро пожаловать, — приветствовал нас отец и повторил священную заповедь гостеприимства: — Чувствуйте себя как дома. Садитесь за стол. Проголодались? Может быть, кофе или рому?

Я не хотел обижать его отказом и согласился выпить кофе. В доме было очень чисто, но, судя по скудной мебелировке, жили здесь бедно.

— Вас привела сюда моя дочь Мария. Она старшая в семье и заменяет нам мать, которая бросила нас и убежала со старателем пять лет назад. Лучше я сам вам сразу обо всем расскажу, чем вы услышите от других.

Мария подала нам кофе. Теперь я мог рассмотреть ее повнимательнее — она села рядом с отцом, как раз напротив меня. Сестры стояли у нее за спиной и в свою очередь наблюдали за мной. Мария — настоящее дитя тропиков: большие черные миндалевидные глаза, черные как смоль вьющиеся волосы с пробором посередине ниспадают на плечи. У нее тонкие черты лица: в медно-красном цвете кожи хоть и угадывается примесь крови индейцев, но в облике ее нет ни единой черточки, характерной для монгольской расы. Чувственный рот. Великолепные зубы. Время от времени между ними показывается кончик розового языка. Белый, вышитый цветами корсаж с широченным вырезом едва прикрывает плечи и верх груди, которую прозрачная ткань не скрывает от взора. Этот корсаж, короткая черная юбка и туфельки на низком каблучке — самый лучший наряд, какой она может себе позволить по случаю праздника. Губы у нее ярко-алые, а глаза умело подведены карандашом, отчего кажутся еще огромнее.

— Это Эсмеральда¹, — представила она самую младшую из сестер, — имя как раз подходит к ее зеленым глазам. Это Кончита, а это Росита, что значит роза. Цвет лица у нее светлее, чем у нас, она очень застенчивая и часто краснеет без всякого повода. Вот вы и познакомились с нашей семьей. Отца зовут Хосе. Нас пятеро, но все мы единое целое, потому что наши сердца всегда бьются в одном ритме. А как вас зовут?

- Энрике (так по-испански звучит Анри).
- Вы долго были в тюрьме?
- Тринадцать лет.
- Бедняга, как вы, должно быть, страдали!
- Да, пришлось.

¹ Esmeralda (исп.) — изумруд.

— Папа, чем бы Энрике мог здесь заняться?
 — Не знаю. У вас есть специальность?
 — Нет.
 — Тогда лучше идти на золотые прииски. Там вам дадут работу.

— А чем занимаетесь вы, Хосе?

— Я? Ничем. Я не работаю — очень мало платят.

Вот это номер! Они бедны, это так, но чисто одеты. Однако не могу же я спросить его, на что он живет, если не работает. Ворует?.. Посмотрим.

— Сегодня ночью вы будете спать здесь, Энрике, — распорядилась Мария. — Вот комната, где спал брат моего отца, но он уехал, и вы можете занять его место. А за больным мы присмотрим, пока вы будете на работе. И не надо нас благодарить — пока не за что: ведь комната все равно пустует.

Я не знал, что сказать. Позволил им взять свой узелок. Мария встала и направилась к двери, сестры последовали за ней. Мария слукавила: комнатой пользовались — из нее стали выносить женские вещи. Я сделал вид, что ничего не замечаю. Кровати в комнате не было. Как водится в тропиках, ее заменяли два прекрасных шерстяных гамака, а это еще лучше. Большое окно без стекол, только со ставнями, выходило в сад, полный банановых деревьев.

Устраиваясь поудобнее в гамаке, я едва соображал, что происходит. Первый день свободы! Как все просто! Проще не придумаешь! В нашем распоряжении была комната, за Пиколино ухаживали четыре молоденькие очаровательные девушки. Но почему я позволял обращаться с собой как с ребенком? Почему? Да, я находился на краю света, но главная причина заключалась в том, что я слишком долго скитался по тюрьмам и привык только повиноваться. Но сейчас-то, на свободе, пора бы и самому принимать решения, а я все еще позволяю собой распоряжаться. Точь-в-точь как птица в клетке: дверца открыта, а летать не умею. Надо учиться снова.

Я заснул, стараясь не думать о прошлом, как советовал мне тот старик из Эль-Дорадо. Мелькнула только одна мысль: гостеприимство этих людей одновременно и восхищает и озадачивает.

Я только что позавтракал. Съел два вареных яйца, два жареных банана с маргарином и хлеб. Мария в комнате умывала Пиколино. Неожиданно в дверях возник человек с мачете на поясе.

— *Gentes de paz!*¹ — поприветствовал он нас, давая понять, что он друг.

— Чего тебе? — спросил Хосе, завтракавший со мной.

— Начальник полиции хочет видеть людей из Кайенны.

— Не называй их так, называй по имени.

— Хорошо, Хосе. А как их зовут?

— Энрике и Пиколино.

— Сеньор Энрике, пройдемте со мной. Я полицейский. Меня послал начальник.

— Чего они хотят от него? — спросила Мария, выходя из комнаты. — Я пойду с ним. Подождите меня, я сейчас оденусь.

Через несколько минут Мария была готова. Как только мы вышли на улицу, она взяла меня под руку. Я удивленно смотрел на нее, а она мне улыбалась. Вскоре мы подошли к небольшому зданию префектуры. Все полицейские были в гражданской одежде, кроме двоих, в форме и с мачете на поясе. Все помещение было уставлено винтовками. Чернокожий полицейский в фуражке с золотым галуном обратился ко мне:

— Это вы француз?

— Да.

— А другой?

— Он болен, — пояснила Мария.

— Я начальник полиции и в случае необходимости готов оказать вам помощь. Меня зовут Альфонсо. — С этими словами он протянул мне руку.

— Спасибо. Меня зовут Энрике.

— Энрике, тебя хочет видеть глава администрации. Мария, тебе туда нельзя, — добавил он, увидев, что она собирается следовать за мной.

Я прошел в другую комнату.

— Добрый день, француз. Я глава администрации. Садись. Так как ты на вынужденном поселении здесь, в Кальяо, я при-

¹ Мир людям! (исп.)

гласил тебя, чтобы поближе познакомиться, поскольку несу за тебя полную ответственность.

Он расспросил, чем я собираюсь заняться, где буду работать. После короткой беседы добавил:

— Заглядывай ко мне без всякого стеснения. Я постараюсь помочь тебе наладить скромную жизнь.

— Благодарю вас.

— Ах да! Тут вот какое дело. Должен тебя предупредить: ты живешь у честных и порядочных девушек, но их отец, Хосе, пират. До свидания.

Мария ждала меня на улице, у дверей комиссариата. Ждала, как ждут все индейцы, словно изваяние из камня, не двигаясь и не вступая ни с кем в разговор. Она не была чистокровной индианкой, но даже небольшая примесь индейской крови давала о себе знать. Мария взяла меня под руку, и мы направились домой, но уже другой дорогой.

— Что хотел от тебя начальник? — спросила Мария, впервые обратившись ко мне на «ты».

— Да ничего. Сказал, что может мне помочь устроиться на работу и окажет содействие, если я попаду в какую-нибудь неприятную историю.

— Энрике, теперь тебе никто не нужен. Ни тебе, ни твоему другу.

— Спасибо, Мария.

По дороге нам встретился уличный торговец женскими безделушками. На лотке у него чего только не было: ожерелья, браслеты, сережки, брошки и прочее.

— Ну-ка, посмотри сюда.

— Да, красиво.

Я подвел ее к лоточнику и выбрал самые красивые бусы и подходящие сережки. Затем взял три пары сережек поскромнее — для сестер. За все эти побрякушки я отдал тридцать боливаров, расплатившись сотенной банкнотой. Мария тут же надела бусы и сережки. Большущие черные глаза так и искрились радостью и благодарностью, как будто я купил ей настоящие драгоценности.

Вернулись домой. При виде подарков сестры завизжали от восторга. Я оставил их за этим занятием и ушел в свою комнату.

Следовало хорошенько все обдумать. Эта семья предложила мне кров и оказала редкое по щедрости гостеприимство. Но стоило ли мне принимать все это? У меня было немного венесуэльских денег и долларов Вест-Индии, не говоря уже об алмазах. Месяца четыре можно прожить без всяких забот, даже обеспечив уход за Пиколино.

К тому же девушки были красивы, как цветы тропиков, темпераментны, сексуальны. Они были готовы запросто отдаться, ни на что не рассчитывая и ни о чем не задумываясь. Сегодня, я заметил, Мария смотрела на меня почти влюбленными глазами. Смогу ли я противостоять подобному искушению? Нет! Лучше оставить этот гостеприимный дом. Не хотелось бы из-за минутной слабости причинять им беспокойство и страдания. Кроме того, мне уже тридцать семь, скоро стукнет тридцать восемь. Правда, выгляжу я моложе своих лет, но ведь возраст не скроешь и лет себе не убавишь. Марии даже нет восемнадцати, а сестры и того моложе. Да, надо расстаться с этой радушной семьей, уехать. А вот Пиколино можно оставить. За ним тут присмотрят. За уход и за пансион я, разумеется, заплачу.

— Сеньор Хосе, хотелось бы поговорить с вами наедине. Не откажите в любезности пропустить со мной стаканчик-другой в кафе на площади.

— С удовольствием. Но не называй меня сеньором. Зови просто Хосе, а я буду звать тебя Энрике. Идем. Мария! Мы ненадолго сходим на площадь.

— Переоденьте рубашку, Энрике! — крикнула мне Мария. — Та, что на вас, уже сомнительной свежести.

Я пошел в комнату сменить рубашку. Перед тем как нам уйти, девушка добавила:

— Не задерживайтесь долго, Энрике. И особенно много не пейте!

И прежде чем я успел уклониться, она звонко чмокнула меня в щеку.

Отец рассмеялся:

— А Мария-то уже в тебя влюбилась!

Мы направились к бару, и по дороге я начал разговор:

— Хосе, вы и ваша семья приютили меня в мой первый день свободы, за что я вам бесконечно благодарен. Мы с вами

примерно одного возраста, и мне не хотелось бы отплатить вам за гостеприимство черной неблагодарностью. Вы сможете меня понять, как мужчина мужчину: живя в окружении ваших дочерей, трудно будет не влюбиться в одну из них. А ведь я в два раза старше вашей первой дочери. К тому же во Франции у меня есть законная жена. Мы сейчас выпьем с вами по стаканчику, а затем вы покажете мне, где можно снять недорогой пансион. Заплатить есть чем.

— Француз, ты настоящий мужчина, — ответил Хосе, глядя мне прямо в глаза. — Дай я пожму твою руку, крепко, по-братски. За то, что не погнушался поговорить со мной, бедным человеком, искренне и по душам. Видишь ли, здесь, возможно, все не так, как в твоей стране. Почти никто тут не женится законно. Понравились друг другу, слюбились, родился ребенок, завели хозяйство. Легко сходятся, легко расходятся. В нашей стране очень жаркий климат, а у женщин слишком горячая кровь. Что поделаешь? Женщины жаждут любви, чувственных наслаждений. Они рано созревают. Мария — исключение, у нее еще не было ни одного романа, хотя ей уже восемнадцать. Думаю, что в твоей стране дела с моралью обстоят лучше, чем здесь. У наших женщин полно незаконнорожденных детей, что само по себе проблема, и тяжкая. Но, опять-таки, что делать? Сам Господь милостивый дал нам завет любить друг друга и иметь детей! В поступках наших женщин нет скрытых помыслов. Отдаваясь мужчине, они не ищут положения в обществе. Они хотят любить и быть любимыми. Естественно и просто. И больше ничего. Они остаются верными до тех пор, пока ты их удовлетворяешь в сексе. Если это прошло — тогда другое дело. Зато они примерные матери и готовы пожертвовать всем ради своих детей, даже когда дети вырастают и начинают работать. Я понимаю, тебе трудно сдержаться, испытывая постоянное искушение. Но все-таки еще раз прошу тебя: останься в нашем доме. Я очень рад, что в моем доме живет такой мужчина, как ты.

Тем временем мы вошли в бар. Я так и не успел ему ответить или возразить. В баре, одновременно служившем бакалейной лавкой, насчитывалось около десятка посетителей. Мы заказали коктейль «Куба либре» — ром с колой. Несколько человек подошли к нам, чтобы пожать мне руку и произнести традиционное

«добро пожаловать в нашу деревню». И каждый раз Хосе представлял меня своим другом, живущим у него в доме. Выпили изрядно, но, когда я поинтересовался, сколько мы должны, Хосе почти рассердился и выразил желание расплатиться за все. В конце концов мне удалось убедить хозяина взять деньги с меня.

Тут кто-то тронул меня за плечо: Мария.

— Пойдем домой, уже пора обедать. Больше не пей. Ты же обещал мне много не пить.

Ага, значит, перешла на «ты».

Хосе был занят разговором с соседом. Ничего ему не говоря, она взяла меня под руку и потянула к выходу.

— А отец?

— Оставь его. Разве можно с ним говорить, когда он пьет! Да я никогда и не разыскиваю его в кафе. Все равно не послушается.

— Тогда почему ты пришла за мной?

— Ты — другое дело. Энрике, ну пожалуйста, прошу тебя, пойдем со мной.

Взгляд ее был настолько светел и чист, а просьба высказана с таким обезоруживающим простодушием, что я безропотно последовал за ней.

— Ты заслуживаешь поцелуя, — объявила она уже у самого дома. И тут же притронулась губами к моей щеке, почти касаясь рта.

Когда Хосе вернулся, мы уже успели отобедать, расположившись за круглым столом. Пиколино с помощью самой младшей из сестер, кормившей его с ложечки, тоже принял участие в общей трапезе.

Хосе пришлось сесть за стол в гордом одиночестве. Он порядком нагрузился и поэтому понес еще с порога:

— Доченьки вы мои! Энрике-то вас боится. Так боится, что хочет уйти из нашего дома. А я ему говорю, чтобы оставался. А дочери мои, говорю, достаточно взрослые и сами разберутся, что можно, а чего нельзя.

Мария уставилась на меня широко раскрытыми глазами: в них читалось удивление и разочарование.

— Папа, если он хочет уйти, пусть уходит! Но я не думаю, что у других ему будет лучше, чем у нас, где его все любят. —

И, обернувшись ко мне, добавила: — Энрике, не будь *cobarde*¹. Если какая-то из нас тебе нравится, а ты — ей, то почему надо бежать?

— Да потому, что у него жена во Франции, — вмешался отец.

— Сколько лет ты не виделся с женой?

— Тринадцать.

— Да, у нас тут все иначе. У нас любят не для того, чтобы заставить на себе жениться. Если женщина отдается мужчине, так только для того, чтобы его любить, и ни за чем больше. То, что ты женат и сказал об этом отцу, — очень хорошо: значит, ни одной из нас ты не можешь обещать ничего, кроме любви.

И она попросила меня остаться, не обременяя себя никакими обязательствами. Они все будут заботиться о Пиколино. Мои руки будут развязаны, и я смогу работать. А чтобы я не чувствовал себя неловко, она даже согласна принять от меня небольшую сумму в уплату за проживание. Может, рискнуть?

На раздумье времени не было. После тринадцати лет каторги все казалось так ново и неожиданно.

— Согласен, Мария. Пусть так и будет.

— Хочешь, я пойду с тобой на золотой рудник? Там можно поискать работу. Пойдем сегодня вечером, часов в пять, когда солнце уже сядет и станет прохладнее. От деревни до рудника три километра.

— Согласен.

Пиколино жестами и мимикой выразил радость по поводу того, что мы остаемся. Он был совершенно сражен тем вниманием и заботой, которыми окружили его девушки. Если я и согласился, то в первую очередь ради него. Конечно, рано или поздно я обязательно вляпаюсь здесь в какую-нибудь историю. А это как раз то, чего бы мне не хотелось.

Мысль, мучившая меня эти тринадцать лет и не дававшая покоя все это время, никак не укладывалась в обычное стремление побыстрее осесть в небольшой деревушке на краю земли ради красивых девичьих глаз. Нет, меня ждет дальняя дорога, и остановки должны быть как можно короче. Только чтобы перевести дух. И полный вперед! Тринадцать лет я боролся за

¹ Трус (исп.).

свободу, и вот наконец она у меня в руках. Спрашивается, зачем? На это есть особая причина — месть. Прокурор, лжесвидетель, фараоны — у меня с ними свои счета! И я не должен об этом забывать. Никогда!

Я вышел прогуляться и незаметно оказался на площади. Увидел магазинчик с вывеской «Проспери». Хозяин, должно быть, корсиканец или итальянец. Так и есть, магазин принадлежал выходцу с Корсики. Мсье Проспери превосходно говорил по-французски. Он любезно предложил мне написать рекомендательное письмо директору французской компании «Ла Мокупия», разрабатывающей золотой рудник в Каратале. Этот замечательный человек также вызвался помочь мне деньгами. Я поблагодарил его за все и вышел на улицу.

— Папийон, что ты здесь делаешь? Откуда ты, чертяка, свалился? С луны? На парашюте? Дай-ка я тебя обниму.

Высокий загорелый детина в огромной соломенной шляпе спрыгнул с маленького ослика.

— Не узнаешь? — И он снял шляпу.

— Большой Шарло! Вот это номер!

Это был не кто иной, как Большой Шарло. Взлом сейфов в кинотеатре «Гомон» на площади Клиши и вокзале Батиньоль в Париже — его рук дело! Мы обнялись как братья. Расчувствовались, на глаза навернулись слезы, но мы всё смотрели и смотрели друг на друга.

— Да, дружище, далековато занесло тебя от площади Бланш и каторги! Что, разве не так? Да откуда ты взялся, черт тебя поberi? Одет как английский лорд и постарел даже меньше, чем я.

— Я вышел из Эль-Дорадо.

— И долго там сидел?

— Больше года.

— Что же ты раньше не дал мне знать? Я бы взял тебя на поруки, сделал бы соответствующую бумагу, и тебя бы сразу выпустили. Боже мой! Я слышал, что в Эль-Дорадо сидит кто-то из наших, но даже представить себе не мог, что там ты, дружище!

— Просто чудо, что мы встретились!

— Представь себе, Папи! Вся Венесуэльская Гвиана от Сюдад-Болливара до Кальяо запружена беглыми каторжниками и ссыльными. А это от залива Пария первая земля Венесуэлы на пути беглецов. Немудрено с кем-нибудь да встретиться, поскольку все они без исключения проходят здесь. Разумеется, кроме тех, кто загнулся в дороге. Где остановился?

— У доброго человека по имени Хосе. У него четыре дочери.

— Знаю. Твой добрый человек — пират. Идем заберем твое барахло. Будешь жить у меня, а как же иначе?

— Я не один. Со мной приятель, он парализован, и я за него отвечаю.

— Какие могут быть разговоры! Сейчас и для него найдем осла. Дом большой, а *negrita*¹ будет ходить за ним как мать.

Нашли второго осла и поехали к моим девчонкам. Боже, наш отъезд из дома этих добрых людей превратился в настоящую драму! И только после того, как мы пообещали их навещать и сказали, что и они могут приходить к нам в гости, девушки немного успокоились. Я никогда не устану рассказывать о необыкновенном гостеприимстве жителей Венесуэльской Гвианы. Мне было стыдно их покидать.

Спустя два часа мы прибыли в «зámок» Шарло. Так он называл свое жилище. Большой дом, просторный и светлый, стоял на холме, возвышавшемся над долиной, которая тянулась от деревушки Караталь до самого Кальяо. Справа на фоне чудесной панорамы девственного леса виднелся золотой прииск «Ла Мокупия». Дом Шарло был срублен из твердопородного кругляка. Он состоял из трех комнат, прекрасной столовой и кухни. Два душа внутри и один снаружи — в огороде, ухоженном на славу. Все овощи для стола шли с огорода, и росли они превосходно. Во дворе жили пять сотен кур, кролики, морские свинки, поросенок и две козы. Все это теперь составляло богатство и настоящую радость Шарло, бывшего каторжника, специалиста по сейфам и четко спланированным кражам!

— Ну, Папи, тебе нравится мой шалаш? Вот уже семь лет, как я здесь. Я тебе говорил в Кальяо: здесь мы далеко и от Монмартра, и от каторги. Кто бы мог подумать, что настанет день,

¹ Молодая негритянка (*исп.*).

когда я буду радоваться этой тихой и мирной жизни? Что скажешь, приятель?

— Не знаю, Шарло. Я только что освободился и не имею на сей счет ясного представления. Ведь мы с тобой оба авантюристы и в молодости здорово почудили, это правда! И все же... меня немного удивляет, что ты счастлив и обрел покой здесь, в глухой деревушке. Впрочем, ты все сделал сам, своими руками. Думаю, тебе это стоило большого труда и немалых затрат. Видишь ли, я на такое не способен.

Уже в столовой за пуншем по-мартиникански Большой Шарло продолжил разговор:

— Да, Папийон, я тебя понимаю, тут есть чему подивиться. Ты сразу заметил, что я живу своим трудом. Восемнадцать боливаров в день — заработок скромный. Но у меня свое хозяйство. Глядишь, курочка вывела цыплят. Крольчиха окролилась. Коза принесла козлят. Помидоры уродились. В прошлом мы с тобой презирали многое, что сейчас приносит мне удовольствие. А вот и моя негрityяночка! — Он повернулся к чернокожей девушке. — Кончита! Это мой друг Энрике, или Папийон. Дружили еще во Франции. Старый друг.

— Добро пожаловать в наш дом, — отозвалась молодая негрityянка. — Не беспокойся, Шарло, я позабочусь о твоих друзьях. Ты будешь доволен. Пойду приготовлю для них комнату.

Шарло рассказал мне о своем побеге. Все сложилось просто и без приключений. На каторге в Сен-Лоран-дю-Марони он долго не задержался. Бежал оттуда через шесть месяцев с напарником-корсиканцем по имени Симон и еще одним ссыльным.

— Нам повезло, мы попали в Венесуэлу через несколько месяцев после смерти диктатора Гомеса¹. Местные жители помогли нам освоиться и начать новую жизнь. На принудительном поселении тянул в Кальяо два года, да так здесь и остался. Видишь ли, мало-помалу эта простая жизнь меня покорила. Потерял первую жену: умерла при родах. Дочка тоже не выжила. А Кончита, негрityянка, которую ты только что видел, отнеслась ко мне с пониманием. Я утешился ее любовью, искренним

¹ Гомес Хуан Висенте (1857–1935) — президент Венесуэлы в 1908–1915, 1922–1929 и 1931–1935 годах. — *Примеч. переводчица.*

сочувствием ко мне и обрел счастье. А как ты, Папи? Должно быть, хватил лиха. Тринадцать лет — большой срок. Расскажи.

Я рассказывал больше двух часов, выкладывая своему старому другу все, что накопилось на сердце за все эти годы. Вечер прошел чудесно, мы вдоволь наговорились, предаваясь воспоминаниям. Но странное дело: ни слова о Монмартре, ни полслова о преступном мире, о делах — наших удачах и провалах — мы даже не заикнулись. О дружках, до сих пор разгуливающих на свободе, вообще ни разу не вспомнили. Как будто жизнь для нас началась с погрузки на конвойное судно «Мартиньер»: для меня в тысяча девятьсот тридцать третьем году, для него — в тридцать пятом.

Превосходный салат, жареный цыпленок, сыр из козьего молока, плоды манго под чудесное кьянти — все это подавалось на стол веселой Кончитой, к вящему удовольствию Шарло. Было видно, что он счастлив принимать меня в своем доме. Расчувствовавшись, он предложил пойти в деревню и пропустить там по стаканчику.

— Мы и здесь хорошо сидим, — ответил я, — зачем нам еще куда-то идти?

— Спасибо, друг, — согласился корсиканец, нажимая на парижский акцент. — Действительно, здесь хорошо. Кончита, неплохо бы подыскать невесту для моего друга.

— Я вас представлю своим подругам, Энрике: они гораздо красивее меня.

— Ты самая красивая! — возразил Шарло.

— Да, но я черная.

— Потому ты такая красивая, моя Кончита! В тебе течет чистая кровь твоей расы.

Огромные глаза Кончиты так и сверкали огнем радости и любви. Чувствовалось, что она просто готова молиться на Шарло.

Растянувшись на широкой кровати, я слушал новости Би-би-си из Лондона. Как-то непривычно снова окунаться в события, которыми живет мир. Отвыкаешь за столько-то лет! Я повернул ручку настройки приемника, и оттуда полилась музыка стран Карибского бассейна. В эфире Каракас — на позывные и трансляцию больших городов переключаться не хотелось. Быстро

выключив приемник, я погрузился в размышления о только что пережитых часах и минутах.

Умышленно ли мы не касались лет, прожитых нами в Париже? Нет. Намеренно ли не вспоминали о нашем близком окружении, которому повезло избежать нашей участи? Опять же нет. Так что же, выходит, для крутых ребят все, что было до суда, не имеет уже никакого значения?

От жары я все время ворочался на широкой кровати. Не выдержав, я встал и вышел в сад. Сел на большой камень и стал смотреть вниз на долину и золотой рудник. Там внизу все светилося электрическими огнями: туда-сюда сновали порожние и груженные породой тележки.

Золото добывают из недр земли и обращают в слитки или звонкую монету. Если у вас его много, значит у вас есть все. Золото — двигатель мира. Добыча его обходится дешево, поскольку рабочим платят очень мало; но, чтобы хорошо жить, оно совершенно необходимо. А Шарло, в прошлом потерявший свободу именно из-за желания иметь как можно больше золота, сейчас даже не вспоминает о нем. Он и не заикнулся, богат ли прииск, или его запасы истощились. В настоящем он связывает свое счастье с негритяжкой, домом, домашним хозяйством, огородом. О деньгах ни слова. Помудрел. А я пребывал в недоумении и замешательстве.

Шарло сцапала полиция по наводке одного парня по прозвищу Малыш Луи. Помнится, еще в тюрьме Санте Шарло клялся мне, что разорвет негодяя на кусочки при первом удобном случае. И вот сегодня вечером об этом ни гугу. А я, к примеру, — просто поразительно! — не заводил разговор ни о фараонах, ни о лжесвидетеле, ни о прокуроре. А ведь надо было о них поговорить, ей-богу! Не для того я столько раз бежал, чтобы стать полусадовником-полурабочим!

Согласен, я обещал себе соблюдать законы этой страны и сдержу свое слово! Но я ни в коей мере не отказывался от мести. И учти, Папи, не следует забывать о том, что идея мести не только поддерживала тебя все эти тринадцать лет, проведенных в застенках, но и была единственной твоей религией. Только благодаря ей ты сегодня на свободе, и от своей религии нельзя отступать.

Черная малышка Шарло хороша, спору нет, но неужели он действительно предпочитает захолустную дыру у черта на рогах большому городу?! Или это я такой болван, что не могу понять простой истины: жизнь моего друга Шарло может иметь свои прелести? Или он боится ответственности, которую неумолимо налагает на человека современная городская жизнь? Есть над чем подумать, Папи.

Шарло сорок пять, для мужчины это еще не возраст. Высокий, сильный, крепко сбитый крестьянин с Корсики, выросший на вольных хлебах и здоровой пище. А солнце Венесуэлы не поскупилось на загар. И когда он надевает большую соломенную шляпу с загнутыми вверх краями, то выглядит даже очень и очень внушительно. Это тип первопроходца, открывателя здешних девственных земель. Он настолько ассимилировался с местными жителями, вписался в пейзаж, что выделить его из этой среды почти невозможно. Он практически стал ее частью.

Вот уже семь лет, как он здесь, но не постарел еще старый медвежатник с Монмартра! Больше двух лет, пожалуй, ушло на расчистку участка плато и постройку дома. И еще надо было выбрать деревья в лесу, срубить, привезти, окорить, обтесать, подогнать. А ведь каждое бревно из древесины твердых пород. Бревна тяжелые-претяжелые. Недаром дерево называют железным. Все деньги, заработанные на прииске, наверняка ухлопаны на строительство дома. Без помощников было не обойтись, а им тоже надо платить. А еще стоимость цемента (дом заделан в бетон), колодца, ветряка для закачки воды в бак. Эта молодая пухленькая негритянка с большими влюбленными глазами наверняка была первой помощницей старого морского волка, выброшенного на берег. Я заметил в большой комнате швейную машинку. Должно быть, она сама сшила и скроила те короткие платица, которые так ладно сидят на ней. Неплохо. Зато Шарло реже приходится оплачивать счета портнихи!

Да, если он не уехал в город, значит не был уверен в себе. А здесь эта приятная, в сущности, жизнь не ставит перед ним никаких проблем. Ты большой человек, Шарло! Наглядный пример того, что может выйти из мошенника. С чем и поздравляю! Поздравляю также и тех, кто помог тебе не только переменить-

ся, но и изменить взгляд на жизнь: показать, какой она может быть или какой ей следует быть.

И все же венесуэльцы с их радушием опасны. Им только дай, так опутают тебя сердечностью, доброжелательностью, что и глазом не успеешь моргнуть, как превратишься в пленника! Я свободен, свободен, свободен и хочу навсегда остаться таким!

Берегись, Папи! Не будь дураком, не обзаводись хозяйством, не строй семейный очаг! Тебе хочется любви, ты был надолго лишен ее. К счастью, ты уже спустил первые пары в Джорджтауне. Индианка Индара — еще и двух лет не прошло! С этой точки зрения ты менее уязвим, чем если бы тебе пришлось попасть сюда прямо с французской каторги, как это произошло с Шарло. Как бы ни прекрасна была Индара и как бы ни был ты счастлив с ней, это тебя не остановило. И ты бежал из Джорджтауна. Тебе не захотелось жить припеваючи и кататься как сыр в масле. Спокойная жизнь? Это не для тебя. Пусть даже счастливая. И ты это прекрасно знаешь.

Приключения. Приключения. Вот моя стихия! В них я живу и дышу полной грудью. Отчасти поэтому я и рванул из Джорджтауна и оказался в Эль-Дорадо. А сегодня я здесь по той же самой причине.

Ну и хорошо. Девушки здесь прекрасные, горячие и обворожительные. Жить без любви невозможно. Без нее никак не обойтись. Только надо избегать осложнений. Я должен дать себе слово прожить здесь один год, это моя обязанность. А там... Меньше привяжешься — легче вырваться из колдовских чар этого народа. Да, я авантюрист. Однако и во мне произошли некоторые перемены. Я должен зарабатывать деньги честным трудом и никому не причинять зла. Моя конечная цель — Париж. Настанет день — я предъявлю счет тем, кто виновен в моих страданиях.

Очень довольный, я проводил глазами луну, заходящую за девственный лес — море темных вершин, словно застывших в неподвижности. Вернувшись в комнату, я растянулся на просторной кровати.

Париж! Париж! Как ты далек от меня! Но недалек тот день, когда я снова войду в мой город и пройду по его улицам.

Глава вторая

РУДНИК

Через неделю, благодаря рекомендательному письму Проспери, бакалейщика-корсиканца, я устроился на рудник «Ла Мокупия». Следил за работой насосов, откачивающих воду из штолен.

Рудник напоминал угольную шахту. Те же штольни и штреки под землей. Золотые жилы не встречались. Самородки тоже попадались нечасто. Драгоценный металл был сокрыт в твердой горной породе. Ее взрывали динамитом. Большие глыбы разбивали кувалдами. Мерные куски породы загружали в тележки, которые с помощью подъемников подавались на поверхность. Затем порода обрабатывалась в дробилках и превращалась в порошок мельче речного песка. Порошок смешивали с водой и получали текучую массу, которая закачивалась насосами в огромные баки, не уступающие по величине резервуарам на нефтеперерабатывающих заводах. В баки добавлялся цианид. Золото растворялось, образуя более тяжелую суспензию, и осаждалось на дне. Затем жидкий осадок подвергали нагреву, в результате чего цианид испарялся, а выпавшие золотые крупинки задерживались гребенками фильтров. Эти фильтры — точная копия расчесок для волос. Золотой песок собирался и переплавлялся в слитки. Качество получаемого таким образом золота строго контролировалось, проба на чистоту должна была соответствовать двадцати четырем каратам. Слитки отправлялись на склад, где они находились под строгой охраной. Кто же их охранял? Я долго не мог прийти в себя! Не кто иной, как бывший каторжник Симон, напарник Большого Шарло по побегу.

После работы я решил поглазеть на это чудо: отправился на склад и не поверил своим глазам. Внушительный штабель золотых слитков был аккуратно выложен заботливыми руками Симона. А само хранилище какое-то несерьезное: простая камера из бетона, никакой спецарматуры, стены не толще обычных, деревянная дверь.

— Как дела, Симон?

— Порядок. А твои как, Папи? Хорошо тебе у Шарло?

— Не то слово.

— Я не знал, что ты в Эль-Дорадо, а то постарался бы вызвать тебя оттуда.

— Спасибо на добром слове. Скажи-ка, ты нашел здесь свое счастье?

— Видишь ли, у меня здесь дом. Не такой большой, как у Шарло, но кирпичный. Сам построил. Молодая ласковая жена. Две дочурки. Когда захочешь, приходи к нам. Мой дом — твой дом. Шарло сказал мне, что твой друг болен. Моя жена умеет делать уколы. Если надо, обращайся без всякого стеснения.

Мы разговорились. Симон был безумно счастлив. Не вспомнил и не заикнулся ни о Франции, ни о Монмартре, где он, кстати, долго жил. Совсем как Шарло! Прошлое для него не существовало — только настоящее: жена, дом, дети. Зарабатывал он двадцать боливаров в день. Хорошо, что куры неслись, — омлет всегда на столе. Выводились цыплята — опять же мясо на кухне и доход от продажи. А просто так, на двадцать боливаров в день, Симон, конечно, далеко бы не уехал. Да еще с семьей!

Я уставился на эту грудку золота, так небрежно хранящуюся за деревянной дверью и четырьмя стенами толщиной тридцать сантиметров. Пару раз подцепить ее фомкой — и дверь бесшумно откроется. Золотишко нынче по три с половиной боливара за грамм, или тридцать пять долларов за унцию. Его тут прилично: потянет на три с половиной миллиона боливаров, или миллион долларов. Фантастическое богатство! Стоит только протянуть руку! Спереть его как дважды два — просто детская забава.

— Хороша поленница! А слитки-то как уложены — красота, да и только! Правда, Папийон?

— Лучше бы ее развалить да хорошенько припрятать. Богатство несметное!

— Может, и так, но золото не наше. Оно священно, потому что мне его доверили.

— Доверили тебе, но не мне. Веришь, просто руки чешутся, когда видишь такую гору. Лежит себе без присмотра.

— Не без присмотра — я ее охраняю.

— Может быть. Но ты же здесь не круглые сутки?

— Нет, только с шести вечера до шести утра. А днем другой сторож. Да ты должен его знать: это Александр, что проходил по делу о фальшивых почтовых переводах.

— А! Знаю. Ладно. Пойду. Пока, Симон. Привет семье.

— Ты навестишь нас?

— С удовольствием. Чао!

И я быстро ушел, вернее, убежал прочь от этого места. Прочь от соблазна. Невероятно! Тут хочешь не хочешь, а украдешь! В администрации рудника сидят какие-то чудачки. Плохо, ох плохо лежит золотишко! Просто диву даешься, как оно еще лежит. Такое сокровище — и под охраной двух первоклассных мошенников! Да уж, чего только не посмотрелся на своем веку, а такого не видел!

Я не спеша поднимался вверх по извилистой тропинке, ведущей к деревне. «Замок» Шарло стоял в самом конце тропинки. Я плелся нога за ногу. День был тяжелый: восемь часов, да во второй штольне даже при работающих вентиляторах воздуха не хватало. Влажно и душно. Раза три или четыре останавливались насосы. Пришлось переналаживать и вновь запускать. Сейчас полдевятого, а под землю я спустился в полдень. Заработал восемнадцать боливаров. Для простого трудяги совсем неплохо. Килограмм мяса стоит два с полтиной, кофе — два боливара, сахар — семьдесят сентимо. Недороги и овощи, рис — полболивара за кило, столько же фасоль. Прожить можно, и довольно дешево. Все это так. Но хватит ли у меня ума принять такую жизнь?

И вот, взбираясь по каменистой тропинке без всякого труда благодаря подбитым гвоздями ботинкам, полученным на руднике, я, хоть и старался не думать об этом, вновь видел миллион долларов в золотых слитках, который так и просится в руки какого-нибудь смельчака. Застать Симона врасплох — пара пустяков, особенно ночью. Подойти сзади и угостить хлороформом, чтобы не узнал тебя. И дело в шляпе. Безответственность и ха-

латность администрации потрясающе: Симону оставляют даже ключ от хранилища, чтоб он мог там укрыться, если пойдет дождь. Верх идиотизма! Остается только вывезти двести слитков с рудника. Подогнать грузовик или телегу — в общем, что попадет. Надо заранее подготовить в лесу вдоль дороги несколько тайников. Слитки можно будет спрятать партиями — скажем, в каждом тайнике по сто килограммов. Если подвернется грузовик, то после разгрузки можно отогнать его подальше к реке, где поглубже, да и пустить на дно. А если телега? В деревне телег полно. С лошадью, правда, труднее, но и ее найти можно. С восьми вечера до шести утра, да если ночка выдастся с проливным дождем, дело можно будет провернуть запросто, еще и вернуться домой и завалиться спать как ни в чем не бывало.

С мыслями о том, как я, обтяпав дельце, уже тихо скользнул под простыню на широкой кровати Шарло, я незаметно для себя очутился на освещенной огнями деревенской площади.

— *Vuenos noches, Francés!*¹, — приветствовала меня группа мужчин из бара.

— Добрый вечер. И всем спокойной ночи.

— Посиди с нами немного. Выпей холодненького пивка, сделай милость.

Отказаться было бы невежливо. Я принял приглашение. И вот я уже сидел среди этих добрых людей, в основном шахтеров. Они хотели знать, как я живу, нашел ли себе жену, хорошо ли Кончита ухаживает за Пиколино, не нуждаюсь ли в деньгах на лекарства и прочие расходы. Эти великодушные и неожиданные предложения постепенно возвращали меня к действительности. Один старатель предложил мне, если я пожелаю, отправиться с ним. Ну это в том случае, если мне не нравится рудник и я не хочу там работать.

— Будет потяжелей, но и заработаем больше. И потом есть шанс разбогатеть за один день.

Я поблагодарил их всех и собрался выставить ответное угощение.

— Нет, француз, ты наш гость. Как-нибудь после, когда станешь богачом. Храни тебя Господь!

¹ Добрый вечер, француз (*исп.*).

И вот я снова шагал по дороге к «замку». Да, легко стать честным и скромным среди этих людей, которые довольствуются малым, счастливы без видимой причины, принимают человека, не интересуясь, кто он и откуда.

Дома меня встретила Кончита. Она была одна. Шарло работал на руднике. Когда я уходил оттуда, он как раз пришел. Кончита — само веселье и доброта. Она подала мне тапочки, чтобы ноги отдохнули от тяжелых ботинок.

— Твой друг спит. Он хорошо поел. А я написала письмо в больницу с просьбой принять его и отнесла на почту. Больница совсем недалеко от нашей деревни — в небольшом городке Тумерено.

Я поблагодарил ее и принялся за дожидавшийся меня горячий ужин. Кончита ухаживала за мной просто и весело, по-семейному, и это снимало внутреннее напряжение, оставшееся от соблазнительной тонны золота, и настраивало меня на спокойный лад. Открылась дверь.

— Всем добрый вечер!

В комнату непринужденно вошли две молодые девушки.

— Добрый вечер, — ответила Кончита. — Папийон, это мои подруги.

Одна из них оказалась высокой и стройной брюнеткой по имени Грасьела. У нее была ярко выраженная цыганская внешность. Другую звали Мерседес. Ее дед был немец, потому и кожа у нее белая, а волосы белокурые и очень тонкие. У Грасьелы были черные глаза андалузки со жгучим блеском тропиков, а у Мерседес — зеленые, вдруг напомнившие мне о Лали, индианке из племени гуахира. Лали... Что стало с Лали и ее сестрой Заремой? Не попытаться ли разыскать их, раз я вернулся в Венесуэлу? Сейчас тысяча девятьсот сорок пятый год, с тех пор прошло двенадцать лет. События тех дней отошли в прошлое, но при мысли о двух прелестных созданиях сердце сжимается от боли. Много воды утекло... В их жизни наверняка произошли перемены. Честно говоря, я не имею права вносить сумятицу в их новую жизнь.

— Твои подруги прелесть, Кончита! Спасибо, что познакомил.

Я понимал, что обе девушки свободны и ни с кем не помолвлены. Вечер в приятной компании пролетел незаметно. Мы

с Кончитой проводили их до конца деревни, и всю дорогу они висели у меня на руках. На обратном пути Кончита сообщила, что я понравился и той и другой.

— А тебе какая нравится? — поинтересовалась она.

— Обе очаровательны, Кончита, но я не хочу никаких осложнений.

— Ты называешь это осложнением? Заниматься любовью — все равно что есть и пить. А ты можешь жить так, чтобы не пить и не есть? Я, когда не занимаюсь любовью, хожу совершенно больная, хотя мне уже двадцать два. А каково им в шестнадцать и семнадцать? Если их лишит этой радости, они умрут.

— А как отнесутся к этому их родители?

Тут она пересказала мне все то, о чем говорил Хосе: девушки ее страны любят быть любимыми. Не раздумывая, они без остатка отдаются тому мужчине, который им нравится. И не требуют взамен ничего, кроме экстаза любви.

— Понимаю тебя, милая Кончита. Я, как и любой мужчина, не прочь поиграть в любовь. Только предупреди своих подруг, что эта игра ни к чему меня не обязывает. Главное — предупредить, а там их дело.

Боже, нелегко вырваться из такой среды! Шарло, Симон, Александр и многие другие были буквально очарованы ею. Теперь я понимаю, почему они до самозабвения счастливы среди этого веселого и щедрого народа, так не похожего на наш. С этими мыслями я отправился спать.

— Вставай, Папи, уже десять часов! К тебе пришли.

— Доброе утро, мсье.

Человек лет пятидесяти с пробивающейся в волосах седой, без головного убора, с открытым взглядом больших глаз, над которыми нависают густые брови, протянул мне руку.

— Я доктор Бугра¹. Пришел сюда, узнав, что один из вас болен. Я видел вашего друга. Ему смогут помочь только в госпитале в Каракасе. Будет трудно его вылечить.

¹ Герой известного уголовного дела в 1920-х годах в Марселе. В его медкабинете в шкафу был найден труп человека. Бугра признался, что совершил профессиональную ошибку при определении дозы инъекции. Суд обвинил его в убийстве и приговорил к пожизненной каторге. Прибыв в Кайенну, он вскоре бежал и вел достойную жизнь в Венесуэле. — *Примеч. переводчика.*

— Давайте перекусим, доктор, — предложил Шарло.

— С удовольствием. Благодарю.

Подали вино. Отпивая небольшими глотками из своего стакана, Бугра обратился ко мне:

— Что расскажешь о себе, Папийон?

— Да что сказать, доктор? Делаю первые шаги. Словно новорожденный. Вернее, будто сбитый с толку подросток. Я совершенно не представляю себе, какой дорогой идти.

— Дорога простая. Посмотри хорошенько вокруг себя — и увидишь. За исключением одного-двух человек, все наши старые товарищи выбрали правильный путь. Я в Венесуэле с двадцать восьмого года. И никто из бывших моих знакомых каторжников не совершил здесь ни одного преступления. Почти все женаты, имеют детей, живут честно и приняты обществом. Забыли свое прошлое настолько, что некоторые не смогут тебе толком рассказать, за что именно их осудили. Прошлое для них смутно, осталось далеко позади, похоронено в дымке былого. Словом, былем поросло и плевать на него.

— Со мной несколько иначе, доктор. Кое-кто мне крепко задолжал. Список должников довольно длинный. Упрятать в тюрьму невинного! Тринадцать лет борьбы и страданий! А чтобы получить по счету, мне надо вернуться во Францию. Для этого потребуются большие деньги. Простому рабочему не собрать такой суммы, чтобы хватило съездить туда и обратно. И еще неизвестно, вернешься ли назад. Само собой разумеется, исполнение задуманного тоже потребует расходов. Да и потом, закончить свои дни в какой-то забытой Богом дыре?.. Меня привлекает Каракас.

— Думаешь, среди нас ты один такой, у кого имеются счета? Послушай-ка, я расскажу тебе об одном парне, которого знаю. Его звали Жорж Дюбуа. Он рос в трущобах квартала Ла-Виллет. Отец-алкоголик частенько попадал в психлечебницу, когда ему виделись черти. У матери на руках шестеро детей, и от жуткой бедности она шаталась по арабским барам своего квартала. С восьми лет Жожо, так его прозвали, прошел путь от воспитательного до исправительного учреждения. Он начал с воровства фруктов из мелких лавчонок. Несколько раз попадался. Отсидел два-три срока в патронажных заведениях аббата Ролле,

а в двенадцать угодил в исправительный дом жесткого режима. Надо ли тебе говорить, что, оказавшись в четырнадцать лет среди восемнадцатилетних, ему пришлось защищать свою задницу. Поскольку силенок у него не хватало, требовалось обзавестись единственным средством самозащиты — оружием. Удар в живот одному из главарей юных гомиков — и администрация отправила его в самую строгую колонию для неисправимых в Эссе. Представь себе, там он должен был находиться до тех пор, пока ему не исполнится двадцать один год! Короче, он вошел в этот круг в восемь, а в девятнадцать его освободили. Но на руки выдали предписание явиться немедленно на призывной пункт для отправки в один из штрафных батальонов в Африке. С таким прошлым он не имел права служить в регулярных войсках. Сунули ему на дорогу немного денег — и с приветом! На беду, у парня оказалась душа. Сердце еще не успело зачерстветь до конца. На станции ему на глаза попался вагон с табличкой «Париж». И тут словно пружину отпустили. Не раздумывая, он вскочил в поезд и прибыл в Париж. Когда он вышел из здания вокзала, шел дождь. Укрывшись под навесом, парень начал размышлять, как добраться до Ла-Виллет. Под этим же навесом стояла девушка, она тоже пряталась от дождя. В ее взгляде он почувствовал теплоту и участие. Все, что он знал о женщинах, ограничивалось его собственным небольшим опытом с одной толстушкой, женой старшего надзирателя из Эсса, да байками старших товарищей по исправительному дому. На него никто и никогда не смотрел так, как эта девушка. И они разговорились.

— Откуда приехал?

— Из провинции.

— Ты мне нравишься. Почему бы нам не отправиться в отель? Я буду ласковой, и там тепло.

Жоже разволновался. Девчонка показалась ему очаровательной. Да еще положила свою нежную руку на его руку. Для парня встреча с любовью представлялась потрясающе ярким событием. Девушка была юной и страстной. Устав от любовных утех, они сели на кровати и закурили. Девчонка спросила:

— Ты первый раз спишь с женщиной?

— Да, — признался он.

— Почему так долго ждал?

- Сидел в тюрьме для малолеток.
- Долго?
- Очень долго.
- Я тоже была в приюте. Но бежала оттуда.
- Сколько тебе лет? — спросил Жожо.
- Шестнадцать.
- Из каких мест?
- Из Ла-Виллет.
- Какая улица?
- Улица Руан.

Жожо тоже оттуда. Ему становится страшно от мелькнувшей мысли.

- Как тебя зовут? — вскричал он.
- Жинетта Дюбуа.

Она оказалась его сестрой. Потрясенные, они разрыдались от стыда и горя. Потом каждый рассказал о своих злоключениях. Жинетта и другие сестры вели такую же жизнь, как и он сам: воспитательные дома и исправительные учреждения. Мать только что вышла из лечебницы. Старшая сестра работала в борделе для арабов в Ла-Виллет. Они решили ее навестить.

Только вышли из отеля, как навстречу им попался хряк в полицейской форме.

Он тут же заорал на девчонку:

— Разве я тебе, маленькая сучка, не говорил, чтоб ты не шляется на моем участке и не приставала к мужчинам? — И полицейский грозно двинулся на них. — На этот раз придется тебя задержать, грязная шлюха!

Жожо не мог этого вынести. После всего, что случилось, парень не ведал, что творил. Он выхватил нож с несколькими лезвиями, купленный им накануне для армейских нужд, и всадил его прямо в грудь стража порядка. Жожо арестовали. Двенадцать «компетентных» присяжных приговорили его к смерти, но президент республики помиловал, и парня отправили на кааторгу.

Затем он бежал, Папийон, и живет сейчас в большом портовом городе Кумана. Он сапожник, женат, у него девять детей. Все сыты, обуты, одеты и ходят в школу. А один из старших уже год как учится в университете. Каждый раз, проезжая через Куману,

я заглядываю к нему. Хороший пример, правда? Поверь мне, у него тоже были свои счеты с обществом. Как видишь, Папийон, ты не исключение. У многих из нас имелись причины для мести. Насколько я знаю, никто не покинул эту страну ради сведения счетов. Я верю в тебя, Папийон. Если тебя привлекает Каракас, перебирайся туда. Но я надеюсь, что ты сумеешь влиться в современную жизнь, не оступишься и не попадешь в ловушку.

Бугра ушел уже поздно вечером. Я был взволнован встречей с ним. Почему он произвел на меня такое впечатление? Догадаться не трудно! Все эти первые дни на свободе я встречался с каторжниками, счастливыми и приспособившимися к новым условиям. Но в их жизни не было ничего необычного. Они довольствовались своим скромным уделом рабочего или крестьянина. Бугра же был не чета им. Впервые мне встретился бывший зэк. Каторжник, ставший господином. Вот что задело меня за живое. А буду ли господином я? Сумею ли им стать? Для врача это просто. Для меня намного труднее. Но я уверен: придет день, и я тоже стану господином, хотя пока еще не знаю как.

Сидя на скамейке в глубине штольни номер одиннадцать, я наблюдал за работой насосов. Сегодня они не доставляли мне хлопот. Под ритмичное гудение двигателя я повторял про себя слова Бугра: «Я верю в тебя, Папийон! Берегись городских ловушек и соблазнов». В том, что в городе их хватает, нет никаких сомнений. Но трудно сразу переменить образ мыслей. Доказательства? Не далее как вчера вид золотохранилища меня буквально потряс. Всего две недели на свободе, а я, ослепленный несметным богатством, что так и просится в руки, уже обдумывал план по овладению им. В глубине души я еще не до конца решился оставить в покое эти слитки.

В голове роились бессвязные мысли. «Я верю в тебя, Папийон». Но разве я могу жить жизнью моих товарищей? Не думаю. В конце концов, есть много других способов честно зарабатывать деньги. Я не обязан принимать жизнь в таких узких рамках. Это не для меня. Я могу продолжить авантюрную стезю: заделаюсь старателем — буду искать золото, алмазы... Могу уйти в буш и выйду из него в один прекрасный день с кругленькой суммой, которая обеспечит мне достойное существование.

Чувствую, нелегко будет отклониться от курса на риск и приключения. И все же по здравом размышлении, несмотря на весь соблазн, исходящий от этой груды золота, ты не должен так поступать, не можешь и не имеешь права. Миллион долларов... Папи, и ты еще сомневаешься? Дело-то в шляпе! Все как на блюдечке — должно выгореть. Дело-то уже сделано, еще и не начавшись. И не может сорваться. Да! Вот это соблазн! Боже! Они не имеют права совать под нос мошеннику гору золота, почти без присмотра, да еще при этом говорить: «Трогать нельзя». Десятой части хватило бы на осуществление задуманного, включая месть. Всего того, о чем мечтал долгие тысячи часов в подземелье.

В восемь часов клеть подняла меня на поверхность. Я сделал небольшой крюк, чтобы не проходить мимо склада. Чем меньше видишь, тем лучше. Я быстро поднялся вверх по тропинке к дому. Проходя через деревню, я приветствовал всех встречных. Извинялся перед теми, кто хотел меня остановить, под предлогом, что спешу. Кончита ждала меня, такая же черная и веселая, как всегда.

— Все в порядке, Папийон? Шарло сказал, чтобы я угостила тебя вином перед обедом. Он говорит, что у него такое впечатление, будто у тебя не все хорошо... Что случилось, Папи? Ты можешь открыться мне, жене твоего друга. Хочешь, я позову Грасьелу? Или Мерседес, если она тебе больше нравится? Будет неплохо, как ты считаешь?

— Кончита, черная жемчужинка Кальяо, ты чудо. Шарло тебя обожает, и я его понимаю! Может, ты и права. Для душевного равновесия надо, чтобы рядом со мной была женщина.

— Вот это верно. А Шарло думает иначе.

— Что-то не пойму, объясни.

— Я говорю, что тебе нужно, чтобы ты любил и тебя любили. А он говорит, что надо подождать. Не время еще класть тебе девушку в постель. У тебя совсем другое.

— Что — другое?

Она замолчала в нерешительности, но затем выпалила:

— Боюсь, ты расскажешь Шарло. Он вlepит мне пару пощечин.

— Обещаю молчать.

— Ладно. Шарло говорит, что ты не создан для такой жизни, какую ведет здесь он и другие французы.

— А еще что? Продолжай, выкладывай все, Кончита.

— И еще он говорит, будто ты считаешь, что на руднике без дела валяется груда золота и что ты можешь найти ему лучшее применение. Вот что он говорит! А еще — что ты не из тех, кто может себе отказывать, и что ты хочешь кому-то отомстить, а для того и другого нужна уйма денег.

Я взглянул ей прямо в глаза:

— Ну, Кончита, твой Шарло попал пальцем в небо! А вот ты права. Мое будущее кажется мне абсолютно безоблачным. Ты угадала: мне действительно нужна женщина, которую я буду любить. Я не осмеливался сказать об этом, потому что немного робею.

— Что-то мне не верится, Папийон!

— Ну хорошо! Веди сюда блондинку, сама убедишься, как я буду рад, когда со мной рядом окажется любимая.

— Иду сию же минуту.

Она ушла в комнату, чтобы переодеться.

— Вот уж Мерседес обрадуется! — донесся ее крик.

Тут раздался стук в дверь.

— Войдите! — крикнула Кончита.

Дверь открылась, и я увидел на пороге Марию, немного смущенную.

— Это ты, Мария? В такой час? Какой приятный сюрприз! Кончита, разреши мне представить тебе Марию. Эта девушка приютила меня в своем доме, когда мы с Пиколино приехали в Кальяо.

— Дай я тебя поцелую, — обратилась к ней Кончита. — И правда, ты красивая, как и говорил Папийон.

— Какой Папийон?

— Это я — Энрике, или Папийон, что одно и то же. Садись со мной рядом на диван и рассказывай.

Кончита лукаво улыбнулась и сказала:

— Думаю, мне незачем куда-то ходить.

Мария осталась на ночь. В ее любви еще сквозила робость, она дрожала всем телом от малейшего прикосновения и ласки.

Я был ее первым мужчиной. Теперь она спала. Чтобы ее не беспокоил резкий свет лампочки, я зажег две свечи. Они почти догорели. В их слабом мерцании красота молодого тела проступала еще явственнее и было видно, что девичьи груди еще несли печать наших ласк. Я осторожно поднялся. Хотел подогреть немного кофе и посмотреть на часы. Четыре часа. Нечаянно я уронил кастрюльку и разбудил Кончиту. Она вышла из комнаты в халате.

— Ты хочешь кофе?

— Да.

— Для тебя одного, разумеется. Она, поди, спит без задних ног с ангелами, с которыми ты ее познакомил.

— Ты дока в этом деле, Кончита.

— В жилах моего народа течет огонь. В этом ты сам должен был убедиться сегодня ночью. Мария наполовину индианка, на четверть негритянка, а в остальном испанка. Если уж ты такой смесью недоволен, тогда можешь идти и вешаться, — добавила она смеясь.

Великолепное солнце уже поднялось высоко и приветствовало пробуждение Марии. Я отнес ей кофе в постель и не смог удержаться от вопроса:

— А дома не беспокоятся о твоём отсутствии?

— Сестры знали, что я пошла сюда. Значит, отец узнал об этом часом позже. Ты не прогонишь меня сегодня?

— Как можно, милая! Я сказал только, что не хочу обзаводиться своим домом. Но это совсем не значит, что я хочу прогнать тебя. Это совершенно разные вещи. Оставайся столько, сколько тебе захочется.

Приближался полдень. Я должен был отправляться на рудник. Мария решила съездить домой на попутной машине, а вечером вернуться.

— Ну, приятель, вижу: сам нашел девчонку! То, что надо! Лакомый кусочек. Поздравляю, старина!

Шарло произнес это по-французски, стоя на пороге комнаты в пижаме. И добавил, что, поскольку завтра воскресенье, не мешало бы spraysнуть мою женитьбу. На том и порешили.

— Мария, скажи отцу и сестрам, чтобы приходили к нам в воскресенье. Все вместе и отпразднуем. А сама приходи, когда

захочешь. Будь здесь как дома. Счастливо поработать, Папи! Обрати внимание на третий насос. А после работы к Симону заходить необязательно. Не стоит заглядываться на его барахло, которое он стережет из рук вон плохо. Когда сам не видишь такого безобразия, то и на душе легче.

— Ах ты, старый плут! Ладно, не пойду к Симону, не беспокойся, дружище. Чао!

Мы с Марией прошлись по деревне в обнимку, чтобы местные девчонки видели и знали, что она моя жена.

Насосы работали отлично, даже третий не барахлил. Но ни горячий воздух, ни влажность, ни тарахтение двигателя не мешали мне думать о Шарло. Он понял; от него не скроешь, почему я хожу задумчивый. Старый плут быстро догадался, что всему виной груда золота. Симон наверняка передал ему наш разговор. Настоящие друзья! Теперь они рады-радешеньки, что я обзавелся женщиной! Надеются, что с таким подарком милостивого Господа я забуду блеск золотых слитков.

Чем больше я об этом думал, тем яснее вырисовывалась создавшаяся ситуация. В последнее время ребята вели честную жизнь и держались безупречно. Но, несмотря на то что жили они так же, как и прочие обыватели, они не забыли правил преступного мира: не выдавать никого полиции, даже если догадываешься о том, что замышляется преступление, пусть даже тебе самому грозят при этом крупные неприятности. В случае удачного ограбления первыми заметут сторожей — Симона и Александра. Шарло тоже достанется. Впрочем, заметут всех бывших каторжников, всех без исключения. И тогда прости-прощай покой и воля, дом и огород, жена и ребятишки, куры, козы и поросята. Я прекрасно понимал, что бывшие каторжники дрожат не за себя, а за свой очаг, который, как они считали, я собирался разрушить. «Не дай бог, если он наделает нам хлопот», — должно быть, думали они. Я представлял себе, как они проводят маленький военный совет в узком кругу. Интересно, как они поставили вопрос и как его разрешили?

Я принял решение. Вечером зайду к Симону и приглашу его с семьей ко мне на торжество. Пусть передаст Александру, что если завтра он тоже сможет прийти, то милости просим. Надо им всем дать понять, что мне ничего, кроме Марии, не надо.

Клеть подняла меня наверх. Я встретил Шарло, собравшегося спускаться в шахту, и спросил:

— Надеюсь, праздник не отменяется?

— Да ты что, Папийон! Ни в коем случае!

— Я приглашу Симона с семьей. И Александра, если он сможет прийти.

Ох и хитрец же старина Шарло! Посмотрев на меня, он бросил как бы мимоходом:

— А что, неплохая мысль!

Не говоря больше ни слова, он вошел в клеть и спустился туда, откуда я только что поднялся. Я заглянул к Симону на склад.

— Порядок, Симон?

— Порядок.

— Зашел поздороваться. Это во-первых. А еще пригласить тебя отобедать с нами в воскресенье. Приходи вместе с семьей.

— Охотно. А что ты отмечаешь? Освобождение?

— Нет, женюсь. Нашел себе женщину. Мария из Кальяо, дочь Хосе.

— Поздравляю от души. Будь счастлив, дружище! Искренне желаю тебе этого.

Он крепко пожал мне руку, и я ушел. На полпути наткнулся на Марию. Она шла вниз по тропинке мне навстречу. Обнявшись, мы направились вверх, к нашему «замку». Отец и сестры собирались подъехать на следующий день к десяти утра, чтобы помочь приготовить стол.

— Тем лучше, потому что нас соберется больше, чем мы предполагали. Что сказал тебе отец?

— Он сказал: «Будь счастлива, дочь. Но не строй иллюзий на будущее. Чтобы узнать человека, мне достаточно на него взглянуть. Твой избранник — хороший человек, но он здесь долго не задержится. Он не из тех, кто довольствуется нашей простой жизнью».

— А ты что ответила?

— Что сделаю все, чтобы удержать тебя как можно дольше.

— Дай я тебя поцелую. Мария, ты добрая душа. Поживем пока, а будущее само решит, как быть дальше.

После легкого ужина мы легли спать. Утром надо было встать пораньше — помочь Кончите резать кроликов, печь большой

пирог, покупать вино и кое-что по мелочам. Эта ночь была еще более страстной по сравнению с первой и намного прекраснее. У Марии действительно в жилах тек огонь. Очень скоро она овладела искусством вызывать желание и продлевать удовольствие, которое ей довелось познать. Мы предавались любви с таким упоением, что так и уснули в объятиях друг друга.

Наступило воскресенье. Праздник удался на славу. Хосе поздравил нас и пожелал взаимной любви в супружестве, а сестры что-то шептали Марии на ухо. Очевидно, их мучило любопытство. Симон пришел со своей милой семьей. Александр тоже был: подыскал себе замену на работе. У Александра была очаровательная жена, ее сопровождали опрятно одетые дети — мальчик и девочка. Кролики получились вкусные — просто пальчики оближешь. Огромный пирог в виде сердца на столе долго не задержался. Мы даже потанцевали под патефон и радио. А старик-каторжник, один из гостей, сыграл нам на аккордеоне все мелодии из оперетты «Продавец птиц» двадцатилетней давности.

Выпив несколько рюмок ликера после кофе, я напустился на старых жуликов по-французски:

— Ребята, как вы могли подумать, что я собираюсь что-то повернуть?!

— Брось, приятель, — начал Шарло. — Мы бы тебе не сказали ни слова, если б ты сам не заговорил об этом. А то, что ты замыслил спереть кучу золота, — ясно как божий день. Разве не так? Признайся, Папийон.

— Вы знаете, что я на протяжении тринадцати лет вынашиваю план мести. Помножьте эти тринадцать на триста шестьдесят пять дней, да на двадцать четыре часа, да каждый час на шестьдесят минут, и вы все равно не получите то число раз, которое я клялся расквитаться за все мои страдания. И вот я увидел эту грудку золота прямо под носом. Конечно, я задумал повернуть дельце.

— И что потом? — спросил Симон.

— А потом я обмозговал ситуацию со всех сторон, и мне стало стыдно. Я же замахнулся на ваше благополучие и мог бы погубить вас всех и пустить на ветер все, что создано вашими руками. Я понял, что ваше благополучие, ваше счастье, которое

я тоже надеюсь когда-нибудь обрести, стоит больше любого богатства. Поэтому я отказался от такого соблазна. Не надо мне никакого золота. Даю вам слово, я не совершу здесь ничего подобного.

— Bravo! — радостно вскричал Шарло. — Теперь мы можем спать спокойно. Ни в одном из нас не сидит бес соблазна! Да здравствует Папийон! Да здравствует Мария! Да здравствует любовь и свобода! Да здравствует мудрость и порядочность! Мы были крутыми ребятами — крутыми и останемся. Но только для этих свиней-фараонов! Теперь Папийон с нами. Мы все будем жить в мире и согласии.

Прошло уже шесть месяцев, как я здесь. Шарло оказался прав: в день своего торжества я выиграл первую битву против соблазна совершить дурное дело. С тех пор как я бежал с каторги, меня все дальше и дальше относило от сточной канавы. Благодаря друзьям я одержал крупную победу над самим собой: начисто отказался от мысли прибрать к рукам миллион долларов. Что же я получил взамен? Ясно одно: впредь будет весьма непросто подбить меня на подобный поступок. А отвергнув такую добычу — целое состояние! — я уже не смогу с легкостью переменить установившийся образ мыслей. Правда, где-то в глубине души я был не совсем в ладах с самим собой. Деньги нужно добывать другим путем. Только не воровством! Для поездки в Париж, чтобы свести счета, требовалась все-таки порядочная сумма. Много-много денег!

Бум-бом, бум-бом, бум-бом! Насосы беспрерывно откачивали воду, просачивающуюся в штольни. Жара стояла несусветная. Просто небывалая. Восемь часов ежедневно я проводил под землей. Теперь я работал с четырех утра до полудня. Сегодня после работы мне предстояло съездить к Марии в Кальяо. Пиколино жил там уже целый месяц. Так было удобнее для врача. Он навещал его каждый день. Пиколино обеспечивали хороший уход: Мария и сестры старались изо всех сил. Надо было повидаться с приятелем, да и к Марии тоже тянуло. Мы с ней не виделись уже неделю. Я чувствовал потребность в ее близости и морально, и физически. На попутном грузовике я добрался до Кальяо.

Шел проливной дождь, когда я ступил на крыльцо дома. Был час дня. Все, кроме Марии, сидели за столом. Она встретила меня у двери:

— Почему ты так долго не приезжал? Целую неделю! Промок до нитки! Ну, иди переодеешься сначала.

Она увела меня в комнату, раздела и вытерла насухо большим полотенцем.

— Ложись в кровать, — потребовала она.

Мы предавались любви, нисколько не заботясь о том, что за дверью, в другой комнате, нас с нетерпением ждали остальные. Заснули как убитые. И только ближе к вечеру нас осторожно разбудила Эсмеральда, зеленоглазая сестра Марии.

Ужинали всей семьей. Хосе-пират предложил прогуляться.

— Энрике, ты писал начальнику, чтобы он запросил Каракас об отмене ограничения в перемещении для тебя?

— Да, Хосе.

— Пришел ответ из Каракаса.

— Положительный или отрицательный?

— Положительный. Ограничение снято.

— Мария знает?

— Да.

— Что она говорит?

— Что ты твердишь ей все время, будто не можешь оставаться в Кальяо. Когда намерен отчаливать? — поинтересовался Хосе после минутного молчания.

Хоть я и обалдел от этой новости, но тут же без лишних раздумий ответил:

— Завтра. Шофер, который меня подкинул сюда, сказал, что завтра он едет в Сьюдад-Боливар.

Хосе опустил голову.

— *Amigo mio*¹, я тебя обидел?

— Нет, Энрике. Ты же всегда говорил, что не останешься здесь, но бедная Мария! И горе мне!

— Пойду поговорю с шофером, если разыщу.

Водителя я нашел. Договорились, что отъезжаем завтра в девять. Поскольку у него уже был один пассажир, Пиколино дол-

¹ Друг мой (*исп.*).

жен был ехать в кабине, а я — в кузове на пустых бочках. Я побежал к начальнику, и он вручил мне документы. По-человечески дал несколько добрых советов и пожелал удачи. Потом я обежал всех, кого знал в Кальяо и кто не отказал мне в дружеской поддержке и помощи.

После этого помчался в Караталь забрать кое-какие вещи. На прощание мы обнялись с Шарло. Оба были взволнованы, Кончита плакала. Я поблагодарил их за гостеприимство.

— Пустяки, друг. Ты бы сделал для меня то же самое. Удачи тебе! Если будешь в Париже, передавай от меня привет Монмартру.

— Я напишу.

Симон, Александр, Марсель, Андре — все пришли попрощаться. Я полетел обратно в Кальяо. Шахтеры, искатели алмазов и золота — мои товарищи по работе, все они, мужчины и женщины, нашли для меня сердечные слова. Все желали мне удачи. Я был очень растроган и еще раз убедился: обзаведись я домом и хозяйством с Марией, так же как Шарло и другие, мне никогда было бы не вырваться из этого рая.

Самым тягостным было расставание с Марией.

Наша последняя ночь любви, со слезами на глазах, превратилась в ни с чем не сравнимый накал страстей и буйство ласк, рвавших душу на части. Разыгралась целая драма, когда я дал понять Марии, что не следует надеяться на мое возвращение. Кто знает, какая участь меня постигнет, если я осуществлю задуманное?

Я проснулся, потревоженный лучом солнца. На часах было уже восемь утра. Остаться в комнате было невозможно. Даже на минуту, чтобы выпить чашечку кофе. Это выше моих сил. Пиколино, весь в слезах, сидел на стуле. Эсмеральда одела его и ушла. Я поискал глазами сестер Марии и не нашел: они прятались, чтобы не видеть нашего отъезда. Только Хосе стоял на ступеньке перед открытой дверью. Мы обнялись по-венесуэльски (две наши руки сцеплены в один кулак, свободными обнимаем друг друга за плечи). Он был взволнован не меньше моего. Я просто онемел, а он сказал мне единственную фразу:

— Не забывай нас. Мы тебя никогда не забудем. Прощай! Храни тебя Господь!

Пиколино держал узелок, в котором были аккуратно уложены его чистые вещи. Бедняга заливался слезами. Мимикой и гортанными звуками он изо всех сил пытался выразить свое горе и свою благодарность, хотя на это не хватило бы и тысячи слов. Я взял его под руку и повел за собой.

Каждый со своим багажом, мы подошли к дому шофера. Приготовились к дальней дороге в большой город! Вот тебе раз — выяснилось, что машина сломалась. В тот день отъезд отменялся. Надо было ждать, пока заменят карбюратор. Делать было нечего, и мы вернулись к Марии. Можете себе представить, что за крик поднялся, когда они увидели, что мы идем назад.

— Слава богу, Энрике, что машина сломалась! Оставь Пиколино здесь, а сам прогуляйся по деревне, пока я готовлю обед... Странно, — добавила Мария, — но, может быть, Каракас не для тебя.

Я вышел на улицу и задумался над последними словами Марии. Мне было тревожно. Каракас — крупный колониальный город. Я незнаком с ним, но знаю понаслышке. Он привлекает меня, это верно. Но чем я буду заниматься, когда попаду туда? Как буду жить?

Заложив руки за спину, я медленно шел по направлению к площади. Солнце стояло в зените и пекло нестерпимо. Я укрылся под деревом с широкими листьями. В тени стояли два мула, привязанные к дереву. Какой-то старик укладывал на них груз: сито для промывки алмазов и лоток для золотоносного песка, очень похожий на китайскую шляпу. Разглядывая эти новые, необычные для меня вещи, я продолжал размышлять. Перед глазами разворачивалась библейская картина тихой и мирной жизни, с отблесками и отзвуками самой природы, спокойного и патриархального бытия. А что в этот миг творилось в Каракасе, шумной и многолюдной столице, которая так влекла меня? Все, что я слышал о ней, немедленно превратилось в реальные образы. Четырнадцать лет я не видел большого города! Надо ехать, и как можно скорее. Теперь я мог делать все, что захочу.

Глава третья

ЖОЖО СТАВКА

Черт возьми, да ведь это пели по-французски! Старикан-коротышка. Я прислушался:

Акулы старые сплылись,
За труп смердящий принялись.
Одна сожрала руку, мля!
Другая — брюхо, тра-ля-ля.
Под колокольный звон — дон-дон —
Адьё, мой ээк. Виват закон!

Я был потрясен. Он исполнял песню медленно, как реквием. И «тра-ля-ля» с веселой иронией, и «виват закон», над которым зубоскалят парижские пригороды, звучали совершенно правдиво. Но чтобы до конца прочувствовать всю иронию, надо было самому побывать на каторге.

Я смотрел на старика. Ростом он был от горшка два вершка, в чем я позднее убедился, — один метр пятьдесят пять сантиметров. Более живописного каторжника я в жизни не встречал. Белоснежные волосы, седые, косо подрезанные, длинные бакенбарды. Джинсы, толстый широкий кожаный ремень. На правом боку у него висели длинные ножны, а из них торчала изогнутая рукоятка, как раз на уровне паха. Я подошел поближе. Старик был без шляпы (она лежала на земле), и я отчетливо увидел темно-красные пятна на его широком лбу. Они ярко проступали на задубелой и загорелой коже старого пирата. Брови у него были длинные и кустистые: чтобы привести их в порядок, определенно требовалась расческа. Под ними — стальные серо-зеленые гла-

за. Они, словно буравчики, прошивали меня насквозь. Не успел я сделать и четырех шагов, как он произнес:

— Ты явился с каторги. Это так же верно, как то, что меня зовут Ставка.

— Точно. А меня — Папийон.

— А я — Жожо Ставка.

Он протянул мне руку и пожал мою искренно и откровенно, как следует, чисто по-мужски: не очень сильно, не до хруста пальцев, когда бахвалятся своей силой, но и не мягко, как лицемер или хиляк. Я предложил:

— Зайдем в бар, пропустим по стаканчику. Плачу я.

— Нет, пойдем ко мне. Тут рядом. Видишь белый дом? Я называю его Бельвиль — в честь места, где я вырос. Там и поговорим спокойно.

В доме оказалось чисто, прибрано. Хозяйство вела молодая жена, совсем юная, лет двадцати пяти. А ему, поди, шестьдесят. Звали ее Лола. Смуглянка-венесуэлка.

— Добро пожаловать! — приветствовала она меня, мило улыбаясь.

— Спасибо.

— По стаканчику пастиса? — предложил Жожо. — Один корсиканец привез мне двести бутылок из Франции. Сам оценишь, хорош он или плох.

Лола принесла вино, и Жожо одним махом проглотил три четверти стакана.

— Ну и?.. — спросил он, уставившись на меня.

— Что «ну и»? Наверно, хочешь, чтобы я рассказал о себе?

— Верно, приятель. А имя Жожо Ставка тебе ничего не говорит?

— Нет.

— Скоро же меня забыли! А ведь на каторге со мной считались: не было человека, кто бы с такой же легкостью выбросил семь или одиннадцать в кости, правда слегка подпиленные, но не нашпигованные свинцом. У людей короткая память. И то правда — это было не вчера. В конце концов, мы все-таки из тех, кто оставляет свой след и о ком слагают легенды. Но, судя по твоим словам, все это уже забыто. А ведь прошло всего несколько лет.

Неужели правда? Тебе действительно никто не говорил обо мне? — Он казался глубоко возмущенным.

— Честно. Никто и ничего.

И снова глаза-буравчики сверлили меня насквозь.

— Ты на каторге не задержался. Ишь рожа-то какая гладкая!

— Тринадцать лет вместе с Эль-Дорадо, по-твоему, ничего?

— Не может быть. По тебе и не скажешь. Только тот, кто побывал на каторге, может определить, откуда ты явился, да еще ему надо быть хорошим физиономистом, чтобы не ошибиться. Поди, жил там припеваючи, так ведь?

— Не скажи: острова Спасения, тюрьма-одиночка...

— Ну и уморил! Прямо уморил! Острова?! Не колония, а курорт. Там только казино не хватает! Я понял, мсье. Для тамошних эзков это не каторга, а рай: морской бриз, крабы, рыба, комаров нет... А на десерт время от времени еще перепадает курдючок или пирожок с бородкой от жены какого-нибудь багра, явно позабывшего о своих супружеских обязанностях!

— Ну хватит!

— Тихо-тихо, не возражай. Я-то знаю. На островах сам не был, зато много слышал. Рассказывали.

Да... Может, этот тип и выглядел живописно, но зато явно нарывался на неприятности. Я обозлился. Насовал мне тут дерьма под нос! Я сидел, едва сдерживаясь. А он себе продолжал:

— На двадцать четвертом километре вот была каторга так каторга! Это место ни о чем тебе не говорит? Вижу, что нет. Судя по морде, ты ее даже и не нюхал! А я там побывал, приятель! Сто человек — и у всех резь в брюхе. Одни стоят, другие лежат, третьи скулят, как собаки. А вокруг только лес, что твоя стена. И не они повалят эту стену, а она их повалит. Это тебе не лагерь для лесорубов. По точному определению лагерного начальства, это яма, спрятанная в гвианских джунглях, из которой, если сбросят, не выберешься. И человек пропал — ни слуху ни духу. Так что лучше помолчи, Папийон! Со мной у тебя эти штучки не пройдут. Мне мозги не запудришь. Ты совсем не похож на избитую собаку, равно как и на доходягу со впалыми щеками, приговоренного к пожизненному сроку, у которого вместо тела остались кожа да кости. Посмотри на себя и тех, кто чудом вырвался из ада, — над их лицами поработали словно стамеской, превратив

физиономии молодых парней в личины дряхлых стариков. Тебе это и не снилось. Так мои выводы верны: вся твоя каторга — каникулы у моря с солнечными ваннами.

Ну и напор у этого гуся! Интересно, чем закончится наша встреча?

— А для меня, как я уже говорил, это была яма, бездонная сточная канава, откуда живым никто не выходил, — амebная дизентерия, разрушающая тебя изнутри, кишки так и выворачивает наружу. Поверь, дружище, я говорю чистую правду, хотя и не могу описать все так красочно, как это сделал Альбер Лондр. Я читал его и тебе советую. Сам увидишь, у него написано то же самое, о чем я тебе только что рассказал.

Я внимательно смотрел на кипучего коротышку. Энергия из него так и била. Я тем временем прикидывал, под каким углом лучше всего заехать ему по морде. Но в последний момент я дал задний ход. Решил подружиться. Сорваться было несложно, а ведь он мог еще пригодиться.

— Ты прав, Жожо. Нечего разводить сыр-бор из-за тех лет, что я провел на каторге. Я в отличной форме, и нужен такой знаток, как ты, например, чтобы определить, откуда я явился.

— Согласен. Чем сейчас занимаешься?

— Работаю на золотом руднике «Ла Мокупия». Восемнадцать боливаров в день. Но я получил разрешение жить, где хочу. Принудиловка окончена.

— Держу пари, ты хочешь отправиться в Каракас на поиски приключений.

— Верно. Очень хотелось бы.

— Но Каракас — большой город, и жить там — значит рисковать по новой. Едва выбрался и снова хочешь окунуться?

— Мне надо свести кое с кем счеты за каторгу: фараоны, свидетели, прокурор. Тринадцать лет за преступление, которого не совершал: острова, что бы ты о них ни думал, тюрьма-одиночка на Сен-Жозефе — самое страшное, что могла придумать карательная система и с чем мне довелось столкнуться. Да еще, прикинь: посадили в двадцать четыре года.

— Сволочи! Они же украли у тебя молодость. Что, все действительно так и есть? Или ты до сих пор, как перед судом, разыгрываешь из себя невинного?

— Невиновен, Жожо! Клянусь памятью матери.

— Теперь понятно! Трудно проглотить такое оскорбление. Но если хочешь заработать бабки на свои дела, обязательно отправляться в Каракас. Поедем со мной.

— Куда?

— За алмазами, приятель. За алмазами! Государство здесь щедрое. Венесуэла — единственная страна в мире, где разрешается свободно рыться в земле. Копай золотишко и алмазы, где захочешь. Только одно условие: никакой техники. Лопата, кирка и сито — вот и все орудия труда.

— И где же лежит это настоящее Эльдorado? Разумеется, не там, откуда я только что явился?

— Далеко, очень далеко — в буше. Несколько дней на муле, потом на лодке, а затем пешком со всем инструментом на своем горбу.

— Так это еще бабушка надвое сказала.

— Во всяком случае, это единственный способ сорвать жирный куш. Представь себе, что попалась «бомба», — вот ты и богат! И к твоим услугам любые женщины. Они тебе и покуривают, и попердывают, и все в шелках. Захочешь предъявить свой счет — пожалуйста, отправляйся.

И Жожо понесло. Глаза его блестели от возбуждения. Он принялся с жаром объяснять мне, что такое «бомба», о которой я слышал еще на руднике. Это маленький кусочек земли, не больше крестьянского носового платка, где по какому-то капризу природы гнездятся сотня, две, пять сотен, а то и тысяча карат алмазов. Стоит одному старателю найти «бомбу» в глухом месте, как о ней тут же всем становится известно. Будто срабатывает некий сверхъестественный телеграф. Старатели начинают стекаться отовсюду. Десяток человек быстро разрастается до сотни и тысячи. Они чуют золото и алмазы, словно голодная собака кость или гнилой кусок мяса. Достаточно кому-то найти алмазов больше обычного, глядишь — с юга, севера, запада и востока на это место прибывают люди всех национальностей. Сначала венесуэльцы. Крутой народ без определенного рода занятий и профессий. Им осточертело целый день махать киркой и рыть канавы за двенадцать боливаров. Они слышат зов джунглей и больше

не хотят, чтобы их семьи ютились в кроличьих клетках, поэтому знают, на что идут. Они будут работать от зари до зари в жесточайших климатических и погодных условиях. Они обрекают себя на несколько лет ада. Зато у их жен будет светлый, просторный дом, дети сыты и одеты и смогут посещать школу. Да еще и продолжить учебу после школы.

— И все это благодаря одной «бомбе»?

— Не будь идиотом, Папийон! Тот, кто нашел «бомбу», никогда уже не возвращается на прииски. Он богач до конца своих дней, если на радостях не свихнется настолько, что начнет кормить своего мула банкнотами в сто боливаров, смоченными в тминной или анисовой водке. А я тебе говорю о труженике из простого люда, который ежедневно будет находить маленькие, пусть даже крошечные, алмазы. Все равно он зарабатывает в десять-пятнадцать раз больше, чем в городе. Кроме того, он будет ограничивать себя во всем, поскольку там за все платят золотом или алмазами, но зато его семья сможет жить гораздо лучше.

— А еще откуда едут?

— Да отовсюду. Бразильцы, жители Британской Гвианы, тринидадцы, все, кто бежал от бесстыдной эксплуатации на фабриках, хлопковых плантациях или еще где. А есть и настоящие авантюристы, которые дышать не могут, если перед ними не открыты беспредельные горизонты. Они готовы поставить на кон последнее, но не упустить своего шанса: итальянцы, англичане, испанцы, французы, португальцы — всех не перечислишь! Ужас какие только сволочи не лезут в эти благословенные края! Ты даже представить себе не можешь, какие напасти их там поджидают: пираньи, анаконды, москиты, малярия, желтая лихорадка. Но Всевышний также рассыпал по этой земле золото, алмазы, топазы, изумруды и иные богатства! И люди копошатся в своих ямах, стоя в воде по пояс. Работа адская: забываешь про солнце, комаров, голод и жажду. Роешь и копаешь, роешь и копаешь, словно крот, выбрасывая на поверхность глинистый грунт. Затем пропускаешь его много раз через сито — промываешь, промываешь и промываешь, с единственной целью — найти алмазы. Более того, просторы Венесуэлы огромны, и в джунглях не встретишь

никого, кто бы потребовал у тебя документы. Так что прелесть не только в алмазах, но и в полной уверенности, что ни один фараон тебя не побеспокоит. Райский уголок, если ты в бегах и хочешь перевести дух.

Жоже закончил рассказ. Он ничего не упустил, теперь мне все известно. После минутного размышления я ответил:

— Поезжай один, Жоже. Работенка не по мне: не потяну. Надо быть одержимым и верить, как в божество, в то, что удасться отыскать проклятую «бомбу» в подобном аду! Ты — другое дело. Да, поезжай один. А я поищу свою «бомбу» в Каракесе.

И снова жесткий взгляд Жоже прошел меня насквозь.

— Понял. Ты не изменился. Хочешь знать, что я в действительности о тебе думаю?

— Валяй.

— Ты уезжаешь из Кальяо, потому что тебе не дает покоя груда золота, что лежит на руднике «Ла Мокупия» без должного присмотра. Так или нет?

— Так.

— Ты отступился от нее, поскольку не хочешь осложнять жизнь бывшим энкам, нашедшим здесь тишь, и гладь, и Божью благодать. Так или нет?

— Так.

— Ты полагаешь, что там, куда я предлагаю двинуть, можно пройти мимо «бомбы» по принципу: много желающих — мало избранных. Так или нет?

— Совершенно верно.

— И «бомбу» ты предпочитаешь поискать в Каракесе, готовенькую, в огранке, у ювелира или оптовика.

— Возможно, но не уверен. Посмотрим.

— Да, ты действительно закоренелый авантюрист, тебя только могила исправит.

— Ну не скажи! Ты забываешь о той занозе, которая торчит у меня в груди и постоянно кровоточит, — жажде мести. Ради нее я пойду в огонь и воду.

— Мечь или авантюра, но тебе нужны бабки! Вот что, поедем со мной в буш. Ты увидишь, там чертовски здорово!

— С киркой и лопатой? Не для меня!

— У тебя что, сильный жар, Папийон? Или ты спятил со вчерашнего дня, почувствовав себя вольной птицей?

— У меня такого ощущения нет.

— Однако ты забыл главное! Мое имя — Жожо Ставка.

— Согласен. Ты игрок-профессионал. Но я не вижу никакой связи с идеей работать как вол.

— И я не вижу, — говорит он, корчась от смеха.

— Как? Значит, не надо отправляться на прииски, чтобы добывать алмазы из земли? Откуда же мы их тогда возьмем?

— Из карманов старателей.

— Но каким образом?

— Играя по ночам в кости и иногда проигрывая.

— Понял, старина. Когда отправляемся?

— Минуточку.

Довольный произведенным впечатлением, он с трудом поднялся из-за стола и передвинул его на середину комнаты. Затем расстелил на нем шерстяное одеяло и достал шесть пар играль-ных костей.

— Посмотри-ка на них хорошенько.

Я принялся внимательно рассматривать. Кости как кости.

— Никто не может сказать, что кости с подвохом. Так или нет?

— Никто.

Из замшевого футляра он вынул штангенциркуль и протянул его мне.

— Измерь.

Одна из сторон кости была спилена и тщательно отполиро-вана. Убрано меньше десятой доли миллиметра. Прекрасно сра-ботано.

— А ну, попробуй выбросить семь или одиннадцать.

Я бросил. Ни семи, ни одиннадцати.

— А теперь я.

Он намеренно сделал на одеяле чуть заметную складку и взял кости, удерживая их кончиками пальцев.

— Это называется «пинцет», — пояснил Жожо. — Я бросаю! Вот тебе семь! И одиннадцать! И одиннадцать! И семь! Хочешь шесть? Р-раз — и шесть! Можно и так: четверка и двойка — шесть! Пятерка и единица — шесть! Надеюсь, вы довольны, мсье?!

Я просто остолбенел. Никогда ничего подобного не видел. Жожо ни в чем нельзя было заподозрить или как-то прищучить.

— Приятель, я никогда не расстаюсь с костяшками. Играю постоянно. Начал еще в восемь лет. Рисковал появляться с такими же костями, где бы ты думал? За игорным столом на Восточном вокзале! Во времена Роже Соля и компании!

— Что-то припоминаю. Там собирались серьезные ребята.

— Не то слово! Среди завсегдатаев помимо налетчиков, сутенеров и взломщиков попадались и такие знаменитости, как фараон-сутенер Жожо Красавчик из сыскной полиции и специалисты из бригады по азартным играм. И они продували мне так же, как и другие. Теперь видишь, ничего страшного нет, если мы поиграем в кости на приисках.

— Согласен.

— Заметь, оба места одинаково опасны. Мошенники с Восточного вокзала были скоры на расправу. Не уступают им и старатели, но только с одной разницей: в Париже сорвал куш — и смотался. А на приисках загреб — и остаешься на месте. У старателей нет полиции, зато есть свои законы.

Он замолк и медленно опустошил свой стакан.

— Ну как, Папийон, едешь со мной?

Я задумался, выжидая с ответом. Предложение было заманчивое. Риск большой, без всякого сомнения: старатели — это вам не мальчики из церковного хора. Но зато на приисках можно зашибить деньги. Давай, Папийон, иди ва-банк! Ставь на Жожо! И я повторил:

— Когда отправляемся?

— Завтра после полудня, если не возражаешь. В пять, когда спадет жара. Времени на сборы хватит. Сначала поедем ночью. У тебя есть ствол?

— Нет.

— А приличный нож?

— И ножа нет.

— Не беспокойся — у меня найдется. Чао!

По дороге домой я размышлял о Марии. Конечно, для нее лучше, если вместо Каракаса я отправлюсь в буш. С ней останется Пиколино. А завтра — в поход за алмазами! И семь, и одиннадцать!

Мысленно я уже был на приисках! Осталось только подучить цифры по-английски, испански, итальянски и португальски. А там — посмотрим!

Дома я застал Хосе. Стал ему рассказывать, что переменял решение: Каракас от меня никуда не уйдет, а завтра я отправлюсь с седовласым стариком-французом по имени Жожо к старателям на алмазные прииски.

— В качестве кого?

— Партнера, разумеется.

— Своим партнерам он всегда дает половину выигрыша.

— Это законное правило. Ты не знал кого-нибудь из тех, кто с ним работал?

— Трех.

— И много они сколотили?

— Точно не знаю. Но порядком. Каждый из них совершил три или четыре поездки.

— А потом что?

— Потом? Они не вернулись.

— Почему? Остались на приисках?

— Нет, умерли.

— А! От болезней?

— Нет, шахтеры убили.

— Ого! У Жожо, должно быть, башка здорово варит, если он выходит сухим из воды.

— Да, парень он толковый. Сам никогда много не выигрывает, но делает это руками партнера.

— Понятно. Значит, опасность подстерегает другого, а не его. Будем знать. Спасибо, Хосе.

— Теперь не поедешь, раз все знаешь?

— Последний вопрос. Скажи откровенно: есть реальная возможность вернуться живым с большими деньгами после двух-трех поездок?

— Конечно.

— Значит, Жожо богат. Почему же он снова отправляется туда? Я видел, как он грузил поклажу на мулов.

— Во-первых, я уже тебе сказал, что он ничем не рискует. Во-вторых, он никуда не собирался. Мулы не его, а тестя. А решил-ся он съездить за алмазами только потому, что встретил тебя.

- А как же груз, который он укладывал?
- А кто тебе сказал, что это его груз?
- О-хо-хо! Еще что-нибудь посоветуешь?
- Не езд.
- Только не это. Я уже решил и поеду. Что еще?

Хосе опустил голову, словно собираясь с мыслями. Прошла долгая минута. Когда он снова посмотрел на меня, лицо его прояснилось, но в глазах зажглись недобрые огоньки. Медленно, четко выговаривая каждое слово, он произнес:

— Послушай совет человека, который знает этот сброд как свои пять пальцев. Каждый раз, когда будешь играть по-крупному, очень по-крупному, и когда перед тобой вырастет горка алмазов, неожиданно вставай в самый разгар игры, забирай выигрыш и уходи. Скажи, что у тебя резь в животе, и беги в уборную. Не вздумай возвращаться. Переночуешь не у себя, а в другом месте.

— Неплохо, Хосе. Давай дальше.

— Хотя скупщики алмазов на приисках дают значительно меньше, нежели ты мог бы выручить за них в Кальяо или Сьюдад-Боливаре, продавай им свой ежедневный выигрыш. Только не бери деньгами, пусть дают расписки на твое имя для обмена в Кальяо или Сьюдад-Боливаре. Так же поступай и с иностранной валютой. Говори, что боишься спустить выигрыш за один день и при себе оставляешь маленькую сумму, чтобы не рисковать. Ничего не скрывай и говори о своих делах открыто, чтобы все знали.

— Значит, если я буду действовать, как ты сказал, у меня есть шанс вернуться?

— Да, такой шанс есть, но на все воля Божья.

— Спасибо, Хосе. Buenas noches¹.

Усталый и разомлевший от любовных утех, я лежал в объятиях Марии. Моя голова покоилась у нее на плече. Ее теплое дыхание щекотало щеку. В темноте перед открытыми глазами выросла горсть алмазов. Легко, как бы играя камешками, я ссыпал их в холщовый мешочек, какой имеется у каждого старателя. Вдруг я встал и, оглянувшись через плечо, обратился к Жожо:

¹ Доброй ночи! (исп.)

«Постереги мое место — схожу на минуту в туалет». И я заснул под лукавым взглядом глаз Хосе, ярких и лучистых, какие бывают только у людей, очень близких к природе.

Утро пролетело быстро. Все было улажено. Пиколино остался с Марией, а это значило, что за ним будет должный уход. Я обнялся и поцеловался со всеми по очереди. Мария сияла от счастья. Она знала, что если я уезжаю на прииски, то обязательно вернусь, в то время как из Каракаса люди не возвращаются, оседая там навсегда.

Мария проводила меня до самого места встречи с Жожо. Было пять часов. Жожо уже ждал меня в полной готовности.

— Привет, дружище! Как дела? Ты точен, это хорошо. Солнце закатится через час. А нам и лучше. Ночью не встретишь никого, кто захотел бы увязаться за тобой. Это уж наверняка.

Десяток прощальных поцелуев — и я взобрался на мула. Жожо поправил мне стремена. Перед тем как нам тронуться в путь, Мария предупредила:

— Не забывай, *mi atog*¹, вовремя ходить в туалет!

Я расхохотался и одновременно ударил мула каблуками в бок, тронув его с места.

— Ты подслушивала под дверью, маленькая притворщица.

— Когда любишь, это естественно.

И вот мы двинулись в путь: Жожо — на лошади, я — на муле.

У девственного леса свои дороги, и зовутся они просеками. Просека представляет собой проход шириной два метра, который постепенно прорубается в лесном массиве, постоянно расчищается и поддерживается в порядке теми, кто им пользуется. Справа и слева — две отвесные зеленые стены. Над головой — свод, образованный миллионами растений, такой высокий, что до него не дотянуться острием тесака, даже если привстать на стременах. Это сельва, как называют здесь тропический лес, — непроходимая двухъярусная чаща сплошной, переплетшейся между собой растительности. Нижний ярус не выше шести метров и состоит из лиан, деревьев и разных растений. Над ним величаво раскинулись широкие кроны гигантских деревьев, устремленные к солнцу на высоту двадцати—тридцати метров. И если

¹ Любовь моя (исп.).

самые маковки деревьев купаются в свете, то широкая и мясистая листва их разлапистых ветвей образует настоящий экран, не позволяющий солнечным лучам проникнуть далеко вниз, создавая у земли ощущение светлых сумерек. Дивная природа тропического леса словно вырывается из-под земли, окружая тебя со всех сторон. Проехать по просеке можно, только держа в одной руке поводья, а в другой мачете, беспрерывно вырубая вокруг себя все, что попадает на пути и мешает продвижению вперед. Если по просеке ездят часто, она имеет вид ухоженного коридора.

Нигде человек не чувствует себя более свободно, чем в буше, при условии, что он вооружен. Здесь он, подобно диким животным, ощущает свое полное слияние с природой. Он продвигается осторожно, но с безграничной уверенностью в себе. Кажется, он находится в своей стихии, все его чувства — слух, обоняние и другие — обострены. Глаза бегают из стороны в сторону, фиксируя все, что движется вокруг. В буше у него единственный враг, с которым надо считаться: самое дикое животное, самое умное, самое жестокое, самое коварное, самое алчное, но и самое замечательное — человек.

Ночью мы продвигались неплохо. Но утром, после того как мы выпили немного кофе из термоса, мой проклятый мул начал отставать. Иногда он тащился метрах в ста позади Жожо. Каких только колючек я не навтыкал ему в зад! Ничего не помогало. А тут еще Жожо стал подбрасывать шпильки:

— Приятель, да ты, я вижу, слабоват в верховой езде! Это же так просто. Смотри, как надо!

Стоило ему только слегка тронуть лошадь каблуками, как она неслась вскачь. Жожо приподнимался на стременах и орал:

— Я капитан Кук! Эй, Санчо, где ты? Почему отстаешь от своего господина Дон Кихота?

Меня это начинало раздражать, и я всеми средствами пытался заставить мула двигаться быстрее. Внезапно в голову пришла сумасшедшая, но вместе с тем показавшаяся мне превосходной мысль. И действительно, мул понесся галопом: я стряхнул ему в ухо пепел с зажженной сигары. Мул рванул, как чистокровный арабский жеребец; в диком восторге я настиг Жожо и обогнал самозваного «капитана Кука», отдавая честь на скаку. Однако

скачка продолжалась недолго. На полном скаку вредная скотина припечатала меня к дереву, едва не сломав мне ногу. Брякнувшись задницей на землю, я сразу почувствовал, как в меня впииваются десятки игл черт знает каких растений. Старый дурак Жожо хохотал, как ребенок, совершенно забывая, что он ровесник Мафусаила¹.

Не буду рассказывать, как мне пришлось ловить мула (два часа!), как он лягался, пердел и проделывает разные выкрутасы. Наконец, уже на последнем издыхании от жары и усталости и с несколькими дюжинами иголок в заднице, мне удалось взгромоздиться на спину этого вонючего ублюдка — отпрыска бретонских мулов. На сей раз я решил не раздражать его — пусть идет как хочет. Первый километр я проехал задницей кверху, по пути вытаскивая из нее колючки. Злополучная часть тела горела и саднила.

На следующий день мы оставили эту безмозглую скотину на постоялом дворе гостиницы. Еще два дня на лодке, и после долгого дневного перехода с грузом на спине мы добрались наконец до алмазных копей.

Я сбросил свою поклажу прямо на бревенчатый стол в ресторанчике под открытым небом. Я едва держался на ногах и готов был задушить Жожо лишь за то, что он выглядит как огурчик, только несколько капель пота проступили на лбу. Он взглянул на меня, язвительно усмехаясь:

— Ну как, дружище, порядок?

— О да, старик, полный порядок! А разве может быть иначе? Только скажи: зачем тебе понадобилось, чтобы я пер на себе кирку, лопату и сито? Мы же не собираемся здесь копать?

Лицо Жожо приняло печальное выражение.

— Папийон, ты меня разочаровываешь. Подумай маленько, пошевели мозгами. Если кто-то объявляется здесь без надлежащего инструмента, спрашивается, зачем он сюда приехал? Что собирается делать? Этот вопрос задают тебе сотни пар глаз, наблюдающих за твоим приездом в поселок. Они смотрят на тебя сквозь щели бараков. А при такой экипировке нет вопросов. Усек?

¹ *Мафусаил* — в Библии дед Ноя, проживший 969 лет. — *Примеч. переводчика.*

— Усек.

— Меня это тоже касается, хотя я прибыл сюда вроде бы ни с чем. Представь себе, вот я: хожу руки в брюки, затеваю игру, и больше ничего. Что в таком случае скажут старатели и их девки, Папи? Они скажут: глядите, мол, в оба, старый француз — профессиональный игрок. А как поступаю я? Постараюсь найти на месте подержанную мотопомпу; если не найду, мне ее привезут. К ней трубу метров двадцать большого диаметра да пару-тройку «шлюзов». Это такой желоб для промывания или длинный деревянный ящик с секциями, в котором просверлены отверстия. В этот аппарат помпой закачивается алмазонасная жижа, что позволяет бригаде из семи человек промыть породы в пятьдесят раз больше, чем это могут сделать двенадцать мужиков старым, дедовским способом. Здесь такая штука разрешена, и ее пока не рассматривают как «средство механизации». Как владелец мотопомпы я получаю свои двадцать пять процентов от намытых алмазов и оправдываю свое присутствие в здешних местах. Никто не ткнет в меня пальцем и не скажет, что я живу игрой. Меня кормит собственная мотопомпа. А поскольку я еще и игрок, то буду заниматься этим по ночам. Все вполне естественно. А в самой работе участия принимать не буду. Ясно?

— Яснее ясного.

— Ты мне начинаешь нравиться. Пару *frescos*¹, сеньора!

Полная светлая женщина с дружелюбным взглядом поднесла нам по стакану напитка светло-шоколадного цвета с кубиком льда и ломтиком лимона.

— Восемь боливаров, сеньоры.

— Больше двух долларов! Черт возьми, жизнь здесь недешева!

Жоjo расплатился.

— Как идут дела? — поинтересовался он у хозяйки.

— Так себе.

— Народу много?

— Народу хватает — алмазов мало. Три месяца, как открыли залежь, а понаехало аж четыре тысячи. Многовато, когда

¹ *Fresco* (исп.) — прохладительный напиток.

алмазов кот заплакал. А это кто? — добавила она, указывая на меня подбородком. — Немец или француз?

— Француз. Он со мной.

— Бедняга!

— Почему бедняга? — спросил я.

— Молод потому что и хорош собой. Все, кто приезжает с Жожо, долго не живут.

— Заткнись, старая дура. Идем, Папи. Пойдем отсюда.

Мы поднялись из-за стола. На прощание толстуха бросила мне:

— Ты уж поосторожней тут.

Разумеется, я ничего не сказал о том, что узнал от Хосе, и Жожо был порядком удивлен тем, что я не заострил внимания на последних словах женщины и не требовал никаких объяснений. Я чувствовал, что он ждет от меня вопросов, но молчал. Он нервничал и бросал на меня косые взгляды.

Переговорив с разными людьми, Жожо вскоре нашел барак. Три комнатухи, кольца для подвешивания гамаков, большие картонные коробки. На одной из них стояли пустые бутылки из-под пива и рома, на другой — миска с отбитой эмалью и кувшин с водой. Между стенами были натянуты веревки для развешивания белья. Хорошо утрамбованный земляной пол. Довольно чистый. Стены сделаны из дощечек от упаковочных ящиков, на которых еще сохранились фирменные бумажные наклейки. Комнаты квадратные, три на три метра, без окон. Я буквально задыхался от жары и снял рубашку.

Жожо обернулся ко мне и отпрянул.

— Ты с ума сошел! А если кто войдет? Мало того что морда протокольная, так он еще выставляет напоказ свою расписанную шкуру. Смотрите, мол, какой я проходимец. Прошу тебя, опомнись, приятель. Веди себя прилично!

— Но мне жарко, Жожо.

— Пройдет, дело привычки. Самое главное, не забывайся, ради бога, соблюдай приличия!

Я едва сдерживался, чтобы не рассмеяться. Ему прямо не угодишь.

Мы вышибли ногами перегородку, и из двух комнат получилась одна.

— Здесь у нас будет казино, — весело сказал Жожо.

Получилась приличная комната, шесть метров на три. Подмели пол. Принесли с улицы три больших деревянных ящика, ром и бумажные стаканчики. Мне не терпелось увидеть, как пойдет игра.

Ждать пришлось недолго. Мы уже побывали в маленьких «забегаловках», чтобы, как выразился Жожо, «завязать контакты». Теперь все знали, что у нас в восемь вечера будет игра в кости. Последним на нашем пути оказалось быстро, приютившееся в небольшом бараке. Два стола под открытым небом, четыре скамьи и карбидная лампа, подвешенная под стрехой крыши. Хозяин, рыжеволосый великан неопределенного возраста, молча подал нам пунш. Когда мы собирались уходить, он подошел ко мне и обратился по-французски:

— Я не знаю, кто ты, и знать не хочу. Только один совет: если однажды тебе потребуется переночевать у меня, приходи. Я за тобой присмотрю.

По необычному французскому выговору я понял, что он с Корсики.

— Корсиканец?

— Да. И тебе известно, что корсиканец никогда не предаст. Не то что некоторые субчики с севера, — добавил он, многозначительно улыбаясь.

— Спасибо, буду иметь в виду.

Было около семи, когда Жожо зажег карбидную лампу. На полу мы разостлали два одеяла. Стульев не было. Клиенты должны были играть стоя или сидя на корточках. Решили, что я пока не стану вступать в дело, просто наблюдаю за игрой.

Стали прибывать гости. Рожи — одна хлеще другой. Низкорослых оказалось мало, все сплошь усатые и бородатые здоровяки. В опрятности им не откажешь: физиономии умыты, руки чистые. Одежда, правда, изрядно пообтрепалась и местами в пятнах, но дурного запаха нет. Все в безупречно свежих рубашках, в основном с коротким рукавом.

В центре на коврик в небольших коробках лежало восемь пар игральные кости. Жожо попросил меня выдать каждому игроку по бумажному стаканчику. Я раздал двадцать штук. Принялся разливать ром. Ни один не поднял горлышко бутылки

вверх, чтобы дать понять, что ему достаточно. Прошелся по кругу, и трех бутылок как не бывало.

Каждый игрок отхлебнул из своего стаканчика, поставил его перед собой, а рядом положил тубик из-под аспирина. Я знал, что в этих тубиках лежат алмазы. Никто не извлек на свет божий знаменитый холщовый мешочек. Старик-китаец дрожащими руками, словно в лихорадке, установил перед собой небольшие весы, какими пользуются ювелиры. Все делалось молча, редко кто произносил хоть слово. Страшно подумать, каких физических усилий стоил этим людям старательский труд, под палящими лучами солнца, зачастую по пояс в воде, от восхода и до заката.

Постепенно стало намечаться некоторое движение. Один, потом двое, затем еще трое игроков взяли игральные кости и принялись внимательно их рассматривать. Они плотно прижимали одну кость к другой, притирали, вертели в пальцах и передавали соседу. Кажется, все было в полном порядке — ибо кости сбрасывались на одеяло без малейших замечаний. Каждый раз Жожо подбирал проверенную пару костей и отправлял ее в коробку. Последняя пара осталась лежать на одеяле.

Те, кто снял рубашки, жаловались на комаров. Жожо попросил меня зажечь несколько пучков влажной травы, чтобы дымом как-то разогнать обнаглевших кровососов.

— Кто бросает? — спросил детина, медно-красный от загара, с густой курчавой черной бородой. На правой руке у него красовался криво выколотый цветок.

— Начинай ты, если не возражаешь, — ответил Жожо.

Из-за поясного ремня, украшенного посеребренными гвоздями, горилла — а он действительно смахивал на гориллу — вытащил тугую пачку боливаров, стянутую резинкой.

— Сколько ставишь для начала, Чино? — спросил его сосед.

— Пятьсот боло («боливар» сокращенно).

— Ладно, пятьсот.

Кости брошены. Выпала восьмерка. Жожо попытался выбить восьмерку.

— Ставлю тысячу, что ты не выкаатишь восьмерку четверочным дуплетом.

— Принимается, — ответил Жожо.

Чино выбил восьмерку пятеркой и тройкой. Жожо проиграл. Партия продолжалась пять часов. Без криков и протестов. Чувствовалось, что схлестнулись настоящие игроки. За вечер Жожо спустил семь тысяч, а один парень с негнущейся ногой — более десяти тысяч.

Условились закончить в полночь, но по общему согласию решили продлить игру еще на часок. В час ночи Жожо объявил, что бросает последний раз.

— Я открыл партию, — сказал Чино, забирая кости, — я ее и закрою. Ставлю на кон весь свой выигрыш: девять тысяч боливаров.

Перед ним лежала куча из купюр и алмазов на указанную сумму. Она покрывала ставки всех остальных игроков. С первого захода он выбил семерку.

После такого удачного броска среди игроков впервые пронесся легкий возбужденный говорок. Люди засобирались к выходу.

— Пора спать.

— Ну, все видел, приятель? — спросил меня Жожо, когда мы остались одни.

— Да. Рожи особенно впечатляют. Они все вооружены до зубов — и ножами, и стволами. Некоторые даже сидели на тесаках, острых как бритва. Таким раз махнешь — и голова с плеч.

— Верно. Но ты ведь и не таких видал.

— Возможно. Но когда я играл на островах, ни разу не чувствовал себя в такой опасности, как сегодня.

— Дело привычки. Завтра ты сыграешь и выиграешь. Дело в шляпе. Как, по-твоему, за кем здесь надо больше всего следить?

— За бразильцами.

— Bravo! Только такой оценки заслуживает человек, способный мгновенно распознать тех, кто может представлять опасность для его жизни.

Закрыв крепко-накрепко дверь (на три запора), мы бросились в гамаки, и я поспешил заснуть, прежде чем храп Жожо смог бы мне помешать.

Следующий день выдался солнечным и жарким. На небе ни облачка, никакого намека хотя бы на слабый ветерок. Я пошел

прогуляться по поселку ради любопытства. Люди там жили приветливые. Правда, рожи некоторых из них вызывали беспокойство, но, на каком бы языке они ни говорили, человеческая теплота чувствовалась при первом же контакте. Я отыскал рыжего верзилу-корсиканца. Его звали Мигель. По-испански он говорил довольно сносно, хотя и вставлял то и дело английские и португальские слова. И только когда он с трудом заговорил по-французски, стало ясно, что имеешь дело с корсиканцем по характерному акценту. Молодая метиска разлила коричневый кофе, процеженный через носок. За разговором он спросил:

— Ты откуда?

— После твоего вчерашнего предложения врать не стану: с каторги.

— А! Бежал? Хорошо, что сказал мне об этом.

— А ты?

Он выпрямился во весь свой двухметровый рост, и лицо его под рыжей шапкой волос приняло исполненное достоинства выражение.

— Я тоже беглец, но не из Гвианы. Прознав, что меня собираются арестовать, я рванул с Корсики. Я — «бандит чести».

Меня поразило, с какой гордостью он называл себя честным человеком. Действительно, какое это великолепное зрелище — увидеть «бандита чести»! Он продолжал:

— Корсика — это рай земной. Это единственная страна, где мужчины умеют отдавать жизнь ради чести. Ты так не считаешь?

— Не знаю, единственная ли это страна, но мне кажется, что в лесных зарослях можно найти гораздо больше людей чести, чем просто бандитов.

— Я не люблю городских бандитов, — произнес он задумчиво.

В двух словах я изложил ему свою историю и сообщил, что собираюсь в Париж свести кое с кем счеты.

— Ты прав, но мстить надо на холодную голову. Действуй осторожно. Будет страшно обидно, если тебя спапают до того, как ты сумеешь отомстить. Ты с Жожо приехал?

— Да.

— Прямой человек. Говорят, большой мастер играть в кости. Но я не думаю, что он жульничает. Ты его давно знаешь?

— Не очень. Да какая разница!

— Знаешь, Папи, чем больше играешь, тем лучше узнаешь людей. Но мне не нравится одна вещь.

— Что такое?

— Двух или трех его напарников убили. Поэтому я и сделал тебе вчера такое предложение. Будь осторожен. Как почувствуешь что-то неладное, приходи сюда без колебаний.

— Спасибо, Мигель.

Да, любопытный поселок, любопытное смешение людей, затерянных в буше, ведущих трудную жизнь на лоне природы. У каждого своя история. Испытываешь удивительные чувства, когда смотришь на них, а слушать их рассказы — одно удовольствие. Что представляют собой бараки, в которых они ютятся? Крыши из пальмовых листьев или оцинкованного железа, доставленного сюда бог весть как. А стены? Они слеплены из картонных коробок или деревянных ящиков, а иногда даже из полотнищ мешковины. Кроватей нет, только гамаки. Спят, едят, моются, занимаются любовью почти на улице. И все же никому не придет в голову откинуть угол подвешенной тряпки или подглядывать в щель между досками, чтобы узнать, что происходит внутри. Здесь каждый уважает личную жизнь другого. Если хотя бы кто-то навестить, то, не доходя до дома метра два, кричат вместо звонка:

— Есть кто дома?

Если кто-то есть, но он не знает тебя, то ты говоришь:

— *Gentes de paz!*¹ — что означает: «Я — друг».

Тогда человек появляется на пороге и приглашает:

— *Adelante. Esta casa es suya*².

Перед крепким бараком я увидел стол, сложенный из плотно пригнанных друг к другу бревен. На столе были разложены кольца из натурального жемчуга с острова Маргариты, несколько маленьких золотых самородков, наручные часы, кожаные ремешки к ним и металлические браслеты, много будильников.

¹ Мир людям! (*исп.*)

² Входите, почувствуйте себя как дома (*исп.*).

Это называлось ювелирной лавкой Мустафы.

За прилавком стоял пожилой араб с симпатичной физиономией. Разговорились. Он оказался марокканцем и сразу же признал во мне француза. Было уже пять часов вечера, и он поинтересовался:

— Ты поел?

— Нет еще.

— Я тоже не ел, а подкрепиться пора. Не откажись разделить со мной обед.

— С удовольствием.

Мустафа — предупредительный, сердечный и вместе с тем веселый человек. Целый час мы с ним проболтали за милую душу. Он не был любопытен и не спрашивал, откуда я явился.

— Смешно, — сказал он, — но у себя на родине я не любил французов, а здесь они мне нравятся. Ты знал арабов?

— Многих. Случалось встречать и очень хороших, и очень плохих.

— У всех народов так. Вот я, Мустафа, отношу себя к хорошим людям. Мне сейчас шестьдесят. Гожусь тебе в отцы. У меня был сын, но в тридцать лет он погиб — застрелили два года назад. Красивый был парень и хороший.

На глаза Мустафы навернулись слезы, которые он едва сдерживал.

Я опустил руку ему на плечо. Бедный отец, расчувствовавшийся от воспоминаний о сыне, напомнил мне о моем собственном отце: должно быть, и он в своем маленьком домике в Ардеше выплакал все глаза, думая обо мне. Бедный отец! Хотелось бы знать, где он сейчас и что делает. Я уверен, что он еще жив, я это чувствую. Будем надеяться, что война его пощадила.

Мустафа пригласил меня заходить к нему в любое время, если я проголодаюсь. А если мне что-нибудь понадобится, он будет рад мне услужить.

Близился вечер. Поблагодарив Мустафу за гостеприимство, я направился к своему бараку. Скоро должна была начаться игра. Встречи с Мигелем и Мустафой согрели мне сердце.

Я не опасался за исход своей первой игры. «Кто не рискует, тот не пьет шампанского», — сказал мне Жожо. Он прав. Если я собираюсь подложить чемодан со взрывчаткой на набережной

Орфевр, 36, и повернуть еще кое-что, то мне нужны бабки, очень большие бабки. И скоро они у меня будут.

Поскольку сегодня была суббота, а воскресенье для шахтеров — святой день отдыха, игра начнется только в девять вечера и будет продолжаться до восхода солнца. Собралась уйма народа, в одной комнате всем не поместиться. Даже не протолкнуться. Жожо отобрал тех, кто играл по-крупному. Набралось двадцать четыре человека. Остальные разместились на улице. Я сходил к Мустафе, и он любезно одолжил мне большой ковер и карбидную лампу. По мере того как большие мастера будут выбывать из игры, их смогут заменить те, кто играет на открытом воздухе.

Ва-банк, и еще раз ва-банк! Я без устали бил все ставки, когда кости бросал Жожо. «Два против одного, что он не сделает шестерик троечным дуплетом... десятку пятерочным дуплетом и т. д.». Глаза у игроков разгорались: каждый раз, как кто-то поднимал вверх свой стаканчик, мальчик лет одиннадцати подливал ему рома. Мы с Жожо договорились, что напитками и сигаретами нас будет снабжать Мигель.

Партия быстро дошла до точки кипения. Не спрашивая разрешения у Жожо, я сменил тактику: стал играть не только на него, но и на других. Он нахмурил брови, закурил сигару и процедил сквозь зубы:

— Уймись, приятель. Не пересоли кашу — она и так соленая.

К четырем утра передо мной выросла внушительная стопка боливаров, крузейро, американских и антильских долларов, алмазов, в ней нашлось место и нескольким золотым самородкам.

Жожо взял кости. Поставил пятьсот боливаров. Я наварил кон тысячей.

И... семерка!

Я проиграл две тысячи. Жожо забрал из банка свои пятьсот.

И... снова семерка!

— Что ты делаешь, Энрике? — спросил Чино.

— Ставлю четыре тысячи.

— Иду на все.

Я покосился на бросившего вызов нахала: коренастый середнячок, черный, как вакса, глаза налиты кровью под действием алкоголя. Несомненно бразилец.

- Выкладывай четыре тысячи.
- Этот камешек стоит дороже.

Он бросил перед собой на одеяло алмаз. Сам примостился рядом на корточках. Голый по пояс, в розовых шортах. Китаец схватил алмаз и положил на весы.

- Тянет на три тысячи пятьсот.
- Иду на три пятьсот, — сказал бразилец.
- Бросай, Жожо!

Жожо метнул, но бразилец быстрым движением руки перехватил кости, не дав им остановиться. Мне стало интересно, что произойдет дальше. Бразилец, едва взглянув на кости, плюнул на них и вернул Жожо, приговаривая:

- Бросай мокренькие. Давай-давай мокренькие.

— Принимаешь, Энрике? — спросил Жожо и посмотрел на меня.

- На твое усмотрение, старина.

Жожо хлопнул левой рукой по одеялу, взбивая складку, и бросил кости, не вытирая. Они покатались по длинной дуге.

И... опять семерка!

Бразилец вскочил на ноги, словно подброшенный пружиной, его ладонь опустилась на рукоять револьвера. Спohватившись, он выдавил из себя:

- Моя ночка еще не настала.

И вышел вон.

Когда бразилец вскочил на ноги, как чертик из табакерки, я тут же схватился за свой наган; оружие уже стояло на взводе. Жожо не шелохнулся и не подал виду, что собирается защищаться. А ведь именно его черный выбрал своей мишенью. Я понял: мне надо еще многому научиться, чтобы точно знать, в какой момент следует выхватывать оружие и стрелять.

Игра закончилась с восходом солнца. От сожженной влажной травы, выкуренных сигар и сигарет в комнате дым стоял коромыслом и до слез щипало глаза. Ноги совершенно занемели: я просидел более девяти часов, поджав их под себя. Одно меня очень радовало: я ни разу не поднялся и не сходил в уборную, что определенно указывало на то, что я владел своими нервами и мог постоять за себя.

Спали мы до двух часов дня.

Когда я проснулся, Жожо в комнате не было. Стал натягивать на себя штаны — в карманах пусто. Должно быть, все выгреб Жожо! Говно какое! Пока не произведены подсчеты и не поделены барыши, ему не следовало этого делать. Слишком много на себя берет. Подумаешь, начальник нашелся! Я никогда не был ни бугром, ни шестеркой, но и не терплю тех, кто корчит из себя делового.

Выйдя из барака, я направился к Мигелю, где и застал Жожо. Он уплетал макароны с мясом.

— Порядок, старик? — спросил он меня.

— И да и нет.

— А почему нет?

— Потому что тебе не следовало очищать мои карманы в мое отсутствие.

— Не будь идиотом, парень! Я человек прямой и честный. И если я это сделал, то только потому, что наши отношения строятся исключительно на взаимном доверии. Начнем с того, что во время игры ты мог положить свои бабки и алмазы мимо карманов. С другой стороны, ты не знаешь, сколько выиграл я. Значит, вместе чистить карманы или порознь — нет никакой разницы. Все дело во взаимном доверии.

Он был прав. Не стоило продолжать этот разговор. Жожо рассчитался с Мигелем за ром и табак. Я спросил его, не покажется ли тем типам несуразным, что он расплачивается за их курево и выпивку?

— Но это же не я плачу! Каждый, кто крупно выигрывает, оставляет часть денег на это дело. И все об этом знают.

Такое житье-бытье продолжалось все вечера напролет. Мы находились здесь уже две недели, и все это время шла адская игра, в которой самой крупной ставкой могла оказаться наша собственная жизнь.

Вчера всю ночь шел проливной дождь. Темень стояла жуткая — хоть глаз выколи. Один клиент, сорвав приличный банк, прекратил игру и засобирался на выход. За ним увязался верзила, сидевший в стороне и не игравший какое-то время, поскольку продулся в пух и прах. Через двадцать минут невезучий верзила вернулся и принялся играть как одержимый. Я решил, что

выигравший одолжил ему денег, но чтобы столько — это казалось совсем уж невероятным. А днем открылось, что выигравший убит. Его зарезали ножом метрах в пятидесяти от нашего барака. Я решил поговорить об этом с Жожо и высказать свои соображения.

— Это не наше дело. В следующий раз будет внимательнее.

— Ты несешь вздор, старик. Не будет для него следующего раза — он мертв.

— Верно, но что делать?

Разумеется, я воспользовался советами Хосе и следовал им неукоснительно. Каждый день я продавал иностранную валюту, золото и алмазы скупщику-ливанцу, владельцу ювелирного магазина в Сьюдад-Боливаре. Перед его бараком стояла табличка с надписью: «Здесь покупают золото и алмазы по хорошей цене». И ниже: «Честность — мое самое большое богатство».

Кредитные расписки я складывал в конверт, смоченный соком балаты — буквально пропитанный свежим латексом. Они подлежали оплате при личном предъявлении. Никто, кроме меня, не мог получить по ним деньги, равно как и перевести их на другое имя. Все залетные птички в поселке знали об этом, и если кто-то из них проявлял излишнее беспокойство или не говорил ни по-французски, ни по-испански, я показывал им расписки. Таким образом, я подвергал себя опасности только в процессе или по завершении игры. Иногда добрый Мигель заглядывал к нам в конце партии и уводил меня с собой.

Вот уже два дня меня не покидало чувство, что вокруг игры сгущаются тучи, отношения натягиваются и зреет скрытая злоба. Чуть неладное я научился еще на каторге. Когда в нашем бараке на островах что-то затевалось, тайное и нехорошее, ощущение тревоги тут же непостижимым образом передавалось всем. Может, это объясняется тем, что человек в состоянии опасности способен улавливать мысли тех, кто готовит удар? Не знаю. Но я никогда не ошибался в подобных случаях.

Вчера, например, четверо бразильцев всю ночь жались по темным углам нашей комнаты. Изредка кто-нибудь из них выходил на свет лампы к одеялу и делал смехотворную ставку. Сами они в руки кости не брали и даже не просили. Имелась и еще одна заваyka: ни один не держал на виду оружия — ни мачете, ни

ножа, ни револьвера, — что никак не вязалось с их звериными рожами. Я был уверен, что это неспроста.

Сегодня вечером они опять пришли. Рубашки у них были выпущены поверх штанов, поэтому можно было предположить, что под рубашками стволы. Конечно же, бразильцы снова расселись по темным углам, но я их хорошо видел. Не отрывая глаз, они внимательно следили за жестами игроков. Мне нужно было наблюдать за ними с таким расчетом, чтобы они этого не заметили. Закашлявшись, я отклонялся назад, прикрывая рот рукой. К несчастью, в поле моего зрения попадались только двое — напротив. Другие двое сидели сзади, и я не мог их видеть, разве что украдкой, когда отворачивался и сморкался в платок.

Жожо держался необычайно хладнокровно. Застыл как статуя. Теперь и он время от времени делал ставки на других, когда выигрыш или проигрыш зависел только от случая. Я знал с его слов, что такая тактика его раздражала, так как обязывала дважды или трижды отыгрывать те же деньги, пока они не переходили к нему насовсем. И только когда игра достигала высшей точки накала, Жожо становился непомерно жаден до выигрыша, и тугие пачки очень быстро приплывали ко мне.

Я знал, что те парни за мной наблюдают, поэтому откровенно оставлял деньги лежать перед собой. Сегодня я никак не был заинтересован играть роль сейфа.

Два-три раза я быстро сказал Жожо на жаргоне, что, мол, слишком много я загребаю. Он сделал вид, что не понимает. Вчера я разыграл комедию с уборной и не вернулся; сегодня, размышляю я, эти негодяи, если они вышли на дело, не будут ждать моего возвращения: они перехватят меня между уборной и баром.

Я чувствовал, что напряжение растет и четыре морды по углам заметно нервничают. Особенно один подонок, который непрерывно курил одну сигарету за другой.

Тогда я раздухарился: стал бить ставки налево и направо, не смотря на ворчание Жожо. В довершение всего пошла такая пруха, что я все время оказывался в выигрыше, и моя куча, вместо того чтобы таять, здорово выросла. Чего только не скопилось передо мной, но в основном банкноты в пятьсот боливаров,

и я настолько завелся, что, принимая кости, положил зажженную сигарету на эти деньги, и одна пятисотенная бумажка прожглась в двух местах, так как была сложена вдвое. Я бросил на кон ее и еще три по пятьсот и мигом спустил две тысячи. Сорвавший банк поднялся и, сказав всем: «До завтра!» — ушел.

В пылу игры я совсем не замечал, как бежит время, и вдруг, к собственному изумлению, снова увидел знакомую бумажку на ковре. Я хорошо помнил, кто ее выиграл: белый бородач лет сорока, худущий-прехудущий, с бледным пятном на мочке левого уха, простирающимся сквозь загар. Но его здесь не было. Понадобилось две секунды, чтобы восстановить в памяти подробности: он вышел один. Конечно же один. Никто из четверки локачей даже не сдвинулся с места. Значит, у них есть пара сообщников на улице. Пожалуй, у этих ухарей отработана система оповещения, позволяющая прямо с места предупреждать, кто пошел на выход и есть ли при нем бабки и алмазы.

Мне не удалось установить, кто мог войти в комнату с момента ухода тощего, поскольку многие играли стоя. А те, кто сидел, так и остались сидеть. Их тоже было много. Они тут сидели часами; как только бородач ушел, кто-то сразу занял его место.

И все-таки кто бросил на кон эту купюру? Я готов был схватить ее и поставить вопрос ребром. Нет, это слишком рискованно.

То, что мне грозила опасность, не вызывало никаких сомнений. Доказательства были налицо: бородачу подстроили самоубийство. Нервы мои были напряжены до предела, но пока я держал их в узде. Стал лихорадочно соображать, что же такое предпринять? Было четыре часа утра. До рассвета оставалось два с четвертью. В тропиках день наступал внезапно: в шесть пятнадцать уже светлым-светло. Значит, что-то должно было произойти между четырьмя и пятью; еще очень темно. Я только что выходил под предлогом глотнуть свежего воздуха у дверей. Аккуратно сложенный выигрыш оставил на месте. На улице ничего подозрительного не заметил.

Вернувшись, я уселся на свое место. Я старался не подавать виду, но при этом держался настороже. Затылком я чувствовал, как две пары глаз сверлят меня насквозь.

Жожо бросил кости. Я не стал бить его ставки, позволив сделать это другим. Он рассердился. Перед ним быстро выросла куча денег.

Игра перегрелась. Ничем не выдавая, что готов принять меры предосторожности, внешне спокойно и нормальным тоном я обратился к Жожо по-французски:

— Чувствую, в воздухе пахнет жареным, уверен на сто процентов. Поднимайся вместе со мной. Стволами будем прикрывать отход и добычу.

Улыбаясь, словно делая мне приятное одолжение, Жожо ответил тоже по-французски. В его словах, как и в моих, не чувствовалось никакого опасения, что нас могут понять.

— Мой дорогой друг, к чему эти глупости? Прикрываться? От кого именно?

Действительно, от кого? Под каким предлогом? Но вижу, вот-вот что-то произойдет: парень с вечной сигаретой в зубах залпом осушил два стакана рома один за другим.

Отвалить одному? Но в такой темноте ничего не выйдет — даже с дулом в руке. Те двое, что на улице, меня увидят, а я их нет. Броситься в соседнюю комнату? Еще хуже. Девять против десяти, что там уже сидит один из шайки, — ничего не стоит оторвать доску снаружи и забраться сюда.

Оставался только один выход: на глазах у всех собрать весь выигрыш и запихать его в холщовый мешочек; затем, оставив мешочек лежать на месте, выйти, скажем, помочиться. Они не будут посылать сигнал, так как кубышки-то при мне нет. А в ней скопилось более пяти тысяч боло. Лучше потерять деньги, чем жизнь.

Впрочем, выбора нет. Это единственно правильное решение — избежать умело расставленного капкана, готового захлопнуться в любую минуту.

Весь план созрел в голове довольно быстро. Часы показывали без семи пять. Я сгреб деньги, алмазы, тубик из-под аспирина и засунул все это богатство в холщовый мешок. Привычным движением затянул тесемки, небрежно отодвинул мешок на длину вытянутой руки и произнес по-испански, чтобы все поняли:

— Присмотри за мешком, Жожо. Мне что-то неможется. Надо глотнуть свежего воздуха.

Жожо следил за каждым моим движением. Он протянул руку и сказал:

— Дай сюда. Здесь будет надежней.

С сожалением я протянул ему мешок, зная наперед, что теперь он подвергает себя опасности, неминуемой опасности. Но что делать? Отказаться? Невозможно — это может показаться странным.

Я вышел на улицу, держа руку на рукоятке нагана. В темноте я никого не заметил, мне и не нужно разглядывать тех, кто затаился в ночи. Быстро, почти бегом, я направился к Мигелю. Я еще сохранял надежду предотвратить страшный удар — хотел вернуться вдвоем, прихватив большой фонарь, чтобы разобраться, что происходит вокруг нашего барака. К сожалению, до Мигеля оставалось еще более двухсот метров. Я побежал.

— Мигель! Мигель!

— Что случилось?

— Скорее вставай! Возьми револьвер и лампу. У нас заварушка.

Бах! Бах! Два выстрела грянули в ночи.

Я бросился бежать. Сначала по ошибке сунулся в чужой барак. Меня обругали, спросив, однако, почему стреляют. Я побежал дальше. Вот и наша хибара. Света не было. Я щелкнул зажигалкой. Со всех сторон с фонарями спешили люди. В комнате было пусто. Жожо лежал на полу, из затылка обильно текла кровь. Он был жив, но без сознания. Восстановить картину произошедшего не составляло труда: электрический фонарик, забытый бандитами на месте преступления, объяснял, что произошло. Сначала выстрелом разбили карбидную лампу и следом огрели Жожо по голове. При свете фонарика собрали все, что находилось рядом с Жожо: мой холщовый мешочек и его выигрыш. Затем разорвали на нем рубашку и ножом или мачете разрезали широкий матерчатый пояс, который он носил на теле.

Разумеется, все игроки разбежались. Второй выстрел добавил им прыти. Между прочим, когда я вышел на улицу, народу

в комнате оставалось не так уж много: восемь человек сидели, двое стояли, те четверо торчали в углах, был еще мальчишка, разливавший ром.

Все предлагали мне свою помощь. Мы перенесли Жожо к Мигелю и уложили на кровать, сплетенную из гибких прутьев. Жожо не приходил в себя до утра. Кровь заеклась и перестала течь. Как выразился один старатель, англичанин, это было и хорошо, и плохо. Плохо потому, что если треснула черепная коробка, то будет кровоизлияние в мозг. Я решил не трогать и не двигать Жожо. Шахтер из Кальяо, его старый приятель, отправился на соседний прииск за врачом.

Я был раздавлен. Объяснил Мигелю и Мустафе, как все произошло. Они принялись меня утешать тем, что Жожо следовало бы меня послушаться, поскольку я заранее предупредил его о надвигающейся опасности.

Около трех часов пополудни Жожо открыл глаза. Ему дали несколько капель рома. Он выпил и с трудом пробормотал:

— Мои часы сочтены, я это чувствую. Не надо меня трогать. Ты не виноват, Папи. Это моя вина. — Он немного отдышался и еще добавил: — Мигель, за твоим свинарником зарыта коробка. Пусть одноглазый отвезет ее моей жене Лоле.

После нескольких минут просветления он снова впал в забытьё. Он умер на закате.

Жожо пришла проведать донья Карменсита, толстуха из первого бистро. Она принесла несколько алмазов да три или четыре ассигнации, которые подобрала утром в игорной комнате. А ведь сколько в этой комнате перебивалось народу! И надо же, никто не притронулся ни к деньгам, ни к алмазам!

На похороны собралась почти вся маленькая община. Пришли и четверо бразильцев. Как всегда, рубашки у них были на выпуск. Один подошел ко мне и протянул руку. Я сделал вид, что не заметил, и «дружески» похлопал его по животу. Я не ошибся: ствол был именно там, где я и предполагал.

Меня мучил вопрос: стоит ли мне предпринимать что-то против них? Сейчас? Или чуть позже? И что делать? Ничего. Уже поздно.

Мне хотелось побыть одному, но обычай требовал, чтобы после похорон я выпил стаканчик в каждом бистро, хозяин кото-

рого присутствовал на погребальной церемонии. Надо сказать, все они всегда присутствуют.

Когда мы появились у доньи Карменситы, она подошла и села рядом со мной, держа в руке стакан анисовой водки. Я поднял стакан за помин души, она тоже поднесла свой к губам, только с иной целью — скрыть от посторонних, что она говорит со мной:

— Лучше он, чем ты. Теперь можешь спокойно ехать, куда захочешь.

— Почему спокойно?

— Потому что многие знают, что все, что ты выигрывал, ты всегда продавал ливанцу.

— Да, а если убьют ливанца?

— Верно! Еще одна задача.

Я ушел один, оставив своих друзей за столом и сказав донье Карменсите, что за все выпитое заплачу я.

Проходя мимо тропинки, ведущей к так называемому кладбищу — расчищенному участку земли площадью пятьдесят квадратных метров, я свернул на нее, сам не знаю зачем.

На кладбище было восемь могил. Самая свежая принадлежала Жожо. Перед ней стоял Мустафа. Я подошел к нему.

— Что ты здесь делаешь, Мустафа?

— Пришел помолиться в память о старом друге. Я его любил. Вот и крест принес. Ты забыл поставить крест на могилу.

Черт! Как же так! О кресте я и не подумал. Пожал руку доброму арабу и поблагодарил его.

— Ты не христианин? — спросил он меня. — Я не видел, чтобы ты молился, когда бросали землю в могилу.

— Как сказать... конечно, Бог есть, Мустафа, — ответил я, чтобы сделать ему приятное. — Более того, я благодарен Господу за Его заступничество. Он защитил меня и не отправил на тот свет вместе с Жожо. Я не только молюсь за старика, но и прощаю его за все, что он совершил в прошлом, будучи несчастным мальчишкой из трущоб Бельвиля. Какому ремеслу научился он в жизни? Никакому, кроме игры в кости.

— О чем ты говоришь, друг? Я тебя не понимаю.

— Это неважно. Запомни одно: я искренне сожалею, что он мертв. Я пытался его спасти. Но никогда не надо думать, что ты

умнее других. На всякого мудреца довольно простоты. А Жожо здесь хорошо. Он обожал приключения. А теперь успокоился и спит вечным сном на лоне любимой им дикой природы. Да простит его Господь!

— Господь даст ему прощение. Жожо был хорошим человеком.

— Да, это так.

Я медленно побрел назад, к поселку. На Жожо я был не в обиде, хотя он чуть не подвел меня под монастырь. Чего только стоила его неумная, бьющая через край энергия, молодой задор, несмотря на шестидесятилетний возраст, и это менторство, вынесенное из преступного мира и не терпящее возражений: «Веди себя прилично! Ради бога, спокойно!» Хорошо, что меня предупредили. Я с удовольствием помолился бы, чтобы поблагодарить Хосе за совет. Не дай он мне его, меня бы уже не было в живых.

Тихонько раскачиваясь в гамаке, я курил толстые сигары одну за другой, чтобы успокоиться и разогнать комаров, и подводил итоги.

Итак, у меня десять тысяч долларов, а прошло лишь несколько месяцев, как я на свободе. И здесь, и в Калье мне встречались люди всех рас, всех социальных слоев, и каждый из них излучал необычайную человеческую теплоту. Благодаря им и дикой природе, этой атмосфере, столь отличной от городской, я понял, как прекрасна свобода, за которую мне пришлось так тяжело и долго бороться.

К тому же война закончилась. Спасибо Шарлю де Голлю и янки — этим пожарникам мира. А что значит какой-то каторжник в многомиллионном людском муравейнике! Тем лучше, мне это на руку: среди всех неразрешенных проблем найдутся дела поважнее, чем возиться со мной и выяснять, где я был.

Мне тридцать семь. Тринадцать лет я провел на каторге, из них пятьдесят три месяца в одиночном заключении во всех тюрьмах, начиная с Санте, Консьержери, центральной тюрьмы в Болье и кончая тюрьмой-людоедкой на островах Спасения. Меня трудно отнести к какой-то определенной категории людей. Я не из тех несчастных придурков, способных только махать киркой, ло-

патой или топором; но у меня нет и настоящей специальности, которая помогла бы мне стать хорошим рабочим, например механиком или электриком, чтобы зарабатывать себе на жизнь, неважно, в какой стране. С другой стороны, недостаточный уровень образования не позволяет мне занимать ответственные должности. Неплохо было бы в школе одновременно с общим образованием обучать детей какому-нибудь ремеслу. Если, скажем, по той или иной причине с учебой не заладилось, то ремесло всегда могло бы пригодиться в жизни. Просто со средним образованием, без ремесла, ты вряд ли сможешь почувствовать себя выше дворника (я никогда не презирал людей, кем бы они ни были, кроме багров и фараонов). Но и необразованному ремесленнику также трудно утвердиться как личность. Так и сидишь между двумя стульями: кажется, вот она, синяя птица счастья, — а не поймает!

Что же получается: я образован, но в то же время недостаточно. Черт возьми! Вывод, право, блестящим не назовешь.

Еще вопрос: как обуздать свой мятежный характер? Будь я нормальным человеком, я бы обрел мир и покой в Калье. Жил бы себе, как и остальные бывшие каторжники, тише воды ниже травы. Но у меня натура гораздо сложнее: вечно она зовет куда-то, рвется и кипит, жаждет бурного бытия. Жизнь, полная приключений, влечет меня с такой силой, что я задаю себе вопрос: смогу ли я когда-нибудь успокоиться и остановиться?

Правда, мне надо еще отомстить. Не могу же я простить тех, кто причинил столько страданий, столько зла мне и моим близким. Спокойно, Папи! Время еще есть! Верь в свою путеводную звезду. Раз обещал, так и живи честно в этой стране. Ты и так уже ввязался в авантюру, позабыв про зарок.

Тяжело, ох как тяжело жить, как живут все: повиноваться, как повинуются все, идти в ногу вместе со всеми, строго соблюдая правила.

Одно из двух, Папи: либо ты уважаешь законы благословенной Богом страны и отказываешься от мести, либо следуешь своей навязчивой идее. В последнем случае тебе придется добывать бабки авантюрным путем, ибо честным трудом столько не заработаешь.

В конце концов, я мог бы добыть нужное мне состояние и за пределами Венесуэлы. Неплохая идея. Посмотрим. Надо подумать. А теперь — спать.

Но, прежде чем уснуть, я не мог отказать себе в удовольствии выйти на порог, чтобы полюбоваться звездами и луной, послушать тысячеголосый крик и шум джунглей, окружавших поселок загадочной темной стеной, отражавшейся в ярком лунном свете.

А потом я заснул. Тихо раскачиваясь в гамаке, я ощущал бесконечное счастье оттого, что свободен, свободен, свободен и сам распоряжаюсь своей судьбой.

Глава четвертая

ПРОЩАЙ, КАЛЬЯО!

На следующий день около десяти утра я отправился к ливанцу.

— Значит, я приезжаю в Кальяо или в Сьюдад-Боливар, иду по адресам, которые ты мне дал, и получаю деньги по распискам?

— Совершенно верно. Поезжай спокойно.

— А если тебя тоже убьют?

— На тебе это никак не отразится. Тебе все равно заплатят.

Ты едешь в Кальяо?

— Да.

— Ты из какого региона Франции?

— Из Авиньона, недалеко от Марселя.

— Надо же! У меня есть друг-марселец. Правда, он сейчас далеко отсюда. Его зовут Александр Гигю.

— Кто бы мог подумать! Он мой близкий друг.

— И мой тоже. Очень приятно, что ты его знаешь.

— Где он живет и как с ним повидаться?

— Он в Бразилии, в Боа-Висте. Это далеко, и добраться туда непросто.

— Что он там делает?

— Он парикмахер. А найти его легко: спросишь парикмахера-дантиста, француза.

— Так он еще и дантист? — уточнил я, не удержавшись от смеха.

Александра Гигю я знаю хорошо. По-своему очень интересный тип. Его отправили на каторгу в том же тысяча девятьсот тридцать третьем году, что и меня. Мы вместе плыли туда,

и у него было полно времени, чтобы рассказать мне о своем деле во всех подробностях.

Однажды субботним вечером тысяча девятьсот двадцать девятого или тридцатого года Александр с напарником спокойно спустились с потолка в крупнейший ювелирный магазин Лисабона. До этого им потребовалось проникнуть в квартиру дантиста, расположенную над магазином: надо было изучить план здания, снять оттиски с замков входной двери и хирургического кабинета, убедиться, что на выходные дни дантист уезжает с семьей из квартиры. Пришлось заняться лечением зубов и несколько раз побывать на приеме. Александр запломбировал два зуба.

— Прекрасная работа, между прочим, — похвастался он. — Пломбы до сих пор стоят. Управились за две ночи. Сработали чисто и без шума, вскрыв два сейфа и небольшой стальной сундучок. В те времена, — продолжал Александр, — фотороботов еще и в помине не было, но проклятый дантист, должно быть, так наловчился давать словесные портреты людей, что полиция без лишних проволочек замела нас прямо на вокзале, когда мы собирались рвануть из Лисабона. Португальское правосудие приговорило нас к десяти и двенадцати годам каторги. Спустя некоторое время мы очутились на их каторге в Анголе, к югу от Бельгийского и Французского Конго. Бежать оттуда не составило никакого труда: за нами приехали на такси. Я, как последний идиот, направился в Браззавиль, а мой подельник — в Леопольдвиль. В Конго я немного погастролировал, и через несколько месяцев меня повязали. Впрочем, моего подельника тоже. Французские власти отказались выдать меня португальским и выслали во Францию, где отвалили мне, не скупясь, двадцать лет вместо десяти, полученных в Португалии.

Александр бежал из Гвианы. Я слышал, что сначала он очутился в Джорджтауне, а затем на буйволах окольными путями добрался до Бразилии.

А что, если навестить его? Съезжу-ка в Боа-Висту. Вот это мысль! На все сто!

Я отправился туда с двумя провожатыми. Они заверили меня, что хорошо знают дорогу в Бразилию, а заодно обещали помочь мне нести спальные принадлежности и продукты. Более

десяти дней мы блуждали по джунглям, но так и не сумели добраться до Санта-Елены, последней шахтерской деревушки у границы с Бразилией. На исходе второй недели мы оказались на золотом прииске Аминос, почти рядом с границей Британской Гвианы. С помощью индейцев мы вышли к речке Куюни и по ней добрались до маленького венесуэльского поселка Кастильехо. Там я купил мачете и напильники и отдал их индейцам в знак признательности. Там же бросил своих самозванных проводников, еле сдержавшись, чтобы на прощание не набить им морды: они знали эти места не лучше меня.

В конце концов я нашел в поселке человека, который действительно знал местность и вызвался меня проводить. На четвертый или пятый день я прибыл в Кальяо.

С наступлением ночи, измученный, усталый и тощий как щепка, я наконец постучал в дверь дома Марии.

— Приехал! Приехал! — что есть мочи закричала Эсмеральда.

— Кто? — донесся голос Марии из глубины другой комнаты. — Почему ты так кричишь?

Взволнованный радостью встречи после стольких недель отсутствия, я схватил Эсмеральду в охапку и ладонью зажал ей рот, чтобы не отвечала.

— Зачем поднимать такой шум, если кто-то приехал? — спросила Мария, выходя к нам.

И тут раздался крик, рвущийся из глубины сердца, крик радости, любви и сбывшейся надежды — Мария бросилась в мои объятия.

Потом я обнял Пиколино, расцеловал других сестер Марии, в общем, всех, кроме отсутствовавшего Хосе.

Вечером мы с Марией лежали в постели. Крепко прижавшись ко мне, она без устали задавала одни и те же вопросы: ей никак не верилось, что я пришел прямо к ней, не заглянув ни к Большому Шарло, ни в одно из кафе поселка.

— Скажи, ты пока останешься в Кальяо?

— Да, мне надо уладить кое-какие дела, поэтому я остаюсь на некоторое время.

— Тебе надо прийти в себя, подлечиться. Я буду тебя вкусно кормить. А когда ты отправишься в путь... Рана в моем сердце

останется на всю жизнь, но мне не в чем тебя упрекнуть, ты ведь меня предупреждал... Так вот, когда отправишься в путь, я хочу, чтобы ты был сильным и мог выпутаться из любых силков в Каракасе.

Кальяо, Уасипата, Упата, Тумеремо — небольшие деревушки с непривычными для европейца названиями, крохотные точки на карте страны, которая по площади в три раза больше Франции. Они затерялись на краю земли, на лоне удивительной природы, где слово «прогресс» ничего не значит, где мужчины и женщины, старые и молодые живут, как жили в Европе в начале века, — исполненные неподдельной страсти, щедрости, радости жизни, человечности... Редко кто из мужчин, кому сейчас за сорок, не испытал на собственной шкуре всех прелестей жесточайшей диктатуры Гомеса. Их преследовали, забивали до смерти без всякой причины. Любой представитель власти мог исполосовать их плеткой из бычьих жил. А с теми, кому в период с тысяча девятьсот двадцать пятого по тридцать пятый год было от пятнадцати до двадцати, обращались как со скотиной. Доставка им и от полиции тирана, и от вербовщиков, которые зачастую набрасывали на шею новобранца лассо и тянули его на веревке до армейской казармы. Это было время, когда какой-нибудь важный чиновник мог схватить красивую девушку, надругаться над ней и, ублажив свою похоть, выбросить ее на улицу. И если родители или братья осмеливались пошевелить хотя бы пальцем в ее защиту, то вся семья немедленно уничтожалась.

Были, конечно, восстания, граничившие с коллективным самоубийством. Повстанцы, такие как полковник Сапата, ценой своей жизни пытались отомстить диктатору. Но армия была скоро на расправу, и если кому-то, пройдя через пытки, удавалось сохранить жизнь, он все равно до конца своих дней оставался калекой.

И, несмотря ни на что, эти почти безграмотные люди из захолустных деревушек неизменно сохраняли любовь и веру в человека. Это постоянно служило мне уроком и трогало до глубины души.

Вот о чем я думал, прижавшись к Марии. Я страдал — это верно. Был несправедливо осужден — тоже верно, французские надзиратели — те же варвары, а может, еще пострашнее полицейских

и солдат тирана. Но вот я тут, цел и невредим, прошел путь опасных приключений. Очень страшных — это верно, но захватывающих дух! Я шел пешком, плыл в лодке, ехал верхом через джунгли, и каждый день был длиною в год. Я жил вне закона и без всяких законов, свободный от каких-либо ограничений, моральных барьеров, никому не подчиняясь. Жизнь была ключом и даже через край.

Я снова спрашивал себя: правильно ли я поступаю, уезжая в Каракас и оставляя это райское местечко? Снова и снова задавал я себе этот вопрос.

Следующий день принес плохие новости. Представитель ливанца, ювелир-коротышка, специализировавшийся на изготовлении орхидей из золота и жемчуга с острова Маргариты и других весьма оригинальных украшений, сообщил, что не может мне ничего выдать по кредитным распискам. Оказывается, ливанец задолжал ему кучу денег. Этого только не хватало! Вот так устроил свои дела! Ладно. Надо обратиться по другому адресу и добиться оплаты. Придется съездить в Сьюдад-Боливар.

— Вы знаете этого господина? — спросил я о ливанце.

— К сожалению, очень хорошо. Он аферист. Сбежал и прихватил с собой все и даже несколько редких вещей, которые я передал ему по закладным.

Если придурок говорил правду, то выходит, что как раз этого цветочка и недоставало в букете. Теперь я сидел на мели крепче, чем до поездки с Жожо. Отлично! Судьба преподносит сюрпризы! Такое могло произойти только со мной. Ну и нагрел же меня ливанец!

Опустив голову, я медленно побрел домой, ноги словно налились свинцом. Из-за каких-то несчастных десяти тысяч долларов я десять, двадцать раз бросал на кон собственную жизнь, а в результате где они? Даже центом не пахнет. Ну и гусь этот ливанец! Ни кости ему подпиливать не надо, ни заводить азартную игру, чтобы заработать деньги. И беспокоиться не о чем — «капусту» несут прямо на дом.

Но моя жажда жизни была сильнее отчаяния. «Ты свободен, пойми, ты свободен. Что толку хныкать и жаловаться на судьбу?! Разве только ради смеха, иначе это несерьезно! Накрыли твой

банк. Может, и так, но зато какая была игра! Делайте ваши ставки! Банк сорван! Через несколько недель я либо богач, либо покойник!»

Какая игра! Жуткая, мучительная неизвестность. Будто сидишь на краю вулкана и наблюдаешь за его кратером, но в то же время знаешь, что и другие кратеры могут вскрыться, поэтому надо заранее предусмотреть возможность извержений. Да разве это не стоит того, чтобы потерять десять тысяч долларов?

Я взял себя в руки и трезво оценил создавшееся положение: надо немедленно возвращаться на прииск, пока ливанец не успел удрать. А поскольку время — деньги, его не следует терять. Оставалось найти мула, набрать еды — и в путь! Револьвер и нож у меня имелись. Вопрос заключался только в том, отыщу ли дорогу.

Я взял напрокат лошадь. Мария считала, что лошадь куда лучше мула. Одно меня беспокоило: вдруг я ошибусь просекой. В тех местах их столько тянется во все стороны!

— Я знаю дороги. Хочешь, я поеду с тобой? — предложила Мария. — Ой, мне так хочется! Я провожу тебя только до постоянного двора, где оставляют лошадей и потом плывут на лодке.

— Для тебя это очень опасно, Мария. Тем более что придется возвращаться одной.

— А я дождусь попугайчика в Кальяо. Так я буду в полной безопасности. Скажи «да», *mi amor!*

Я посоветовался с Хосе, и он согласился.

— Я дам ей свой револьвер. Мария умеет с ним обращаться, — заверил меня он.

Вот так и оказались мы с Марией после пяти часов верховой езды (для нее я тоже взял лошадь) на краю просеки. На Марии были брюки для верховой езды, подарок ее подруги из льянос. Льяносы — это равнинные районы Венесуэлы, где женщины храбры и непокорны, стреляют из револьвера или винтовки не хуже мужчин, владеют мачете не хуже фехтовальщика, скачут на лошадях, как амазонки. Короче, почти что мужчины, но, несмотря ни на что, способны умирать от любви.

Мария была их полной противоположностью. Нежная, чувствительная и настолько близкая природе, что казалась ее не-

отъемлемой частью. Однако и постоять за себя она умела — с оружием или без него. Храбрости ей было не занимать.

Никогда, нет, никогда не забыть мне нашего путешествия до места посадки на каноэ! Незабываемые дни и ночи, когда пели лишь наши сердца. Сами мы слишком уставали, чтобы кричать от радости.

Я никогда не смогу выразить словами всех прелестей этих сказочных остановок в пути, когда мы, наплескавшись в прохладе кристально чистой воды, мокрые и голые, занимались любовью в траве на берегу, а вокруг нас порхали разноцветные колибри, бабочки и стрекозы, словно разделяя вместе с нами танец любви на лоне природы.

Затем мы вновь отправлялись в путь, опьяненные нежностью и лаской до такой степени, что время от времени я начинал ощупывать себя, чтобы убедиться, что тело и душа на месте.

Чем ближе был постоянный двор, тем с большим трепетом я вслушивался в чистый от природы голос Марии, напевающей о любви. И тем чаще я сдерживал коня, отыскивая благовидный предлог для нового привала.

— Мария, по-моему, лошадям надо дать немного остыть.

— С чего бы? Они и так плетутся нога за ногу. Когда приедем, окажется, что устали не лошади, а мы с тобой, Папи!

Мария заливается смехом, обнажая свои жемчужные зубы.

До постоянного двора мы добрались за шесть дней. Когда он открылся моему взору, меня словно молнией обожгло желание остаться в нем только на ночь и назавтра уехать обратно в Калья. Мне захотелось заново пережить чистоту тех шести дней страсти, которые стоили, как мне вдруг показалось, в тысячу раз дороже, чем мои десять тысяч долларов. Желание было настолько сильным, что я содрогнулся. Но сильнее оказался внутренний голос, внушавший мне: «Не раскисай, Папи. Десять тысяч долларов — целое состояние. Это же первая и очень крупная часть суммы, столь необходимой для осуществления твоих планов. Ты не должен бросаться такими деньгами!»

— Вон он, постоянный двор, — произнесла Мария.

И, противореча сам себе, вопреки собственным мыслям и чувствам, я сказал Марии совсем не то, что хотел бы сказать:

— Да, Мария, это он. Наше путешествие закончилось. Завтра я с тобой расстаюсь.

На веслах сидели четыре крепких гребца. Пирогоа скользила по водной стремнине против течения. Каждый гребок уносил меня все дальше от Марии. Она стояла на берегу и смотрела мне вслед.

Где покой, где любовь, где та женщина, уготованная мне судьбой, с которой мне суждено построить очаг и создать семью? Я заставлял себя не оглядываться, боясь не выдержать и закричать гребцам: «Поворачивай назад!» Нет! Я должен попасть на прииск и вернуть свои деньги, а затем как можно быстрее пуститься в новые авантюры, чтобы сколотить капитал на поездку в Париж, туда и обратно — если «обратно» все-таки случится.

Только один зарок: ливанцу я не сделаю ничего плохого. Просто возьму причитающуюся мне сумму. Не больше и не меньше. Он никогда не узнает, что прощением он обязан моей шестидневной райской прогулке с самой чудесной девушкой на свете, маленькой феей из Кальяо — Марией.

— Ливанец? По-моему, он уехал, — сообщил Мигель, крепко сжав меня в своих объятиях.

Все верно. Барак был на замке, но на нем по-прежнему красовалась необычная надпись: «Честность — мое самое большое богатство».

— Ты считаешь, он уехал? Он сбежал.

— Успокойся, Папи. Скоро выяснится.

Сомнение и надежда длились недолго. Мустафа подтвердил, что ливанец уехал. Но куда? Только два дня спустя, благодаря расспросам, мы узнали от одного шахтера, что ливанец вместе с тремя телохранителями отправился в Бразилию. «Все шахтеры говорят, что он честный человек. Все, как один». Тогда я рассказал о том, что случилось в Кальяо и что я узнал об исчезнувшем ливанце в Сьюдад-Боливаре. Четверо или пятеро старателей, один из них итальянец, заявили, что если это правда, то они тоже погорели. Только один старик, гвианец, не согласился с нашим выводом. По его версии, вором был как раз грек из Сьюдад-Боливары. Судили-рядили и так и этак, но внутренним чутьем я понял: я-то потерял все. Что делать?

Съездить к Александру Гигю в Боа-Висту? Бразилия далеко. До Боа-Висты все пятьсот километров, да к тому же через джун-

гли. Мой последний опыт показал, что это очень опасно. Еще бы чуть-чуть — и я бы сгинул там. Нет. Надо устроить так, чтобы у меня была постоянная связь с прииском, и как только ливанец здесь объявится, я тут же нанесу ему визит. Уладив дела, срочно отправлюсь в Каракас и по пути захвачу с собой Пиколино. Пожалуй, это самое здравое решение. Завтра же возвращаюсь в Кальяо.

Через неделю я был у Хосе и Марии. Я им все рассказал. Мария, очень осторожно и тактично подбирая слова, изо всех сил старалась успокоить и подбодрить меня. Ее отец настаивал, чтобы я оставался у них.

— Если хочешь, грабанем Каратальские шахты.

Я улыбнулся и похлопал его по плечу.

Нет. Это действительно не по мне. Остаться здесь нельзя. Только моя любовь к Марии и ее ответная любовь могла бы удержать меня в Кальяо. Я привязался к Марии сам не знаю как. Привязался сильнее, чем хотелось бы. Эта любовь — крепкая и самая настоящая, и все же жажда мести сильнее.

Решено. Я договорился с шофером грузовика, назначив отъезд на завтра, в пять утра.

Пока я брился, Мария вышла из своей комнаты и спряталась в комнате сестер. Какое-то шестое чувство, свойственное женщинам, подсказывало ей, что на этот раз я в самом деле уезжаю. Пиколино, умытый и причесанный, сидел за столом в общей комнате. Рядом стояла Эсмеральда, положив руку ему на плечо. Я направился к комнате, где пряталась Мария. Эсмеральда остановила меня:

— Нет, Энрике.

Она стремглав бросилась к двери и скрылась в той же комнате.

Хосе проводил нас до машины. По дороге мы не проронили ни слова.

В Каракас, и как можно быстрее!

Прощай, Мария, маленький цветок из Кальяо. Твоя любовь и нежность стоят гораздо больше, чем все золото мира.

Глава пятая

КАРАКАС

Поездка выдалась тяжелой, особенно для Пиколино. Тысяча километров, двадцать часов в пути, не считая остановок. Несколько часов пробыли в Сьюдад-Боливаре и, переправившись на пароме через величественную реку Ориноко, поехали дальше. Машина мчалась по разбитой дороге как сумасшедшая. На наше счастье, у парня за рулем оказались железные нервы.

В четыре пополудни мы прибыли наконец в Каракас. Вот он, город, ворчащий и шумный, с толпами народа, снующими туда-сюда. Он буквально поглотил меня.

Тысяча девятьсот двадцать девятый год — Париж. Тысяча девятьсот сорок шестой — Каракас. Семнадцать лет я не видел по-настоящему большого города. Были, разумеется, Тринидад и Джорджтаун, но там я пробыл в общей сложности лишь несколько месяцев.

Прекрасен город Каракас, великолепен своими одноэтажными домами в колониальном стиле. Он стоит на равнине с отметкой девятьсот метров над уровнем моря, окруженный со всех сторон горами Авила, протянувшимися по всей его длине. Благодаря такому удачному расположению в нем царит вечная весна: не очень жарко и не холодно.

«Я верю в тебя, Папийон», — повторял мне на ухо доктор Бугра, будто находился где-то рядом и въезжал вместе с нами в огромный шумный город.

Толпы народа были повсюду: люди всех цветов и оттенков кожи — от самых светлых до самых темных. И никаких расовых предрассудков в общении. Все они: и черные, и медно-красные, и белые — составляли единое население города. Оно жи-

ло полнокровной и радостной жизнью, что сразу же бросалось в глаза.

Под руку с Пиколино мы направились в центр города. Большой Шарло снабдил меня адресом бывшего каторжника, содержателя пансиона «Маракайбо».

Да, прошло семнадцать лет. Отгремела война, обездолив сотни тысяч людей моего возраста в разных странах. Она затронула и мою Францию. С тысяча девятьсот сорокового по тысяча девятьсот сорок пятый год французов ранили, убивали, брали в плен или оставляли калеками на всю жизнь. А ты здесь, Папи, в большом городе! Тебе тридцать семь, ты молод, полон сил. Оглянись вокруг! Видишь, как бедно одеты некоторые, но они весело смеются. Песни летят не только с модных пластинок, они звучат в сердце буквально каждого, без исключения. Но вдруг ты замечаешь в толпе тех, у кого есть нечто похуже чугунных шаров и цепей на ногах — несчастье быть бедным и неумение защитить себя в джунглях большого города.

Какой красивый город! И это в четыре часа дня. Каким же он станет ночью, когда вспыхнут миллионы электрических звезд? А мы ведь пока еще в рабочем квартале, за которым закрепилась не очень-то добрая слава. Захотелось шикануть.

— Эй, такси!

Пиколино сидел рядом со мной, смеялся, как мальчишка, и вовсю пускал слюну. Я вытирал ему губы, он благодарил меня радостным сиянием глаз и дрожал от возбуждения. Каракас был для него не просто городом, а прежде всего надеждой найти больницу и профессоров, способных помочь ему и превратить калеку в нормального человека. Это была надежда на чудо. Он держал меня за руку, а в это время за стеклом автомобиля мелькали бесконечные улицы, забитые людьми, — народу было так много, что на тротуарах не протолкнуться. Шум машин, клаксоны, сирена «скорой помощи», гудки пожарных машин, выкрики уличных торговцев и продавцов вечерних газет, визг тормозов грузовика, трели трамваев, звонки велосипедов — весь этот трамтарарам нас завертел, закрутил и оглушил. Мы словно опьянели. Некоторые люди не выносят такого шума, он расшатывает их нервную систему. На нас же шум оказывал обратное действие: он возбуждал обоих, давая понять, что мы захвачены сумасшед-

шим ритмом современной механической жизни, и это обстоятельство не только не портило нам нервы, но делало нас чертовски счастливыми.

И не было ничего удивительного в том, что шум действовал на нас именно таким образом. Столько лет мы жили в тишине! Семнадцать лет я не знал ничего, кроме тишины. Тишины тюрем, тишины каторги, тишины одиночного заключения, тишины джунглей и моря, тишины маленьких деревушек, где живут счастливые люди.

Я обратился к Пиколино:

— Это преддверие Парижа. Каракас — настоящий город. Здесь тебя вылечат, а я найду свою дорогу и выполню то, что предназначено судьбой. Будь уверен.

Рука Пиколино сжимала мою, из глаз катились слезы. Рука была по-братски теплая, и я держался за нее, чтобы не утратить этот чудесный контакт. Поскольку вторая рука у него была мертва и висела как плеть, я вытирал ему слезы платком, слезы моего друга и подопечного.

Наконец мы приехали и остановились в пансионе бывшего каторжника Эмиля С. Хозяина дома не оказалось, но его жена, венесуэлка, узнав, что мы из Кальяо, и догадавшись, кто мы такие, мигом устроила нам двухместный номер и предложила кофе.

Я помог Пиколино принять душ и уложил его в постель. Он устал и перевозбудился. Когда я собрался уходить, он стал делать мне отчаянные знаки. Я понимал, что он хочет мне сказать: «Ты вернешься? Не дай мне пропасть здесь одному!»

— Нет, Пико! Я пробуду в городе недолго. Скоро вернусь.

И вот я уже шел по вечернему Каракасу вниз по улице, к площади Симона Боливара, самой большой в городе. Повсюду — море света, россыпь электрических ламп, разноцветье неоновой рекламы. Более всего меня поразила яркая световая реклама: вспыхивали настоящие огненные змеи, бегущие огоньки то загорались, то затухали. Балет огней, да и только, под управлением волшебника!

Площадь оказалась красивой. В центре возвышался большой бронзовый памятник Симону Боливару на огромном коне. Гордый, исполненный достоинства и благородства всадник.

Такой, наверное, была и душа этого человека. Я со всех сторон рассмотрел конную статую освободителя Латинской Америки. Не удержавшись, на скверном испанском я тихо поприветствовал его, чтобы никто не слышал: «Человек! Какое это чудо — стоять у твоих ног! Ты — Человек Свободы. Я же несчастный, всегда сражавшийся за ту свободу, воплощением которой являешься ты!»

Два раза возвращался я в пансион — от площади до него было метров четыреста, — прежде чем встретился с Эмилем. Он был предупрежден о нашем приезде. Шарло ему написал. Мы пошли немного выпить и поговорить.

— Я здесь уже десять лет, — рассказывал Эмиль. — Женился, есть дочь. Пансион принадлежит жене. Поэтому я не могу держать вас бесплатно, будете жить за полцены. (Удивительная солидарность бывших каторжников, когда один из них попадает в затруднительное положение.)

Он продолжал:

— А этот бедняга, что с тобой, твой давний друг?

— Ты видел его?

— Нет. Жена сказала. Она говорит, что он полный калека.

Он идиот?

— В том-то и беда, что нет. Он полностью в здравом уме, но его рот, язык и вся правая сторона до поясницы парализованы. Он уже был в таком состоянии, когда я встретился с ним в Эль-Дорадо. Парень даже толком не знает, кто он на самом деле — каторжник или ссыльный.

— Не понимаю, зачем тебе таскать за собой того, кого не знаешь. Ты даже не можешь сказать, хорошим он был парнем или нет. К тому же это для тебя такая обуза.

— Да, я это прочувствовал за те восемь месяцев, что он со мной. В Кальяо у меня были женщины, которые за ним ухаживали. И даже с ними мне было нелегко.

— Что ты собираешься с ним делать?

— Определю в больницу, если представится такая возможность. Или подыщу комнату, пусть очень скромную, но с душем и туалетом, где можно было бы ухаживать за ним, пока не подвернется что-нибудь получше.

— Деньги у тебя есть?

— Немного. Я знаю, мне следует здесь быть очень осторожным. Испанским я владею плохо, хоть и понимаю, о чем говорят. В случае чего нелегко будет защититься.

— Да, здесь трудно. Рабочих мест на всех не хватает. Во всяком случае, Папи, ты можешь спокойно пожить у меня несколько дней, пока не устроишься.

Я понял. Попробуй прояви щедрость, коли сам сидишь в дерьме. Жена Эмиля, должно быть, обрисовала Пиколино в мрачных красках: вываливает язык и рычит, как скотина. Какое неблагоприятное впечатление он может произвести на постояльцев!

С завтрашнего дня придется кормить его в нашей комнате. Бедный Пиколино! Он спал рядом со мной на железной кровати. Мало того что я оплачивал его стол и ночлег, так они еще не хотели, чтобы он жил здесь. Видишь ли, дорогой, сытый голодного не разумеет, равно как здоровый больного. Твой искривленный рот и перекошенная физиономия вызывают у людей смех. Что поделаешь! Тебя не примет ни одно общество, если ты не вышел мордой или не состоялся как личность. Либо ты должен стать безликим, как мебель, чтобы не бросаться в глаза и не раздражать. Но не беспокойся, приятель! Пусть руки у меня не так нежны, как у девушек из Кальяо, но рядом с тобой всегда будет друг, больше чем друг — бродяга, который усыновил тебя и делает все, чтобы ты не сдох как собака.

Эмиль дал мне несколько адресов, но работы для меня нигде не нашлось. Два раза ходил в больницу, пытаюсь устроить туда Пико. Ничего не вышло. Так сказать, не было свободных койко-мест, а документы об освобождении из тюрьмы Эль-Дорадо несколько не помогли. Вчера меня спросили, каким образом и почему я взял Пиколино под свою опеку, кто он по национальности и прочее. Когда я рассказал этой чернильной больничной крысе, что сам начальник тюрьмы Эль-Дорадо доверил мне Пико и что я согласился присмотреть за ним, ублюдох разродился таким заключением:

— Он освобожден под вашу ответственность и с вашего согласия, вот вы и должны заботиться о нем и лечить по месту жительства. А если вы не можете этого сделать, то следовало оставить его в Эль-Дорадо.

Этот недоносок еще и адрес у меня спросил. Дал ему липовый. Этот убогий чиновник международного образца, строящий из себя важную птицу, не вызвал у меня никакого доверия.

Я быстро увел оттуда Пиколино. Я был в отчаянии. Чувствовал, что больше не могу оставаться у Эмиля: жена его плакалась, что приходится менять простыни Пико каждый день. По утрам я застирывал в раковине грязные места, стараясь делать это как можно лучше. Простыни, однако, долго сохли, и пятна все-таки проступали. Поэтому я купил утюг и после стирки сушил им белье.

Что делать? Ума не приложу. Но твердо знаю: надо быстро принимать решение. В третий раз попытался я поместить Пиколино в больницу, и опять безрезультатно. Мы вышли из больницы в одиннадцать утра. Что ж, видно, без радикальных мер в таком положении не обойтись, и я решил посвятить полностью вторую половину дня своему другу. Я повел его в Кальварио, чудесный сад, полный цветов и тропических растений, раскинувшийся на холме в самом центре Каракаса.

Там, наверху, мы устроились на скамье и, любясь великолепной панорамой, уплетали лепешки арепас с мясом и запивали их пивом. Затем я зажег две сигареты: одну для Пико, другую для себя. Пиколино было трудно курить: всю сигарету обслюнявит, пока докурит. Он чувствовал важность момента, догадывался, что я хочу сказать ему что-то очень важное, от чего он будет страдать. В глазах его застыла боль, они словно кричали мне: «Не молчи! Говори быстрее! Я знаю, что ты принял важное решение. Говори же, прошу тебя».

Я читал это в его глазах, и мне было больно на него смотреть. Я медлил. Наконец бросился с места в карьер:

— Пико, вот уже три дня я пытаюсь пристроить тебя в больницу. Ничего не поделаешь, они не хотят тебя принимать. Понимаешь?

«Да», — говорили его глаза.

— С другой стороны, во французское консульство обращаться нельзя. Опасно. Могут потребовать нашей выдачи и высылки из Венесуэлы.

Он пожал здоровым плечом.

— Слушай. Тебе надо вылечиться. А для этого нужны хорошие врачи. Вот ведь что важно. Но таких денег, которые обеспечат тебе должный уход, у меня нет. Вот что я придумал: проведем вечер вместе, сходим в кино, а завтра утром я приведу тебя на площадь Симона Боливара и оставлю там без документов. Ты ляжешь спать под статуей — только лежи, не двигайся, понял? Если тебя захотят поднять или посадить — сопротивляйся. Будь уверен, тут же приведут полицейского и вызовут «скорую помощь». Я буду следовать за тобой в такси до самой больницы, куда тебя привезут. Выжду пару дней и приду тебя навестить. Выберу часы для посетителей, когда можно затеряться в толпе. Для начала я, возможно, с тобой и не заговорю, но, проходя мимо кровати, оставлю тебе сигарет и денег. Ну как, идет? Согласен?

Он положил здоровую руку мне на плечо и посмотрел прямо в лицо. Его взгляд выражал одновременно и печаль, и признательность. Кадык задергался, он сделал над собой сверхчеловеческое усилие, и из его перекошенного рта вырвался гортанный раскатистый звук, почти похожий на «мерси».

На следующий день события развивались по намеченному мной сценарию. Через четверть часа после того, как Пиколино улегся под статуей Симона Боливара, трое или четверо пожилых людей, отдохавших в тени деревьев, позвали полицейского. Еще через двадцать минут за ним приехала «скорая помощь». Я последовал за ней на такси.

Дальше все пошло как по маслу. Через два дня, смешавшись с толпой посетителей, я отыскал его в третьей по счету общей палате. К счастью, Пиколино лежал между двумя тяжелобольными, и мне удалось совершенно незаметно с ним поговорить. Он был рад-радешенек увидеть меня и, может быть, излишне волновался.

— За тобой хорошо ухаживают?

«Да», — кивнул он.

Я прочитал табличку на спинке кровати: «Параплегия или малярия с побочными явлениями. Осмотр через каждые два часа». Я оставил ему шесть пачек сигарет, спички и двадцать боливаров мелкой монетой.

— До свидания, Пико!

Перехватив его отчаянный, молящий взгляд, я добавил:

— Не волнуйся. Я приду тебя навестить, дружище!

Не надо забывать, что для Пиколино я сделался совершенно необходимым. Я был единственным, кто связывал его с миром.

Прошло две недели, как я приехал в Каракас. Банкноты в сто боливаров таяли прямо на глазах. К счастью, гардероб у меня был вполне приличный. Я снял небольшую дешевую комнатку, хотя в моем положении ее можно было назвать дорогой. На горизонте не видно было ни одной женщины. Девчонки в Каракасе были очень красивые, умные и жизнерадостные. Но познакомиться было трудно: шел тысяча девятьсот сорок шестой год и женщины еще не привыкли заходить в кафе и сидеть в одиночку за столиком.

Большой город имел свои тайны. Надо было знать их, чтобы защитить себя, а чтобы знать, нужно было учиться. Кто они, эти учителя с улицы? Загадочное племя людей, со своим языком, своими законами, обычаями, пороками, трюками, разработанными для того, чтобы изворачиваться и зарабатывать себе на жизнь. Зарабатывать на жизнь честным путем — вот задача. И очень трудная.

Как и другие, я тоже прибегал к ухищрениям, вызывавшим скорее смех, чем осуждение. В них не было злого умысла. Например, на днях я встретил одного колумбийца, знакомого еще по Эль-Дорадо.

— Чем занимаешься?

Он рассказал мне, что в данный момент разыгрывает в лотерею шикарный «кадиллак».

— Черт! Неужто так разбогател, что обзавелся «кадиллаком»?

Он скорчился от смеха и объяснил, в чем дело:

— «Кадиллак» принадлежит директору крупного банка. Он сам водит машину. В девять утра, как все разумные граждане, оставляет ее на стоянке в ста — ста пятидесяти метрах от банка. А мы работаем вдвоем. Один из нас (поочередно, чтобы не засветиться) «провождает» директора до дверей заведения, где тот ежедневно протирает свои штаны. В случае опасности раздается условленный свист, который не спутаешь ни с каким другим. Но такое случилось только один раз. Так вот, в интервал между

его приездом и отъездом, около часа дня я разворачиваю на машине большой белый плакат с надписью красными буквами: «Продажа лотерейных билетов. Вы можете выиграть этот „кадиллак“. Розыгрыш лотереи проводится в Каракасе. Тираж в следующем месяце».

— Ни хрена себе! Значит, ты разыгрываешь чужой «кадиллак»? И тебя еще не разоблачили? Куда же смотрят легавые?!

— Они тут часто меняются. А поскольку они простодушны, им в голову не приходит, что я жульничаю. Бывает, подходят и интересуются что да как, а я одному — билет, другому — пару в качестве подарка, так они еще и сами в глубине души надеются выиграть «кадиллак». Если хочешь подзаработать, давай к нам. Я познакомлю тебя со своим партнером.

— А ты не находишь, что как-то некрасиво обдирать несчастных граждан?

— Ты думаешь?! Билет стоит десять боливаров. Не каждый может себе позволить такую роскошь. Так что все в порядке, и ничего тут плохого нет!

Познакомившись с напарником колумбийца, я вошел в долю. Не очень красиво, Папи, но жить-то надо. Надо спать, есть, опрятно одеваться и как можно дольше не обращаться к маленькому неприкосновенному запасу алмазов, вывезенных из Эль-Дорадо, и двум банкнотам по пятьсот боливаров, которые я хранил, как скряга, в патроне, будто в прежние времена на каторге. Что касается патрона, то я и по сей день носил его в себе по двум причинам: деньги могли украсть из номера, поскольку сама гостиница находилась в сомнительном квартале, а если держать его в кармане, то рискуешь потерять, — в конце концов, я уже четырнадцать лет таскаю патрон в заднице. Годом больше, годом меньше — какая разница?! Зато спокойнее.

Больше двух недель мы продавали лотерейные билеты, и дальше продавали бы, если бы один дотошный клиент, купивший у нас два билета, не стал рассматривать шикарную машину, которую он размечтался выиграть. Вдруг он выпрямился и воскликнул:

— Но разве это не машина директора банка?

Колумбиец не растерялся и, не моргнув глазом, спокойно подтвердил:

— Верно. Он нам доверил разыграть ее в лотерею. Он считает, что так за нее можно взять больше, чем при продаже на прямую.

— Странно... — пролепетал клиент.

— Вы ничего не говорите ему, — невозмутимо подхватил колумбиец, — мы ему обещали, что никто не узнает и не будет никаких кривотолков.

— Ясно, хотя для человека его круга это весьма странно!

Мы подождали, пока он отойдет от нас на достаточное расстояние, и быстро свернули плакат. Колумбиец тут же унес его, а я направился к банку предупредить нашего сообщника, что пора сматывать удочки. Меня душил смех, и я не смог отказать себе в удовольствии постоять у дверей в предвкушении спектакля. И тот не заставил себя ждать. Минуты через три в дверях показался директор в сопровождении недоверчивого клиента. Он энергично размахивал руками и шел так быстро, что у меня сложилось впечатление, будто он сильно разгневан.

Убедившись, не без удивления вероятно, что рядом с «кадиллаком» никого нет, они вернулись назад уже медленнее и остановились у кафе пропустить по стаканчику за стойкой бара. Недоверчивый клиент меня не заметил, и я в свою очередь тоже проник в кафе, чтобы позабавиться их разговором.

— Возмутительно! Какая наглость! Вы не находите, доктор?

В ответ владелец машины, как истинный каракасец и большой ценитель юмора, разразился хохотом:

— Нет! Подумать только! Ведь я так же мог проходить мимо, и они могли бы предложить мне билет на розыгрыш собственного автомобиля. И знаете, по своей рассеянности я мог бы его купить. Согласитесь, это очень смешно!

Так лопнула наша лотерея. Колумбийцев и след простыл. Я заработал на том деле полторы тысячи боливаров. Можно было протянуть месяц с лишним. Для меня это было важно.

Проходили дни, а подыскать что-либо не удавалось. Да и время наступило такое, что из Франции начинали прибывать птенцовы и разные коллаборационисты, бегущие от правосудия своей страны. Я не видел между ними никакой разницы, поэтому свалил их всех в одну кучу, приклеив ярлык: экс-гестаповцы. И не якшался с ними.

Месяц прошел без особых перемен. Живя в Кальяо, я и представить себе не мог, что мне будет так трудно овладеть ситуацией. Опустился до того, что ходил от дома к дому, от двери к двери и предлагал кофеварки, изготовленные специально (подумать только!) для контор.

Мои разглагольствования при этом звучали настолько примитивно и так смахивали на детский лепет, что меня самого начинало от них тошнить:

— Вы понимаете, сеньор директор, каждый раз, когда ваши служащие входят в кафе, чтобы выпить чашечку-другую кофе (общераспространенное явление в конторах Венесуэлы), они теряют массу времени, особенно если идет дождь. И вы, представьте себе, тем временем тоже теряете деньги. А вот приобретя кофеварку, вы выиграете во всех отношениях.

Он-то, может, и выиграет, а вот мне никак не удавалось. Иной раз патроны отвечали примерно так:

— О, вы знаете, мы в Венесуэле относимся к жизни спокойно, даже если это касается бизнеса. Вот почему мы разрешаем своим служащим ходить в рабочее время в кафе выпить чашечку-другую кофе.

Как-то раз, когда я с кофеваркой в руке и с умным видом, какой только может придать человеку конторская кофеварка, прохаживался в очередной раз по улице, я столкнулся с Поло Боксером, старым знакомым еще по Монмартру.

— Постой-постой! Ты ведь Поло, верно?

— А ты Папийон?

И он быстро подхватил меня под руку и затащил в кафе.

— Ну и удача! Ну и совпадение!

— Что ты делаешь на тротуаре с этой кофеваркой?

— Продаю. Жалкое и мерзкое занятие. Пока ее вытащишь да запихнешь обратно, вся коробка потреплется.

Я рассказал ему о себе, затем спросил:

— А как ты?

— Пей кофе. После расскажу.

Заплатив за кофе, он встал из-за столика, а моя рука невольно потянулась к кофеварке.

— Оставь ее здесь. Она тебе больше не понадобится, гарантирую.

— Ты думаешь?

— Уверен.

Я так и сделал: оставил проклятую кофеварку на столе, и мы вышли на улицу.

Через час, после короткого диалога в моем номере о памятных событиях на Монмартре, Поло резко переменял тему и заговорил о главном. У него назревало серьезное дело в одной из соседних с Венесуэлой стран. Он уверен, что я ему подойду. Если я согласен, то он берет меня в свою команду.

— Проще пареной репы; считай, что деньги у тебя в кармане, дружище! Нет, серьезно, долларов схватим столько, что придется их гладить утюгом, чтобы не занимали много места!

— И где же такое веселое дельце?

— Узнаешь на месте. Заранее ничего не могу сказать.

— Сколько нас?

— Четверо. Один уже там. За другим я и приехал сюда. Да ты его знаешь. Это твой приятель Гастон.

— Верно, но я потерял его из виду.

— Зато я не терял, — ответил Поло, смеясь.

— Ты вправду не можешь ничего больше рассказать об этом деле?

— Нельзя, Папи. На то есть причины.

Я лихорадочно соображал. В моем положении какой может быть выбор? Либо я продолжаю фланировать по улицам с кофеваркой или еще какой чепухой в руках, либо ввязываюсь в авантюру и срываю солидный куш, причем довольно быстро. Я всегда знал Поло как очень серьезного парня, и если он считал, что нас должно быть четверо, значит дело более чем серьезное. В техническом отношении операция должна пройти безупречно. Признаться, я был заинтригован. Так что, Папи, — ва-банк?! Ва-банк!

На следующий день мы отправились на дело.

Глава шестая

ТУННЕЛЬ ПОД БАНКОМ

Семьдесят два часа с лишним мы ехали на машине. За руль садились по очереди. Поло принимал все меры предосторожности. Казалось, им не будет конца. Каждый раз, когда мы заправлялись, тот, кто сидел за рулем, высаживал двух других метрах в трехстах от бензоколонки, а потом забирал.

Мы с Гастоном полчаса проторчали под проливным дождем в ожидании Поло. Я пришел в ярость.

— Долго ты будешь крутить это кино? Ты действительно считаешь, что в нем есть необходимость? Посмотри на нас — все вымокли до нитки!

— Ну ты и вонючка, Папи! Я подкачал камеры, сменил заднее колесо, добавил масла, подлил воды. За пять минут не упрaviшься.

— А я и не спору, Поло. Но скажу прямо: я не вижу никакой надобности в таких предосторожностях.

— А я вижу, и командую здесь я. Если ты отмотал тринадцать лет каторги, то я отбухал десять в заключении в нашей разлюбезной Франции. Предосторожность никогда не мешает. Представь себе, кто-то предупредил полицию: машина марки «шевроле», в салоне человек. Один, а не трое, — есть разница?

Он был прав. Ладно, замяли для ясности.

Еще через десять часов мы наконец добрались до города — цели нашей поездки. Поло высадил нас в начале улицы, по обеим сторонам которой тянулись виллы.

— Идите по правому тротуару. Вилла называется «Ми амор». Заходите спокойно, как к себе домой. Вас встретит Огюст.

Сад. Кругом цветы. Ухоженная аллея. Кокетливый домик. Дверь была заперта. Мы постучались.

— Добрый день, друзья! Входите, — пригласил Огюст, открывая нам дверь.

Он встретил нас без пиджака, потный, на волосатых руках налипла грязь. Мы объяснили, что Поло поехал на другой конец города поставить машину: лучше, чтобы венесуэльский номер никому не мозолил глаза на улице.

— Доехали хорошо?

— Да.

И всё. Мы устроились в столовой. Я чувствовал, что наступает решительная минута, поэтому испытывал некоторое напряжение. Гастон, как и я, ничего не знал об операции. «Все дело построено на доверии, — объяснил мне Поло в Каракасе. — Либо едешь, либо нет. Либо соглашаешься, либо отказываешься. Скажу только одно: такие деньги, причем сразу на руки, тебе и не снились». Я согласился. Надо полагать, сейчас все станет ясно.

Огюст предложил нам кофе. Несколько вопросов о дороге, здоровье, и ни слова о том, что могло бы прояснить обстановку. Не болтливый здесь народ!

Тут я услышал, как хлопнула дверца подъехавшего к вилле автомобиля. Определенно, Поло взял напрокат машину с местным номером. Так и есть.

— А вот и я! — объявил Поло, входя в комнату и снимая кожаную куртку. — Все идет замечательно, ребята!

Он спокойно сел и принялся за кофе. Я молчал, просто сидел и ждал. Поло попросил Огюста выставить на стол бутылку коньяка. С довольным видом он не торопясь разлил коньяк и приступил наконец к объяснениям:

— Итак, ребята, вы прибыли к месту работы. Представьте себе, как раз напротив этой маленькой виллы, на другой стороне улицы, по которой вы сюда приехали, находится задняя стена банка, а главный вход в него расположен на красивом проспекте, параллельном нашей улочке. Как вы заметили, руки Огюста испачканы глиной, и на то есть причина. Он знает, что вы порядочные бездельники и особенно рассчитывать на вас не придется, поэтому и принялся за работу заранее, чтобы на вашу долю меньше досталось.

— Чего досталось? — спросил Гастон. Он хотя и не был дураком, но соображал туговато.

— Да почти ничего, — ответил Поло, улыбаясь. — Вырыть туннель. Начинается он в смежной комнате, пройдет под садом, затем под улицей и выйдет прямо под банковским хранилищем. При условии, что мои расчеты правильны. В противном случае мы можем оказаться под стеной со стороны улицы. Тогда копаем еще глубже и вылезаем в центре хранилища.

Наступила тишина, которая длилась недолго.

— Что скажете?

— Не торопи с ответом, дружище. Дай переварить. Откровенно говоря, такого трюка я не ожидал.

— Банк солидный? — уточнил Гастон, решительно доказывая, что он туго соображает: ведь если Поло затеял все это дело, да еще с таким размахом, то уж конечно не ради каких-нибудь трех банок лакрицы.

— Потолкайся завтра у банка, тогда сам скажешь, — отозвался Поло, заливаясь смехом. — Скажу только, что там восемь касс. Теперь прикинь, какие суммы проходят через них за день.

— Вот зараза! — воскликнул Гастон, хлопая себя по ляжке. — Настоящий банк! Я страшно доволен; хоть разок поучаствую в стоящем дельце, да еще с инженерными расчетами. Короче, я согласен и поднимаю свой маршальский жезл.

Продолжая улыбаться, Поло обратился ко мне:

— А тебе, Папи, нечего сказать?

— Мне незачем быть маршалом. Я предпочитаю оставаться капралом, но от приличной «капусты» не откажусь, чтобы осуществить собственные замыслы. Мне не нужны миллионы. Хочешь знать, что я думаю, Поло? Работенка, ничего не скажешь, гигантская! И если дело выгорит — а иначе нечего было бы и братья, — то нам до конца дней хватит на хлеб с маслом. Однако есть несколько «но», которые следует обговорить. Можно задавать вопросы, капитан?

— Валяй, Папи, сколько хочешь. Я, между прочим, и сам собирался обсудить с вами все детали нашего мероприятия. Я ведь руковожу операцией только потому, что изучил ее досконально. Каждый из нас рискует свободой, а может быть, и жизнью. Поэтому задавай любые вопросы.

— Верно. Вопрос первый: сколько метров от смежной комнаты, где должна находиться входная шахта, до тротуара со стороны сада?

— Ровно восемнадцать.

— Вопрос второй: какое расстояние от бровки тротуара до банка?

— Десять метров.

— Третий: а ты хорошо изучил расположение входа в хранилище внутри банка?

— Да. Я абонировал небольшой сейф в зале обслуживания клиентов, как раз возле хранилища, от которого он отделен лишь бронированной дверью с двумя колесными замками. В хранилище можно попасть только через зал абонентных сейфов, другого входа нет. Я несколько раз заходил в банк и однажды, когда я стоял там в ожидании второго ключа от моего сейфа, видел, как открывали бронированную дверь. Как только она распахнулась, я смог заглянуть в само хранилище с огромными сейфами, выстроенными по периметру.

— Ты сумел прикинуть толщину стенки, отделяющей хранилище от зала обслуживания?

— Трудно сказать: там ведь еще обшивка из стали.

— Сколько ступенек вниз до двери хранилища?

— Двенадцать.

— Значит, пол хранилища приблизительно на три метра ниже уличной отметки. Какие у тебя планы?

— Надо пробиться как раз под стеной, разделяющей оба зала. Ориентиром могут служить концы болтов под полом хранилища, которыми сейфы крепятся к полу. Таким образом, одного лаза будет достаточно, чтобы проникнуть в оба зала одновременно.

— Да, но сейфы прижаты к стене, и может так случиться, что мы пробьемся как раз под одним из них.

— Об этом я не подумал. В таком случае ничего другого не остается, как расширить проход и выйти в центре зала.

— Я полагаю, будет лучше, если мы сделаем две дыры — по одной на комнату, и по возможности в центре каждой.

— Я тоже сейчас так подумал, — сказал Огюст.

— Согласен, Папи. Правда, мы еще пока не там, но неплохо продумать все заблаговременно. Что дальше?

— На какой глубине пройдет туннель?
— Три метра.
— А ширина?
— Восемьдесят сантиметров. Можно будет внутри развернуться.

— Какая предусмотрена высота?
— Метр.
— С шириной и высотой я согласен, но вот насчет глубины очень сомневаюсь. Над нами слой земли всего два метра, этого недостаточно. Если проедет тяжелый грузовик или каток, все может рухнуть.

— Так-то оно так, Папи, но с чего бы им кататься по этой улочке, твоим тяжелым грузовикам и разным каткам? Я не вижу причины.

— Мне бы, конечно, тоже этого не хотелось. Но что нам стоит заглубить входную шахту на четыре метра? Тогда мы обеспечим трехметровый слой земли между сводом туннеля и проезжей частью улицы. Тебя что-то смущает? Всего какой-то лишний метр входной шахты. Сам туннель мы не трогаем, оставляем без изменения. В то же время четырехметровая глубина позволит нам подкопаться под самый срез фундамента банка или даже ниже. Сколько этажей в здании?

— Два.

— В таком случае фундамент не должен быть глубоким.

— Ты прав, Папи. Заглубляемся на четыре метра.

— А как ты собираешься проникнуть в хранилище? О сигнализации ты подумал?

— В том-то и загвоздка, Папи. Однако, если здраво рассудить, сигнализационные системы устанавливаются с внешней стороны хранилища. И если не прикасаться ни к одной из дверей — ни в банке, ни в хранилище, — то сигнализация не должна сработать. А внутри обоих залов вряд ли есть дополнительные охранные устройства. Главное — не трогать сейфы рядом с дверью в зале обслуживания, тем более те, что стоят возле бронированной двери.

— Согласен. Конечно, при работе с сейфом есть риск: от вибрации сигнализация может сработать. Но если строго соблюдать все меры предосторожности, у нас будет неплохой шанс.

— Что еще, Папи?
 — Ты предусмотрел опалубку в туннеле?
 — Да. В гараже у меня имеется верстак и все, что требуется для опалубки.

— Прекрасно. А как с землей?

— Сначала будем рассыпать по всей площади сада, затем поднимем грядки и клумбы и, наконец, наростим бордюр вдоль стен, скажем, метр в ширину и в высоту, насколько будет возможно, чтобы он не выглядел странным и подозрительным.

— Любопытные вокруг водятся?

— Справа нормально. Там живут старичок со старушкой. Маленькие такие и жуткие чистюли. Каждый раз очень переживают и извиняются передо мной, потому что их собака привыкла шкодить у моей садовой калитки. А вот слева вони побольше. Двое ребят — восьми и десяти лет. Всю дорогу качаются на качелях. Подлетают дьяволята так высоко над оградой, что легко могут увидеть, что творится у нас в саду.

— Но не во всем же саду, а в какой-то его части. Во всяком случае, они не могут заметить, что происходит под их стеной.

— Верно, Папи. Хорошо. Значит, мы пророем туннель и подберемся к хранилищу. Надо будет сделать большую выборку наподобие ниши, чтобы разместить там инструмент и спокойно работать вдвоем или втроем. И еще: когда мы определим, где находятся центры комнат, там тоже следует предусмотреть место площадью четыре квадратных метра.

— Согласен. А чем ты вскроешь стальные сейфы?

— Это я хотел бы обсудить.

— Начинай.

— Можно поработать газовым резаком. Я знаком с этим делом, все-таки моя специальность. Электросварка тоже подойдет, но здесь возникает трудность: к вилке подведено напряжение сто двадцать вольт, а потребуется двести двадцать. Поэтому на завершающем этапе я решил подключить к нашему предприятию еще одного парня. Я не хочу привлекать его к рытью туннеля. Он появится в последний момент, уже перед взломом.

— Появится с чем?

— Погоди, Папи. С термитом. Он настоящий профи по этой части. Что скажете, ребята?

— Значит, нас будет пятеро, а не четверо, — говорит Гастон.
 — Тебе хватит, Гастон. Четверо или пятеро — какая разница!

— Я за парня с термитом. Если нам предстоит взломать дюжину сейфов, то термитом будет быстрее, чем каким-либо другим способом.

— Вот вам план в общих чертах. Как, все согласны?

Согласились все. Поло дал нам с Гастоном еще один полезный совет: ни под каким видом не высовываться из дома днем. Вечером можно время от времени, но чем меньше, тем лучше. И если уж выходить, то надо одеться как следует, и обязательно быть при галстукке. И ни в коем случае нигде не показываться четвером.

Мы перешли в смежную комнату, когда-то служившую кабинетом. Там уже была вырыта круглая яма в метр диаметром и глубиной метра три. Я был восхищен работой: стены шахты гладкие и строго отвесные. Вспомнил про вентиляцию.

— А для подачи воздуха что предусмотрено?

— Воздух погоним небольшим компрессором через пластиковые шланги. Если работающий в забое начнет задыхаться, другой направит струю воздуха ему в лицо, и тому станет легче работать. Компрессор я купил в Каракасе. Он действует почти бесшумно.

— А если использовать кондиционер?

— Я и это продумал. Кондиционер стоит в гараже, но при его включении почему-то каждый раз летят пробки.

— Послушай, Поло. Никто не знает, что может произойти со специалистом по термиту. Его в нужный момент может не оказаться. Газовым резаком быстро не справишься. Для такого дела нужна электросварка. Постарайся подвести напряжение двести двадцать вольт. А чтобы все выглядело естественно, скажешь, что хочешь приобрести большой холодильник с морозилкой для мяса, большой кондиционер и дисковую пилу для работы с деревом и прочее. Перед нами не должно возникать никаких препятствий.

— Ты прав. Все говорит в пользу двухсот двадцати вольт. А теперь хватит разговоров! Огюст — король спагетти. Как только они будут готовы, сядем за стол.

Обед прошел весело. Сначала вспомнили было пару печальных историй, но затем условились говорить только о хорошем: о женщинах, солнце, море, постельных играх и тому подобном. Смеялись, как дети. И ни у кого не зародилось и тени сомнения, хотя бы на секунду. Нет, мы не испытывали никаких угрызений совести, хотя шли на ограбление банка, этого величайшего символа человеческого эгоизма.

К сети напряжением двести двадцать вольт подключились без труда: трансформатор стоял рядом с домом. Никаких проблем не возникло. А вот от кирки с коротким черенком пришлось отказаться, когда входная шахта была уже почти готова. В таком ограниченном пространстве этот инструмент оказался очень неудобным. Землю мы разрезали на блоки дисковой пилой, куски легко отрывались с помощью крепкой мотыги и отправлялись в ведро.

Поистине титаническая работа потихоньку продвигалась вперед. Шум пилы из колодца, глубина которого уже достигла четырех метров, в доме был едва различим. А в саду вообще ничего не было слышно, так что бояться нечего.

Когда шахта была закончена, мы приступили к рытью туннеля. Поло с компасом в руке определил задел и прорыл первый метр проходки в очень влажной, прилипающей ко всему глинистой почве. Теперь мы работали не обнаженные по пояс, а в спецовках, в которые влезали прямо с ногами. Зато выползаешь из-под земли, снимаешь спецовку, и ты чист, словно бабочка, выпорхнувшая из кокона. Только руки грязные, разумеется.

По нашим расчетам, предстояло извлечь еще тридцать кубов земли. Порядком!

— Настоящая каторга! — ворчал Поло, когда был не в духе.

Но мало-помалу мы продвигались вперед.

— Как кроты или барсуки, — комментировал Огюст.

— Ничего, дойдем, ребята! И на всю жизнь обеспечены. Разве не так, Папийон?

— Так-то оно так! Я уж точно доберусь до прокурорского языка и до лжесвидетеля тоже. Я им устрою фейерверк на набережной Орфевр, тридцать шесть. За работу, друзья! Если вы не торопитесь выйти в миллионеры, то так и скажите. А мне не терпится, хотя иногда и снится по ночам, что мой прокурор преспо-

койно сдох у себя на перине вместе со своим поганым языком. А свидетель зарылся с головой в меха у папаши в магазине, да и фараоны в результате войны не только сменили адреса, но и заделались солдатами Армии спасения! В таком разе операция потеряет для меня всякий смысл. Ну да ладно, хватит травить байки и валять дурака. Спускайте меня в дыру — хочу поработать еще пару часов.

— Успокойся, Папи. Все мы измотаны. Мало-помалу, но все-таки продвигаемся вперед. До кубышки осталось не более пятнадцати метров. И потом, у каждого из нас свои проблемы. Вот взгляни на это письмо, я получил его от друга Сантоса. Послушай, что он пишет из Буэнос-Айреса.

Поло достал из кармана письмо и громко зачитал вслух:

— «Дорогой Поло! Ты веришь в чудеса? Прошло больше шести месяцев, как от тебя ни слуху ни духу. Не только ни разу не навестил за это время своих курочек, но не послал им ни одной строчки, хотя бы на открытке. Ты сам не ведаешь, что творишь. Они не знают, жив ты или мертв, на каком конце планеты обретаешься. При таком раскладе мне довольно трудно добывать у них денежки. С началом новой недели снаряды рвутся все громче и громче: „Что за дела? Где наш муженек? Чем он занимается?“ — „Проворачивает одно дельце“, — уверяю я. „Что-то оно затянулось. Лучше бы он был здесь, с нами. Надоело спать с подушкой. Последний раз даем деньги: либо он приезжает, либо развод!“

Давай, Поло! Черкни хоть слово. Не верь в чудеса. Придет день, когда ты потеряешь обеих курочек вместе с их денежками. Твой друг Сантос».

Нет, я верю в чудо, вот оно перед нами. И это чудо мы сотворим вместе: я, Поло, и вы, мои друзья. У нас хватит на это и мужества, и ума. К тому же будем надеяться, что курочки потерпят еще немного, ибо мне нужны их денежки для завершения работы.

— Мы все вместе преподнесем им подарочек, — добавил Огюст, очень довольный своей выдумкой.

— Это уж мои заботы, — отозвался Поло. — Хочу только заметить, что я настоящий художник и проворачиваю сейчас одну из самых блестящих операций, какую когда-либо приходилось

проворачивать жуликам. А мои курочки, сами того не ведая, обеспечивают мне финансовую поддержку, и это для них большая честь.

Раздался взрыв смеха. Все развеселились. Выпили коньяку, и я, к удовольствию остальных, согласился сыграть в карты, чтобы немного расслабиться.

С землей у нас не возникло никаких затруднений: мы выносили ее в сад площадью восемнадцать на десять метров и рассыпали по всей ширине, не трогали только дорожку в гараж. Правда, свежевынутый грунт сильно отличался от садового, поэтому время от времени приходилось привозить на машине чернозем. Все шло хорошо.

Работали мы на славу: рыли, вытаскивали полные ведра земли — любо-дорого посмотреть! Дно туннеля выстлали досками, поскольку от просачивающейся воды там стояла грязь. По этим доскам легко скользило ведро, когда тянешь его на веревке.

Мы работали так: один из нас стоял в самом забое и с помощью дисковой пилы и кирки вынимал землю с камнями и загружал в ведро; второй стоял на дне входного колодца и тянул ведро на веревке; третий наверху принимал ведро и высыпал содержимое в тачку на резиновых колесах. В стенке, отделявшей комнату, где шла работа, от гаража, мы сделали проход. Так что четвертому ничего не оставалось, как взять тачку, прокатить ее по гаражу и появиться с ней в саду, что выглядело вполне естественно и не могло вызвать никаких подозрений.

Трудились мы целыми часами без передышки, подстегиваемые страстным желанием добиться цели. Это требовало невероятных затрат энергии. Условия в глубине проходки были необычайно тяжелые, несмотря на подвод чистого воздуха от кондиционера и через шланг, обернутый вокруг шеи, чтобы время от времени можно было сделать вдох. По телу у меня пошла красная сыпь, в некоторых местах появились огромные бляшки, словно от крапивной лихорадки. Чесалось невыносимо. Только Поло избежал этой напасти, поскольку он в основном работал с тачкой и рассыпал землю в саду. После этого ада даже душ не помогал. Требовалось больше часа, чтобы отдышаться, смазать тело вазелином или маслом какао, только тогда ты чувствовал себя более или менее нормально. «Во всяком случае, мы сами впряглись

в это ярмо римских рабов, не так ли? Никто нас не заставлял. Взятся за гуж, не говори, что не дюж. И Бог тебе в помощь!» — так я говорил сам себе и повторял два или три раза в день Огюсту, когда тот начинал проклинать себя за то, что ввязался в подобное дело.

Всем, кто мечтает похудеть, можно посоветовать сделать подкоп под банком. Лучшего средства не придумаешь. Удивительно, насколько становишься гибким и стройным, работая в три погибели, передвигаясь ползком и выворачивая себя наизнанку. В туннеле потеешь, как в сауне. А принимая все мыслимые и немыслимые позы, избегаешь опасности расползнуться и одновременно накачиваешь прекрасные мускулы. В общем, все говорит в пользу подкопа, да к тому же в конце туннеля тебя ждет великолепный приз: чужие деньги.

Все шло хорошо, за исключением сада. Уровень его настолько поднялся за счет отсыпанного грунта, что цветы, вместо того чтобы тянуться вверх, становились все ниже и ниже, что выглядело, конечно же, странно. Если и дальше так пойдет, то скоро на поверхности останутся одни лепестки. Выход нашелся: мы пересадили цветы в торфяные горшочки и воткнули их в грунт. Теперь ничего не было заметно: цветы как цветы, растут себе из земли, как им и положено.

История наша уж больно затягивалась! Если бы еще можно было подменять друг друга, чтобы передохнуть. Исключено! Чтобы не сбиться с темпа, приходилось вкалывать всем четверым. Втроем мы никогда бы не провернули такую работу. Пришлось бы оставлять землю на некоторое время на вилле. А это было бы очень опасно.

Вход в шахту мы закрывали деревянной крышкой почти заподлицо с полом. Во время перекуров можно было открыть дверь комнаты, и ничего не было заметно. Проход в стене со стороны гаража замаскировали деревянным щитом, на котором висел разный инструмент, а со стороны дома — огромным сундуком времен испанской колонизации. Таким образом, когда Поло принимал кого-либо из посторонних, можно было не опасаться, а мы с Гастоном в это время прятались в спальне на втором этаже.

Последние два дня непрерывно шел проливной дождь. Туннель затопило. Вода поднялась сантиметров на двадцать. Я предложил Поло купить ручной насос вместе с рукавами. Через час насос уже был на месте. Стали всю качать (еще одно физическое упражнение), сливая воду в канализацию. Тяжелая работа продолжалась целый день, и все псу под хвост.

Декабрь был уже не за горами. Хорошо бы нам к концу ноября подобраться под банк и устроить там нишу, укрепив ее опалубкой. Если парень с термитом объявится в нужный момент, то, несомненно, Санта Клаус преподнесет нам отличный подарок на Рождество. Если парень не придет, поработаем электросваркой. Мы знали, где достать сварочный аппарат и необходимые к нему принадлежности. В фирме «Дженерал электрик» все найдется. Закупим все в другом городе, так будет благоразумнее.

Туннель тем временем продвигался вперед. Вчера, двадцать четвертого ноября, мы уперлись в фундамент банка. Еще три метра с небольшим — и будем устраивать комнату. Осталось выдать на-гора приблизительно двенадцать кубов земли. Этот день мы отметили шампанским. Настоящим французским брютотом.

— Отдает немного зеленому, — заметил Огюст.

— Тем лучше. Хороший признак: цвет долларов!

Поло стал прикидывать вслух, что оставалось сделать:

— Шесть дней на выемку грунта, если его немного, три дня на крепез, итого — девять дней.

Сегодня двадцать четвертое ноября. К четвертому декабря все будет готово. Нет никаких сомнений. В пятницу в восемь вечера начинаем операцию. Банк закрывается в семь. В нашем распоряжении ночь с пятницы на субботу, весь субботний день, ночь с субботы на воскресенье и целое воскресенье. Если все пойдет хорошо, то в два часа ночи в понедельник мы уже должны свалить. Всего пятьдесят два часа. Все согласны?

— Нет, Поло. Не совсем согласен.

— Почему, Папи?

— Банк открывают в семь часов утра на уборку. И неважно, по какой причине, все может обнаружиться моментально, а мы еще не успеем за это время далеко уйти. Вот что я предлагаю: кровь из носа, закончить работу к шести часам вечера в воскре-

сенье. Когда мы разделим добычу, будет около восьми. Если равнем сразу, у нас будет в запасе по крайней мере одиннадцать часов до сигнала тревоги в семь утра и тринадцать, если шухер начнется в девять.

В конце концов все согласились с моим предложением. Выпили шампанского, послушали пластинки, которые Поло привез с собой: Морис Шевалье, Пиаф, Париж... Со стаканом в руке каждый по-своему мечтал о великом дне. Вот он, этот день! До него рукой подать.

А ты, Папи, скоро поедешь в Париж и сполна получишь со своих должников. Со всех должников, чьи имена выжжены у тебя в сердце. Если все пройдет хорошо и мне будет сопутствовать удача, я вернусь из Франции в Кальяо и разыщу Марию.

Что касается отца, то надо подождать. С ним я свижусь потом. Бедный, дорогой мой отец! Прежде чем обнять тебя, мне следует похоронить в себе прежнего человека-авантюриста. Это не займет много времени: вот отомщу и налажу свою жизнь.

Спустя два дня после памятной вечеринки с шампанским произошли неприятные для нас события. Но мы о них узнали только через день. Мы поехали в соседний город за сто километров купить сварочный аппарат. Прилично одетые, мы с Гастоном вышли первыми и проделали пешком километра два, когда Поло с Огюстом догнали нас на машине.

— Вы заслужили эту поездку, ребята, разве не так? Дышите, дышите полной грудью. Глубже вдыхайте чудесный воздух свободы!

— Ты прав, Поло, мы заслужили прогулку. Только не гони так быстро! Дай полюбоваться чудесным видом!

Мы разместились в двух разных гостиницах и чудесно провели три дня в прекрасном портовом городе, где было полно кораблей и веселой разношерстной публики. По вечерам мы собирались все вчетвером.

— Никаких ночных клубов! Никаких борделей! Никаких уличных женщин! Помните, ребята, мы здесь по делу!

Так убедительно говорил Поло. И он был прав.

Я пошел с ним осматривать сварочный аппарат. Потрясающая штукавина! Но надо было платить наличными, а у нас таких денег не было. Поло телеграфировал в Буэнос-Айрес и, к счастью,

дал адрес портовой гостиницы, где он остановился. Он решил отвезти нас обратно на виллу и вернуться дня через два за деньгами и аппаратом. Мы помчались назад, бодрые и окрепшие. За три выходных дня успели хорошо отдохнуть.

Как обычно, Поло высадил нас с Гастоном в начале нашей улочки. До виллы оставалось сто метров. Мы спокойным шагом направились к ней в предвкушении снова увидеть наш чудо-туннель. Но вдруг я схватил Гастона за руку, и он замер подле меня. «Что там происходит?» У виллы стояли полицейские и дюжина зевак. Два пожарника копали землю посреди улицы. Мне не надо было объяснять, что случилось. Наш туннель обнаружили!

Гастон задрожал, как в лихорадке. Стуча зубами и заикаясь, он не нашел ничего лучшего, как сморозить:

— Они ломают наш туннель. Вот суки! Наш чудесный туннель!

И в ту же минуту нас заметил один тип. По его роже за версту было видно, что он полицейский. Но мне сложившаяся ситуация показалась настолько забавной, что я громко расхохотался. Я смеялся так весело, искренне и открыто, что фараон, поначалу было засомневавшийся в нас, оставил свои подозрения и удалился. Взяв Гастона за руку, я нарочно громко произнес по-испански:

— Вот ворье! Какой туннель выкопали!

И, повернувшись спиной к нашему чуду, мы свернули с улочки, не спеша и не выказывая волнения. А вот теперь надо было поторапливаться. Я спросил Гастона:

— Сколько при тебе денег? У меня около шестисот долларов и полторы тысячи бсливаров. А у тебя?

— Две тысячи долларов в патроне, — ответил Гастон.

— Лучше нам с тобой расстаться тут же на улице.

— Что ты собираешься делать, Папи?

— Вернусь в порт, откуда мы только что прибыли, попробую сесть на любое судно и уеду. Если представится возможность, прямо в Венесуэлу.

Мы оба были растроганны, но не могли открыто обняться на улице. Когда мы пожали друг другу руки, у обоих на глазах выступили слезы. Ничто так не связывает людей, как совместно пережитые опасности и приключения.

— Удачи, Гастон!

— К черту, Папи!

Поло и Огюст вернулись к себе домой разными дорогами: один в Парагвай, другой — в Буэнос-Айрес. Теперь женушки Поло больше не спят с подушкой.

Мне удалось сесть на судно, отправлявшееся в Пуэрто-Рико. Оттуда самолетом я прилетел в Колумбию и затем снова по морю добрался до Венесуэлы.

Только через несколько месяцев я узнал, что же произошло на самом деле: на проспекте с другой стороны банка прорвало водопровод. Весь транспорт пустили в объезд по близлежащим улицам. Тяжелая машина, груженная железными балками, поехала по нашей улочке и задними колесами провалилась в туннель. Крики, шум. Все обалдели. Прибыла полиция и быстро разобралась, что к чему.

Глава седьмая

РЫЖИЙ И ЛОМБАРД

В Каракасе праздновали Рождество. Главные улицы были расцвечены великолепной иллюминацией. Повсюду звучали песни и церковные хоралы. Вокруг царило всеобщее веселье. Лилась музыка в ни с чем не сравнимом латиноамериканском ритме. Я чувствовал некоторую подавленность из-за постигшей нас неудачи, но особенно не огорчился. Игра без проигрышей не бывает, на то она и игра. Но жизнь продолжалась, и свободы у меня как бы даже прибавилось. И потом, по выражению Гастона, туннель-то сработали прекрасный.

Мало-помалу атмосфера песнопений, посвященных Младенцу из Вифлеема, захватила и меня, умиротворила и успокоила. Я послал телеграмму Марии: «Мария, пусть это Рождество наполнит счастьем дом, где я видел от тебя столько добра».

Рождественский день я провел в больнице с Пиколино. Он поднялся с койки, и мы отправились в небольшой больничный сад, уселись на скамейку. У нас с Пиколино было свое Рождество. Я купил пару *hallacas*¹ — традиционное для Венесуэлы рождественское блюдо. Выбрал самые лучшие и дорогие. А в кармане у меня лежали две плоские бутылочки великолепного кьянти.

Рождество бедняков? Нет, Рождество богачей, больших богачей! Рождество для двоих, выбравшихся из сточной канавы. Рождество, согретое светом дружбы, скрепленной пережитыми вместе испытаниями. Рождество полной свободы, пусть даже

¹ *Hallaca (исп.)* — завернутое в кукурузные лепешки мясное рагу. Национальное блюдо Венесуэлы, которое едят на Рождество и Новый год.

свободы творить безумства, что я и сделал. Бесснежное Рождество в Каракасе, с морем цветов в маленьком больничном саду. Рождество надежды для Пиколино: он больше не вываливал язык и не пускал слюну. За ним ухаживали, его лечили. Рождество, явившее мне истинное чудо: Пиколино четко произносил слово «да», когда я спрашивал, нравятся ли ему альякас.

Боже мой! Как же трудно начать новую жизнь! Пришлось пережить несколько очень тяжелых недель, и все-таки я не отчаивался. Во мне жили два начала: первое — неистребимая вера в будущее, и второе — неиссякаемый вкус к жизни. Даже в самые тяжелые минуты, когда имелись все основания для переживаний, мне достаточно было какого-то пустячного происшествия на улице, чтобы рассмеяться. А уж если я встречал кого-нибудь из друзей, то мог проболтать с ним целый вечер, испытывая восторг, словно двадцатилетний. Все это придавало мне силы духа, чтобы пережить остальное.

Доктор Бугра подкинул мне небольшую работенку в своей косметической лаборатории. Зарабатывал я не ахти сколько, но жаловаться было грех: одевался прилично, почти элегантно. Плюс ко всему моя молодость. От доктора я перешел к одной мадьярке, которая у себя на вилле занималась изготовлением йогурта. Там я познакомился с летчиком — не буду раскрывать его настоящее имя, поскольку сейчас он командир авиалайнера во французской компании «Эр Франс». Назову его Рыжий.

Он тоже работал у мадьярки. Получали мы с ним прилично, так что на забавы хватало. Каждый вечер мы отправлялись повеселиться в бары Каракаса. Часто заглядывали в отель «Мажестик» пропустить стаканчик-другой. Это единственное в городе заведение в современном стиле располагалось в квартале Силенсио. Правда, сейчас отеля уже нет.

И вот в один из таких моментов, когда казалось, что ничего нового уже не может случиться, произошло настоящее чудо. Однажды Рыжий, который, как любой мужчина, не любил много рассказывать о своих делах, куда-то исчез, а через несколько дней вернулся из Соединенных Штатов... на самолете. Это был двухместный самолет-разведчик, где одно место располагается

за другим. Замечательный фокус! Я не стал расспрашивать, откуда взялся самолет, задал лишь единственный вопрос:

— Что ты собираешься с ним делать?

Он засмеялся и ответил:

— Пока не знаю. Но мы можем вместе попробовать.

— И чем займемся?

— Неважно чем, главное — сможем повеселиться и заработать немного денег.

Согласен. Там видно будет.

Добрая мадьярка не питала никаких иллюзий на наш счет. Она знала, что надолго мы у нее не задержимся, и поэтому пожелала удачи. Тут-то и начался для нас целый месяц сплошного дурачества и сверхзабавных историй.

Ох уж эта огромная бабочка! Какие только чудеса мы на ней не вытворяли!

Рыжий оказался настоящим асом! Во время войны он по ночам доставлял французских агентов из Англии в отряды Сопротивления, а других вывозил оттуда в Лондон. Часто ему приходилось садиться в темноте без всяких сигнальных огней, ориентируясь лишь на свет карманных фонариков, которые встречавшие его держали в руках. Он был настоящий сорвиголова и весельчак. Однажды без предупреждения заложил такой крутой вираж на крыло с выходом свечкой, что я чуть не потерял в кабине свои штаны, и все из-за того, что ему вздумалось поугагать одну толстуху, которая, спустив панталоны, спокойно справляла нужду у себя в саду.

Я настолько полюбил самолет и наши лихие воздушные проказы, что, когда не стало хватать денег на бензин, мне в голову пришла блестящая мысль: превратить крылатую машину в авиалавку, а самому заделаться небесным коробейником.

Если раньше я никогда в жизни не злоупотреблял чьим-либо доверием, то на этот раз пришлось. Его звали Кориат. Вместе с братом он держал магазин мужской и женской одежды «Альмасен Рио». Это был еврей среднего роста, брюнет, очень умный. Он отлично говорил по-французски. Хорошо налаженное дело приносило приличный доход и процветало. В отделе женской

одежды можно было найти все, что душе угодно. Сколько платьев различных фасонов и расцветок, самых модных и новых, прямо из Парижа! О других тряпках и говорить нечего. Так что у меня было из чего выбрать ходовой товар.

Я убедил хозяина в том, что он может доверить мне партию блузок, ночных сорочек, трусиков на крупную сумму для продажи в отдаленных провинциях страны.

Мы летали торговать куда хотели, возвращались, когда нам заблагорассудится. Торговля шла вроде бы хорошо, но денег едва хватало, чтобы покрыть собственные расходы. Доля Кориата уходила на бензин, и ему не оставалось ровным счетом ничего.

Женщины из публичных домов были нашими лучшими покупательницами. Конечно же, мы не обходили их стороной. Девушки просто сгорали от нетерпения и соблазна, когда я выкладывал на стол блузки кричащих расцветок, самые модные трико, цветастые юбки, шелковые платки и прочие прелести, сопровождая свои действия рекламой:

— Послушайте меня, дорогие дамы! Это для вас отнюдь не бесполезная роскошь. Смею вас заверить, что это лучшее вложение средств в работу, поскольку от вашей привлекательности зависит отзывчивость ваших клиентов. Тем, кто только и думает, как бы сэкономить, и не желает у меня ничего покупать, я вынужден сказать, что это экономия на спичках. Почему? Потому что все разнаряженные будут опасными конкурентками.

Не всем содержателям борделей нравилась наша коммерция. Некоторым из них было досадно видеть, как деньги уплывают в чужой карман, а не в их собственный. Дело в том, что оборотистые хозяева сами снабжали своих подопечных «рабочим реквизитом». Даже в кредит. Эти гады хотели все прибрать к рукам!

Мы часто навещали в Пуэрто-ла-Крус — неподалеку отсюда, в городке Барселона, был хороший аэропорт. В Пуэрто-ла-Крус располагался первоклассный бордель, в котором работали шестьдесят женщин. Но вот хозяин — упрямый, заносчивый склочник. Грязная скотина! Он был панамец, а жена — венесуэлка. Женщина она была добродушная, но, к несчастью, всем управлял муж. Он нам, собака, не позволял даже открыть чемо-

даны, чтобы покупательницы могли хоть мельком взглянуть на наш товар. А уж о том, чтобы разложить его на столе, и речи быть не могло.

Однажды он зашел слишком далеко: со скандалом выставил на улицу женщину, которая осмелилась купить шарф, висевший у меня на шее. Мой разговор с ним принял неприятный оборот. Он вызвал постового, и тот попросил нас удалиться и предупредил, чтобы ноги нашей здесь больше не было.

— Ну, погоди же, грязный сводник, — пригрозил Рыжий. — Пусть мы больше не придем сюда по земле, зато прилетим по воздуху! И ты не сможешь нам помешать.

Только на следующий день я понял значение этой угрозы. На рассвете мы вылетели из Барселоны, и он сказал мне по внутренней связи:

— Летим поздороваться с панамцем. Не дрейфь и держись крепче!

— Что ты задумал?

Рыжий мне не ответил, а когда показался бордель, набрал еще немного высоты и бросил самолет в пике, выжав газ до упора. Мы проскочили под высоковольтной линией, проходящей рядом, и с ревом пронеслись на бреющем полете над крышами меблированных комнат. Над некоторыми из них кровельная жесть оказалась плохо закрепленной, и ее сдуло, как осеннюю листву. Взору открылись живописные каморки с парочками на койках. Сделав крутой вертикальный разворот с набором высоты, мы прошли еще разок, чтобы полюбоваться бесплатным спектаклем. Ничего более комичного и уморительного в жизни не видел. Голые девицы и их клиенты гневно потрясали кулаками, яростно грозя летчикам. Они метались там, внизу, в своих коробках без крышек. Кто-то прервал любовные игры, а кто-то пробудился от глубокого сна. Мы с Рыжим хохотали до колик.

Больше мы туда не возвращались, поскольку теперь нас встретил бы не только свирепый хозяин, но и разъяренные девицы. Уже спустя некоторое время мы увиделись с одной из них — она от души посмеялась вместе с нами над происшествием. От нее мы узнали, что взбешенный панамец собственноручно посадил кровельные листы во всех комнатах на крепкие болты.

Мы с Рыжим очень любили природу и часто совершали полеты с единственной целью — отыскать экзотические уголки. Именно так мы открыли в двухстах километрах от побережья еще одно чудо света — Лос-Рокес. Это скопление более трехсот шестидесяти крохотных островков, тесно прилепившихся друг к другу. Они образуют овал с громадным озером внутри. Спокойное, тихое озеро посреди океана. Светло-зеленая вода его настолько чиста и прозрачна, что ясно просматривается на глубину до двадцати — двадцати пяти метров. К сожалению, в те времена там не было посадочной полосы. Нам пришлось раз десять пролететь над островками вдоль и поперек, пока мы не обнаружили еще один остров, отстоящий от первых километров на пятьдесят к западу, — Лас-Авес. На него мы и приземлились.

Рыжий действительно был замечательным пилотом. Я видел, как он садился на покатый пляж, одним крылом чертя по песку, а другим по воде.

Isla de Aves означает «Птичий остров». Пернатых здесь тысячи и тысячи. У взрослых особей оперение серое, а птенцы совершенно белые. Их называют bobos¹, потому что птицы на самом деле глупы и очень доверчивы. Испытываешь ни с чем не сравнимое чувство, когда находишься на острове только вдвоем. Мы ходили там в чем мать родила. Остров плоский как блин. Вокруг только птицы, которые садятся на тебя и бродят рядом, не испытывая страха, поскольку никогда не видели человека. Часами мы загорали на солнышке, растянувшись на узком пляже, опоясывающем весь остров. Забавлялись с птицами, брали их в руки. Некоторых почему-то интересовали наши головы, они легонько поклевывали нас в волосы. Купались, снова загорали, а когда голод давал о себе знать, ловили лангустов. Они кучками грелись на солнышке в мелководье. Мы быстро ловили их прямо руками и пекли на углях. Единственная трудность заключалась в том, чтобы насобирать достаточно сухих растений для костра, поскольку на острове почти ничего не росло.

Когда рвешь зубами сочное мясо лангуста и запиваешь его белым ароматным вином (в самолете мы всегда держали про запас несколько бутылок), чувствуешь себя как в раю. Девствен-

¹ Bobo (исп.) — глупый.

ный пляж. Вокруг только море, небо да птицы. Слова не нужны — мы и без них хорошо понимали друг друга.

Взлетали мы уже под вечер. Сердца наши были переполнены солнцем, радостью и ощущением полноты жизни. Никаких забот, даже о том, чем мы оплатим стоимость бензина. Главное для нас — путешествие, единственная цель которого — встреча с неожиданным и прекрасным миром.

На Птичьем острове мы обнаружили большой морской грот. При отливе вход в него оказывался над поверхностью воды, и туда проникали воздух и свет. Меня непреодолимо влекло к этому гроту. Внутри мы пробрались вплавь, вода в гроте оказалась чистая и неглубокая — около метра. Встав посреди грота, мы начали осматриваться. Стенки и свод были усеяны цикадами. Это, разумеется, не цикады, а тысячи малюсеньких лангустов, прилепившихся к скале, словно цикады к деревьям в Провансе. И по размеру лангусты были ничуть не больше цикад. Мы подолгу оставались в гроте, не беспокоя лангустов. Вмешивались только тогда, когда какой-нибудь спрут, большой любитель маленьких рачков, высовывал свое щупальце из воды, чтобы сгрести их себе на завтрак. Тогда мы быстро набрасывались на него сверху, сворачивали ему шею и выкидывали подышать и разлагаться. Хотя обычно он не успевал этого сделать, будучи в свою очередь лакомым кусочком для крабов.

Мы много раз летали на Птичий остров с ночевкой. У нас было два больших электрических фонаря, с их помощью мы собирали лангустов. Некоторые из них весили примерно кило две-сти, и мы набивали ими два огромных мешка. Перед вылетом с аэродрома Ла-Карлота, что в самом центре Каракаса, мы выгружали из самолета весь товар, благодаря чему могли привозить до четырехсот килограммов лангустов. С нашей стороны было чистым безумием так перегружать самолет, но чего не сделаешь ради смеха! Машина с трудом отрывалась от земли, а уж по части набора высоты до звезд нам было далеко! Мы летели до побережья, затем двадцать пять километров над долиной до Каракаса. Самолет плыл практически над крышами домов. Мы продавали живых лангустов по смехотворной цене — два с половиной боливара за штуку. На бензин и на еду хватало. Ловить лангустов голыми руками не очень-то безобидное занятие. Бывало,

что поцарапаемся, поранимся и возвращаемся без улова. Но разве это важно? Живем — дурачимся, живем — не тужим.

Однажды, когда мы направлялись в Пуэрто-ла-Крус и уже подлетали к городу, Рыжий сообщил мне по внутренней связи — Папи, у нас бензин на исходе. Будем садиться на взлетную полосу нефтяной компании «Сан-Томе».

Когда мы первый раз прошли над частным аэродромом, давая понять, что намерены совершить посадку, тамошние придурки взяли да и выкатили на середину полосы автоцистерну с бензином или с водой — черт их разберет! Но у Рыжего были железные нервы! Несмотря на мои настойчивые истерические вопли о том, что приземлиться нам абсолютно негде, он только сказал мне: «Держись крепче, Папи!» — и скользнул в сторону на довольно широкую дорогу. Ударилась не сильно. По инерции самолет пробежал еще несколько десятков метров и остановился почти у самого поворота, из-за которого на полной скорости вдруг вылетела машина с прицепом, груженная бычками. Визг тормозов, должно быть, заглушил крики ужаса, вырвавшиеся из наших глоток. На наше счастье, шофер не справился с управлением: прицеп занесло и уложило в придорожный кювет, иначе бы грузовик смял нас в лепешку. Мы быстро выскочили из кабины, и Рыжий принялся успокаивать разбушевавшегося водителя-итальянца:

— Слушай, помоги нам оттащить самолет к обочине, а потом ругайся, сколько тебе влезет!

Итальянец, белый как полотно, все еще продолжал дрожать и никак не мог успокоиться. Мы помогли ему поймать упрямую скотину, разбежавшуюся в разные стороны, когда прицеп развалился от удара.

Эта виртуозная посадка наделала много шума, и правительство приобрело у Рыжего самолет, а его самого назначило на должность инструктора на аэродроме в Ла-Карлота.

Моя летная жизнь закончилась. Как жаль! Я успел взять у друга несколько уроков, получалось довольно неплохо. Но что тут поделаешь? Больше всего не повезло Кориату: кто-кто, а он оказался в прямом убытке. К счастью, он даже в суд на меня не подал! Только через несколько лет мне удалось полностью

с ним рассчитаться. И мне хотелось бы сейчас поблагодарить Кориата за его щедрость и хорошее отношение ко мне.

Однако в тот момент я потерял не только самолет и не только место у мадьярки, уже занятое другим, но еще и лишился возможности посещать центр Каракаса, где находился магазин Кориата. Не в моих интересах было столкнуться там с ним нос к носу. И снова мое положение нельзя было назвать блестящим. Да и шут с ним! Несколько бурных недель, проведенных с Рыжим, были слишком хороши, чтобы о чем-то жалеть. Они не забудутся никогда.

Мы с Рыжим часто встречались в одном тихом бистро, которое содержал старый француз-пенсионер, бывший служащий компании «Трансатлантик». Как-то вечером мы сидели в уголке и играли в домино. Нашими напарниками были испанец-республиканец и еще один француз, в прошлом каторжник. Последний жил тем, что торговал духами в кредит. Итак, мы спокойно себе играли, как вдруг в бистро зашли двое незнакомцев в темных очках и спросили, верно ли, что сюда частенько заглядывает один французский летчик.

Рыжий поднялся:

— Это я.

Внимательно оглядев незнакомцев с ног до головы, я без труда, несмотря на темные очки, узнал одного из них и чуть не подпрыгнул от радости. Подошел к нему, но не успел даже заговорить, как он воскликнул:

— Папи!

Да, это был Большой Леон, один из моих лучших друзей по каторге. Высокий, с худощавым лицом, душа-человек. Но здесь не место было показывать, что мы близко знакомы, поэтому Леон сухо представил мне своего приятеля Педро Чилийца. И больше ни слова. Мы отошли в сторону и заказали выпить. За рюмкой Леон объяснил, что ему требуется легкий самолет. Они слышали, что здесь бывает французский летчик, потому и зашли сюда.

— Летчик перед вами, — откликнулся Рыжий, — это я. А машины нет. Теперь у нее другие хозяева.

— Жаль, — лаконично отозвался Леон.

Рыжий удалился доигрывать партию в домино, мое место занял другой напарник. Педро Чилиец отошел к стойке бара, чтобы дать нам с Леоном возможность спокойно поговорить.

— Ну что, Папи?

— Ну что, Леон?

— Больше десяти лет не виделись.

— Да, ты вышел из одиночки, а меня как раз туда бросили.

Как твои дела, Леон?

— Неплохо, а у тебя, Папи?

С Леоном можно было говорить обо всем.

— Скажу откровенно, Леон, сижу малость в дерьме. Нелегко подниматься в гору. Выходишь из тюрьмы с самыми благими намерениями, а жить-то трудно, если нет у тебя в руках подходящего ремесла, чтобы не помышлять о всяких авантюрах.

Послушай, Леон, ты старше меня и не похож на других каторжников. Тебе я могу раскрыть душу. Видишь ли, если говорить честно и откровенно, как на духу, этой стране я обязан всем. Здесь я воскрес и дал себе слово совершать поменьше плохих поступков. Но это трудно. Даже с моим характером авантюриста я смог бы смириться со всеми условностями, начал бы с нуля, не прибегая к предосудительным средствам, если бы не одно «но»: длинный список счетов, который я должен предъявить кое-кому в Париже. Я не могу ждать, иначе эти сволочи все передохнут, пока я доберусь до них.

Когда я гляжу на молодежь этой страны, жизнерадостную и беззаботную, когда вижу молодого человека лет двадцати четырех — тридцати, который так и светится жизнелюбием, что естественно для такого возраста, я волей-неволей возвращаюсь к своему прошлому, к тем самым прекрасным годам моей жизни, которые у меня украли. И я снова вижу мрачные казематы тюрьмы-одиночки, заново мучительно переживаю три года ожидания до суда и после, снова встает перед глазами зловонная каторга, где со мной обращались хуже, чем с бешеной собакой. Тогда, бывает, я целыми часами, а то и днями брожу по Каракасу, и в голову все лезет всякая дрянь. Вместо того чтобы десять, двадцать раз в день благодарить судьбу за то, что она привела меня сюда, я размышляю совершенно не о том: вспоминаю казематы, где я, заживо погребенный, ходил взад и вперед, словно медведь

в клетке... Помимо собственной воли я принимаюсь громко повторять: «Раз, два, три, четыре, пять, кру-гом!» Это выше моих сил, настоящее наваждение! Нет, не могу смириться с мыслью, что те, кто несправедливо послал меня на эту голгофу, где я мог легко сгинуть как последнее отребье, не прояви я воли и не пройди через страдания, останутся безнаказанными. Нет, я не могу позволить им умереть спокойно, не уплатив мне по счету.

И вот, когда я брожу так по улицам, то вполне могу сойти за ненормального. Каждый раз, проходя мимо ювелирной лавки или магазинчика, где, по моим понятиям, наверняка водятся деньжата, которых мне так недостает, я начинаю присматриваться к этим заведениям, прикидывая в уме, как бы туда проникнуть, чтобы прибрать к рукам все, что там есть. И если я до сих пор этого не сделал, то вовсе не из-за того, что отбило охоту, — ведь провернуть здесь дело проще простого, деньги сами просятся в руки.

Суть в другом: до сих пор мне удавалось выигрывать партию с самим собой. Я не совершил никакого преступления ни против этой страны, ни против ее народа, оказавших мне доверие. И было бы постыдно, безнравственно, подло вести себя иначе. Что может быть более гнусным, чем насиловать дочерей в доме, который приютил тебя? Но я боюсь, боюсь за себя, боюсь, что однажды не выдержу, не смогу устоять против соблазна и совершу преступление. Все это угнетает меня. Время от времени я теряю веру в то, что способен жить честным трудом. Нет никакой возможности, пытаюсь выжить честным трудом, собрать огромную сумму денег для того, чтобы отомстить за себя. Между нами, Леон, я на пределе.

Большой Леон слушал меня не перебивая. Только внимательно смотрел мне в лицо. Выпили по последней почти без слов. Он поднялся и предложил встретиться на следующий день: пригласил пообедать с ним и Педро Чилийцем.

Мы встретились в тихом ресторанчике, сели в беседке, обвитой зеленью. День был прекрасный.

— Я размышлял над тем, что ты мне сказал, Папи. Теперь послушай меня, хочу объяснить, почему мы в Каракасе.

Они здесь только проездом и направляются в другую южноамериканскую страну. Наклеивается серьезное дело: надо

взять один ломбард. По словам одного из служащих и по их собственным данным, там хранится порядком драгоценностей. Если их перевести в доллары, то каждый участник окажется с солидным кушем. Вот почему они и разыскивали Рыжего. Хотели предложить ему войти в дело вместе с самолетом. Но опоздали.

— Если хочешь, Папи, можешь поехать с нами, — предложил в заключение Леон.

— У меня нет паспорта, да и сбережений не ахти.

— Паспорт не проблема, правда, Педро?

— Считай, что он у тебя в кармане, — подтвердил Педро, — и на чужое имя. Так что официально ты не выезжаешь из Венесуэлы и не возвращаешься обратно.

— И сколько примерно он стоит?

— Не дороже тысячи долларов, поскольку страна все-таки не рядом. Бабки имеются?

— Да.

— Тогда порядок, в твоем положении раздумывать не приходится.

Две недели спустя, на следующий день после провернутой операции, я уже мчался в машине, взятой напрокат, прочь от одной южноамериканской столицы. Отмахав несколько километров, я зарыл в землю жестяную коробку из-под печенья, в которой лежали драгоценности — моя доля.

Хорошо продуманное дело завершилось удачно. В ломбард мы проникли через примыкающий к нему магазин по продаже галстуков. Леон и Педро не раз захаживали туда и делали покупки, интересуясь в основном системой запоров и прикидывая, в каком месте лучше всего проделать дыру в стене. Сейфов там не было, вместо них стояли обитые железом шкафы. Попали мы туда в десять вечера в субботу и вышли в одиннадцать вечера в воскресенье.

Операция прошла без сучка без задоринки. Коробку я закопал под большим деревом километрах в двадцати от города. Я без труда отыщу это место, когда захочу. Дерево было приметное: оно росло прямо за мостом, ближе к обочине дороги, первое от леса. Я сделал на нем зарубку ножом. Кирку выбросил на обратном пути километрах в десяти от того места.

Вечером мы все втроем оказались в шикарном ресторане. Пришли по одному и встретились как бы случайно у стойки бара, а потом уж решили вместе поужинать.

Каждый сам прятал свою долю: Леон — у приятеля, а Педро, так же как и я, закопал свои драгоценности в лесу.

— Видишь ли, — объяснил мне Леон, — личный тайник всегда лучше. В этом случае никто не знает, как поступили остальные со своей долей. Такая мера предосторожности очень распространена в Южной Америке. Если, положим, тебя заметет полиция, то, поверь мне, сладко не будет. И если уж начнешь колоться, то выдашь только себя. Короче, Папи, ты доволен делом?

— Откровенно говоря, я убежден, что мы правильно оценили на глаз каждую вещичку. Все отлично. Мне нечего добавить.

Итак, все было в порядке и все довольны.

— Руки вверх!

— Какого черта! — воскликнул Леон. — Вы с ума сошли!

Но выяснять отношения нам особенно не пришлось. Не дав нам опомниться, нас обработали дубинками, надели наручники и, затолкав в машину, отвезли в полицейское управление. Мы не успели даже покончить с устрицами.

В той стране, ребята, полиция не сидит сложа руки. Нас допрашивали целую ночь, не меньше восьми часов. Первый вопрос:

— Значит, вы любите галстуки?

— Идите к черту!

И так далее. К пяти часам утра на теле у нас не осталось живого места. Видя, что из нас ничего не вытянешь, фараоны совершенно озверели и просто зашлись от ярости:

— Ну хорошо! Вы здорово распарились и нагнали себе высокую температуру, надо вас немножко остудить.

Мы едва держались на ногах. Полицейские снова затолкали нас в «воронку» и через четверть часа доставили к огромному зданию. Они вошли внутрь, и через некоторое время оттуда вышли рабочие. Фараоны, должно быть, попросили их удалиться. Настала наша очередь. Нас почти волоком втащили туда. Каждого поддерживали двое полицейских.

Громадный коридор. Слева и справа железные двери, над ними что-то наподобие часов с одной стрелкой. Это термометры.

Я сразу сообразил, что мы у морозильных камер огромного мясокомбината.

Остановились в той части коридора, где стояло несколько столов.

— Итак, — сказал главный фараон, — я даю вам последний шанс одуматься. Это морозильные камеры для мяса. Вы понимаете, о чем идет речь? Последний раз спрашиваю: где вы спрятали камешки и все остальное?

— Не видели мы ни камешков, ни галстуков, — ответил Леон.

— Прекрасно, адвокат. Полезешь первым.

Полицейские отвинтили болты и открыли дверь в камеру настежь. В коридор клубами ворвался ледяной туман. Леона втолкнули в морозильник, предварительно содрав с него ботинки и носки.

— Закрывайте быстрее, — приказал начальник, — а то и мы замерзнем, к чертовой матери!

С ужасом и содроганием я смотрел, как за беднягой Леоном захлопнулась дверь.

— Что скажешь, Чилиец? Птичка запоет или будет молчать? Да или нет?

— Мне не о чем петь.

Открылась другая камера, куда и влетел Чилиец.

— Ты самый молодой, итальянец. — (По паспорту я итальянец.) — Погляди-ка хорошенько на термометры. Стрелка показывает минус сорок. Нетрудно догадаться, что в таком разогретом состоянии после разминки в управлении пара пустяков схватить воспаление легких и загнуться в больнице через двое суток. Девять против десяти, что так с тобой и произойдет, если не заговоришь. Ты видишь, я даю тебе последний шанс: вы ограбили ломбард, проникнув туда через магазин галстуков. Да или нет?

— У меня нет ничего общего с этими людьми. Я знал только одного из них, и то давным-давно. А здесь мы встретились совершенно случайно в ресторане. Вы можете расспросить официантов и бармена. Не знаю, замешаны ли они в этом деле, но что касается меня, то, уверяю вас, я не принимал в нем никакого участия.

— Хорошо же, макаронник, подыхай вместе с ними. Подумать только, загнуться в таком возрасте! Искренне сожалею. Ты сам этого захотел!

Дверь открылась. Сильнейший толчок в спину — и я полетел в темноту морозильника. Ударившись головой о твердую как камень мясную тушу, свисавшую с крюка, я во весь рост распластался на полу, покрытом льдом и инеем. Сразу же почувствовал, как ужасный холод камеры обволакивает все мое тело, насквозь пронизывает его и пробирает до костей. Ценой страшных усилий мне удалось сначала чуть приподняться, затем встать на колени и, уцепившись руками за мерзлую тушу, подняться на ноги. Несмотря на боль, которую причиняло каждое движение моему избитому телу, я принялся колотить себя руками, растирать шею, щеки, нос, глаза. Пытался отогреть ладони под мышками. Из одежды на мне остались только штаны да разорванная рубашка. Ботинки и носки с меня тоже содрали. Ступни ног начали прирастать к полу, что причиняло невыносимые страдания. Пальцы на ногах коченели.

Я убеждал сам себя: «Это не может продолжаться более десяти минут, четверть часа от силы. Иначе я сам превращусь в замороженную мясную тушу! Нет, это невозможно. Не могут они заморозить нас живьем! Держись, Папи! Еще несколько минут, и дверь откроется. А коридор холодильника покажется жаркой баней». Руки перестали слушаться. Я не мог сжать ладони в кулак. Пальцы не двигались и не сгибались. Ступни примерзли к полу, и у меня уже не было сил их оторвать. Чувствовал, что начинаю терять сознание. На какое-то мгновение передо мной возникло лицо отца, над ним проплыла морда прокурора, но какая-то смазанная, нечеткая, поскольку на нее напоззали рожи полицейских. Три образа в одном. Я подумал: «Странно, как они похожи друг на друга! И смеются, потому что победили». И тут я упал в обморок.

«Что происходит? Где я?» Открыв глаза, я увидел красивое лицо склонившегося надо мной человека. Я не мог говорить, так как рот еще не отошел от холода. Но мысленно спросил себя: «Что я здесь делаю, лежа на столе?»

Большие руки, ловкие и сильные, массировали все мое тело, смазанное разогретым салом. И мало-помалу члены обретали гибкость и ко мне возвращалось тепло. Старший полицейский наблюдал за этой сценой, стоя метрах в двух-трех от стола. Рожка у него была кислая. Несколько раз мне пытались открыть

рот, чтобы влить спирт. Один раз перестарались: я чуть не задохнулся и отрыгнул все наружу.

— Ага, голубчик, — сказал массажист, — очухался.

Он продолжал массировать меня еще добрых полчаса. Я чувствовал, что могу говорить, но предпочитал помалкивать. Я заметил, что справа на таком же высоком столе лежит еще одно тело. «Кто это? Леон или Чилиец? Нас было трое. Я лежу на одном столе, на другом еще один — итого двое. Где третий?»

Остальные столы были пусты. С помощью массажиста я сел и наконец увидел, кто этот другой. Педро Чилиец. Нас переодели и запихнули в комбинезоны с толстыми прокладками, предназначенные специально для работы в морозильных камерах.

Начальник фараонов снова приступил к допросу:

— Можешь говорить, Чилиец?

— Да.

— Где камешки?

— Ничего не знаю.

— А ты, макаронник?

— Я не был с этими людьми.

— Прекрасно!

Я сполз со стола. Хоть я и с трудом держался на ногах, но был очень доволен, что снова стоял и чувствовал, как живительным огнем начинают гореть ступни ног. Они даже болели. Еще я ощущал, как кровь разливается по всему телу с такой силой, что достигает самых отдаленных его уголков, как она пульсирует и давит на стенки вен и артерий.

Тогда я подумал, что в тот день испытал самое страшное, что только может случиться, хуже уже не будет. Но я был далек от истины, слишком далек.

Нас с Педро поставили рядом. Начальник, снова обретший уверенность в себе, скомандовал:

— Снять с них комбинезоны!

Нас раздели. Оказавшись голым по пояс, я опять задрожал от холода.

— А теперь посмотрите сюда!

Из-под стола полицейские вытащили что-то вроде твердого пакета и поставили перед нами. Это был заледенелый труп, твердый, как доска. Глаза широко открыты, они неподвижны и хо-

лодны, словно два мраморных шарика. Жуткое зрелище! Большой Леон! Они заморозили его живьем!

— Смотрите хорошенько, — повторил начальник. — Ваш поделщик не захотел говорить, вот мы и довели дело до конца. Теперь ваша очередь, если будете упрямитесь и запирайтесь. Я получил приказ быть беспощадным, поскольку ваше дело слишком серьезно. Этот ломбард — государственное учреждение, и в городе назревают неприятности. Население считает, что ограбление — дело рук чиновников. Так что либо вы говорите, либо через полчаса с вами произойдет то же, что с вашим поделщиком.

Я все еще не мог оправиться от потрясения, лишившего меня дара речи и способности соображать. В течение долгих трех секунд я собирался с мыслями и уже готов был заговорить. Единственное, что удерживало меня от подобной глупости, это то, что я не знал, где находятся другие тайники. Они мне ни за что не поверят, и я ввергну себя в еще большую опасность.

К своему полному изумлению, я услышал размеренный голос Педро:

— Что ж, посмотрим! Ты нас этим не запугаешь. Согласен, произошел несчастный случай! Ты не хотел его заморозить, а просто перемудрил — вот и все. Но с нами ты не хочешь повторять эту ошибку. Один, положим, сойдет тебе с рук, но превратить в ледяные глыбы трех иностранцев — это уж слишком! Не представляю, как ты сумеешь объяснить все это в двух разных посольствах. Один — куда ни шло, но трое — не пройдет.

Я не мог не восхититься хладнокровием и железной выдержкой Педро. Начальник смотрел на него спокойно, не перебивая. Затем, выдержав короткую паузу, произнес:

— Хоть ты и бандит, должен признать, что кишка у тебя не тонка. — И, обращаясь к остальным, продолжил: — Найдите им рубашки и отправьте в тюрьму. Судья разберется. С такими скотами бесполезно продолжать работу. Только время терять!

С этими словами он повернулся к нам спиной и вышел вон.

Через месяц меня освободили. Хозяин магазина галстуков подтвердил, что к нему я никогда не заходил, что было сушей правдой. Бармены показали, что я выпил две порции виски и уже заказал столик на одного, когда в ресторане появились двое

остальных. По его словам, мы сильно удивились, встретившись случайно в этом городе. И тем не менее мне было дано указание покинуть страну в течение пяти суток, поскольку власти опасались, что я, так называемый соотечественник Леона (у него тоже был итальянский паспорт), обращусь в итальянское консульство и расскажу все, как было.

На допросе нам устроили очную ставку с одним типом, которого я в глаза никогда не видел. А вот Педро его знал. Это был наводчик, служащий ломбарда. В тот же вечер, после дележа добычи, этот раздолбай подарил великолепное старинное кольцо девчонке из ночного бара. Поставленной в известность полиции нетрудно было заставить его заговорить. Вот почему Большого Леона и Педро вычислили так быстро. Педро Чилиец влип крепко и остался в тюрьме.

С пятьюстами долларами в кармане я сел в самолет. К тайнику я и близко не подходил — не хотел рисковать. Через год я вернусь сюда за своим сокровищем. Итак, подведем итог жуткому кошмару, который я пережил. Газеты оценивали ограбление ломбарда в двести тысяч долларов. Если даже они преувеличивают вдвое, то все равно получается сто тысяч. Значит, в моей кубышке около тридцати тысяч долларов. Если учесть, что ценности в ломбарде закладываются по договорной цене, которая составляет половину их действительной стоимости, и если реализовать их напрямую, а не через перекупщика, то, по моим подсчетам, у меня может набраться кругленькая сумма — более шестидесяти тысяч долларов! Вполне достаточно, чтобы отомстить, при условии, что я не буду их проживать. Это святые деньги на святое дело. Их нельзя тратить ни на что другое ни под каким видом.

Для моего друга Леона это дело закончилось ужасно, а мне повезло. Может, придется еще помочь Чилийцу, но это пока неясно: наверняка через месяц-другой он пошлет какого-нибудь дружка за своей кубышкой, чтобы заплатить адвокату или организовать побег. Между прочим, как мы договаривались, каждый прятал свою долю сам, чтобы не было никакой связи с другими. Я был против, но что поделаешь, если в преступном мире южноамериканских стран так заведено: как только операция завершилась, каждый за себя и Бог за всех.

...И Бог за всех. Если Господь действительно спас меня, то он поступил более чем великодушно. Но не может быть, чтобы Всемилостивейший помогал мне ковать орудие мести! Господь не хочет, чтобы я мстил, — я это знаю. Очень хорошо помню свой последний день на каторге в Эль-Дорадо, накануне полного освобождения. Тогда мне захотелось возблагодарить Бога католиков. В волнении я сказал Ему: «Что я могу сделать в доказательство того, что я искренне благодарен Тебе за Твою заботу?» И мне показалось, что я услышал голос, говоривший со мной: «Оставь помыслы о мести». И я сказал: «Нет, только не это». Значит, вряд ли Господь оберегал меня в этой истории. Невозможно. Мне просто повезло, вот и все. Чертовски повезло. Все вышнему и дела нет до подобного дерьма!

Но результат налицо — он зарыт там, под вековым деревом. Гора свалилась с плеч: теперь есть на что реализовать свой план, вынашиваемый целых тринадцать лет.

Будем надеяться, что война пощадила ублюдков, спустивших меня вниз по сточной канаве! Мне осталось ждать часа «Ч». А пока надо устроиться на работу и спокойно жить! Придет день, и я откопаю свое сокровище.

Самолет летел высоко в ярко-голубом небе над покровом белоснежных облаков. На такой высоте помыслы у всех чисты, вот и я думал о своих близких: об отце, матери, семье — и лучезарном детстве. А там, внизу, под белыми облаками, плыли грязно-серые, шел грязный, серый дождь — точная картина мироустройства на земле: жажда власти, жажда доказать, что ты выше других, сухая, бездушная, свойственная некоторым жажда уничтожить человека во имя достижения чего-то или оправдания содеянного.

Глава восьмая

БОМБА

И вот я снова прибыл в Каракас, испытав огромное удовольствие от новой встречи с этим большим оживленным городом.

Вот уже двадцать месяцев, как я гулял на свободе, но пока так и не сумел стать полноправным членом общества. Легко сказать: «Теперь надо только работать!» — но попробуйте найти подходящую работу. Кроме того, я испытывал трудности в разговорном испанском, поэтому многие двери были передо мной закрыты. Поэтому я купил учебник по грамматике, заперся в своей комнате и решил, что буду учить, сколько потребуется, но обязательно хорошо овладею испанским языком. Терпения хватило ненадолго. Нарастала раздражительность: я никак не мог освоить произношение. Через несколько дней я забросил учебник подальше и отправился бродить по улицам и кафе в надежде встретить кого-нибудь из знакомых, кто мог бы мне помочь найти подходящее занятие.

Из Европы прибывало все больше французов, сытых по горло войнами и политическими передрягами. Одни бежали от правосудия, столь переменчивого и произвольного в зависимости от политических тенденций текущего момента, другие искали покоя — тихого пристанища, где можно было бы жить, не боясь, что ты под колпаком и что к тебе в любой момент могут прийти и посмотреть, чем ты дышишь.

Эти люди казались мне не похожими на французов, хотя они самые настоящие французы. И все же эти «честные граждане» не имели ничего общего с Шарьером-отцом и всеми теми, кого я знал в детстве. Находясь в их обществе, я сталкивался с таким нагромождением бредовых идей, настолько отличных от того,

что слышал в детстве, что я совсем переставал их понимать. Мне часто приходилось с ними спорить.

— Я думаю, что вам следует не забыть о прошлом, а перестать о нем говорить. Гитлер, нацисты, евреи, красные, белые, де Голль, левые — кого еще вам надо взрастить или убить в собственном сердце? Неужели даже после войны среди вас найдутся защитники нацизма, немецких или французских гестаповцев? Вот что я вам скажу: когда вы говорите о евреях, кажется, что вы источаете ненависть, натравливая один народ на другой.

Вы живете в Венесуэле, среди ее подданных, и все же вы не в состоянии усвоить такую замечательную философию этой страны. Никакой дискриминации ни по расовому, ни по религиозному признаку. Если кто и должен быть заражен вирусом мести, направленным против привилегированных классов, так это обнищавшая, самая обездоленная часть общества. А здесь этого вируса нет.

Вы даже не можете снова начать жить ради жизни. Неужели, по-вашему, жизнь должна быть вечным полем битвы между людьми, не разделяющими идеологии друг друга?

Замолчите, пожалуйста! Не привносите сюда европейское чванство, превосходство первооткрывателей. Да, вы более образованны, чем основная масса местного населения, и что из этого? Что вам это дает, если вы определенно в сто раз глупее в главном? Глядя на вас, не скажешь, что образованность означает интеллигентность, щедрость, доброту, сопереживание, — это всего лишь знания, приобретенные учебой. Если ваши сердца остаются черствыми, эгоистичными, враждебными, каменными, то ваши знания ничего не значат.

Милосердный Господь создал солнце, море, необозримые прерии, джунгли, но для кого? Для вас?

Вы страдаете сомнением, полагая, что вы каста избранных людей, призванных преобразовать мир. Когда я смотрю на вас или слушаю, то мне, как человеку, уже облагодетельствованному вашим «правосудием» и благодаря ему смешанному с грязью, кажется, что мир под руководством таких недоумков, как вы, ничего не принесет, кроме войн и революций. Возможно, вы и мечтаете об общественном спокойствии, но только если это спокойствие соответствует вашей точке зрения.

У каждого из них был свой список тех, кого следовало расстрелять, приговорить, засадить в тюрьму. Хотя это меня раздражало и беспокоило, я все равно не мог удержаться от смеха, слушая их рассуждения в кафе или холлах третьеразрядных гостиниц. Они критиковали всех и вся; выходило, что только они способны править миром.

И я начал испытывать страх, самый настоящий страх, потому что чувствовал, что пришельцы завезли с собой заразную болезнь, действительно опасную, вирус окаменелых идеологических страстей старого мира.

Наступил тысяча девятьсот сорок седьмой год. Я познакомился с бывшим эком Пьером Рене Делоффром, восторженным поклонником генерала Ангариты Медины, экс-президента Венесуэлы, свергнутого в результате последнего военного переворота в тысяча девятьсот сорок пятом. Делоффри был выдающейся личностью. Живой, энергичный, открытый и щедрый. Он употребил всю страсть своей души, чтобы убедить меня, что деятели, пришедшие к власти после государственного переворота, и в подметки не годятся генералу Медине. Должен вам признаться, что в этих занятиях он ничуть не преуспел, но, будучи в затруднительном положении, я ему не возражал и не перечил.

Через одного финансиста, экстравагантного типа, он подыскал мне работу. Финансиста звали Алехандро. Выходец из могущественной венесуэльской семьи, Алехандро был благороден, интеллигентен, образован, остроумен и необыкновенно храбр. Но он был по-своему несчастлив: у него на руках находился придурочный братец, приносящий ему одни огорчения своим скотским поведением и беспомощностью. Последние выходки братца убедили меня в том, что за свои двадцать пять лет он ни в чем не изменился. Делоффри не стал ходить вокруг да около. Он представил меня прямо:

— Мой друг Папийон. Бежал с французской каторги. Папийон, вот человек, о котором я тебе говорил.

Алехандро с необыкновенной простотой, свойственной настоящим господам, тут же принял меня за своего. Сразу поинтересовался, не нуждаюсь ли я в деньгах.

— Нет, сеньор Алехандро, мне нужна работа.

Во всяком случае, мне хотелось посмотреть, к чему все клонится. Не следовало торопиться. Кроме того, у меня оставалось кое-что из наличности, поэтому срочной нужды в деньгах не было.

— Загляните ко мне завтра в девять утра.

На следующий день он провел меня в гараж под вывеской «Франко-венесуэльский» и представил трем своим компаньонам, чистокровным жеребцам, готовым, закусив удила, по первому знаку рвануть с места в карьер. Двое из них были женаты. Один — на Симоне, блестящей парижанке лет двадцати пяти; другой — на Деде, бретонке лет двадцати с голубыми глазами и нежной, как фиалка, — матери прелестного мальчонки Крикри.

Прекрасные, открытые люди, без всяких задних мыслей. Они приняли новичка с распростертыми объятиями, как будто знали меня с раннего детства. Тут же помогли установить мне кровать в углу большого гаража, рядом с дверью в душевую комнату, скромно отгородив ее занавеской. Я могу, не покрывив душой, признаться, что за последние семнадцать лет это была моя первая настоящая семья, окружившая меня любовью, чуткостью и уважением. Я чувствовал себя беспредельно счастливым среди этой молодежной компании. Несмотря на то что я старше, жизнерадостности мне не занимать — я привык жить вне рамок законов и ограничений.

Я не задавал никаких вопросов, да их, собственно, и не требовалось задавать, и без того все было ясно: никто из них и рядом не стоял с настоящим механиком. Они слабо разбирались, а вернее, совсем не разбирались в двигателях, и меньше всего в двигателях машин американских марок, владельцы которых были основными, если не единственными, клиентами. Один парень был токарем, чем объяснялось присутствие токарного станка в гараже для расточки, как уверяли они, поршней. Очень скоро я убедился, что токарный станок действительно предназначался для расточки, но только газовых баллонов, чтобы можно было приладить к ним запал и бикфордов шнур.

Для недавно прибывших французов франко-венесуэльский гараж занимался ремонтом автомобилей. А вот по заказу вене-

суэльского финансиста там делались бомбы для *golpe*¹. Меня это не слишком устраивало.

— К черту! Объясните мне, пожалуйста, для кого и против кого вся эта затея?

Однажды вечером, при свете лампы, я доставал своими расспросами трех французов, в то время как их жены и малыш крепко спали.

— Не нашего это ума дело. Мастерим горшки для Алехандро — значит так и надо, дорогой друг.

— Для вас, может, так и надо, а я должен знать.

— Зачем? Получаешь жирный кусок, живешь припеваючи, что тебе еще?

— Так-то оно так — припеваючи, но не забывайте: я чувствую себя здесь не так, как вы. В этой стране я нашел приют, мне дали свободу и оказали доверие.

Моя болтовня, да еще в моем положении, их просто ошарашила. Они прекрасно знали, что творилось у меня в голове, и про мою навязчивую идею тоже; я им обо всем рассказал. Только не заикнулся о последнем деле с ломбардом. Они стали приводить свои доводы:

— На этом перевороте, если он удастся, ты сможешь заработать всю необходимую сумму для осуществления своего плана. И даже больше. Что же касается нас, то, право, мы тоже не собираемся всю жизнь торчать в этом гараже. Нам также не до смеха, но о том, чтобы зарабатывать такие деньги, не успев прибыть в Южную Америку, мы могли только мечтать. Подумай хорошенько!

— А ваши жены, ребенок?

— Жены в курсе. За месяц до переворота они отправятся в Боготу.

— Ах вот оно что!.. Они в курсе. Я так и знал. Значит, для них нет ничего удивительного в том, что происходит.

В тот же вечер я отправился поговорить с Делюффрием и Алехандро. Алехандро попробовал объясниться:

— В нашей стране всем заправляют Бетанкур и Гальегос под прикрытием псевдодемократов из Д. Д. (партии «Демо-

¹ Государственный переворот (*исп.*).

кратическое действие»). Власть им передали безмозглые военные, которые сами не понимают, почему они сбросили другого военного, генерала Медину, человека куда более либерального и гуманного, чем нынешние гражданские власти.

Мне приходится быть немым свидетелем преследования бывших функционеров, сторонников генерала Медины, и я пытаюсь понять, почему люди, совершившие революцию под лозунгом «социальная справедливость и уважение прав всех без исключения», становятся хуже своих предшественников, стоит им только прийти к власти. Вот почему я вношу свой вклад в дело возвращения Медины.

— Хорошо, Алехандро, я тебя понимаю. Ты прежде всего хочешь сделать так, чтобы партия, стоящая сейчас у власти, прекратила преследовать своих противников. А у тебя, Делоффер, только один бог — генерал Медина, твой защитник и друг. Но послушайте: именно эта партия, которая сейчас правит, освободила меня, Пашийона, из тюрьмы Эль-Дорадо. Именно когда убрали Медину, приехал новый начальник, который, надеюсь, и сейчас здоровствует, дон Хулио Рамос, адвокат и известный писатель. Он-то меня и освободил и покончил со всеми зверствами в тюрьме. И вы хотите, чтобы я участвовал в государственном перевороте, направленном против этих людей? Нет уж, увольте, пожалуйста. Вы знаете, я человек слова и умею держать язык за зубами.

Алехандро, настоящий сеньор, знающий о моем затруднительном положении, сказал мне:

— Энрике, ты не делаешь бомбы, не работаешь на токарном станке. Ты ведь занимаешься только машинами да помогаешь кузовщику, подаешь ему инструмент. Останься еще на некоторое время. Я тебя очень прошу. Можешь не сомневаться: если мы решимся на выступление, обещаю предупредить тебя более чем за месяц.

Так я и остался работать с тремя молодыми парнями, не буду называть их по имени, обойдусь лишь инициалами: П. Л., Б. Л. и Ж. Г.; все трое до сих пор пребывают в добром здравии и легко могут себя узнать. В общем, сбилась тесная компания. Мы всегда были вместе. Жили на полную катушку, так что каракасские французы окрестили нас тремя мушкетерами, которых, как

известно, было четверо. Эти несколько месяцев нашего совместного проживания останутся в моей памяти лучшими из всех, прожитых в Каракасе, самыми веселыми и жизнерадостными.

Жизнь наша представляла собой сплошное веселье. Каждую субботу мы оставляли себе в личное пользование автомобиль пошикарнее, а клиенту сообщали, что он еще не готов. Сами же отправлялись на нем к морю на дивные пляжи, где росло много цветов и кокосовых пальм. Там мы купались и дурачились от души весь день. Разумеется, иногда не обходилось без приключений, когда возмущенный владелец машины, который полагал, что его лимузин стоит в гараже, вдруг вместо этого видел цирк на колесах. В таких случаях мы очень вежливо и тактично объясняли ему, что это делается в его же интересах, поскольку-де нельзя машину возвращать сразу после ремонта, не проверив ее на ходу, а для этого требуется обкатка. Ни разу подобные встречи не заканчивались для нас неприятностями, и, несомненно, большая заслуга в этом заключалась в милых улыбках обеих наших женщин.

Правда, бывали случаи и «посмешнее». В автомобиле у швейцарского посла потек бензобак. Посол приехал на своем лимузине и попросил запаять трещину. С помощью резинового шланга я слил бензин из бака до последней, как мне показалось, капли. Но, по-видимому, моих стараний оказалось недостаточно. Едва я поднес горелку, как чертов бак взорвался, и пламя перекинулось на машину, которая полностью сгорела. Мы с рабочим, оба забрызганные мазутом и копотью, еще стояли и ощупывали себя, еле соображая, что остались в живых, когда услышали спокойный голос Б. Л.:

— Как вы думаете, не следует ли нам поставить в известность наших компаньонов об этой маленькой неприятности?

Он позвонил Алехандро, но нарвался на счастливого придурка Висенте.

— Висенте, не могли бы вы дать мне номер страхового полиса гаража?

— ...

— Нет? Послушайте... ничего серьезного! Но ведь это вы занимаетесь административными вопросами.

— ...

— Почему? Ах да, я совсем забыл вам сказать. Сгорел лимузин швейцарского посла. От него осталась лишь груда пепла.

Через пять минут Висенте примчался как угорелый. В отчаянии он воздевал руки к небесам, так как в действительности гараж оказался не застрахован. Потребовались три хорошие порции виски да прелестные обнаженные ножки Симоны, чтобы он успокоился. Алехандро появился только на следующий день, по своему обыкновению с видом хозяина положения, и спокойно заметил:

— Не ошибается тот, кто ничего не делает. И хватит об этом. С послом я все уладил.

Послу приобрели другую машину, но от дальнейших наших услуг он отказался.

В этой веселой и беспечной жизни бывали минуты, когда я задумывался о своем маленьком сокровище, припрятанном под деревом в одной республике, знаменитой своим замороженным мясом. И откладывал средства на поездку туда и обратно, когда придет время отправиться за ним. Сознание того, что денег уже вполне или почти хватает для осуществления плана мести, полностью меня преобразило. Я уже не беспокоился о заработках, теперь это не имело значения. Да и поднакопил я прилично. А потому и жил без оглядки увлекательной жизнью мушкетеров. Я окунулся в нее настолько, что однажды в воскресенье среди бела дня на одной из площадей Каракаса мы все вместе купались в фонтане, нагишом. Тогда, пожалуй, впервые Висенте оказался на высоте: он выручил компаньонов своего брата из полицейского участка, куда они загремели по причине безнравственного поведения.

Прошло несколько месяцев, и наступил подходящий момент отправляться за кубышкой.

Итак, до свидания, друзья! Спасибо за доброту и ласку! Я помчался в аэропорт.

Прибыл в шесть утра. Взял напрокат машину и в девять уже был на месте.

Перешел через мост. Боже мой! Что произошло? Либо я сошел с ума, либо это мираж. Я спустился с моста и огляделся. Моего дерева как не бывало! И не только его — многие деревья исчезли напрочь! Да и дорога значительно спрямлена и расши-

рена, а соответственно, расширены настил моста и подъездной путь к нему. Ориентируясь на мост, я начал прикидывать, где могли находиться мое дерево и заветное сокровище. Мне удалось приблизительно установить это место. И ничего! Я был потрясен! Никакого следа!

Меня охватил приступ звериной ярости и безумия! В дикой злобе я принялся колотить каблуком по асфальту, стучал по нему так, будто он мог что-то почувствовать. В бессильном неистовстве я озирался по сторонам, мечтая что-нибудь сломать или разрушить. Не найдя ничего подходящего, я принялся стирать ногами белую дорожную разметку, я все тер ее и тер, словно отскакивающие пластинки краски могли разрушить дорогу.

Вернувшись на другой конец моста, я определил по старому участку, который не подвергался реконструкции, что строители снесли порядочную часть грунта, заглубив дорожное полотно более чем на четыре метра. Мой тайник находился на глубине более одного метра. Значит, не уцелел, бедняжка!

Облокотившись на парапет моста, я долго смотрел вниз, на бегущую воду. Постепенно приходило успокоение, но взбудораженные мысли так и продолжали роиться в моем сознании. Что же, я так и буду всю жизнь стоять у разбитого корыта? Может, оставить наконец все авантюры? Что теперь предпринять? Колени у меня дрожали, ноги подкашивались. Взяв себя в руки, я начал рассуждать: «Сколько раз ты терпел фиаско, прежде чем побег удался? Семь-восемь раз? То же и в жизни: потерял банк, взял банк! Это и есть жизнь, если ее по-настоящему любишь!»

В той стране, где считали необходимым так быстро переделывать дороги, я долго не задержался. Судите сами, можно ли называть нацию цивилизованной, если она не уважает вековые деревья? Зачем, я вас спрашиваю, расширять дорогу и без того широкую? Чтобы увеличить ее пропускную способность? Но там и так не было никаких пробок!

Уже в самолете на обратном пути в Каракас я потешался над теми, кто возомнил себя хозяевами своей судьбы, способными построить будущее и предвидеть события на ближайшие год или два. Черта с два, Папи! Даже самый точный, самый расчетливый,

самый гениальный устроитель собственной судьбы в действительности не что иное, как просто игрушка в руках непредсказуемой судьбы. Можно быть уверенным только в настоящем, все остальное неизвестно и называется везением, невезением, судьбой. Или — еще лучше — тайным и непостижимым перстом Божиим.

Единственное, что важно в жизни, — это никогда не признавать себя побежденным и после каждой неудачи начинать все сначала. Что я и собирался сделать.

Перед отъездом из Каракаса я навсегда распрощался со своими друзьями. Мой план был рассчитан на такой ход событий: откопать кубышку, проехать через другие страны, минуя Венесуэлу, переделать драгоценности, чтобы их не опознали, а после продажи камушков отправиться в Испанию, откуда легче всего нанести визит прокурору и компании. Теперь можете себе представить боевой клич, которым встретили мушкетеры мое появление на пороге гаража. Затем был обед, праздничный пирог по случаю моего возвращения и четыре цветочка от Деде на столе. Мы выпили за воссоединение нашей команды, и жизнь вновь закружилась на всю катушку. Правда, безопасности у меня поубавилось.

Я чувствовал, что Алехандро и Деллоффри имеют на меня виды, но пока не раскрываются. Бьюсь об заклад, это связано с государственным переворотом, хотя они хорошо знали мое отношение к этой затее. Меня часто приглашали к Деллоффри пропустить стаканчик вина или отобедать. Еда превосходная, и без свидетелей. Деллоффри готовил все сам, а Виктор, его верный шофер, прислуживал нам за столом. Мы болтали о всякой всячине, но в конце концов разговор всегда сводился к главному: генералу Медине. Это-де был самый демократичный и либеральный президент Венесуэлы, за годы его правления не было ни одного политического заключенного, никто никогда не преследовался за свои убеждения. Он проводил политику мирного сосуществования со всеми государствами и режимами, восстановил дипломатические отношения даже с Советским Союзом. Он был так хорош, так благороден и так любим народом за свою простоту,

что однажды во время празднеств в Эль-Параисо его вместе с женой торжественно несли на руках, словно тореро.

Своими вечными разговорами об этом замечательном Медине, который ходил по Каракасу в сопровождении лишь одного адъютанта, посещал кинотеатры, как простой смертный, Алехандро и Деллоффер почти убедили меня в том, что любой мужественный и честный человек просто обязан внести посильный вклад в дело возвращения бывшего президента к власти. И самыми черными красками мне расписывались несправедливость и гонения, развязанные функционерами нынешнего правительства против определенной части населения. А чтобы этот необыкновенный президент стал мне еще более симпатичен, Деллоффер среди самых высоких достоинств генерала отметил его страсть гулять по первому разряду и при этом не замедлил упомянуть, что был близким другом Медины, хотя последний знал о его побеге с каторги. Для себя я отметил также, что Деллоффер потерял все во время последней революции. Какие-то загадочные «мстители» разграбили его шикарный ресторан-кабаре, куда Медина и высшее общество Каракаса частенько заходили пообедать или провести время. Наконец, почти убежденный — и зря, как потом выяснилось, — я стал подумывать об участии в государственном перевороте. Мои сомнения рассеялись полностью (я должен это сказать, потому что хочу быть откровенным), когда мне были обещаны солидные деньги и все необходимые средства для приведения в действие моего плана мести.

В ночь накануне выступления мы собрались у Деллоффера. Я — в форме капитана, Деллоффер — в мундире полковника.

Начали плохо. Чтобы опознать друг друга, гражданские заговорщики условились надеть зеленые нарукавные повязки и обменяться паролем «Арагуа». К двум часам ночи все должны были собраться в условленных местах, но около одиннадцати вечера на улице появился единственный в Каракасе фиакр, в котором четверка вдрызг пьяных молодцев во всю мочь горланила песни под гитару. Эти идиоты остановились напротив нашего дома, и, к своему ужасу, я услышал, что они расппевают куплеты с более чем прозрачным намеком на государственный

переворот, который совершится ночью. Один из них крикнул Деллоффу:

— Пьер! Пришел конец кошмару! Наконец-то сегодня ночью! Мужество и доблесть, amigo! Вернем к власти нашего отца Медину!

От безмозглых дураков хорошего не жди! Любой фраер донесет полиции, и через несколько минут жди ее к себе в гости! Я вскипел от негодования, и было от чего: в машине три бомбы — две в багажнике и одна на заднем сиденье под ковриком.

— Хороши же твои сообщники! Если они все такие, то нам нечего беспокоиться, лучше прямо идти в тюрьму!

Деллоффр расхохотался, и так беззаботно, как будто собирался на бал и разглядывал себя в зеркале, любуясь формой полковника.

— Не волнуйся, Папи. Между прочим, мы никому не собираемся делать ничего плохого. Ты же знаешь, в тех трех конфетах, кроме пороха, ничего нет. Это всего лишь для шума, не больше.

— А шум для чего?

— Просто чтобы дать сигнал заговорщикам, рассредоточенным по городу. Вот и все. Видишь, здесь нет злого умысла. Мы не желаем никому причинять вреда. Прикажем всем разойтись — и делу конец.

Ладно. Хотел я того или нет, но я уже был в деле, была не была! Незачем дрожать и переживать — осталось только ждать условленного часа.

Я отказался от портвейна, предложенного мне Деллоффом. Это был единственный спиртной напиток, который он употреблял. По две бутылки в день. Он выпил залпом несколько рюмок.

Три мушкетера прибыли на штабном автомобиле, переделанном в автокран. Он должен был послужить нам при взятии двух сейфов: первый принадлежал одной авиакомпании, второй — образцовой тюрьме Модело, один из начальников которой — командир охраны — участвовал в заговоре. Я должен был получить пятьдесят процентов их содержимого, поэтому настоял на личном участии в захвате тюремного сейфа. Мне разрешили.

Это будет прекрасный реванш, и направлен он будет против всех тюрем мира. Работа пришлась мне по душе.

Нам передали последние распоряжения: не задерживать никого из противников — пусть себе бегут. Даже гражданский аэропорт Ла-Карлота в центре Каракаса не подлежал захвату — мы оставили окно для членов правительства и правительственных чиновников, чтобы они могли свободно удрать на легких самолетах.

Только что я узнал, где должна была взорваться первая бомба. Да уж, о Делоффре не скажешь, что он сморкается в рукав: задумал рвануть ее напротив ворот президентского дворца Мирафлорес. Каково! Звучит как Елисейский! Что касается двух других, то одну собирались взорвать в западной, а вторую — в восточной части Каракаса, чтобы создалось впечатление, что бомбы гремят повсюду. Я улыбнулся, представив себе, какой переполох начнется во дворце.

Большие деревянные ворота не являлись официальным входом во дворец. Они располагались напротив заднего фасада здания, и через них заезжали военные грузовики. Ими пользовались некоторые привилегированные лица, а иногда и сам президент, желая остаться незамеченным.

Сверили часы. Без трех два мы должны были появиться у ворот. Кто-то изнутри их приоткроет на несколько секунд, а в это время шофер квакнет лягушкой — не сам, а с помощью детской игрушки, которая квакает, как настоящая. Это станет сигналом, что мы на месте. Для чего все это делалось? Я не знал, ибо мне никто не объяснял. То ли президентская охрана участвовала в заговоре и должна была арестовать президента Гальегоса, то ли саму охрану должны были быстро нейтрализовать заговорщики, засевшие во дворце. Мне ничего не было известно.

Ясно было только одно: ровно в два часа мне надлежало поджечь бикфордов шнур, ведущий к детонатору газового баллона. Баллон я буду держать между ног. Затем я выброшу его через дверцу машины и с силой подтолкну ногой в сторону ворот. Шнур рассчитан на полторы минуты. Я запалю его от сигары и, как только он вспыхнет, отставлю правую ногу в сторону и открою дверцу, отсчитывая про себя тридцать секунд. При счете «тридцать» пущу баллон по шоссе. Мы прикинули, что на ветру

горение шнура усилится и бомба взорвется примерно через сорок секунд.

Хотя наша «конфета» не была начинена картечью, взрыв и без того был жутко опасен, поэтому машина должна была рвануть с места и быстро отъехать на безопасное расстояние. Это дело Виктора, нашего шофера.

Случись поблизости солдат или полицейский, Деллоффри отдаст ему приказ отбежать до угла улицы — на этом я настоял. На нем все-таки мундир полковника! И он мне обещал.

Ровно без трех минут два мы затормозили у известных ворот. Доехали без приключений. Остановились у противоположного тротуара. Ни часового, ни полицейского. Прекрасно. Без двух два... Без одной минуты... Два...

Ворота не открывались.

Я был весь в напряжении.

— Пьер, уже два, — сказал я Деллоффри.

— Знаю, у меня тоже есть часы.

— Значит, чем-то пахнет.

— Не понимаю, что там происходит. Подождем еще пять минут.

— О'кей.

Два часа две минуты. Ворота резко распахнулись, и из них выскочили солдаты. Они развернулись в цепочку, с карабинами на изготовку. Ясно как божий день, что нас предали.

— Вперед, Пьер! Измена!

Но Деллоффри не так-то легко было сдвинуть с места. Помоему, он еще не врубился.

— Ты думаешь? Солдаты на нашей стороне!

Я выхватил наган и приставил дуло к затылку Виктора.

— Жми, иначе пристрелю!

Вместо того чтобы почувствовать резкий бросок машины вперед, стоило только Виктору выжать педаль газа до предела, я услышал совершенно невероятное:

— *Hombre*, не ты здесь командуешь, а патрон. Что скажешь, патрон?

Вот говно! Повидал я на своем веку ребят с крепкими нервами, но таких, как этот метис, видеть не приходилось!

Я ничего не мог поделаться, поскольку солдаты находились всего лишь в трех метрах от нас. Они видели полковничьи звезды на погонах Делюффра и к машине не подходили.

— Пьер, если ты не прикажешь Виктору отчаливать, то я не Виктора остужу, а тебя.

— Малыш, я еще раз тебе говорю: солдаты с нами, — отвечал Пьер, повернувшись ко мне лицом. — Подождем еще немного.

И тогда я увидел, что ноздри у Делюффра припудрены блестящим белым порошком. Я все понял: приятель напичкал себя кокаином. Меня охватил животный страх, именно животный, и я поднес дуло уже к его затылку. Однако Делюффр сказал мне еще более спокойным голосом:

— Сейчас два часа шесть минут, Папи. Еще две минуты — и уезжаем. Нас определенно предали.

Эти сто двадцать секунд показались мне вечностью. Я не спускал глаз с солдат, они тоже наблюдали за нами, особенно те, кто находился ближе. Наконец Делюффр произнес:

— Вперед, Виктор. Спокойно, спокойно. Так, нормально. Не гони.

Фу-у! Каким-то чудом мы выскочили живыми из волчьего капкана. Помнится, через несколько лет на экраны вышел фильм: «Самый длинный день». Можно было бы снять еще один — под названием «Самые длинные восемь минут».

Делюффр приказал шоферу мчаться к городскому мосту, связывающему Эль-Параисо с проспектом Сан-Мартин. Он собирался взорвать бомбу под мостом. По дороге нам повстречались два грузовика с заговорщиками; они не знали, что делать, поскольку не услышали взрыва, назначенного на два часа. Мы объяснили им, что происходит и что нас предали. После этого разговора Делюффр переменял решение и распорядился двигать к себе домой, и как можно скорее. Это была грубейшая ошибка: оповещенная полиция, вполне возможно, уже поджидала нас там. Но мы все равно поехали. Помогая Виктору закинуть мою бомбу в кофр, я заметил на ней три буквы: П. Р. Д. Я не мог удержаться от смеха, когда Пьер Рене Делюффр принялся рассуждать по этому поводу (оба мы в это время поспешно стаскивали с себя военную форму):

— Не забывай, Папи, каждое опасное дело требует своего вензеля. Эти инициалы — моя визитная карточка для врагов моего друга.

Виктор отогнал машину на стоянку и, разумеется, забыл оставить там ключи. Наши три бомбы полиция обнаружила только спустя три месяца.

Вопрос, ошиваться ли нам у Делоффра, отпал сам собой. Мы разошлись, каждый в свою сторону. Никакой связи с Александром. Я отправился прямо в гараж, где помог демонтировать токарный станок да припрятать пять или шесть газовых баллонов. В шесть утра раздался телефонный звонок и таинственный голос возвестил:

— Французы, сматывайтесь по одному в разные стороны. Только Б. Л. остается в гараже. Поняли?

— Кто у телефона?

Трубку повесили.

Переодевшись в женское платье, я сунулся в джип, за рулем которого сидел бывший офицер французского Сопротивления. Я ему оказал кое-какие услуги, когда он приехал в Венесуэлу. Из Каракаса выехали без помех и добрались до Рио-Чико, что в двухстах километрах от столицы, на берегу моря. Здесь я собирался пожить пару месяцев в обществе бывшего капитана, его жены и друзей из Бордо.

Б. Л. арестовали. пыток не применяли, допрашивали хотя и жестко, но корректно. Когда я узнал об этом, то решил, что режим Гальгоса и Бетанкура не так уж преступен, как мне его расписывали, во всяком случае в отношении нашего дела.

Делоффр, если я не ошибаюсь, в ту же ночь нашел «политическое убежище» в посольстве Никарагуа.

Что касается меня, то я никогда не терял веры в жизнь. Прошла всего неделя, а мы с бывшим капитаном уже водили грузовик, принадлежавший муниципальной фирме «Мосты и шоссе-сейные дороги» в Рио-Чико. Один приятель помог нам выйти на муниципалитет. Зарабатывали двадцать один боливар на двоих и кормили пятерых.

Вот уже два месяца, как я трудился дорожным рабочим, — срок вполне достаточный, чтобы буря, поднятая нашим разгово-

ром в Каракасе, улеглась и полиция, отложив в сторону старые дела, обратила свое пристальное внимание на признаки нового, уже зреющего, заговора. Полиция всегда поступает мудро, когда бросает прошлые дела и принимается за настоящие. А мне только того и надо. Про себя я твердо решил, что теперь меня в подобные авантюры и на аркане не затащишь. Одной сыт по горло. Сейчас самое лучшее — жить здесь спокойно со своими друзьями и не высовываться.

Чтобы пополнить наш рацион, я часто, ближе к вечеру, ходил к морю на рыбалку. Сегодня я вытащил огромного *robalo*, разновидность морского окуня, и принялся чистить его не спеша, прямо на пляже, любуясь чудесным закатом. Красный закат к надежде, Папи! И, несмотря на все неудачи, преследовавшие меня после освобождения, я расхохотался. Да, мне нужна надежда — она поможет мне выжить и победить. Но когда же все-таки мне улыбнется удача? Итак, Папи, подведем итог двухлетнему пребыванию на свободе.

Я не на мели, но и хвастаться нечем: три тысячи боливаров от силы — вот сальдо за два года приключений.

И что же за это время произошло?

Первое: груды золота в Кальяо. Стоит ли о ней горевать? Ведь это не назовешь неудачей — ты сам добровольно отказался от нее во имя спокойной жизни бывших каторжников. Сожалеешь? Нет. Прекрасно. Тогда забудем о тонне золота!

Второе: игра на алмазных приисках. Тебя двадцать раз могли убить за десять тысяч долларов, которых ты и в руках не держал. Вместо тебя умер Жожо, а ты остался в живых. Правда, без гроша в кармане, но зато какое славное приключение! Тебе никогда не забыть напряженности тех ночей, рожи игроков при свете карбидной лампы, невозмутимого и уверенного в себе Жожо. Значит, не о чем и жалеть.

Третье: туннель под банком. Тут все иначе: тогда тебя действительно покинула удача. Но зато целых три месяца ты круглосуточно жил на полную катушку, так сказать, на эмоциональном подъеме, возрастающем с каждым часом. Это уже само по себе здорово. Но не стоит также забывать, что в течение трех месяцев, даже во сне, ты видел себя миллионером и нисколько не сомневался, что станешь им. Неужели это ничего не стоит? Конечно,

можно было бы рассчитывать на большее везение, но могло случиться и наоборот. А что, если бы туннель рухнул в тот момент, когда ты находился внутри? Ты бы сдох там, как крыса, или тебя затравили бы, как лису в собственной норе.

Четвертое: ломбард и морозильник. Не на кого жаловаться, разве что на дорожную службу той проклятой страны.

Пятое: заговор. Откровенно говоря, ты никогда не разделял их взглядов. Эти политические дразги и бомбы, которые могутхлопать кого хочешь, не твой стиль. По сути, ты клюнул на разглагольствования двух симпатичных приятелей да на их обещания выдать деньги на осуществление твоих заветных планов. Но ведь в душе ты был против. Ты всегда считал дурной блажью идею сбрасывать правительство, выпустившее тебя на свободу. И все же ты свое получил: четыре месяца клоунады с тремя мушкетерами, их женами и малышом. Эти радостные дни, молодой задор, плещущий через край, разве их можно позабыть!

Не говоря уж об остальном — Рыжем, его самолете и т. д.

Вывод: тебя упекли на тринадцать лет совершенно несправедливо. Украли практически всю твою молодость. И хотя ты спишь, ешь, пьешь, смеешься, все равно никогда не забываешь о том, что рано или поздно должен будешь отомстить. Очень хорошо.

Значит, так, уже два года, как ты на свободе. И за это время приобрел бесценный опыт в череде умопомрачительных приключений. Ты выпутывался из одной истории и тут же вляпывался в другую. И вот что интересно: ты их особенно не искал, они сами тебя находили. У тебя была замечательная любовь, ты встречал много людей, абсолютно разных, которые одаривали тебя своей дружбой и с которыми ты рисковал жизнью. И со всем этим капиталом ты хнычешь? Ты что, на мели или почти? Пустое! Нищета не та болезнь, что не поддается лечению!

Так слава Богу, Папи! Слава авантюре, слава риску, всему тому, чем ты жил ежедневно и ежеминутно! Все это, как чистую воду из чудесного родника, ты пил большими глотками, и это оживляло твою душу и доходило до сердца! А еще ты жив-здоров, а это самое главное.

Сотрем все и начнем сначала, господи! Ставки сделаны! Банк взят! Банк удержан! Еще и еще! До бесконечности! Расслабься,

Папийон. Дай приятной дрожи пробежать по всему телу. Пусть душа поет в надежде. Ты скоро услышишь: «Девятка в выигрыше! Загребайте ваши деньги, мсье Папийон. Вы сорвали банк!»

Солнце почти опустилось за горизонт. Красный закат — к надежде! Да, надежды у меня хоть отбавляй. И веры в будущее! Ветер посвежел. Я успокоился. Босые ноги ступали по влажному песку — я направлялся к дому, где меня ждали с вечерним уловом, чтобы приготовить ужин. Я был счастлив. Я был жив и свободен. И все эти краски, игра света и тени на гребнях низких волн, уходящих в бесконечную даль, брали за живое и будоражили душу. Я преодолел столько препятствий, избежал столько опасностей в прошлом, что невольно задумался о Создателе всего сущего: «Добрый вечер, мой друг, и спокойной ночи! Несмотря на все мои неудачи, я все-таки благодарю Тебя за то, что Ты послал мне такой прекрасный свободный и светлый день, а на десерт — багряный закат тропического солнца!»

Глава девятая

МАРАКАЙБО. СРЕДИ ИНДЕЙЦЕВ

Полиции было не до меня: в ее руки попали сведения о новом заговоре и у нее имелась масса других забот. Но мне все-таки следовало держаться подальше от Каракаса, пока не забудутся события, связанные с провалившимся государственным переворотом. Похоже, так оно и было: старые дела на время оказались отложены, но кто знает?

Вот почему во время короткой поездки в Каракас я ухватился за предложение одной бывшей парижской манекенщицы помочь ей в содержании отеля, который она только что открыла в Маракайбо. Меня познакомил с ней один приятель. Я с радостью согласился взять на себя обязанности администратора по общим вопросам. Звали ее Лоранс. Красивая, элегантная женщина. Приехала, кажется, на презентацию моделей одежды в Каракас и решила остаться в Венесуэле. Каракасскую полицию и Маракайбо отделяла целая тысяча километров. Совсем не плохо!

Я воспользовался автомобилем моего друга и через четырнадцать часов езды впервые увидел то, что называют озером Маракайбо, хотя на самом деле это был огромный внутренний морской бассейн, врезавшийся в материк на глубину ста пятидесяти километров и протянувшийся на сто километров в самой широкой его части. С морем озеро соединялось проливом шириной десять километров. Город Маракайбо лежал к северу, на западном берегу пролива, который в настоящее время соединяется с восточным берегом мостом. А в то время моста не было, и прибывающие из Каракаса переправлялись в Маракайбо на пароме.

Озеро действительно впечатляло своей необычностью и спокойствием. Оно было усеяно тысячами металлических вышек,

и это напоминало сплошной лесной массив, который невозможно охватить взглядом. Вышки-деревья располагались симметрично и уходили за горизонт. Конечно же, это были не деревья, а нефтяные скважины, и у основания каждой из башен был подвешен балансир, который день и ночь без усталости качал из недр земли черное золото.

Между двумя участками дороги из Каракаса в Маракайбо, там, где она разделяется протоком, бесперебойно курсировал паром. На нем перевозили машины, пассажиров и различные грузы. Во время переправы я, как мальчишка, торопливо переходил от одного борта к другому, зачарованный и изумленный видом этих железных пилонов, выступающих из озера, и, глядя на них, размышлял о том, что в двух тысячах километров отсюда, на другом конце страны, в Венесуэльской Гвиане, Господь заложил в землю громадные запасы алмазов, золота, железа, никеля, марганца, бокситов, урана и всего остального, в то время как здешние недра заполнил нефтью, которая приводит в движение весь мир, в таком изобилии, что тысячи насосов денно и нощно качают ее и все никак не могут исчерпать источник. Венесуэла! Тебе не в чем упрекнуть Создателя!

Отель «Нормандия» представлял собой огромную величественную виллу, окруженную безупречно ухоженным благоухающим садом. Прекрасная Лоранс встретила меня с распростертыми объятиями:

— Вот мое королевство, Анри (она всегда звала меня Анри), — проговорила она, смеясь.

Отель был открыт всего два месяца. Шестнадцать номеров, но все по высшему разряду. В каждом номере шикарная ванная комната, достойная королевского дворца. Лоранс сама придумывала интерьер повсюду, от спальных комнат до туалетов общего пользования, включая холл, террасу и столовую.

Я приступил к работе. Быть правой рукой Лоранс — дело нешуточное. Моей француженке не было еще сорока. Вставала она в шесть утра, следила за приготовлением завтрака для жильцов, иногда готовила его сама. Целый день она была на ногах, занималась буквально всем, ничто не ускользало от ее взгляда. При этом у нее еще находилось время на уход за розарием, а бывало,

что она сама подметала дорожку в саду. Лоранс крепко держала жизнь обеими руками, преодолевая почти непреодолимые трудности, чтобы вести хозяйство, и настолько верила в триумфальное будущее своего предприятия, что и я поневоле заражался ее неистребимой верой и развивал бурную деятельность, стараясь не отставать от хозяйки. Я делал все, чтобы помочь ей решить сотни проблем, возникающих постоянно. Особенно денежную. Она увязла в долгах как в шелках, ведь чтобы превратить эту виллу в первоклассный отель, потребовались огромные вложения.

Вчера по собственной инициативе, не посоветовавшись с ней, я провернул замечательное дело с одной нефтяной компанией.

— Добрый вечер, Лоранс.

— Добрый вечер. Уже поздно, Анри, восемь вечера. Не хочу упрекать, но что-то я тебя последние несколько часов не видела.

— Прошелся малость. Решил прогуляться.

— Ты что, шутишь?

— Ну да, шучу над жизнью. А отчего над ней не шутить, коль она такая смешная? Разве не так?

— Не всегда. Вот, например, сейчас мне хотелось бы, чтобы ты меня морально поддержал. У меня большие затруднения.

— Большие?

— Да. Надо оплатить кредиты, взятые на переустройство отеля. Хотя сейчас дела идут хорошо, мне приходится нелегко. Много долгов.

— Держись, Лоранс, и не падай в обморок. Ты уже ничего не должна.

— Ты смеешься надо мной?

— Отнюдь. Послушай: ты меня взяла в свое дело в качестве партнера, но я заметил, что некоторые принимают меня за хозяина.

— И что же?

— Так вот, один канадец из фирмы «Люмпос» именно так и подумал, поэтому разговорился со мной об одном деле, выгодном, как ему кажется, для обеих сторон. Я был сегодня у него и вот только что вернулся.

— Говори же скорее! — воскликнула Лоранс, вытаращив глаза.

— Так вот, фирма «Люмюс» снимает твой отель со всеми потрохами и с полным пансионом. На целый год!

— Этого не может быть!

— Может. Уверяю тебя.

В порыве радости Лоранс поцеловала меня в обе щеки и упала в кресло — ноги не держали ее, подкашивались сами собой.

— Разумеется, я не стал один подписывать этот сказочный контракт. Завтра тебя пригласят в фирму, и ты сделаешь это сама.

Благодаря этой сделке отель «Нормандия» принес Лоранс почти целое состояние. Даже трехмесячного аванса хватило, чтобы рассчитаться со всеми долгами.

Подписание договора мы отметили шампанским — управляющий фирмой «Люмюс», Лоранс и я.

Я был счастлив, чертовски счастлив. Той же ночью, лежа в своей просторной постели, я предавался мечтам. Благодаря шампанскому жизнь виделась мне в розовом свете. Папи, ты же не дурак и не глупее Лоранс. Выходит, можно чего-то добиться в жизни, более того, разбогатеть, просто работая. И даже начав почти что с нуля. Вот это да! Это же настоящее открытие, которое я только что сделал в отеле «Нормандия»! Да-да, настоящее открытие. Во Франции, помнится, насколько мне тогда позволял судить мой небогатый опыт, я всегда думал, что рабочий так всю жизнь и останется рабочим. Это, в принципе, ложное представление тем более ошибочно здесь, в Венесуэле. В этой стране человеку, который хочет чем-то заниматься, предоставлены, в сущности, все возможности.

Такое видение вещей было очень важно для осуществления моих планов. Когда я ввязывался в различные аферы, мною руководила вовсе не жажда наживы. Но ведь я не вор по призванию. Просто мне никогда не приходило в голову, что можно как-то по-другому добиться успеха в жизни, иначе устроить свою судьбу, даже на пустом месте. А в моем случае — собрать много денег на поездку во Францию. Но оказывается, все возможно и впол-

не реально. И для этого требуется только одно: минимальный стартовый капитал в несколько тысяч боливаров. Его легко скопить, если найти хорошую работу.

Так что, Папи, завязывай со своими шалостями, большими и маленькими. Поищем способы простые и честные. Лоранс ведь смогла добиться чего-то — и ты сможешь! Если тебе удастся, как же обрадуется твой отец!

Но опять возникает дурацкая закавыка: если идти таким путем, то пройдет немало времени, прежде чем я смогу отомстить. За три дня таких денег не соберешь. «Мстить надо на холодную голову», — сказал мне Мигель на алмазных приисках. Посмотрим.

Маракайбо кипел как котел. Атмосфера всеобщего возбуждения настолько благоприятствовала процветанию различных предприятий, строительных фирм, нефтеперегонных заводов, что все — от пива до цемента — продавалось на черном рынке, ибо предложение не поспевало за спросом. Рабочие руки высоко ценились, труд хорошо оплачивался, все виды коммерции приносили доход.

С началом нефтяного бума экономика региона пережила две совершенно отличные друг от друга фазы. Первая фаза — предэксплуатационная, когда месторождение еще не давало нефти. В это время шел наплыв компаний и их обустройство: требовались офисы, надо было сооружать жилпоселки, строить дороги и линии высокого напряжения, бурить скважины, воздвигать вышки, устанавливать насосы и прочее. Это была золотая пора для квалифицированных рабочих и для всех слоев общества.

Когда у настоящего трудового народа с мозолистыми руками в кармане зашелестели купюры, он начал понимать толк в деньгах и осмысленно относиться к завтрашнему благополучию. Создавались семьи; улучшались жилищные условия; хорошо одетые дети ходили в школу. Их часто возили туда на автобусах, принадлежащих компаниям.

Затем наступила вторая фаза, та самая, которая предстала предо мной при виде озера Маракайбо, заставленного лесом вышек в той его части, которую я мог охватить взглядом. Это был период эксплуатации скважин. Тысячи насосов без чьей-либо

помощи ежедневно без устали выкачивали миллионы кубических метров черного золота.

Но на этот раз большие деньги текли мимо карманов трудового народа. Миллионы долларов стекались прямо в сейфы государственных банков или нефтяных компаний. Чувствуете разницу? Наступили тяжелые времена, штаты на предприятиях сокращались до необходимого минимума, деньги перестали быть коллективным достоянием, затухла деловая активность как в малом, так и в большом бизнесе. Новые поколения только из уст дедов могли услышать: «Однажды, когда Маракайбо был миллионером, случилось то-то и то-то...»

Но мне повезло. Я успел ко второму буму Маракайбо, и он не был связан с насосами действующих на озере скважин. Ветер наживы подул с предгорий Сьерра-де-Периха и дальше к озеру и морю, где несколько нефтяных компаний получили новые концессии.

Как раз то, что мне требовалось.

Именно здесь я собирался пробурить свою скважину. И обещал пробить ее на хорошую глубину! А для этого не следовало гнушаться никакой работой, надо было хвататься за любую, если она поможет собрать большие крошки от гигантского пирога. Дал слово — держись, Папи! Настал твой черед преуспеть в жизни, подобно другим честным людям. В принципе, они правы, эти сторонники честного образа жизни. Богатеют — и не садятся в тюрьму.

«*Good French cook*¹, тридцати девяти лет, ищет место в нефтяной компании. Минимальная зарплата — восемьсот долларов».

У Лоранс и ее шеф-повара я обучился азбуке кухонного искусства и решил попытаться счастья. Мое объявление появилось в местной газете, и через неделю я уже стал поваром в нефтяной компании «Ричмонд».

Я расстался с Лоранс с сожалением, но ведь она не могла обеспечить мне такую зарплату.

Теперь, пройдя эту школу, я кое-что смыслю в поварских делах! Когда же я только приступил к работе, страшно волновался

¹ Хороший французский повар (англ.).

при мысли, что другие повара вскоре заметят, что я не ахти какой дока по части кастрюль. Но, к своему великому изумлению, обнаружил, что они сами чуть не умирают от страха, сознавая, что *French cook* без труда поймет, что они все, от первого до последнего, никакие не повара, а всего лишь мойщики посуды. Я воспрянул духом. Тем более что у меня перед ними было большое преимущество: хорошая кулинарная книга, написанная по-французски, — подарок одной отставной проститутки.

Через два дня управляющий кадрами канадец Бланше дал мне ответственное поручение: готовить только для двенадцати ведущих специалистов компании — самых больших начальников!

На следующее же утро я представил ему меню, от которого можно было закачаться, но при этом заметил, что на кухне недостает многих продуктов. Решили, что у меня должен быть отдельный бюджет, которым я мог бы распоряжаться по собственному усмотрению. Стоит ли говорить, что на закупках съестных припасов я здорово погрел себе руки, но и начальники жрали от пуза. Так что все были довольны.

Каждый вечер я вывешивал в холле меню на следующий день. Разумеется, на французском. На моих клиентов это производило неизгладимое впечатление: еще бы — столько звучных названий блюд из французской кулинарной книги! Более того, я обнаружил в городе специализированный магазин, торгующий французскими продуктами, так что благодаря моим рецептам и консервам из «Потен и Родель» я настолько преуспел, что мои начальники стали часто приводить с собой своих жен. Таким образом, вместо дюжины едоков за столом набиралось два десятка. С одной стороны, это было хлопотно, но с другой — меньше внимания уделялось тому, куда я тратил деньги, поскольку формально я должен был кормить только действующих сотрудников.

Поняв, что мной очень довольны, я затребовал повышения оклада до тысячи двухсот долларов в месяц, то есть четыреста долларов прибавки. Мне отказали и дали только тысячу. Я с великим трудом позволил себя уговорить, заметив при этом, что для такого специалиста, как я, это, прямо скажем, нищенская зарплата.

Прошло несколько месяцев, и в конце концов эта постоянная работа с ее строго установленным распорядком мне страшно надоела. Она душила меня, как тесный ворот рубашки. Чтобы отделаться от нее, я попросил начальника геологической партии взять меня с собой в поисково-разведывательную экспедицию в самые интересные места, пусть даже опасные.

Целью таких экспедиций была геологическая разведка Сьерра-де-Перихи, горной цепи, отделяющей Венесуэлу от Колумбии к западу от озера Маракайбо. Это царство индейского племени мотилонов, настолько дикого и воинственного, что горы Сьерра-де-Периха часто называют Сьерра-де-лос-Мотилонес. До сих пор никому доподлинно не известно о происхождении этого племени, столь отличающегося и по языку, и по обычаям от соседних индейских племен. Цивилизация еще его не коснулась, она только в начале пути. А в те времена, о которых я пишу, ходить туда было очень опасно. Мотилоны жили в общих хижинах, вмещавших от пятидесяти до ста человек; мужчины, женщины и дети — все вместе в ужасной тесноте. Собака была их единственным домашним животным. Дикость мотилонов переходила всякие границы. Если они попадали в плен к «цивилизованным» людям, то, даже раненые и при хорошем с ними обращении, отказывались от пищи и воды. Они кончали жизнь самоубийством, перекусывая себе вены на запястьях зубами, которые специально затачивают, чтобы легче было рвать мясо. С той поры, о которой идет речь, прошли уже многие годы, и сейчас монахи-капуцины смело селятся на берегах реки Рио-Санта-Роса, всего в нескольких километрах от ближайшей общей хижины мотилонов. Отец настоятель, духовный глава миссии, использует для установления контактов с дикарями самые современные средства, вплоть до самолета, с которого прямо на хижину сбрасываются съестные припасы, одежда, одеяла, фотографии миссионеров. Более того, на парашютах спускаются соломенные манекены в монашеских одеяниях, чьи карманы полны разных съестных припасов, вплоть до банок со сгущенным молоком. А он не дурак, этот святой отец: в тот день, когда он придет к ним пешком, мотилоны решат, что он спустился к ним с небес.

Но когда я присоединился к экспедиции, шел тысяча девятьсот сорок восьмой год и было еще очень далеко до настоящих попыток цивилизованного проникновения, которые в действительности начались в тысяча девятьсот шестьдесят пятом.

Для меня эта экспедиция имела три положительных аспекта. Во-первых, моя жизнь круто менялась по сравнению с той, что я вел на кухне компании «Ричмонд» и от которой меня уже начало тошнить. Меня ожидали новые приключения на лоне потрясающей природы, но на этот раз честные и достойные. Правда, рискованные, как и все приключения. Нередко бывали случаи, когда экспедиция возвращалась, лишившись одного или двух участников. Индейцы-мотилоны — очень искусные стрелки из лука. У местных жителей бытовала поговорка: «Куда мотилон положил глаз, туда он кладет и стрелу». Но если они и убивали, то уж точно не ели своих жертв, поскольку мотилоны не были людоедами. И на том спасибо.

Во-вторых, трехнедельные походы в глубину неисследованных и полных опасностей джунглей очень хорошо оплачивались. Я получал возможность заработать вдвое больше, чем стоя у плиты.

В-третьих, мне нравилось общаться с геологами. Это были крепкие парни. Мне самому уже поздно было приобретать знания, благодаря которым я мог бы стать другим человеком, но я чувствовал, что потеряться среди этих почти ученых и знающих людей будет нелишним и время не уйдет впустую.

В общем, я отправился в экспедицию с геологами бодрый и исполненный веры. Не требовалось никаких поварских книг: достаточно было уметь открывать консервы, готовить „rap-кеуques“ — разновидность лепешек — и не забыть хлеб. Этому не трудно научиться — быстро и хорошо.

Моего нового приятеля, начальника геологической партии, звали Крише. Он служил в компании «Калифорния эксплорейшн» и был откомандирован в компанию «Ричмонд». В геологии он знал почти все, а по части нефти — абсолютно все. Что до остального, то он имел представление о прошедшей войне, поскольку сам в ней участвовал, но не был вполне уверен, жил ли Александр Македонский до Наполеона или после. Да ему,

собственно, было наплевать. Чтобы жить хорошо, иметь замечательную жену и детей, поставлять своей компании геолого-разведочные данные, необязательно знать мировую историю. Однако я подозревал, что он знал гораздо больше, чем говорил, и я научился не очень-то доверять юмору полуангличан, столь отличному от ардешского. Но мы с ним ладили.

Экспедиция такого рода длилась от двадцати до двадцати пяти дней. По возвращении участникам полагался недельный отпуск. В ее состав входили: начальник, два геолога и от двенадцати до восемнадцати носильщиков, или помощников, от которых не требовалось ничего, кроме силы, выносливости и дисциплины. У них были свои палатки и свой повар. Я же был прикреплен только к трем геологам. В общем, народ подобрался неглупый, был даже активист левой партии Д. Д. («Демократического действия»), который следил, чтобы не нарушались профсоюзные законы. Его звали Карлос. Среди участников похода царило полное взаимопонимание. Мне также было поручено вести учет сверхурочной работы. Рабочие сами подавали мне сведения, и, надо сказать, очень точные.

От первой экспедиции я был просто в восторге. Сбор геологических данных по нефтяным месторождениям оказался весьма любопытным занятием. Мы должны были подняться как можно выше по рекам в горы, вплоть до тех мест, откуда они берут свое начало, пробивая себе русло в скалах. Пока местность позволяла, мы ехали на грузовике, затем пересаживались на джипы. Там, где дорога обрывалась, мы пересаживались в лодки и поднимались еще выше. Если не хватало глубины, высаживались из лодок и тащили их волоком. Все дальше и выше, как можно ближе к истоку. Часть снаряжения несли носильщики из расчета сорок пять килограммов на человека. Геологи и повара передвигались налегке.

Зачем нужно было забираться так высоко в горы? Дело в том, что, следуя руслом реки, ты, как по учебнику, можешь проследить последовательность залегания геологических пластов. Затем собираются образцы породы. Их скалывают молотками с береговых обнажений и сбросов. Место отбора образцов заносится в журнал. Каждый образец маркируется и укладывается

в отдельный мешочек. Геологи отмечают направление залегания различных пластов относительно равнинной местности. Таким образом, по этим сотням и сотням образцов, взятых в различных точках, строится геологическая карта залегания пластов, которые имеют соответствующее продолжение и должны быть найдены на равнинах местности с глубиной залегания от сотни метров до двух километров. На основании собранных данных и расчетов приступают к бурению пробной скважины, где-нибудь в ста километрах от поискового района. Там никто не ходил, но геологи заранее знают, что на такой-то глубине залегает нефтеносный слой. Об этой науке можно говорить до бесконечности. Я пришел от нее в полный восторг.

Все было бы хорошо, если бы не мотилоны. Их стрелы часто убивали или ранили участников экспедиции. Поэтому вербовать людей было очень трудно, и нефтяным компаниям эти походы влетали в копеечку.

Я побывал в нескольких экспедициях и провел много замечательных дней.

Один из геологов был голландцем. Его звали Лапп. Он очень любил крокодильи яйца. Прекрасное блюдо, если их высушить на солнце. Так вот, однажды Лапп отправился на сбор яиц. Найти их совсем не трудно, если пойти по следу самки каймана. Она вылезает из реки и ползет к сухому месту, где откладывает яйца. И там, где она пройдет своим брюхом, остается широкий след. Самка часами лежит на гнезде, согревая будущее потомство. Воспользовавшись ее отсутствием, Лапп вырыл яйца и спокойно возвращался назад. Едва он вышел на поляну, где мы расположились лагерем, как за ним следом из леса, словно метеор, выскочила самка каймана. Она преследовала вора в стремлении его наказать. Трехметровая рептилия пыхтела на ходу, издавая хрипы, как будто у нее болело горло. Лапп бросился наутек и забежал за толстое дерево, а я чуть не умер от смеха, видя, как этот негодяй в шортах скачет вокруг него и орет во всю глотку, взывая о помощи. Крише и другие кинулись на выручку: два выстрела разрывными пулями из карабина прикончили каймана. Бедняга Лапп, бледный как полотно, с перепугу шлепнулся на задницу. Всех возмутило мое поведение. Пришлось оправды-

ваться, что я все равно ничего не смог бы сделать, так как хожу без ружья, чтобы оно мне не мешало.

Вечером в палатке во время ужина, который я приготовил из консервов, Крише сказал:

- Ты не очень-то молод, так ведь? Года тридцать четыре?
- Побольше. А что?
- Вот-вот, а живешь и ведешь себя так, будто тебе двадцать.
- Знаешь, а мне чуть больше: двадцать шесть.
- Неправда.
- Правда, и я объясню почему. Тринадцать лет я провел взаперти. Вот эти-то тринадцать лет мне и надо прожить так, как я их не прожил. Таким образом, от тридцати девяти отнять тринадцать получится двадцать шесть.

- Не понял.
- Не имеет значения.

И все-таки это была правда: у меня душа двадцатилетнего парня. Какие тут могут быть вопросы — я должен восполнить украденные у меня тринадцать лет, и точка. Надо прожигать жизнь, ни о чем не заботясь, как это свойственно молодым в двадцать лет, когда сердце поет от радости жизни.

Однажды на рассвете всех разбудил истошный крик: две стрелы поразили повара, готовившего для носильщиков, в бок и в ягодицу, когда он зажигал фонарь, собираясь приготовить кофе. Нужно было немедленно отправить его в Маракайбо. Мы соорудили что-то наподобие носилок, и четверо парней снесли повара в лодку. На лодке доставили его до джипа, на джипе доехали до грузовика, а грузовик доставил беднягу в Маракайбо.

Дни проходили в тяжелой, напряженной атмосфере. В джунглях чувствовалось присутствие индейцев, хотя мы их не видели и не слышали. Чем дальше мы продвигались вперед, тем сильнее становилась наша уверенность в том, что мы идем по территории, где индейцы охотятся. И действительно, дичи вокруг было полно, а поскольку все мы были с ружьями, то время от времени кто-нибудь не сдерживался да и подстреливал птицу или зверька, похожего на зайца. Все шли насупленные и мрачные, никто не пел, а когда вдруг раздавался выстрел, совсем подрацки начинали говорить шепотом, словно боялись, что их мо-

гут слышать. Постепенно всеми завладел страх. Люди начали высказываться: надо прервать экспедицию и вернуться в Маракайбо, пока не поздно. Начальник партии Крише не согласился и потребовал продолжать восхождение. Представитель профсоюза Карлос, хоть и был храбрым парнем, тоже был взволнован. Он отозвал меня в сторону:

— Энрике, возвращаемся?

— Почему, Карлос?

— Индейцы.

— Совершенно верно, но они могут на нас напасть и на обратном пути точно так же, как по дороге туда.

— Это еще как сказать, француз. Вероятно, мы очень близко подошли к их деревне. Посмотри на этот камень: видишь, на нем дробили зерно?

— Похоже, ты прав, Карлос. Пойдем поговорим с Крише.

Нашего янки не так-то легко было напугать — еще бы, он участвовал в высадке войск в Нормандии. К тому же он был влюблен в свою профессию. Крише собрал людей и объяснил, что мы находимся в богатейшем с точки зрения геологической информации районе и что надо идти дальше. Он разнервничался, разозлился и под конец, не сдержавшись, бросил фразу, которую ему не стоило произносить:

— Если боитесь, можете уходить! А я остаюсь.

Люди ушли. С Крише остались только Карлос и Лапп. Остался и я, но с одним условием: прежде чем идти дальше, мы зароем в землю все наше снаряжение. Я не хотел тащить груз. Дело в том, что в одной из неудачных попыток бежать из тюрьмы в Барранкилье я сломал себе обе ноги. С тех пор я не мог долго ходить с грузом и быстро уставал. За отобранные образцы теперь отвечал Карлос.

В течение пяти дней мы так и оставались вчетвером: Крише, Лапп, Карлос и я. Ничего особенного за это время не произошло, но, скажу откровенно, мне редко случалось попадать в такую напряженную, тяжелую атмосферу, когда чувствуешь, что за тобой круглосуточно наблюдают десятки, сотни пар невидимых глаз, пойдя сосчитай, сколько их там. Мы решили уходить после того, как Крише, настроившись облегчиться у речки, вдруг

увидел, как дрогнул камыш и пара рук стала медленно его раздвигать. Крише вынужден был прерваться в самый интересный момент. В свойственной ему манере он спокойно повернулся к камышам спиной и пошел обратно в лагерь как ни в чем не бывало.

— Думаю, пришла пора возвращаться в Маракайбо, — заявил он Лаппу. — Образцов породы у нас достаточно, и я не уверен, что с точки зрения науки есть какой-то смысл оставлять индейцам четыре интересных образца белой расы.

Без всяких сложностей мы добрались до Ла-Бурры, деревушки из пятнадцати домов. Заказали спиртное в ожидании грузовика, который должен приехать за нами. Ко мне подошел местный индеец-полукровка, крепко податый, и пригласил на разговор. Мы отошли в сторону.

— Ты француз? Так? Ладно, допустим, хотя не стоит быть французом, если ты такой дурак.

— Это почему же?

— Объясню: вы проникаете на территорию индейцев-мотилонов, и что же вы делаете? Стреляете направо и налево во все, что летает, бегают и плавают. У вас у всех ружья. Вы занимаетесь не научными исследованиями, а большой охотой.

— Куда ты клонишь?

— Поступая таким образом, вы разрушаете то, что индейцы считают своим продовольственным запасом. Они добывают дичи ровно столько, сколько им требуется на день-два. Не больше. И еще, они убивают стрелами, бесшумно, не распугивая остальную дичь. А вы, стреляя из ружей, разрушаете все, и животные разбегаются в страхе. Спасаясь, зверь уходит из этих мест.

Парень говорил дело. Мне стало интересно.

— Что будешь пить? Я плачу.

— Двойной ром, француз. Спасибо.

Он продолжал:

— Вот почему мотилоны угощают вас стрелами. Они говорят себе, что из-за вас им скоро нечего будет есть.

— Короче, если я правильно тебя понял, мы грабим их кладовую.

— Совершенно верно, француз. Слушай дальше. Тебе не приходилось замечать, что, когда вы поднимаетесь вверх по реке,

в тех местах, где она сужается, или на мелководье, где приходится вылезать из лодок и тащить их волоком, вы разрушаете плотины из веток и бамбука?

— Да, и не раз.

— Так вот, то, что вы разрушаете, совершенно не задумываясь о своих действиях, — это ловушки для рыбы, устроенные мотилонами. И этим вы снова причиняете им вред. Сооружать ловушки непросто, ведь они состоят из нескольких сложных лабиринтов, идущих зигзагом. Когда рыба плавает против течения, последовательно повторяя все зигзаги, она попадает в последнюю ловушку, из которой не может выбраться. Впереди бамбуковая стена, рыба не может найти обратную дорогу, потому что вход сплетен из тонких лиан. Они расходятся, пропуская рыбу, но под напором воды прижимаются ко входу и не выпускают рыбу из ловушки. Мне приходилось видеть эти устройства. Если взять все сооружение в целом — верных пятьдесят метров в длину. Замечательная работа.

— Ты сто раз прав. Надо быть такими вандалами, как мы, чтобы разрушать подобное.

На обратном пути в Маракайбо я задумался над тем, что рассказал мне подвыпивший метис, и решил внести в распорядок экспедиции кое-какие коррективы. По прибытии в Маракайбо я, прежде чем отправиться к себе и провести там недельный отпуск, написал письмо управляющему персоналом господину Бланше с просьбой принять меня на следующий день.

Он принял меня в присутствии главного шефа геологов. Я объяснил собравшимся, что отныне в экспедициях не будет ни убитых, ни раненых, если управление походом будет передано в мои руки. Разумеется, Крише останется официальным руководителем, я же буду отвечать за порядок и дисциплину. Решили попробовать. Крише представил отчет, в котором отметил, что если появится возможность подняться выше, чем нам удалось, и проникнуть в места еще более удаленные и опасные, то можно будет получить поистине бесценные данные. Что касается материальных условий, вытекающих из моих новых функций дополнительно к обязанностям повара (я остаюсь поваром у геологов), то они будут определены, как только мы вернемся из экспедиции. Разумеется, я не стал излагать, каким образом

собираюсь гарантировать безопасность экспедиций, а поскольку янки — люди практичные, то они не стали задавать мне лишних вопросов. Им был важен результат.

Об этой договоренности знал только Крише. Он мне доверял, и его все устраивало. Он был убежден, что я кое-что придумал, чтобы обеспечить безопасность экспедиции. Кроме того, у него сложилось обо мне хорошее впечатление, ведь я был в числе тех троих, кто не оставил его в последний раз, когда остальные ушли.

Я нанес визит губернатору провинции и объяснил свое дело. Он выслушал меня дружелюбно и с пониманием. Благодаря его рекомендательному письму управление национальной гвардии распорядилось отобрать по представленному мною списку оружие у членов экспедиции на последнем посту охраны, на границе с землями мотилонов. Я попросил придумать какой-нибудь благовидный предлог и не пропускать экспедицию с оружием на территорию индейцев. Если бы члены экспедиции узнали заранее, еще в Маракайбо, о таком повороте событий, они не тронулись бы с места. Надо было застать их врасплох и поставить перед фактом.

Все шло как по маслу. Последний пост — Ла-Бурра. Нас разоружили. Оставили оружие только двоим. Я их строго предупредил, что стрелять они могут лишь в случае непосредственной опасности, но никак не ради охоты или забавы. У меня тоже остался револьвер. Вот и все оружие.

С тех самых пор с нашими экспедициями не происходило никаких неприятных историй. Американцы отметили сам факт, но, поскольку их больше интересовал результат, о причинах успеха они расспрашивать не стали.

С людьми я ладил, и они меня слушались. Моя новая роль мне очень нравилась. Наши лодки больше не разрушали ловушки для рыбы, мы осторожно обходили их стороной. И вообще ничего не портили. И еще: зная, что основная забота мотилонов — это поиск пропитания, каждый раз, сворачивая лагерь, я оставлял банки из-под консервов, наполненные солью, сахаром; иногда мачете, нож, топорик, если лишние. На обратном пути в местах старых стоянок мы уже не находили ничего из оставленного. Исчезало все, даже пустые консервные банки. Моя тактика

срабатывала, но, поскольку в Маракайбо никто не знал, почему все происходит именно так, поползли слухи, что я либо *brujo*¹, либо тайно сговорился с мотилонами. Над последним я потешался от души.

В одной из таких экспедиций я получил замечательный урок необычной рыбалки: как поймать рыбу без наживки, лески и крючка, просто собирая ее с поверхности воды голыми руками. Моим учителем был тапир — животное чуть больше взрослой свиньи. Иногда встречаются экземпляры до двух и более метров. Дело было в полдень у реки, там я и познакомился с ним впервые. Увидев, как он выходит из воды, я старался не шелохнуться, чтобы его не спугнуть. Кожа у него как у носорога. Передние ноги короче задних, а вместо рта — хобот, короткий, но хорошо обозначенный. Тапир приблизился к лиане или какой-то ее разновидности и принялся ее обглаживать. Ел он много, как и положено травоядному животному. Затем он снова спустился к реке, вошел в воду и направился к стоячему затону. Там он остановился и, словно корова, начал отрыгивать. Значит, тапир еще и жвачное животное. Во время отрыжки из хобота тапира вытекала зеленая жидкость. Животное умело распределяло ее по воде хоботом, мотая при этом своей большой головой. «Что бы это значило?» — подумал я про себя и через несколько минут заметил, как на поверхность воды брюхом кверху стали всплывать рыбины. Они едва шевелились и двигали плавниками, словно одурманенные или сонные. И вот мой тапир не спеша подобрал их одну за другой и преспокойно съел. Моему удивлению не было предела.

Позже я тоже попробовал этот метод. Заметил, какой сорт лианы ел тапир, и нарвал хороший пучок, растер его на камнях и собрал сок в бутылочную тыкву. Затем вошел в реку, выбрал место, где не было течения, и вылил сок в воду. Победа! Через несколько минут на поверхность стали всплывать усыпленные рыбины. Точно как у тапира. Однако здесь требовалось соблюдать одну предосторожность: если рыба съедобная, ее надо немедленно выпотрошить, иначе через два часа она протухнет. После моего эксперимента на столе у геологов появилось

¹ Колдун (*исп.*).

прекрасное рыбное блюдо, причем в изобилии. Членам экспедиции я дал ценный совет: никогда, ни при каких условиях не убивать этого замечательного рыболова. К тому же животное было совершенно безобидным.

Иногда в наших походах в качестве проводников принимало участие семейство Фуэнмайор — отец и два сына. Они были охотниками на кайманов. Такое сотрудничество устраивало всех, поскольку Фуэнмайоры хорошо знали эту местность, но без нас они могли бы стать легкой добычей мотилонов. За кормежку они согласились днем быть нашими проводниками, а ночью охотиться на кайманов. Выгодно всем.

Фуэнмайоры — жители Маракайбо — маракучо. Они были очень общительны, говорили нараспев, понятие дружбы было возведено у них в культ. В их жилах текла и индейская кровь, они унаследовали все качества индейцев, а кроме того, были очень сообразительны и хитры.

С маракучо меня связывала замечательная и нерушимая дружба, как с женщинами, так и с мужчинами: их женщины были очень красивы, умели любить и знали, как стать любимыми.

Охота на кайманов, рептилий от двух до трех метров, очень опасна. Однажды ночью я отправился с ними, с отцом и старшим сыном. Пирога была узкая и легкая, отец сидел на корме и управлял лодкой, я устроился посередине, а сын — на носу. Ночь стояла темная. Слышно было только, как шумят джунгли да раздается легкий плеск воды, рассекаемый носом пироги. Мы не курили, не издавали ни единого звука. Весло, с помощью которого они управляли пирогой, ни в коем случае не должно было скрести по борту.

Большой электрический фонарь короткими вспышками посылал мощный пучок света, который веером разлетался по поверхности воды, выхватывая из темноты то здесь, то там пары красных точек. Они походили на светящиеся рекламные щиты, освещаемые фарами автомобиля. Две красные точки — это кайман. Два глаза, а чуть впереди — ноздри, ибо известно, что только эти две части туши торчат из воды, когда крокодил отдыхает у поверхности. Жертва выбиралась по правилу наименьшего расстояния между охотниками и этими красными точками. Стоило

только ее засечь, как тут же гасился фонарь и пирога мчалась в темноте по заданному курсу. Фуэнмайор-отец был большим специалистом: он точно определял положение каймана, ему хватало секундного включения фонаря. Пирога быстро шла на сближение, и, когда мы почувствовали, что крокодил где-то рядом, снова вспыхнул фонарь. Он включился в тот самый момент, когда до каймана оставалось не более двух-трех метров, и больше свет не гас. Мощный луч ослепил рептилию. На носу пироги находился Фуэнмайор-сын. В левой руке он держал фонарь, направляя луч на каймана, а правой занес над ним гарпун. Сильный бросок — и утяжеленный десятью килограммами свинца гарпун вонзился в крокодила. Только так можно было пробить его толстую кожу и достать до мяса.

Теперь надо было действовать быстро: загарпуненный крокодил тут же нырнул на дно, а мы уже в три весла изо всех сил гребли к берегу. Мешкать было нельзя. Если дать кайману время очухаться, он поднимется на поверхность, бросится на лодку и одним ударом хвоста опрокинет ее, в два счета превратив охотников в добычу других крокодилов, привлеченных заварушкой. Едва коснувшись берега, мы пулей выскочили из пироги и поспешно обмотали веревку вокруг дерева. Кайман шел следом, мы чувствовали его приближение. Он хотел увидеть, что его держит. Зверь не знал, что с ним произошло, только чувствовал боль в спине. Он хотел выяснить, в чем же дело. Осторожно, без рывков, мы выбрали слабинку веревки, намотав лишнюю длину на ствол дерева. Он вот-вот должен был появиться. Кайман был почти на берегу. Фуэнмайор-сын его поджидал. В руке он держал американский топор, острый как бритва. Едва голова крокодила показалась из воды, Фуэнмайор-сын нанес по ней страшный удар. Иногда приходилось бить до трех раз, чтобы прикончить каймана. И на каждый удар топора крокодил отвечал ударом хвоста, и уж если ему удавалось зацепить рубщика, то тот тоже отправлялся на небеса. Если удары оказывались несмертельными — и такое случалось, — надо было быстро ослабить веревку, чтобы рептилия ушла на глубину. Иначе, обладая колоссальной силой, кайман мог вырвать из себя гарпун, как бы крепко он там ни сидел. Выждав момент, мы снова начали тянуть.

Я провел потрясающую ночь на охоте: мы убили несколько кайманов. Оставили их на берегу. Днем Фуэнмайоры вернутся за ними и снимут кожу с брюха и нижней части хвоста. Кожа на спине очень толстая и жесткая и ни на что не годится. Потом этих огромных крокодилов закапывают в землю: в воду бросать нельзя — можно отравить реку. Кайманы не едят кайманов, даже мертвых.

Я побывал в нескольких экспедициях. Хорошо заработал, сумел даже немало накопить. И вот тогда в моей жизни произошло самое удивительное событие.

Глава десятая

РИТА.

ГОСТИНИЦА «ВЕРАКРУС»

Когда в застенках тюрьмы-одиночки на острове Сен-Жозеф я то и дело улетал к звездам и строил воздушные замки, чтобы хоть чем-то заполнить ужасное одиночество и тишину, я часто видел себя свободным, избежавшим «пути к распаду», начинающим новую жизнь в большом городе. Да, это было поистине воскресением из мертвых. Я сбрасывал с себя могильный камень, который вдавливал меня во мрак, и снова выбирался на свет божий. И среди тех образов, которые рисовал мой воспаленный мозг, было видение прекрасной и доброй девушки. Среднего роста, с белокурыми волосами. Черные зрачки ее карих глаз искрятся умом, живым и неподдельным. Прекрасно очерченный рот. Улыбка открывает блестящий ряд зубов из белоснежного коралла. Фигурка у девушки — верх совершенства. Такой я видел ее и понял, что эта женщина, без всякого сомнения, когда-нибудь станет моей на всю жизнь.

В эту богиню — идеал красоты — я вдохнул и душу, созданную моим воображением, самую прекрасную, самую благородную, самую искреннюю, наделенную всеми теми качествами, что делают женщину возлюбленной и другом. Несомненно, придет тот день, когда я встречу с ней и мы соединимся навеки, чтобы уже никогда не расставаться. Я буду любим и богат. Меня будут уважать, и я буду счастлив до конца своих дней.

Там, в жаркой удушающей сырости одиночки, где несчастные узники были лишены малейшего живительного глотка воздуха, там, задыхаясь, с рвущимся от боли сердцем, мучимый неутолимой жаждой и обессиленный, с открытым ртом в надежде ухватить хоть малую толику освежающего дуновения, там,

в непродыхаемом чаду, обжигающем легкие, я улетал в звездные дали к моим воздушным замкам, где воздух свеж, деревья одеты зеленой листвой, где нет повседневных забот, поскольку я богат, я улетал туда, где в каждом образе, каждом видении передо мной являлась она, та, которую я стал называть своей «прекрасной принцессой». Образ ее оставался неизменным до последней черточки, хотя появлялась она в самых различных картинах, и меня это даже не удивляло. А не ей ли суждено стать моей женой, моим добрым гением?

После очередной геологической экспедиции я решил съехать со служебной жилплощади, предоставленной мне компанией «Ричмонд», и перебраться в центр Маракайбо. И вот однажды служебный грузовик высадил меня с чемоданчиком в руке на небольшой тенистой площади где-то в центре города. Основное барахло пока оставалось в поселке. Я знал, что в этом уютном местечке приютилось несколько отелей и пансионатов, поэтому направился по улице Венесуэлы, удобно расположившейся между двумя главными площадями — Боливара и Баральта. Это была одна из узких колониальных улочек, с одноэтажными, редко двухэтажными домами по обе стороны. Стояла несусветная жара, и я вошел в спасительную тень домов.

Гостиница «Веракрус». Веселый домик в колониальном стиле времен конкисты был выкрашен в голубой цвет. Его опрятный, ласкающий глаз вид действовал притягательно, и я вошел в коридор, соединенный с внутренним двориком. И там, в его тени и прохладе, я увидел женщину. Это была она!

Она! Я не мог ошибиться. Тысячи раз я видел ее в своих мечтах, грезах несчастного каторжника. И вот она сидит передо мной, моя прекрасная принцесса, в кресле-качалке. Знаю, стоит мне приблизиться к ней, и я увижу карие глаза и даже очаровательную крошечную родинку на прекрасном овальном лице. И это украшение я тоже видел тысячи раз. Нет, здесь не могло быть никакой ошибки: принцесса моей мечты была передо мной, она ждала меня.

— Buenos días, señora! У вас можно снять комнату?

Я опустил чемоданчик на землю. Я был уверен, что она не откажет мне. Я не просто смотрел на нее, я буквально пожирал

ее глазами. Она немного удивилась, что какой-то незнакомец так внимательно ее разглядывает. Незнакомка поднялась с кресла и подошла ко мне. Она улыбалась, обнажая свои великолепные зубы, которые были мне так хорошо знакомы.

— Да, мсье, у меня найдется для вас комната, — ответила принцесса по-французски.

— Как вы догадались, что я француз?

— По вашей манере говорить по-испански. Французам трудно дается произношение буквы «хота». Не угодно ли вам пройти со мной? Сюда, пожалуйста.

Я взял чемоданчик и последовал за ней. Комната оказалась чистой, уютной и хорошо обставленной. Окна выходили в маленький дворик.

Я принял душ, умылся, побрился и, присев на краешек кровати, закурил сигарету. Только тогда я понял, что это не сон. «Она здесь, приятель, та, что помогла тебе выжить в тюремных застенках! Она здесь, всего лишь в нескольких метрах от тебя! Только не теряй голову! Воздержись от необдуманных действий и не наговори глупостей, несмотря на удар в сердце, который ты только что получил!» А оно бьется сильно, и я пытаюсь успокоиться. «Только не рассказывай, Папийон, об этой глупой истории. Никому не рассказывай, даже ей. Кто тебе поверит? Не выставляй себя на посмешище. Кого и как ты сможешь убедить, что ты знал эту женщину, притрагивался к ней, целовал и даже обладал ею, много лет назад, когда сам гнил в застенках страшной тюрьмы? Заткнись! Прикуси язык! Принцесса здесь — вот что главное! Не волнуйся. Раз ты ее встретил, она уже никуда не денется. Только надо найти к ней подход. Будь осторожен. Соизмеряй шаг со своими возможностями. Судя по всему, она хозяйка этой маленькой гостиницы!»

Однажды чудесной тропической ночью я впервые признался ей в любви. Это произошло во внутреннем дворике, очень похожем на сад в миниатюре. Признался ей, фее моих грез. Она ждала меня все эти долгие годы. Мою принцессу звали Рита. Она была родом из Танжера и свободна от уз, которые могли бы мне помешать. Она смотрела на меня своими глубокими ясными глазами, и они сверкали, как звезды у нас над головой. Я был

с ней вполне откровенен, рассказал, что во Франции у меня когда-то была жена, но сейчас не знаю, как обстоят дела. И выяснить нельзя — на это есть серьезные причины. Святая истина! Не мог же я, в самом деле, написать в мэрию и попросить справку о гражданском состоянии. Кто знает, как отреагируют власти на такую просьбу? Возьмут да и потребуют моей выдачи. О своем прошлом шалопаи и каторжника я не сказал ей ни слова. Все свое красноречие, всю силу ума я направил на то, чтобы она поверила мне. Я не мог упустить эту великую удачу, самую большую в моей жизни.

— Ты очень красива, Рита, удивительно красива. У меня, как и у тебя, нет никого на свете, позволь же мне любить тебя глубоко и вечно. Я хочу любить и быть любимым. Денег у меня совсем не много, это верно, а у тебя — маленькая гостиница, и ты почти богата. Но поверь мне, я хочу соединить наши сердца навсегда, до самой смерти. Скажи «да», Рита, красивый цветок прекрасной страны, милая моя орхидея. Пусть тебе это покажется невероятным, но я знал и любил тебя все эти годы. Ты должна быть моей, а я клянусь навеки быть твоим.

Как я и думал, завоевать Риту оказалось не так-то просто. Только на третий день после нашего объяснения она согласилась стать моей. Она стыдливо попросила меня пройти в ее комнату, но так, чтобы никто этого не заметил. И вот одним прекрасным утром, без всяких объявлений с нашей стороны, как-то совершенно естественно и само собой, наша любовь оказалась очевидной для всех, и я, как и подобает в таких случаях, вступил в права хозяина гостиницы.

Мы были беспредельно счастливы. Передо мной открывалась новая, семейная жизнь. Я, изгой, беглый французский каторжник, бывший обитатель сточной канавы, ныне имел свой очаг, жену, прекрасную телом и душой. Наше счастье омрачало единственное обстоятельство: я был женат, там, во Франции, поэтому не мог сочетаться браком.

Любить, быть любимым, иметь свой дом — о Боже, как Ты милостив ко мне!

Авантюристы всех мастей, скитающиеся по дорогам и морям, те, для кого приключения стали неотъемлемой частью существ-

вованая, как хлеб и вода для простых смертных, люди, летающие по жизни, словно перелетные птицы, городские бродяги, рыщущие днем и ночью по грязным улицам трущоб, наводняющие парки, слоняющиеся по богатым кварталам, в любую минуту готовые стянуть все, что плохо лежит, шальные анархисты, ежеминутно посылающие проклятия системе, которая, по их мнению, нагнетает день ото дня, освобожденные зэки, солдаты в увольнении, бойцы, вернувшиеся с фронта, все, кто в бегах или в розыске, кого ищут, чтобы бросить в застенки и уничтожить, все, да, все без исключения страдают оттого, что в то или иное время оказываются обделенными своим очагом, а когда Провидение предлагает им этот очаг, они входят туда, как вошел я, с обновленной душой, исполненные любви, готовые отдать ее всю без остатка и столько же получить взамен.

Вот и я, как простой смертный, как мой отец и мать, как мои сестры и все мои родственники, да, вот и я наконец обрел свой очаг, а у очага — любимую.

Только такая исключительная женщина, как Рита, могла полностью изменить мой жизненный уклад, перевернуть все мои взгляды на бытие и стать поворотной вехой в моей жизни.

Во-первых, она, как и я, прибыла в Венесуэлу, совершив побег. Не из мест заключения, не из тюрьмы, но все же побег.

Полгода назад она вместе с мужем приехала из Танжера. Три месяца спустя муж оставил ее, умчавшись на поиски счастья за три сотни километров от Маракайбо. Она не захотела последовать за ним, и муж бросил ее и гостиницу. В Маракайбо жил брат Риты, коммерсант. Он постоянно находился в разъездах.

Она рассказала мне свою жизнь, и я слушал ее очень внимательно, стараясь ничего не пропустить. Моя принцесса родилась в бедном квартале Танжера. Мать ее, вдова, мужественно воспитывала шестерых детей: троих мальчиков и трех девочек. Рита была последним ребенком.

С раннего детства улица была ее домом. Рите не сиделось в двух комнатах, где ютилась семья из семи человек. Ее настоящим домом был город с его парками, базарчиками; наполнявший его люд пил, пел и кричал на всех мыслимых языках. Ее

сверстники и жители родного квартала звали босоногую девчонку Рикитой. Со своими друзьями, похожими на резвую стайку воробьев, она чаще порхала на пляже или в порту, чем сидела в школе. А еще она умела за себя постоять, когда ее пытались вытолкнуть из длинной очереди за водой у колонки. Принести большое ведро воды для матери было ее обязанностью. Только в десять лет она согласилась надеть на ноги туфли.

Ей все было интересно. Ее живой и любознательный ум пытался постичь все вокруг. Она могла часами сидеть в кругу зевак, внимающих былям и небылицам сказочника-араба. В конце концов ему это надоело. Какая-то девчонка все время сидит в первом ряду, слушает, а платить не желает. Возмущенный подобной настырностью, араб боднул ее головой. С тех пор она всегда садилась во втором ряду.

Она знала немного, но это не мешало ей мечтать о таинственных странах, откуда приходят эти большие корабли со странными названиями. Уехать, путешествовать было самой большой ее мечтой, неуемной страстью. Она никогда ее не оставляла. Но у маленькой Рикиты имелось свое, особенное видение мира: Северная Америка и Южная Америка для нее были Верхней и Нижней. Верхняя Америка — это сплошь один Нью-Йорк. Люди там богатые, и все они — киноартисты. В Нижней Америке живут индейцы, которые предлагают вам цветы и играют на флейте. Там не надо работать, потому что все делают негры.

Но гораздо сильнее шумных базарчиков, погонщиков верблюдов, сказочников-арабов, загадочных женщин под паранджой, бурлящего порта ее притягивал цирк. Она была там два раза. Первый раз пролезла под парусину шатра, а второй раз — благодаря старому клоуну: тронутый видом красивой босоногой девчонки, он взял ее с собой и усадил на лучшее место. Цирк! Она хотела уехать с цирком, он притягивал ее словно магнит. Настанет день, и она будет плясать на канате, делать разные пируэты и срывать аплодисменты. Цирк направлялся в Нижнюю Америку. Как бы ей хотелось уехать вместе с ним! Уехать и стать богатой. Вернуться и привезти семье много денег.

С цирком она никуда не поехала, зато уехала с семьей. Правда, совсем недалеко, но все равно это было настоящее пу-

тешестве. Они поселились в Касабланке. Там и порт крупнее, и пакетботы больше. Но мечта уехать еще дальше, как можно дальше, не покидала Рикиту.

Ей исполнилось шестнадцать. Теперь она носила красивые короткие платья, которые шила сама, поскольку работала в магазинчике «Французские ткани». Хозяйка магазина часто делала ей подарки — отрезки на платье. Но мечта о путешествиях продолжала расти. Да и как же ей было не расти, когда магазинчик стоял рядом с бюро знаменитой авиакомпании «Латекоэр»! В магазин частенько заходили летчики. И какие! Мермоз, Сент-Экзюпери, писатель Мимиль, Делоне, Дидье. Они были красивы, но главное — это были великие и смелые путешественники. Она знала их всех, они ухаживали за ней. Иногда она позволяла себя поцеловать. Но не больше. Ни-ни! Она куда как умна! Но зато в каких замечательных путешествиях побывала она с ними в небесах, слушая их рассказы и лакомясь в соседней кондитерской. Они все ее очень любили, опекали и делали скромные, но дорогие для нее подарки. Они посвящали ей стихи, некоторые даже были опубликованы в газете «Ла Вижи».

В девятнадцать она вышла замуж за оптового поставщика фруктов в Европу. Они много работали. Родилась дочурка. Они были счастливы. У них было два автомобиля, жили они с комфортом, и Рита могла без ущерба для бюджета помогать своей матери и родным.

Два раза кряду два судна пришли в порт назначения с гнилыми апельсинами. Потеря двух грузов подряд означала катастрофу. Муж оказался по уши в долгах. Чтобы рассчитаться с кредиторами, потребовались бы годы. Поэтому он решил улизнуть в Южную Америку. Уговорить Риту было нетрудно. Разве откажешься совершить с мужем чудесное путешествие в страну, где текут молочные реки с кисельными берегами, где золото и алмазы гребут лопатой, а нефти хоть залейся?! Дочку решили оставить с матерью Риты, а сама Рита, увлеченная идеей предстоящего путешествия, стала терпеливо ждать посадки на большой корабль, о котором говорил муж.

Вместо пакетбота они оказались на рыболовном судне двенадцати метров в длину и пяти с половиной в ширину. Капитан-

эстонец, смахивавший на пирата, согласился доставить их без документов в Венесуэлу. С ними отправлялась еще дюжина «подпольщиков». Стоимость — пять тысяч франков в пересчете на нынешний курс. Таким образом, в кубриках команды на этом старом рыболовном судне собрались десять испанских республиканцев, удиравших от Франко, один португалец, бежавший от Салазара, две женщины — немка лет двадцати пяти, настоящая кобыла, любовница капитана, да толстуха-испанка, жена судового кока Антонио. Грязь и теснота несусветные.

Сто двенадцать дней пути, чтобы добраться до Венесуэлы! Включая долгую стоянку на островах Зеленого Мыса, потому что судно дало течь и даже чуть не затонуло во время шторма.

Пока оно стояло в сухом доке на ремонте, пассажиры обитали на берегу и спали прямо на земле. У мужа Риты появились сомнения в надежности судна. Он говорил, что это безумие — пускаться в Атлантику на таком разбитом корыте. Рита как могла успокаивала мужа, старалась ободрить его: капитан из викингов, а это, как известно, лучшие мореходы мира, так что можно ему довериться.

И вдруг невероятная новость, она просто не поверила своим ушам! Испанцы сообщили, что капитан — суцья каналья. Он сговорился с другой группой пассажиров и ночью, воспользовавшись тем, что первая группа спала на берегу, собирался отчалить с ними в Дакар. Он хотел бросить их здесь, на островах. Вспыхнул мятеж. Они предупредили власти и все вместе отправились на судно. Капитана окружили, испанцы угрожали ему ножом. Спокойствие восстановилось, лишь когда капитан пообещал доставить их в Венесуэлу. Памятуя о случившемся, капитан согласился находиться под постоянным наблюдением одного из пассажиров. На следующий день судно покинуло острова Зеленого Мыса и вышло в Атлантику.

Через двадцать пять дней показались острова Лос-Тестигос, самая крайняя точка Венесуэлы. Тут уж забылось все: штормы, плавники акул, спины игривых дельфинов, торпедами мчавшихся на судно, долгоносики в муке и то, что случилось на островах Зеленого Мыса. Рита была настолько счастлива, что даже и не вспоминала о предательстве капитана. Она бросилась ему на

шею и расцеловала в обе щеки. И вновь грянула песня, которую испанцы сочинили в плавании. Там, где испанцы, всегда сыщутся и певец, и гитара!

A Venezuela nos vamos
Aunque no hay carretera.
A Venezuela nos vamos
En un barquito de vela.

В Венесуэлу мы идем,
Трудна у нас дорога.
На лодке маленькой плывем,
И парус нам подмога.

Шестнадцатого апреля тысяча девятьсот сорок восьмого года, пройдя четыре тысячи девятьсот морских миль, они вошли в порт Ла-Гуайра. Он располагался в долине, в двадцати пяти километрах от Каракаса.

Из нижней юбки немки Цанды капитан соорудил флаг и с его помощью запросил береговую санитарную службу подняться на борт. Все были в восторге: их заметили, и катер санитарной службы уже приближался к судну. Загорелые лица пассажиров светились радостью. Венесуэла! Они победили!

Морской переход Рита перенесла нормально, только похудела на десять кило. Ни на что не жаловалась, страхов не выказывала. Хотя было чего бояться в этой ореховой скорлупке, затерянной посреди Атлантики. Один только раз ей стало дурно, но никто этого даже не заметил. Среди книг, которые она взяла с собой при отъезде из Танжера, о чем она потом пожалела, была и книга Жюль Верна «Восемьдесят тысяч лье под водой». Однажды во время жестокого шторма она не выдержала и бросила книгу за борт: несколько ночей подряд ей снилось, что гигантский спрут схватил их судно, словно «Наутилус», и тянет его на дно.

Через несколько часов они сошли на берег. Венесуэльские власти приняли их на своей территории, хотя все прибыли без документов. Сказали, что удостоверения личности выправят им позже. Двоих, заболевших в дороге, отправили в больницу. Остальных одели, приютили и кормили несколько недель. Потом каждый подыскал себе работу. Такова история Риты.

Разве не странно, что сначала образ этой женщины в течение двух лет скрашивал мое существование в одиночке, а затем она приехала сюда, тоже совершив побег, но побег другого рода и при других обстоятельствах? И не удивительно ли то, что она, так же как и я, прибыла без документов и была принята венесуэльцами щедро и сердечно?

Более трех месяцев ничто не нарушало нашего счастья. Но вот однажды кто-то взломал сейф компании «Ричмонд», с которой я продолжал сотрудничать: по-прежнему занимался подготовкой и руководством геологическими экспедициями. Как местные фараоны смогли пронюхать о моем прошлом, мне до сих пор не ясно. Ясно одно — что меня арестовали и посадили в тюрьму в Маракайбо. Для них я был подозреваемый номер один.

Рите учинили допрос — это было в порядке вещей. Кто я да что я? Фараоны поступили по-свински, выложив ей все, что я от нее скрывал. Интерпол дал обо мне полную справку. Однако Рита не бросила меня в тюрьме, а помогала чем могла. Наняла адвоката, тот прекрасно провел защиту, и через несколько недель меня выпустили за отсутствием состава преступления. Невинность моя была полностью доказана. Но зло свершилось.

Рита пришла за мной в тюрьму взволнованная, но очень печальная. Она уже смотрела на меня другими глазами. Я чувствовал, что она боится, что не уверена, стоит ли ей восстанавливать со мной отношения. У меня создалось такое впечатление, что все потеряно, и я не ошибся — Рита сразу же перешла в наступление:

— Почему ты мне лгал?

Нет, это невозможно, я не хочу ее потерять. Такой шанс мне больше не представится. И снова я должен сражаться, биться изо всех сил.

— Рита, очень важно, чтобы ты мне поверила. Когда я встретил тебя, ты мне так понравилась, я так тебя полюбил, что испугался: «А вдруг ты не захочешь меня видеть, если расскажу тебе правду о своем прошлом?» Ты помнишь, что я рассказывал о себе? Конечно, мне пришлось немного приукрасить, но только потому, что хотелось рассказать тебе лишь то, что ты желала услышать.

— Ты обманывал меня... Ты обманывал меня... — настойчиво повторяла она. — Меня, считавшую тебя порядочным человеком!

Женщина в такой панике, будто пережила кошмар. Она боится. Да, парень, она боится тебя, подумал я.

— А кто тебе сказал, что я не могу быть порядочным человеком? Как и любой другой, я заслуживаю того, чтобы мне дали возможность стать порядочным, честным и счастливым. Не забывай, Рита, тринадцать лет я сражался с жесточайшей исправительной системой. А выбраться из сточной канавы, поверь мне, было нелегко. Я люблю тебя, Рита, всем своим существом. Очень важно, чтобы ты поверила мне. Почему я не рассказал тебе о своем прошлом? Только потому, что боялся потерять тебя. Я сказал сам себе, что если мое прошлое ни к черту не годится и полно ошибок, то с тобой мое будущее должно быть совершенно другим. Всю свою дальнейшую жизнь я мечтаю пройти с тобой рука об руку, и я вижу ее без тени и облачка, в самом что ни на есть розовом свете. Клянусь, Рита, сединами своего отца, который выстрадал из-за меня достаточно!

И я разрыдался. Сломался начисто.

— Анри, это правда? Именно так ты представляешь себе наше будущее?

Я взял себя в руки и ответил все еще дрожащим и хриплым голосом:

— Так и должно быть, ведь в наших сердцах отныне нет ничего другого. Впрочем, ты сама это чувствуешь. Для нас с тобой нет прошлого. Только настоящее и будущее.

Рита крепко обняла меня.

— Не плачь, Анри. Слышишь, как шумит ветер? Начинается наше будущее. Но только дай мне слово, что никогда больше не будешь делать ничего плохого. Обещай, что ты никогда ничего не станешь скрывать от меня и что в нашей жизни не будет ничего грязного, ничего, что надо было бы скрывать.

Прижавшись к ней, я произнес клятву. Я почувствовал, что моя судьба поставлена на карту. Мне не следовало скрывать от этой честной и мужественной женщины, матери маленькой дочурки, что я беглый каторжник, за плечами которого пожизненный приговор.

И я рассказал ей обо всем, выложил абсолютно все. Единным духом. С дрожью в голосе поведал Рите о своей навязчивой идее, той, что уже восемнадцать лет не дает мне покоя, идее, которой я одержим, — мести. Ради нее я решил поступиться этой идеей, отказаться от нее в подтверждение своей искренности. Сам не могу уразуметь, как я на это решился: огромная жертва, грандиозность и важность которой она не сможет оценить. И свершилось чудо, я услышал самого себя, хотя говорил будто бы кто-то другой:

— Чтобы доказать, как я люблю тебя, Рита, приношу тебе самую большую жертву, на какую я только способен! С этого момента я отказываюсь от мести. Пусть подымают в своих постелях! Пусть подымают те, кто заставил меня страдать: прокурор, фараоны и лжесвидетель. Да, ты права. Чтобы окончательно заслужить такую женщину, как ты, я должен — нет, не простить, это невозможно — выкинуть из головы саму мысль о безжалостном наказании всех, кто бросил меня в застенки и послал на каторгу. Перед тобой стоит совершенно новый человек, прежнего нет — он умер.

Должно быть, Рита целый день думала о нашем разговоре, поскольку вечером она мне сказала:

— А твой отец? Раз ты теперь достоин его, напиши ему, только скорее, не тяни.

— С тысяча девятьсот тридцать третьего года мы ничего не знаем друг о друге. Ни он обо мне, ни я о нем. Как раз с октября. Мне приходилось присутствовать при том, как экам раздавали письма, эти несчастные письма, вскрытые баграми, в которых и сказать-то ничего нельзя. Я видел отчаяние на лицах горемык, не получивших ничего с почтой. Догадывался, какое горькое разочарование испытывали некоторые, прочитав долгожданное письмо и не найдя в нем того, что ожидали. Я видел, как рвут письма в клочья и топчут ногами. Видел, как слезы падают на исписанный лист и от влаги расплываются чернила. И еще я представлял себе, какую реакцию могли вызывать проклятые письма с каторги там, куда они приходили. Марка Гвианы на конверте сразу же давала повод для разговоров деревенским почтальонам, соседям или завсегдадаям кафе: «Каторжник написал. Значит,

еще жив, если пишет». Я хорошо представлял себе, какой стыд испытывал тот, кто получал такое письмо из рук почтальона, и его боль при вопросе: «У вашего сына все хорошо?»

Поэтому, Рита, я и написал с каторги одно-единственное письмо сестре Ивонне, в котором предупредил: «От меня ничего не ждите и мне не пишите. Как волк у Альфреда де Виньи, я умру, но не завою».

- Все прошло, Анри. Так ты напишешь письмо отцу?
- Да. Завтра.
- Нет, сейчас же.

И вот во Францию отправилось длинное письмо, в котором не говорилось ничего такого, что могло бы причинить отцу страдания. Я не писал о своей голгофе — только о воскресении из мертвых и о настоящей жизни. Письмо вернулось назад с пометкой: «Адресат выбыл, не оставив адреса».

Боже! Кто знает, куда уехал мой отец, скрываясь от позора? Люди, которые знали меня с детства, так злы, что могли превратить его жизнь в сущий ад.

Реакция Риты не заставила себя ждать.

- Я поеду во Францию и разыщу твоего отца.

Я внимательно посмотрел на нее. Она продолжала:

- Бросай свои экспедиции. Эта работа, между прочим, опасна. В мое отсутствие ты займешься гостиницей.

Да, я не ошибся в Рите. Она не только была готова безо всяких колебаний в одиночку отправиться в долгое путешествие, в неизвестность, но и оставляла мне, бывшему каторжнику, все свое хозяйство. Она доверяла мне. И не зря: она знала, что на меня можно положиться.

Рита взяла гостиницу в аренду с правом выкупа. Поэтому надо было ее купить во что бы то ни стало, чтобы она не ускользнула из рук. Теперь я по-настоящему узнал, что значит для человека жить честно и каким трудом все это достается.

Я уволился из компании «Ричмонд» с шестью тысячами боливаров, которые вместе с Ритиними сбережениями мы отдали владелице гостиницы, выплатив половину ее стоимости. И для нас началась настоящая борьба, не прекращавшаяся, можно сказать, ни днем ни ночью, за то, чтобы заработать денег и не

нарушить сроки по платежам. Мы оба работали как одержимые, по восемнадцать, а то и девятнадцать часов в сутки. Наши усилия объединяло взаимное желание во что бы то ни стало победить, добиться поставленной цели в кратчайший срок. Ни она, ни я и не заикались об усталости. Я закупал продукты, помогал на кухне, принимал клиентов. Мы везде поспевали, причем с неизменной улыбкой на лице. В конце дня мы едва не валились с ног, но утром все начиналось сначала.

Чтобы как-то еще подзаработать, я приобрел небольшую двухколесную тележку. Загружал ее доверху куртками и штанами и вез на рынок, что на площади Баральта. Одежда была бракованная, я покупал ее почти за бесценок на фабрике. Под палящим солнцем показывал товар лицом, орал что есть мочи, зазывая покупателей. Однажды даже переусердствовал: взял куртку за рукава и, чтобы показать, из какого прочного материала она сшита, рванул ее. Куртка с треском разорвалась пополам. Этим я, конечно, доказал, что я самый сильный в Маракайбо, но товар в тот день расходился плохо. На рынке я торчал с восьми утра до полудня. А в половине первого уже спешил в гостиницу, чтобы обслуживать клиентов в ресторане.

Площадь Баральта представляла собой торговый центр Маракайбо, самое оживленное место в городе. С одной стороны располагалась церковь, с другой — один из самых живописных рынков мира. Там продавалось все, что только душе угодно: мясо, птица, рыба, раки, не говоря уже о больших зеленых ящерицах-игуанах (просто — объединение!) со связанными лапками, чтобы не убежали, яйца каймана, сухопутной и морской черепахи, броненосца, любые сорта фруктов, и не только тропических, и, конечно же, саго — крупа из сердцевины саговых пальм. Под знойным солнцем рынок этого кипучего города так и кишел людьми: здесь можно было встретить любые оттенки кожи, любую форму глаз — от раскосых китайских до круглых негритянских.

Мы с Ритой обожали Маракайбо, хотя это было одно из самых жарких мест Венесуэлы. В этом колониальном городе жили дружелюбные, гостеприимные и счастливые люди. Они говорили нараспев, были благородны и щедрЫ душой. Это были люди с примесью испанской крови, унаследовавшие от индейцев

их лучшие качества. Кровь у мужчин была горячая, а понятие дружбы было возведено в культ. Для своих друзей — они самые настоящие братья. Маракучо (жители Маракайбо) сдержанно относились ко всему, что исходило из Каракаса. Они жаловались на то, что озолотили своей нефтью Венесуэлу, а в столице о них забывали. Они чувствовали себя как богачи, к которым относились как к бедным родственникам те, кого они обогатили. Женщины в Маракайбо были красивы; как правило, среднего роста. Это были верные и послушные дочери и добрые матери. И все здесь кипело, жило, кричало. Буйство красок проявлялось во всем: в одежде, в домах, в плодах. И все перемещалось с места на место. Площадь Баральта была заполнена уличными торговцами, мелкими контрабандистами, которые почти в открытую торговали ликерами, крепкими напитками, сигаретами. Дела делались как бы по-семейному: полицейский стоял рядом, в двух-трех метрах, но в нужный момент он всегда отворачивался, чтобы бутылка виски, французского коньяка, блок американских сигарет успели перекочевать из одной корзины в другую. Товар прибывал сушей, морем, по воздуху. Покупатель расплачивался твердой монетой: в то время доллар шел за три боливара и тридцать пять сантимов.

Содержать гостиницу было делом нелегким. И Рита по приезде сразу же приняла радикальное решение, полностью противоречащее обычаям страны. Ее постояльцы-венесуэльцы имели привычку плотно завтракать: кукурузные лепешки, яичница с ветчиной, бекон, творог. Поскольку они жили на полном пансионе, то меню на день писалось на грифельной доске. В первый же день она вычеркнула все лишнее и своим размашистым почерком вывела: «Завтрак — черный кофе или кофе с молоком, хлеб и масло». И баста! Постояльцы, должно быть, призадумались, и к концу недели половина из них съехала.

А тут и я подвернулся. Еще до моего появления Рита внесла некоторые изменения, но с моим приездом произошла настоящая революция.

Декрет первый: я удвоил стоимость проживания.

Декрет второй: французская кухня.

Декрет третий: установка кондиционеров.

Людей поражало, что в колониальном доме, переделанном в гостиницу, во всех комнатах и ресторане стоят кондиционеры. Клиентура изменилась. Сначала появились коммивояжеры. Затем у нас поселился один баск, продавец наручных часов «швейцарской» марки «Омега», чисто перуанского происхождения. Он развернул коммерцию прямо в своем номере, сбывая товар перекупщикам. Те в свою очередь распространяли его повсюду, переходя от одной двери к другой, вплоть до поселков нефтяников. Несмотря на то что наша гостиница была совершенно безопасна, баск, однако, проявил крайнюю недоверчивость: поставил на дверь за свой счет еще три замка. Но ему это не помогло: он вдруг стал замечать, что время от времени часы пропадают. Торговец даже стал подумывать, что в его комнате поселились какие-то призраки, пока однажды не поймал вора. Вернее, воровку — нашего пуделя по кличке Колечко. Собачонка была хитрющая: тихонько проползала в комнату и утаскивала браслет прямо из-под носа, с часами или без них. Она так играла. Баск устроил скандал, обвинив меня в том, что я-де натаскал собаку воровать у него товар. Я хохотал до упаду. После двух-трех стаканчиков рома мне все же удалось его убедить, что мне плевать на его паршивые часы и что я постеснялся бы продавать эту подделку. Придя в себя и успокоившись, баск удалился в свою комнату и заперся в ней.

Среди наших гостей встречались всякие. Маракайбо готов был лопнуть от наплыва людей, найти комнату было практически невозможно. Откуда-то налетела стая неаполитанцев. Они ходили из дома в дом и объегоривали покупателей на продаже тканей, складывая отрез таким образом, будто из него можно было сшить четыре костюма, хотя хватало всего на два. В одежде моряков, с большими мешками за плечами, торговцы тканями расползлись по городу и его окрестностям и особенно по поселкам нефтяников. Я не знаю, как эта банда пройдох разыскала нашу гостиницу. Все номера были заняты, и единственное, что мы могли предложить, — спать всем во дворе. Они согласились. Возвращались неаполитанцы все вместе, к семи, и мылись в общем душе. Поскольку ужинали они у нас, мы вскоре научились готовить спагетти по-неаполитански. Деньги они

тратили направо и налево и вообще оказались хорошими постояльцами.

По вечерам мы вытаскивали из дома железные кровати и ставляли их во внутреннем дворике. Две служанки помогали Рите их застилать. Я требовал, чтобы деньги платили вперед, поэтому каждый вечер разгоралась одна и та же дискуссия: итальянцы считали, что «комната» под открытым небом и ясными звездами им очень дорого обходится. И каждый раз я терпеливо объяснял им, что совсем наоборот, все разумно и очень правильно, поскольку выносить кровати, стелить их, а утром снова все разбирать и заносить в дом требует больших усилий. Если все это принять в расчет, то цена может даже оказаться совершенно мизерной.

— Так что не очень-то расходитесь, а то возьму и взбодру вам цену! Тоже мне, горбатишься тут с утра до ночи, разбери да собери, двинь туда, передвинь сюда. Считайте, что я беру с вас только за переноску.

Наконец они платят, и все мы хохочем. Но сколько бы они ни зарабатывали денег, пусть даже много, на следующий вечер все повторялось. Однажды они расшумелись еще больше, когда ночью их настиг ливень. Пришлось им со всем барахлом и матрацами мчаться в гостиницу и досыпать в ресторане.

Как-то ко мне пришла содержательница одного борделя по имени Элеонора. У нее было большое заведение в пяти километрах от Маракайбо, в местечке Ла-Кобеса-де-Торо. Бордель назывался «Тибири-Табара». Элеонора — настоящая толстуха, прямо-таки гора мяса, но с умными красивыми глазами. У нее работало около ста двадцати женщин. Только ночью.

— Несколько француженок хотят от меня уйти, — объяснила мне Элеонора. — Не желают сутками торчать в заведении. Работать с девяти вечера до четырех утра согласны. Но хотят хорошо питаться и спать спокойно, подальше от шума, в комфортабельных комнатах.

Мы с Элеонорой заключили сделку: француженки и итальянки могут перебираться к нам. Наш пансион обойдется им дороже на десять боливаров в день, но стоит ли беспокоиться из-за таких пустяков? В гостинице «Веракрус» им будет очень хорошо,

да еще среди французов. Договорились о шести девицах, но через месяц их число удвоилось. Я даже не заметил, как это произошло.

Рита установила железную дисциплину. Девчонки были молодые, красивые. Им было категорически запрещено принимать мужчин в гостинице, даже во дворе или в ресторане. Впрочем, никаких историй пока не наблюдалось. В гостинице девушки вели себя как настоящие дамы. В повседневной жизни, в быту они были абсолютно нормальными и умели себя держать. Вечером за ними приезжали на такси. Тогда девчонки преображались до неузнаваемости: в кричащих нарядах, размалеванные, как куклы. Скромно и без шума они отправлялись, по их собственному выражению, «на фабрику». Время от времени приезжал какой-нибудь сутенер из Парижа или Каракаса. Он старался вести себя как можно незаметнее. Такого гостя девушка, разумеется, могла принять в гостинице. «Подняв сеть», получив «улов» и осчастливив девчонку, он исчезал так же тихо, как и появлялся.

Не обходилось и без мелких казусов. Как-то постоялец-сутенер отозвал меня в сторону и попросил сменить ему комнату. Его девчонка уже договорилась со своей подругой по ремеслу, и та согласна поменяться. Причина: сосед, итальянец, богач и здоровяк, как только его девчонка возвращается с работы, пользуется ее раз, а то и два за ночь. И это притом что сутенеру нет еще сорока, а итальянцу все сорок пять.

— Понимаешь, друг, я не могу угнаться за этим скакуном. Мне даже не светит приблизиться к таким достижениям. И какво мне за стенкой слушать всхлипывания да стоны и все прочие звуки большого оркестра! Представляешь, как я выгляжу перед моей кралей, утешаясь с ней от силы раз в неделю. Ссылки на мигрень ей уже надоели. Она им не верит и наверняка делает сравнения не в мою пользу. Так что, если не трудно, окажи услугу.

Едва сдерживаясь от смеха, я согласился, что доводы его бесспорны и что придется сменить ему жилище.

Как-то ночью, часа в два, Элеонора позвонила мне по телефону. Дежурный полицейский застукал какого-то француза, ни слова не говорившего по-испански. Француз сидел на дереве

напротив борделя и на вопросы полицейского, как он оказался в таком странном положении — собрался воровать или еще что, — отвечал односложно: «Энрике из „Веракруса“». Я вскочил в свой драндулет и помчался в «Тибири-Табара».

Я его узнал еще издалека. Этот лиенец уже бывал в моей гостинице. Француз и хозяйка сидели, а перед ними стояли двое полицейских с суровыми лицами. В трех словах я перевел, что было нужно:

— Нет, этот господин залез на дерево не со злым умыслом. Он просто влюблен в одну женщину, но называть ее не хочет. Он забрался на дерево, чтобы полюбоваться ею из засады, так как она ни знать его, ни слышать о нем не желает. Ни больше ни меньше. Как видите, ничего страшного. Впрочем, я его знаю, он порядочный человек.

Распили бутылку шампанского. Он расплатился. Я посоветовал ему оставить сдачу на столе: возьмет тот, кому надо. Затем я повез его на машине.

— Какого черта тебе понадобилось сидеть на этом дереве? Сдурел совсем или приревновал?

— Ни то и ни другое. Ее заработок понизился без видимой причины. Она у меня одна из самых красивых, а зарабатывает меньше других. Я решил понаблюдать за ней, как часто она выходит на работу, но тайно, так, чтоб она об этом не знала. Мне казалось, что таким путем я смогу ее раскусить в случае, если она прикарманивает деньги.

Несмотря на плохое настроение — подняли среди ночи, — я расхохотался от души, услышав такое объяснение.

«Сутенер на дереве», как я его окрестил, на следующий же день отбыл в Каракас. Слежка не удалась, и продолжать ее не имело смысла. Но в самом борделе это наделало много шума: женщины бурно обсуждали происшествие, но только одна из них знала истинную причину того, почему ее «ухажер» залез на дерево: оно росло как раз напротив ее комнаты.

Работали мы много, но в гостинице жилось весело, и мы время от времени развлекались. Когда наши девушки уезжали «на фабрику», мы устраивали сеанс спиритизма. С умным видом садились за круглый стол и клали ладони на столешницу. Каждый обращался к духу, которому желал задать вопрос. А начало

этим сеансам положила одна красивая женщина — художник, кажется мадьярка, лет тридцати. Она каждый вечер вызывала дух покойного мужа, и я своей ногой под столом помогал ему отвечать — иначе мы не сдвинулись бы с места.

Муж ее мучит, говорила она. Почему? Она не знает. Наконец однажды ночью дух мужа ответил во время сеанса, что он никогда не оставит ее в покое. Он обвиняет ее в том, что она слаба на передок. Мы все дружно закричали, что это очень серьезно, ревнивый дух может страшно отомстить, тем более что она охотно призналась нам, что действительно слаба на это место. Что делать? Надо подумать. Если уж она такая вертихвостка, просто так здесь не отделаешься. Мы очень серьезно обсуждаем этот вопрос и находим средство. Может помочь только одно: надо дожждаться лунной ночи, вооружиться новеньким мачете, выйти на середину дворика, раздеться донага и распустить волосы. Предварительно следует вымыться желтым мылом, не пользоваться духами, снять с себя все украшения, чтобы уж быть совсем чистой, с ног до головы. В руках ничего, кроме мачете. И как только луна взойдет над двором и станет в зените, ей нужно, не отбрасывая от себя тени, широкими взмахами мачете рассечь воздух ровно двадцать один раз.

Результат превзошел все ожидания, так как на следующий же день после сеанса с «изгнанием злого духа», когда мы вволю насмеялись, подглядывая из-за решетчатых оконных ставней, стол отвечал (благодаря вмешательству Риты, которая считала, что шутка зашла слишком далеко), что отныне умерший муж оставит ее в покое вместе с ее слабым передком, но при одном условии — что она не будет больше рубить воздух саблём в лунную ночь, так как это причиняет ему сильную боль.

У нас был пудель по кличке Мину, довольно большой, почти королевский. Нам его оставил один из наших клиентов, француз, посетивший Маракайбо проездом. Пудель был всегда безупречно пострижен и причесан. Жесткая черная шерстка на голове уложена в виде впечатляющей высокой фески. На ногах у него манжеты, шерсть гладко пострижена. У него были чаплинские усики и маленькая острая бородка. Венесуэльцы, глядя на него, удивлялись и, преодолевая робость, спрашивали меня, что это за странный зверь такой.

Из-за Мину у нас чуть не произошел серьезный конфликт с церковью. Улица, на которой стояла гостиница «Веракурс», вела к церкви, и по ней часто проходили религиозные процессии. Мину очень нравилось сидеть у входа в гостиницу и наблюдать за уличным движением. Однако он никогда не лаял, что бы там ни происходило. В том-то и штука: если бы он лаял, люди меньше бы удивлялись. На днях пастор и мальчики из церковного хора, шедшие в процессии, оказались в гордом одиночестве, а толпа смиренных маракучо сгрудилась у отеля, метрах в пятидесяти, и выясняла происхождение этого странного животного. Со всех сторон сыпались вопросы; маракучо в пылу спора позабыли, что им надо следовать за процессией. Толкотня, суeta несусветная. Каждый стремился поближе протиснуться к Мину; некоторые очень серьезно высказывали мнение, что неизвестное животное может вполне оказаться душой раскаявшегося грешника, ибо только этим можно объяснить, почему оно сидит неподвижно и смотрит, как идет священник в сопровождении громко поющих мальчиков из хора в красных одеждах. Наконец пастор сообразил, что за спиной стало удивительно тихо. Обернувшись, он увидел, что никого нет. Красный от гнева, пастор размашистым шагом поспешил назад и принялся выговаривать нерадивым прихожанам за их неуважение к церемонии. Встревоженный муравейник снова построился рядами и двинулся дальше. Но я заметил, что некоторые, пройдя с процессией всего лишь несколько шагов, вернулись, чтобы еще раз поглазеть на Мину. С тех пор мы очень внимательно следили за объявлениями в городской газете «Панорама» о расписании религиозных процессий, которые должны пройти мимо нашей гостиницы. На время шествий мы привязывали Мину во дворе.

Нам вообще в то время страшно не везло с представителями духовенства. Две девчонки-француженки задумали уйти от Элеоноры и заодно съехать из гостиницы. Они решили открыть свое «заведение» — на одной из центральных улиц города. Работать на пару. Расчет неплохой: клиентам не надо брать машину и проделывать целых двадцать километров в оба конца, чтобы навесить их. Все услуги прямо на месте. В целях рекламы своего заведения они распечатали визитные карточки с такой надписью: «Жюли и Нана, работаем на совесть» — и адрес. Стали распро-

странять эти визитки по всему городу и очень часто, вместо того чтобы вручать их прямо в руки мужчинам, подсовывали их под «дворники» на лобовом стекле автомобилей.

И надо же было такому случиться, чтобы эта визитка оказалась под очистительными щетками машины, принадлежавшей епископу из Маракайбо. Разразился жуткий скандал. В доказательство того, до какой степени бесчестья можно докатиться, газета «Релижьён» поместила фотографию визитной карточки. Сам же епископ и клир проявили снисходительность: «заведение» не закрыли, но дам попросили вести себя скромнее. Впрочем, в дальнейшем распространении карточек отпала всякая необходимость: благодаря бесплатной рекламе в «Релижьён» по указанному адресу уже спешила толпа заинтересованных клиентов. Наплыв был настолько велик, что девочкам пришлось просить уличного торговца хот-догами подкатить тележку к двери, чтобы хоть как-то оправдать подобное столпотворение. Пусть все думают, что очередь стоит за бутербродами.

Несмотря на веселую, полную приключений жизнь в гостинице, мы старались следить за экономической и политической ситуацией в стране. Тысяча девятьсот сорок восьмой год был насыщен политическими событиями. С тысяча девятьсот сорок пятого страной управляли Гальегос и Бетанкур, это был первый опыт правления демократического режима в истории Венесуэлы.

Тринадцатого ноября тысяча девятьсот сорок восьмого года, после того как мы с Ритой едва проработали вместе три месяца, чтобы выкупить гостиницу, прозвучал первый выстрел, направленный против режима: майор Томас Мендоса имел дерзость в одиночку поднять мятеж. Выступление провалилось.

Двадцать четвертого числа того же месяца, после почти бескровного государственного переворота, сработавшего как часы, к власти пришли военные. Ромуло Гальегос, президент республики и известный писатель, вынужден был уйти в отставку, а Бетанкур, истинный лев на политической арене, укрылся в колумбийском посольстве.

Мы пережили в Маракайбо несколько напряженных и тревожных часов. В какой-то момент по радио вдруг прозвучал

страстный призыв: «Рабочие, выходите на улицы! Вас хотят лишить свободы, запретить профсоюзы и силой навязать вам военную диктатуру! Выходите на площади, на...» Клак! Голос резко оборвался, раздался звук вырываемого из рук микрофона, а затем — спокойный низкий голос: «Граждане! Армия отобрала власть у людей, которым она ее доверила после отставки генерала Медины. Они злоупотребляли властью. Но вы ничего не бойтесь! Мы гарантируем жизнь и право на собственность всем без исключения. Да здравствует армия! Да здравствует революция!»

Вот и вся бескровная революция! Утром следующего дня в газете уже был напечатан состав военной хунты. Три полковника: Дельгадо Чальбо — президент, Перес Хименес и Льовера Паэс.

Поначалу мы боялись, что новый режим не замедлит отнять гражданские свободы, предоставленные народу прежними властями. Ничего подобного. Жизнь нисколько не изменилась. Даже в правительстве не произошло серьезных перемен, если не считать ключевых постов, занятых военными.

Через два года Дельгадо Чальбо убили. Очень грязная была история, по существу которой имелись две противоречивые версии. Первая: собирались убить всех троих, и он оказался первым. Вторая: один или оба других полковника распорядились устранить его. Истину так никогда и не установили. Убийца был арестован и застрелен по дороге в тюрьму. Поистине счастливый выстрел, предотвративший нежелательные свидетельские показания. Как бы то ни было, с того дня первым лицом в государстве оказался Перес Хименес, в тысяча девятьсот пятьдесят втором году ставший официальным диктатором.

Так и протекала наша несколько затворническая жизнь: мы никуда не ходили, не ездили на прогулки. И тем не менее наши сердца были наполнены необычайной радостью. Ибо все, что мы делали и создавали своими руками, становилось еще одним кирпичиком нашего семейного очага, вокруг которого мы собирались зажить счастливой жизнью, довольные и без долгов, в крепком согласии и родстве душ, продолжая, как и прежде, любить друг друга.

Вскоре к нам должна была переехать Клотильда, дочь Риты, чтобы стать моей дочерью тоже, а еще внучкой моему отцу.

В наш дом будут приходить мои друзья, чтобы поправить свои дела и перевести дух, когда их совсем прижмет.

В этом счастливом уголке я никогда не вспомню о мести и не замыслю ничего плохого против тех, кто принес мне и моим родным столько зла и страданий.

Наконец настал день, когда мы выиграли нашу партию. В декабре тысяча девятьсот пятидесятого года долгожданный документ был оформлен у нотариуса, и мы стали полноправными владельцами гостиницы.

Глава одиннадцатая

ОТЕЦ

Сегодня Рита собирается в дорогу. Она отправляется во Францию в надежде разыскать моего отца. Рита хотела найти его пристанище, где он жил в уединении или просто скрывался от остального мира.

— Поверь мне, Анри. Вот увидишь, я привезу тебе отца.

Я остался один хозяйничать в гостинице. Затею с продажей штанов и рубашек я оставил, хотя на этом деле всего за несколько часов мне удавалось прилично заработать. Но Рита уехала разыскивать моего отца, и мне надо было работать в гостинице не просто хорошо, а в два раза лучше, чем при ней.

Разыскивать моего отца, подумать только! Сельского учителя из Ардеша. Того самого, что двадцать лет назад не смог обнять сына в последний раз: помешала тюремная решетка комнаты свиданий. Не смог обнять сына, приговоренного к пожизненному заключению, когда пришел с ним проститься. Моего отца, которому Рита сможет сказать: «Я приехала к вам как ваша дочь, чтобы сообщить, что ваш сын благодаря собственным усилиям обрел свободу, стал хорошим и честным человеком. Вместе со мной он создал очаг, где теперь ждет вас».

Я вставал в пять утра и отправлялся за продуктами с собакой Мину и Карлитосом, мальчонкой двенадцати лет, недавно выпущенным из тюрьмы. Я взял его к себе в дом. Он нес корзины. За полтора часа мы успевали затариться на целый день: мясо, рыба, овощи. В гостиницу мы возвращались оба навьюченные, как мулы. На кухне работали две женщины, двадцати четырех и восемнадцати лет. Я выкладывал все, что мы принесли, на стол, и женщины принимались разбирать наши покупки.

Мое самое любимое время начиналось в половине седьмого утра. В этот час я завтракал в столовой, а на коленях у меня сидела дочка нашей поварахи Розы. Девочке было четыре годика. Черненькая, как уголек. Она завтракала только со мной, иначе отказывалась есть. Маленькое голенькое тельце пахло свежестью. Она недавно проснулась, и мама только что вымыла ее под душем. Детский лепет малышки и ее красивые глазенки, которые доверчиво смотрели на меня, и лай ревнивой собаки, возмущенной невниманием к себе, и Ритин попугай, что сидел возле моей чашки с кофе и клевал хлебные крошки, смоченные в молоке, — все, решительно все делало этот час поистине волшебным.

Что же все-таки с Ритой? Письма до сих пор нет, хотя вот уже месяц, как она уехала. Правда, дорога только в один конец занимает целых четырнадцать дней. Но она уже две недели во Франции. Ничего не понимаю. Может, не нашла и не хочет мне говорить? Я уже не прошу многого. Дай телеграмму. Коротенькую, всего несколько слов: «Отец чувствует себя хорошо и по-прежнему любит тебя».

Целыми днями я караулил почтальона. Отлучался лишь по крайней необходимости. На ходу, на скорую руку делал закупки и быстрее домой, чтобы постоянно быть на месте. В Венесуэле разносчики телеграмм ходят без формы, но все они очень молоды. Поэтому едва во дворе появлялся мальчишка, как я уже спешил ему навстречу, не сводя глаз с его рук, в надежде увидеть листок зеленой бумаги. Ничего. Опять ничего. Чаще всего это оказывался даже не почтальон. Раз или два, заметив какого-то мальчишку с зеленой бумажкой, я бросался к нему, едва не выхватывал ее из рук и с жестоким разочарованием убеждался, что телеграмма не мне, а моему постояльцу.

Ожидание и отсутствие новостей меня жутко нервировали. Я работал до изнеможения. Постоянно занимал себя делами, чувствовал, что иначе не выдержу. Помогал на кухне, придумывал самые невообразимые блюда, проверял комнаты по два раза в день, что-то говорил, кого-то выслушивал. Главное для меня было заполнить дни и часы, чтобы легче переносить ожидание и отсутствие новостей. Одного я только не делал: не мог принять участия в игре в покер, которая начиналась в два часа ночи.

Я крутился как белка в колесе, и клиенты были довольны.

Как-то раз произошла одна крупная неприятность. Ошибся Карлитос: вместо того чтобы купить для чистки кухни керосин, он принес бензин. Наши кухарки, недолго думая, намыли им цементный пол на кухне и стали разжигать плиту. Вокруг вспыхнуло страшное пламя. Сестры-поварихи обгорели с ног до живота. Я едва успел набросить скатерть на дочурку Розы и спасти ее. Она почти не пострадала, но кухарки серьезно обгорели. Мы разместили пострадавших в их же комнате и организовали должный медицинский уход. Пришлось еще нанять повара-панамца.

Жизнь в гостинице шла своим чередом, но молчание Риты начинало меня всерьез беспокоить. Ни вестей от нее, ни ее самой! Прошло пятьдесят семь дней, как она уехала.

И вот настал долгожданный момент! Минут через двадцать она будет здесь. Я встречал ее в аэропорту. В телеграмме говорилось: «Прибываю вторник 15.30. Рейс 705. Целую. Рита». И это все? Она никого не нашла? Я не знал, что и думать. И не хотел больше гадать.

Вот она, моя Рита. Сейчас я обо всем узнаю.

Пассажиры стали спускаться по трапу. Рита шла пятой. Она сразу же меня заметила, и мы одновременно помахали друг другу. Нас отделяло более сорока метров, и я жадно вглядывался в ее лицо. Она не смеялась, только улыбалась. Нет, вид у нее явно не победный. Рука не поднята торжествующе вверх. Она просто дает понять, что видит меня.

Когда до нее оставалось метров десять, я вдруг понял: Рита потерпела поражение.

— Ты нашла моего отца?

Вопрос сорвался у меня с языка, едва я успел ее поцеловать, впопыхах, и это после двухмесячной разлуки! Я был не в силах больше ждать.

Да, она нашла моего отца. Он похоронен на маленьком деревенском кладбище в Ардеше.

Она протянула мне фотографию. Ухоженная могила под цементной раковиной. И надпись: «Ж. ШАРЬЕР». Он умер за четыре месяца до ее приезда. Фотография могилы — это все, что привезла мне Рита.

Мне стало худо. С такой надеждой я провожал жену, и вот эта ужасная новость. Щемящая тоска нахлынула изнутри. Я почувствовал крушение всех надежд и иллюзий, как человек, который ощущает себя ребенком, пока жив отец. Боже мой! Ты не только загубил мою молодость, но и отказал мне в праве обнять отца, услышать его голос, который наверняка бы сказал: «Иди ко мне, мой мальчик. Дай мне обнять тебя, Рири. Судьба была очень безжалостна к тебе, а правосудие с его исправительной системой бесчеловечно, но я по-прежнему люблю тебя и никогда от тебя не отрекался. Я горжусь, что ты нашел в себе силы победить, несмотря на все то, что с тобой сделали. Я горжусь тобой, таким, какой ты есть». Снова и снова Рита повторяла мне то немногое, что ей удалось узнать, почти выпросить, как милостыню, о жизни отца после моего осуждения. Я молчал, не в силах произнести ни слова. Злоба зрела во мне и завязывалась в узел. И вдруг словно открылись ворота шлюза, и меня захлестнула волна мести и дикой ярости: «Свиньи, я вам подложу чемодан со взрывчаткой на набережную Орфевр, 36, и теперь жертв будет гораздо больше! Сотня, две, три, тысяча! И ты, Гольдштейн, продажный лжесвидетель, еще попомнишь меня! Получишь свое в полной мере! А что касается тебя, прокурор, так жаждавший моего осуждения, так за мной дело не станет. Я доберусь до тебя и вырву твой поганый язык, причем постараюсь сделать это побольнее!»

— Нам надо расстаться, Рита. Постарайся понять: они искалечили мою жизнь. Они не дали мне обнять отца и испросить у него прощение. Я должен отомстить. Им не избежать моей мести. Завтра я уеду. Я знаю, где раздобыть деньги на поездку и осуществление моих планов. Прошу тебя лишь об одном: позволь мне взять пять тысяч боливаров из наших сбережений на первое время.

Наступило долгое молчание. Перед моим мысленным взором проносились картины мести, которые я тысячу раз рисовал в своем воображении.

Что мне нужно для осуществления плана? Меньше двухсот тысяч боливаров. Раньше я слишком завышал свои потребности. Шестидесяти тысяч долларов мне хватит за глаза и за уши. Есть два места, которые я не тронул из чувства уважения к этой стране. Первое — это Кальяо с его грудой золота, которое сто-

рожат бывшие каторжники. Второе в самом центре Каракаса — инкассатор одного очень крупного предприятия. Он перевозит деньги один, без всякой охраны, и дело можно легко обтяпать. Вход в здание и коридор на четвертом этаже очень удобны. И то и другое место плохо освещено. Управляюсь один и без оружия. С собой прихватываю только хлороформ. Но дело может и сорваться: когда скапливаются большие суммы, их несут три человека. Значит, полной уверенности нет. Конечно, в Калье проще. Там можно взять ровно столько, сколько нужно: тридцать кило золота, не больше, и закопать в землю. В случае шума можно переждать у Марии, притворившись больным. Правда, неизвестно, как потом будут развиваться события. Само же дело проще пареной репы: лягу спать с Марией и, только она заснет, дам ей хлороформ, чтобы не проснулась, когда буду уходить. Тихо выскользну из дома, обстрипаю свое дело и снова к ней под бочок, так чтобы никто не заметил. Подойти к складу просто: разденусь догола, вымажусь черной краской, да еще ночка темная.

Валить надо будет через Британскую Гвиану. Объявлюсь в Джорджтауне только с небольшой частью золота, перелитого в слитки. На паяльной лампе это сделать пара пустяков. Найду оптовика и сбегу ему все. Со скупщиком договоримся вот как: режем купюры пополам, половину суммы он хранит у себя и отдает мне тогда, когда я доставлю товар на английский берег реки Карони, где я его припрячу. Таким образом, полное доверие друг к другу обеспечено.

Несколько лет тому назад я втихаря смотался из Джорджтауна, поэтому вполне могу снова всплыть там на поверхность. Вернусь тайно, а если кто-нибудь поинтересуется, тогда скажу, что все это время пропадал в буше и собирал балату или искал золото, потому меня так долго и не видели.

Я знаю, что Малыш Жюло еще в Джорджтауне. Он надежный товарищ и не откажется меня приютить. Опасно встретиться с Индарой или ее сестрой. Поэтому выходить буду только по ночам, а лучше совсем не выходить. Проворачивать дела надо через Жюло. Думаю, что и Большой Андре тоже там и у него найдется канадский паспорт. Сменить фотокарточку, подправить штамп — чего проще? Если паспорта нет, можно купить у любого, кого прижала нужда, или у матроса в клубе моряков.

Через банк переведу деньги в Буэнос-Айрес. Часть возьму с собой. Полечу в Тринидад на самолете через Рио-де-Жанейро. В Рио поменяю паспорт и поеду в Аргентину.

А в Аргентине проблем не будет. Там у меня полно друзей из бывших эков. Можно легко связаться с бывшими нацистами и сделать себе документы. У них этой бумаги полные чемоданы. Из Буэнос-Айреса отправлюсь в Португалию с четырьмя паспортами и удостоверениями личности в кармане, выправленными, чтобы не запутаться, на одно имя, но с указанием разных национальностей. Из Лисабона на машине двину в Испанию и доберусь до Барселоны. Опять-таки на машине въеду во Францию с парагвайским паспортом. По-испански я говорю уже довольно прилично, так что любопытный французский жандарм примет меня за латиноамериканца.

К этому времени я переведу половину денег в банк «Лионский кредит». Другая половина будет лежать в резерве в Буэнос-Айресе.

Все, с кем придется сталкиваться в Джорджтауне, Бразилии и Аргентине, все без исключения должны думать, что я отправляюсь в Италию, где меня ждет жена и где мы собираемся открыть торговлю на морском курорте.

В Париже я остановлюсь в отеле «Георг V». Никаких ночных выходов. Обедаю в отеле, затем в десять заказываю себе чай в номер. И так целую неделю. Надо выдержать марку серьезного человека, ведущего размеренную жизнь строго по часам. В гостинице это сразу бросается в глаза.

Отпущу усы — это обязательно. Стрижка — ежик, под офицера. Никаких лишних разговоров, только самое необходимое. Обхожусь несколькими французскими словами, но произношу их на испанский манер. Попрошу администратора, чтобы каждый день в моей ячейке оставляли испанские газеты.

Тысячу раз я задавался вопросом, с кого начать. Надо сделать так, чтобы между тремя последовательными ударами и Папийоном не прослеживалось никакой связи.

Первыми в списке стоят фараоны. Я им доставлю на набережную Орфевр, 36, чемодан, набитый взрывчаткой. Если все сделать как следует, то не возникнет ни малейшей причины заподозрить меня. Сначала я съезжу на место действия, точно рас-

считаю время, необходимое для того, чтобы подняться по лестнице, пройти в зал совещаний и успеть выбраться на улицу. Никого не буду просить помочь управиться с запалом и детонатором: у меня достаточный опыт, работа во франко-венесуэльском гараже даром не прошла.

Подкачу в фургончике с надписью «Фирма такая-то, канцелярские принадлежности». Сам буду в форме служащего названной компании, с чемоданчиком на плече, — все должно пройти как по маслу. Только сначала при выяснении обстановки на месте мне надо будет установить по табличке на дверях кабинета имя бригадного комиссара или вывести фамилию какой-нибудь важной персоны на этаже. Постовым у входа я могу сказать, что иду к ним, или покажу накладную, вроде как не могу вспомнить имя получателя. А потом начнется фейерверк. Надо быть чертовски невезучим человеком, чтобы этот удар, похожий на вылазку анархистов, связали с именем Папийона.

Таким образом, Прадель ничего не заподозрит. Для встречи с ним надо подготовить чемодан, часовой механизм, взрывчатку и картечь. Сниму виллу по парагвайскому паспорту, если не удастся достать французские документы. Но боюсь, что завести новые связи в преступном мире опасно. Так что лучше всего обойтись паспортом.

Виллу сниму в предместье Парижа, на берегу Сены. Надо, чтобы к ней был доступ и по шоссе, и по воде. Куплю маленькую легкую быстроходную лодку с кабиной; необходимо, чтобы для нее был причал как у виллы, так и на берегах Сены в центре Парижа. Потребуется также небольшой автомобиль с мощным двигателем. Только полностью устроившись на месте, я приступлю к выяснению, где Прадель живет, где работает, где проводит выходные, ездит ли на метро, автобусе, такси или на собственном автомобиле. И после этого я приму все необходимые меры, чтобы захватить его и посадить под замок на вилле.

Очень важно установить время и места, где он бывает один. Как только Прадель попадет на виллу, начну его поджаривать. Этот прокурор на суде присяжных в тысяча девятьсот тридцать первом году своим видом стервятника запугал адвокатов. Он словно говорил мне тогда: «Если ты думаешь, что сможешь выпутаться, молодой петушок, то глубоко заблуждаешься. Я исполь-

зую все зацепки, всю ту грязь, которую насобирано следствие, и вымажу тебя так, чтобы у присяжных не оставалось другого желания, кроме как поскорее оградить от тебя общество». Это он направил всю силу своего ума и всю свою образованность, чтобы нарисовать портрет подлого и неисправимого негодяя двадцати четырех лет. Что же оставалось делать тем ублюдкам, присяжным-недоумкам, вонючим головкам сыра, как не заслать меня на вечную каторгу? Я буду пытать его целую неделю, никак не меньше, прежде чем он сдохнет. И то еще дешево отделается!

И третий мой должник — лжесвидетель Гольдштейн. Я возьму его последним, ибо он для меня самый опасный. Полицейские ведь не все безмозглые скоты. Как только я убью Полена, они возьмут его досье и легко установят, какую роль он играл в моем судебном процессе. А поскольку полиции доподлинно известно, что я в бегах, нетрудно будет догадаться, что Папийон порхает по Парижу, кружится где-то рядом. С этого момента все для меня станет исключительно опасным: отель, улицы, вокзалы, порты, аэропорты. Тогда придется быстро сматываться и замечать следы.

Выследить Полена будет нетрудно — он частенько ошивается в магазине меховых изделий своего отца. Убить его найдется много способов, но, каким бы из них я его ни прикончил, я хочу, чтобы он меня узнал перед тем, как сдохнуть. Если удастся, я задушу его своими руками. Как давно я мечтал об этом! Буду душить медленно, приговаривая: «Покойники иногда встают из могил. Не ожидал? Не думал не гадал, что я наложу на тебя вот эти вот руки? Тебе еще повезло: умрешь через несколько минут, а вот меня ты загнал в пожизненный гноильник до самой смерти».

Не знаю, удастся ли мне выбраться из Франции. Мертвый Гольдштейн представляет для меня реальную опасность. Почти уверен, что меня вычислят. Но мне ровным счетом на все наплевать. Даже ценой собственной шкуры я должен заставить оплатить счет за смерть отца. За свою голгофу я бы им простил. Но за смерть отца никогда не прощу. Отца, которому я не мог даже сообщить, что жив и выбрался из сточной канавы! Он, поди, и умер-то от стыда, прячась от своих старых друзей. Теперь он

спит в могиле и не знает, кем стал его сын. Нет, нет и нет! Я не смогу их простить и никогда не прощу!

Тягостное молчание явно затянулось, и пока я прокручивал в голове подробности своих действий, прикидывая, как сделать так, чтобы ничего не сорвалось, Рита сидела неподвижно у моих ног, положив голову мне на колени. Ни слова, ни звука из ее уст. Она как будто затаила дыхание.

— Рита, дорогая, я завтра уезжаю.

— Ты никуда не поедешь!

Она поднялась и положила руки мне на плечи. Посмотрела мне прямо в лицо и продолжила:

— Ты не должен уезжать. Ты не можешь уехать. В моей жизни тоже грядут перемены. Я воспользовалась поездкой, чтобы подготовить приезд своей дочери. Она прибывает через несколько дней. Ты хорошо знаешь, почему она оказалась не со мной. Сначала надо было приготовить место, где ее можно было бы принять. А теперь у нее будет не только мать, но и отец. Им станешь ты. И ты хочешь убежать от ответственности? Хочешь испортить все то, что мы создавали вместе с любовью и доверием друг к другу? Ты полагаешь, что убить тех, кто виновен в твоих страданиях и, возможно, в смерти твоего отца, это единственное, что надо делать? И ничего другого? Это единственное решение, на котором ты настаиваешь?

Наши судьбы связаны навеки, Анри. Ради меня, ради взрослой дочери, которая едет к тебе и полюбит тебя. Я в этом уверена. Я не прошу тебя простить, но прошу оставить помыслы о мести. Раз и навсегда. Ты, собственно, уже так и решил. Но вот смерть отца — и ты снова готов броситься в сточную канаву. Послушай меня хорошенько: если бы твой отец, сельский учитель, добрый и справедливый, всю свою жизнь учивший детей быть порядочными, трудолюбивыми, милосердными, законопослушными, мог заговорить сейчас, ты думаешь он принял бы и одобрил твои мысли о мести? Нет. Он бы тебе сказал, что ни фараоны, ни лжесвидетель, ни прокурор, ни те, кого ты называешь ублюдками или вонючими головками сыра, ни надзиратели не стоят того, чтобы из-за них приносить в жертву любящую и любимую жену, мою дочь, которая, надеюсь, обретет отца, твой семейный очаг и твою честную жизнь.

Еще скажу, какой бы мне хотелось видеть твою месть: я хочу, чтобы наша семья стала для всех символом счастья, чтобы с твоим умом и моей помощью мы добились хорошего положения в обществе, но только честным путем; чтобы люди этой страны говорили о тебе в один голос: «Этот француз — человек честный, прямой и справедливый, и его слово — золото». Вот какой должна быть твоя месть. Самая красивая месть — доказать всем, что они страшно ошибались на твой счет, что страдания не испортили тебя — ты вышел из них человеком, достойным называться честным, вопреки неисчислимым ужасам средневековой исправительной системы и бесхребетности людей. Это единственная месть, которая стоит моей любви и веры в тебя.

Рита победила. Мы проговорили с ней всю ночь напролет, и я узнал, что такое испить чашу до дна. Мне не терпелось выведать у нее все подробности поездки. Она лежала на широком диване, удрученная неудачным исходом своего долгого путешествия и утомленная борьбой со мной. А я все спрашивал и спрашивал без остановки, сидя на краешке дивана и склонившись над ней, и по крупице вытягивал из нее все, что ей хотелось бы скрыть от меня.

С самого начала, как только она выехала из Маракайбо и направилась в порт Каракаса, ее не покидало смутное предчувствие, что поездка должна провалиться: казалось, все работало против нее, мешая ей отправиться во Францию. При посадке на борт «Колумбии» она вдруг обнаружила, что в документах не хватает одной необходимой визы. Гонка против часовой стрелки назад в Каракас по узкой и опасной дороге, которую я хорошо знал. Документы в сумке — и снова в порт. Сердце рвалось на части от страха, что она не успеет и судно уйдет. В пути разыгралась страшная гроза, дорогу размыло, и на некоторых участках появились грязевые оползни. Ехать дальше было очень опасно. Шофер запаниковал и, потеряв голову, помчался обратно, оставив Риту на обочине под проливным дождем, в грязи. Она прошла три километра, и — о чудо! — подвернулось такси, возвращавшееся в Каракас. Шофер испугался оползней, развернулся и поехал обратно в порт. А из порта доносились протяжные гудки кораблей, и ей все казалось, что отчаливает «Колумбия».

Когда она наконец добралась до своей каюты, рыдая от счастья, на корабле что-то случилось, и отплытие задержали на несколько часов. Все это произвело на нее тягостное впечатление, словно роковое предзнаменование.

Затем море, Гавр, Париж, Марсель, без остановок. В Марселе ее приняла подруга и представила одному муниципальному советнику. Тот немедленно написал теплое рекомендательное письмо своему другу Анри Шампелью, проживающему в Ардеше, в местечке Вальс-ле-Бен.

Затем снова в путь — сначала на поезде, затем на автобусе. И только очутившись в доме удивительно доброй четы Шампель, она смогла наконец перевести дух и организовать поиски.

Анри Шампель отвез ее в Обена́, в Ардеше, где жил наш семейный нотариус мэтр Тестю. Ох уж этот Тестю! Бессердечный обыватель. Он заявил ей прямо с порога, в лоб, что мой отец умер. Потом, ни с кем не советуясь, по собственной инициативе запретил Рите обращаться к сестре моего отца и ее мужу — моим тете и дяде Дюмарше, учительской паре на пенсии, проживающей в Обена.

Уже гораздо позже они примут нас с распростертыми объятиями, негодуя и возмущаясь, что они не смогли тогда принять Риту и восстановить связь со мной, и все из-за этого злосчастного Тестю. То же самое произошло и с моими сестрами — Тестю отказался дать Рите их адрес. И все же ей удалось растопить каменное сердце Тестю, и он назвал место, где похоронен мой отец, — Сен-Пере.

Поехали в Сен-Пере. Анри Шампель и Рита нашли могилу и узнали еще кое-что: отец двадцать лет жил вдовцом, но потом женился на учительнице-пенсионерке. Я в это время был еще на каторге. Они ее разыскали. В нашей семье новую жену отца называли тетюшка Жю.

Замечательная женщина, по словам Риты. У нее хватило благородства души и такта сохранить в новой семье нетронутой память о моей матери. Рита видела на стенах в столовой большие фотографии матери и отца. Моей матери — моего кумира. Рита смогла потрогать, трепетно прикоснуться рукой к мебели, принадлежавшей маме. Тетюшка Жю, которая так неожиданно

вошла в мою жизнь, но которую я как будто уже знал, сделала все, чтобы Рита смогла ощутить ту атмосферу, которую они с отцом старались поддерживать в доме: память о матери и постоянное присутствие пропавшего мальчика, который для моего отца так и остался Рири.

Шестнадцатое ноября был день моего рождения. И каждый раз шестнадцатого ноября отец плакал. Каждое Рождество за столом стоял свободный стул. Когда наведывались жандармы и сообщали им, что сын снова сбежал, они их обнимали и целовали за такую радостную весть. И хотя тетушка Жю не знала меня, в душе всегда принимала за родного сына; она плакала вместе с отцом от радости, услышав счастливые новости. Ведь для них с этой вестью снова появлялась какая-то надежда.

У тетушки Жю Рита нашла сердечный прием. Одна беда: Жю не дала ей адреса моих двух сестер. Почему? Да, почему тетушка Жю, жена моего отца, не захотела давать эти адреса? Я принялся лихорадочно размышлять. Наверное, она не была уверена, как там примут новость о моем «воскрешении». Должны быть серьезные причины, чтобы не сказать Рите: «Бегите скорее туда-то и туда-то, они страшно обрадуются, когда узнают, что их брат жив, хорошо устроился и что они имеют счастье познакомиться с его женой!» Тетушка Жю, видимо, знала, что ни мои сестры Ивонна и Элен, ни мои зятя не будут рады принять невестку, жену брата и беглого каторжника, приговоренного к пожизненному заключению. Конечно, ей не захотелось наживать себе неприятности, нарушая их покой.

И действительно, сестры замужем, имеют детей, а дети, поди, даже не знают о моем существовании. Тетушка Жю про себя, наверное, сказала: тут надо быть осторожной. В итоге я так ничего и не узнал, но пришел к выводу, что на протяжении всех тринадцати лет на каторге я жил с ними и мыслями о них, а они в эти годы делали все, чтобы меня забыть или навсегда вычеркнуть из жизни. В результате жена возвратилась только с горстью земли с могилы да с фотографией той же могилы, в которой за четыре месяца до ее приезда навеки почил отец.

И все же я снова увидел глазами Риты (Шампель водил ее повсюду) любимый мостик моего детства Юсель. Она подробно рассказала мне о большом здании школы, в котором над клас-

сами располагалась наша квартира. Я снова увидел перед нашим садом памятник погибшим на войне. И сам сад, где цвела пышная мимоза, распространяя вокруг дивный запах свежести, и мемориал, и здание школы.

— Ничего или почти ничего не изменилось из того, о чем ты столько раз рассказывал мне, рисуя картину своего детства. Так что для себя я не сделала никакого открытия, а скорее встретилась с тем, что уже было мне знакомо, — сказала тогда Рита.

Часто вечерами я снова просил Риту рассказать мне о той или иной минуте ее путешествия. Жизнь в гостинице потекла по-старому. Но где-то глубоко внутри произошло нечто необъяснимое. Я воспринял эту смерть не как взрослый сорокалетний человек, не видевший отца двадцать лет, а как десятилетний ребенок, который постоянно живет с отцом, не слушается его, пропускает уроки в школе и вот однажды возвращается домой и вдруг узнает, что отец умер.

Приехала дочь Риты Клотильда. Ей исполнилось пятнадцать, но она была настолько хрупка, тонка и мала ростом, что ей никак нельзя было дать больше двенадцати. Длинные густые черные волосы кудряшками ниспадали на плечики. Черные глазки искрились умом и любопытством. Личико скорее не девушки, а ребенка, продолжающего играть в классики или в куклы. Между нами сразу же установилось полное доверие. Чувствовалось, что она понимает, что человек, который живет с ее матерью, станет ей лучшим другом, будет любить ее и всегда защитит.

С приездом Клотильды во мне произошла перемена: у меня появился инстинкт оберегать, появилось желание сделать ее счастливой, захотелось, чтобы она видела во мне если не отца, то надежную опору.

Рита снова была со мной, и теперь я отправлялся за продуктами позже, в семь утра. Меня сопровождала Клотильда с Мину на поводке. Карлитос шел сзади и нес корзины. Для девочки все было ново, она хотела увидеть все разом. Если на пути встречалось нечто неожиданное, она вскрикивала и просила объяснить, что это такое. Самое большое впечатление на нее произвели индианки в своих длинных, переливающихся разными цветами платьях. Щеки у них были нарумянены, а на ногах красовались

старые туфли с огромными разноцветными шерстяными помпонами.

То, что рядом со мной шел ребенок и доверчиво сжимал мою ладонь в минуту воображаемой опасности, то, что эта малышка тесно прижималась к моему плечу, давая понять, что чувствует себя вполне защищенной среди шумной и суетливой толпы, все это глубоко волновало меня и наполняло новым чувством — отцовской любовью. «Да, маленькая Клотильда, шагай себе спокойно и уверенно по жизни, знай, что до конца своих дней я буду делать все, чтобы ее тернии не мешали тебе следовать своей дорогой».

Довольные, мы возвращались в гостиницу и всегда рассказывали Рите какую-нибудь смешную историю о том, что с нами произошло или что мы видели.

Глава двенадцатая

ВОЗОБНОВЛЕННЫЕ СВЯЗИ. ГРАЖДАНИН ВЕНЕСУЭЛЫ

Я хорошо понимаю, что читатель ждет от меня описания приключений, которые произошли лично со мной, а не пересказа истории Венесуэлы. Да простится мне, если я все-таки упомяну о некоторых важных политических событиях, имевших место как раз в тот отрезок времени, к которому относится мое повествование. На это есть две причины. Во-первых, эти события напрямую повлияли на мою жизнь и на принятие соответствующих решений, а во-вторых, в других странах очень мало знают о Венесуэле, в чем я лично убедился во время своих поездок по случаю публикации книги «Мотылек».

Для очень многих людей Венесуэла просто страна в Южной Америке (ну, где-то там), в которой добывают нефть. В ней хозяйничают американцы, а сама она ничего собой не представляет. В общем, что-то вроде американской колонии. Но это далеко не так.

Действительно, власть нефтяных компаний была весьма ощутима, но постепенно передовые граждане Венесуэлы почти полностью освободили нацию от политического влияния США.

В настоящее время Венесуэла обрела полную политическую независимость, о чем свидетельствует ее положение в Организации Объединенных Наций и других. Все политические партии в стране объединяет общая черта — они ревниво оберегают свободу действий Венесуэлы в делах с иностранными государствами. С приходом к власти Кальдеры мы установили дипломатические отношения со всеми странами мира независимо от их социально-политического устройства.

В экономическом плане Венесуэла действительно зависит от добычи нефти, но она добилась своего права продавать ее по очень высокой цене и заставила нефтяные компании выплачивать ей восемьдесят пять процентов от прибыли.

Помимо нефти, Венесуэла богата и другими полезными ископаемыми, например железной рудой. Ко всему прочему народ этой страны готов целенаправленно бороться против любого экономического диктата, откуда бы он ни исходил. Этот народ уже доказал и еще докажет, что сможет сам наладить жизнь, добиться уважения, завоевать свободу и сохранить ее и эта свобода будет ничуть не хуже, чем в других демократических странах.

Университеты представляют собой настоящие центры политической мысли, направленной на социальную справедливость, радикальные преобразования в стране. Молодежь полна веры в успех без посягательства на основные принципы свободы; она искренне считает, что можно добиться благоденствия и счастья нации, не впадая в крайности диктатуры как правого, так и левого толка. Разумеется, тут не обходится без проявлений насилия, о которых пресса тут же трезвонит на весь мир, напрочь забыв изложить причины подобных эксцессов, связанные с жаждой социальной справедливости и свободы. Я верю в молодежь этой страны, она внесет свой достойный вклад в дело нации, призванной подать пример другим. Нельзя забывать, что в условиях подлинной демократии и свободной экономики эти огромные запасы природных богатств в самом недалеком будущем будут добываться и обрабатываться промышленным способом с применением высокоразвитых технологий. Настанет день, когда Венесуэла должна будет выиграть битву. И она ее выигрывает. В этом нет никаких сомнений.

К практически безграничным возможностям промышленного использования богатых сырьевых ресурсов следует добавить и то, что Венесуэла — идеальная страна для туризма, бурного развития которого надо ожидать в будущем. Все говорит в ее пользу: великолепные коралловые песчаные пляжи под сенью кокосовых пальм; ни одна страна не может сравниться с ней по количеству солнечных дней в году; рыбалка на любой вкус в вечно теплых водах; ее аэродромы, способные принимать большие

авиалайнеры; дешевейшие продукты; великое множество островов; приветливый и гостеприимный народ, который понятия не имеет о расовой сегрегации. Час перелета из Каракаса — и ты уже среди индейцев, в деревнях со свайными домами близ Маракайбо и Анд с вечными снегами на вершинах.

В недалеком будущем Венесуэла сможет принимать значительное число туристов, которые никогда не пожалеют, что посетили ее, так как эта страна способна предоставить своим гостям самые разнообразные возможности. Если венесуэльцы и политизируются в ответ на возникающие внутренние проблемы, то к своим гостям относятся ровно, не осуждая иностранцев за их взгляды, так как хорошо понимают, что они — носители тех идеологий, которые господствуют в их странах.

Меня всегда привлекала мысль о том, чтобы люди отдыхали семьями. Почему бы не претворить эту мысль в жизнь, используя мощные профсоюзы? И чтобы останавливались они не в огромных отелях, а в небольших, отдельно стоящих домиках, где могли бы жить, есть, спать, раздеваться, одеваться, когда им вздумается. Самолет — самый быстрый вид транспорта, а чартерные рейсы могли бы резко сократить дорожные расходы для отдыхающих. Тогда почему бы крупным профессиональным союзам мира не иметь собственные поселки, где члены профсоюзов могли бы отдыхать по ценам гораздо ниже рыночных на природе с благоприятным климатом?

Таким образом, можно сказать, что Венесуэла настолько богата ресурсами, что требуется только их промышленное освоение. Для этого во главе государства вовсе не нужен мудрый стратег: вполне достаточно бухгалтера с деловой командой, чтобы на дивиденды, полученные от продажи нефти, построить фабрики и заводы по переработке природных богатств и расширить рынок труда для всех, кто нуждается в работе и хочет трудиться.

Необходимо также, чтобы революция осуществлялась сверху вниз. Она будет гораздо эффективнее, чем та, что неизбежно возникнет в «низах», если молодежь, воспитанная на новых идеях, не осознает необходимость глубоких преобразований существующей системы. Лично я убежден, что Венесуэла выиграет

эту битву, а следовательно, эта нация, имеющая все, чтобы стать счастливой и процветающей, обеспечит своим скромным гражданам достойный уровень жизни и правовой защищенности.

Тысяча девятьсот пятьдесят первый год... Вспоминая этот период, у меня вновь возникает прежнее чувство, что мне больше не о чем будет рассказывать. Можно сколько угодно говорить о жизненных бурях, преодолении речных стремнин, вспученных половодьем, но когда вода спадает и река успокаивается, хочется просто закрыть глаза и отдохнуть в ее чистых и спокойных струях. Но вот снова пошли дожди; реки вспухают, тихие воды приходят в движение; вас снова подхватывает водоворот, и, как бы вам ни хотелось жить в покое, в стороне от всего, внешние события настолько сильны, что тут же ввергают вас в новый поток, и вы уже плывете по течению, стараясь только избежать подводных камней и пересечь быстрины в надежде достичь наконец тихой гавани.

После загадочного убийства Чальбо в конце тысяча девятьсот пятидесятого года, Перес Хименес взял власть в свои руки, прикрываясь карманным президентом ничтожной хунты — Фламеричем. Началась диктатура. Первый признак: запрещена свобода слова. Прессе и радио обрезали язык. Оппозиция ушла в подполье, и свирепая *Seguridad Nacional*¹ приступила к действиям. Развернулась охота на коммунистов и адекос (членов «Демократического действия» — партии Бетанкура).

Несколько раз нам приходилось их прятать в гостинице «Веракрус». Мы никогда не закрывали дверей перед кем бы то ни было, никогда не требовали предъявить документы. Я с радостью оплачивал свой долг перед людьми Бетанкура, чье правительство освободило меня и предоставило мне убежище. Поступая таким образом, мы рисковали потерять все, но Рита понимала, что мы не можем действовать иначе.

С другой стороны, гостиница стала своего рода прибежищем для французов, оказавшихся в трудном положении, которые приехали в Венесуэлу без средств и не знали, что делать и куда податься. У нас они могли есть и спать бесплатно, пока не подыщут

¹ Политическая полиция (*исп.*).

себе работу. Дошло до того, что меня в Маракайбо прозвали французским консулом. Был среди французов и некий Жорж Арно, который тоже ел, спал, одевался за наш счет, получил необходимые средства, чтобы перебраться в Колумбию. Позже он выпустил книгу «Плата за страх», напишав ее историями, которые я ему рассказал. В одной из своих последних книг он облил нас грязью, тоже бесплатно. Надо полагать, в знак благодарности.

В эти же годы в моей жизни произошло грандиозное событие, почти столь же важное для меня, как встреча с Ритой: я возобновил связи со своей семьей. После отъезда Риты из Франции тетушка Жю написала письмо моим сестрам. А затем сестры и тетушка Жю написали мне. Прошло двадцать лет, и пришел конец великому молчанию. Дрожащими руками я вскрыл первое письмо. Что в нем? Не осмеливаюсь читать сразу. Отказываются они от меня навсегда или...

Ура! Победа! Эти письма — крик радости, что я жив, что стал честным человеком, что женат на женщине, о которой, со слов тетушки Жю, можно сказать только хорошее. Я снова обрел своих сестер, а вместе с ними и их семьи, и они стали моей семьей.

У старшей сестры было четверо прекрасных детишек: три девочки и мальчик. Муж ее написал мне сам и заверил, что всегда меня уважал, что рад моему освобождению и тому, что у меня все идет хорошо. И фотокарточки, фотокарточки. И страницы за страницами. Воспоминания. Строки из жизни и войны, о том, как им досталось и как тяжело было поднимать детей. Я вчитывался в каждое слово, взвешивал его, изучал, чтобы лучше понять и насладиться его вкусом.

И словно из глубины времени, после черного провала в тюрьме и на каторге, передо мной возникла картина моего детства. «Мой дорогой Рири...» — пишет сестра. Рири... Слышу, как мама зовет меня к себе, вижу ее родную улыбку. Судя по фотокарточке, которую им послал, я — вылитый отец. Сестра уверена, что если я похож на него внешне, значит должен походить и внутренне. Они с мужем нисколько не боялись того, что я снова всплыл на поверхность. Жандармы, должно быть, пронюхали про приезд Риты в Ардеш и наведывались к ним, выпрашивая

про меня. И мой зять им ответил: «Действительно, у нас от него есть известия. Живет хорошо и счастлив. Спасибо».

Другая сестра жила в Париже, замужем за адвокатом-корсиканцем. У них было двое сыновей и дочь. Жили хорошо. В письмах тот же крик души: «Ты свободен, тебя любят, у тебя свой дом, живешь как все люди. Bravo, братишка! Мы с мужем и детьми благодарим Господа за то, что он помог тебе вернуться с этой ужасной каторги, куда тебя засадили».

Старшая сестра предложила взять к себе нашу дочь, чтобы она могла продолжить учебу во Франции. Разумеется, Клотильда поедет.

Но больше всего мое сердце согревало то, что никому из них не было стыдно за то, что их брат — бывший заключенный.

Еще одной невероятной новостью в те годы стало то, что благодаря французскому врачу Ройзбергу, обосновавшемуся в Маракайбо, мне удалось заполучить адрес моего друга, доктора Жермена Гибера, бывшего тюремного врача, который относился ко мне на Руаяле как к члену семьи, принимал меня в своем доме, защищал от багров и не прекращал вместе с женой поддерживать во мне чувство человеческого достоинства. Благодаря ему тюрьма-одиночка на острове Сен-Жозеф перестала быть таковой, благодаря ему меня перевели на остров Дьявола, откуда я благополучно бежал. Я написал ему и был бесконечно счастлив получить от него однажды это письмо:

Лион, 21 февраля 1952 года

Мой дорогой Папийон!

Мы очень счастливы, что наконец-то получили от тебя весточку. Я давно чувствовал, что ты пытаешься связаться со мной. Я находился в Джибути, когда мать сообщила мне, что она получила письмо из Венесуэлы, но не могла сказать от кого. И вот буквально на днях до меня наконец дошло твое письмо, пересланное ею, которое ты передал с мадам Ройзберг. Итак, после стольких тревожений мы смогли найти тебя. С сентября тысяча девятьсот сорок пятого года, когда я покинул Руаяль, много воды утекло... Наконец в октябре тысяча девятьсот пятьдесят первого я получил назначение в Индокитай на два года, куда должен отправиться немедленно, а именно шестого марта.

Пока еду один. На месте будет видно, может, удастся вызвать жену.

Вот видишь, сколько мне пришлось отмахать километров со дня нашей последней встречи! О прошлом у меня сохранились кое-какие добрые воспоминания, но, увы, не мог отыскать никого из тех, кого принимал когда-то в своем доме. Правда, были новости, но уже давно, от моего повара (Рюша). Он обосновался в Сен-Лоран, но с тех пор, как я оказался в Джибути, о нем больше ни слуху ни духу. Так или иначе, мы очень рады узнать, что ты счастлив, в добром здравии и наконец хорошо устроился. Жизнь — странная штука, но я помню, что ты никогда не отчаивался — и правильно делал.

Твоя фотография, где ты снят с женой, доставила нам большое удовольствие. Видно, что ты преуспеваешь. Может быть, придет день и мы нагрянем к тебе в гости, кто знает! События часто опережают нас. Судя по фотографии, у тебя неплохой вкус. Мадам очаровательна, да и гостиница очень мила. Мой дорогой Папийон, извини, что я по-прежнему тебя так называю, но для нас это связано со столькими воспоминаниями!

Вот и все, старина, что я мог коротко написать о себе... Поверь, мы частенько вспоминаем тебя, особенно тот случай, когда Мандолини¹ сунул свой нос туда, куда не следовало бы совать.

Мой дорогой Папийон, посылаю тебе нашу фотографию. Мы снялись вдвоем в Марселе два месяца тому назад.

Остаюсь с добрыми пожеланиями. Надеюсь время от времени получать от тебя весточки.

Моя жена присоединяется ко мне и шлет наилучшие пожелания и свои заверения в дружбе твоей жене и тебе.

А. Жермен Гибер

И далее две строки от мадам:

Очень рада, что вы добились успеха, поздравляю. Мои наилучшие пожелания обоим в Новом году. Самый горячий привет моему «протеже».

М. Жермен Гибер

¹ В книге «Мотылек» — надзиратель Брюз, обнаруживший плот в могиле. — *Примеч. автора.*

Мадам Жермен Гибер не суждено было присоединиться к мужу в Индокитае. Он был убит. Мы так и не свиделись. Скромный врач, один из редких людей, кто, как и майор Пеан из Армии спасения, имел мужество отстаивать там, на каторге, право заключенных на гуманное обращение и сумел добиться определенных результатов на своем посту. Нет слов, чтобы выразить мое глубочайшее уважение к таким людям, как он и его жена. Вопреки всему и с риском для собственной карьеры он не устал повторять, что человек остается человеком и его нельзя считать безвозвратно потерянным, даже если он совершил тяжкое преступление.

Приходили письма и от тетушки Жю. Но это письма не мачехи, не желающей тебя знать, а материнские письма с теплым словом, какое может найти только сердце матери. Она рассказывала о жизни отца до самой кончины, жизни сельского учителя, законопослушного и уважающего местные власти. И тем не менее он всегда повторял: «Мой сын невиновен, я чувствую, а эти подлецы его засадили! Где он может быть сейчас, после побега? Жив ли, нет ли?» Каждый раз, когда бойцы Сопротивления наносили удар по оккупантам, он говорил: «Если бы Анри был здесь, он был бы с ними». А потом наступало время, когда отец целыми месяцами не произносил имени сына. Всю свою нежность, предназначенную мне, он перенес на внуков. Он так их баловал, как, пожалуй, ни один дед этого не делал, и его терпение было неистошимым.

Мы с Ритой читали эти письма взахлеб. Бесценные весточки, возвращавшие нас к утраченной когда-то семье. Мы их читали, перечитывали и хранили как настоящую реликвию. Господь и вправду оказался милостив, ибо все мои близкие, без исключения, сохранили любовь ко мне и, несмотря на свое положение в обществе, имели мужество плевать на всех, кто плохо ко мне относился. Они радовались, что я жив, свободен и счастлив. Что уж греха таить, надо иметь смелость жить в жестоком мире, который не так-то легко прощает тем семьям, где вырос преступник. Находятся еще такие гнусные люди, которым ничего не стоит сказать: «Да, знаем мы эту семейку: по ним всем тюрьма плачет».

В тысяча девятьсот пятьдесят третьем году мы продали гостиницу. К этому времени изнуряющая жара нас достала, мы от нее страшно устали. К тому же мы с Ритой склонны к приключениям. В конце концов, у нас не было намерения торчать в Маракайбо до конца своих дней. А еще разнесся слух, что в Венесуэльской Гвиане обнаружили залежи железной руды. Совсем на другом конце страны. Поэтому мы собрались и решили поехать через Каракас, где можно будет осмотреться и оценить обстановку.

Мы выехали рано утром в большой зеленой машине с открытым кузовом, доверху заполненным багажом, оставив позади пять лет спокойного счастья и многочисленных местных и иностранных друзей.

И вот я снова оказался в Каракасе и не узнал город. Полно, не ошиблись ли мы?

Невероятный Перес Хименес к концу правления карманного Фламерича провозгласил себя президентом республики, но еще до того принялся переделывать Каракас, предпринимая все, чтобы превратить колониальный город в типичную ультрасовременную столицу. И все это параллельно с насилием и неслыханной жестокостью как со стороны правительства, так и со стороны оппозиции, действовавшей в подполье. Тогда чуть было не погиб и президент Кальдера (он вступил на пост в тысяча девятьсот семидесятом году), на него было совершено ужасное покушение: в спальню, где он находился с женой и маленьким ребенком, была брошена мощная бомба. Поистине чудом никто из них не пострадал. С необычайной выдержкой и хладнокровием, без крика и паники Кальдера с женой опустились на колени и вознесли молитву Господу за спасение жизни. Это произошло в тысяча девятьсот пятьдесят первом году. Отмечу, что на тот момент Кальдера уже являлся христианским демократом. Он стал им вовсе не вследствие свершившегося чуда, как принято считать.

Но, несмотря на все трудности, которые Пересу Хименесу пришлось преодолеть за время своей диктатуры, он полностью преобразил Каракас и многое другое.

Старая дорога, соединяющая Каракас с аэропортом Майкетия и портом Ла-Гуайра, по-прежнему сохранилась. Но Перес

Хименес построил чудесную автостраду, замечательное сооружение с технической точки зрения. Теперь от города до моря можно было промчаться менее чем за четверть часа, а раньше поездка занимала целых два. В квартале Силенсио под руководством архитектора Медины взметнулся в небо комплекс высоченных зданий не хуже небоскребов Нью-Йорка. Через центр города, от одного конца до другого, проложили сногшибательный проспект в шесть полос, не говоря уже о том, что вся сеть шоссежных дорог была полностью реконструирована и модернизирована. Возведены жилые кварталы для рабочих и среднего класса, что по сути, явилось образцом градостроительства, и многое-многое другое. Миллионы долларов закружились в шумном вальсе, пробудив страну от многовековой спячки и наполнив ее мощной живой энергией. На Венесуэлу стали смотреть другими глазами, в страну хлынул иностранный капитал и поток специалистов всех профессий. Жизнь совершенно преобразилась, широко распахнулись ворота для иммиграции, приток новой крови задал положительный импульс в развитии страны. На мой взгляд, была допущена лишь одна серьезная ошибка: власти практически не воспользовались наплывом высококлассных иностранных специалистов, чтобы воспитать из молодежи своих инженеров, техников и квалифицированных рабочих.

Остановка в Каракасе позволила мне восстановить связи с друзьями и попытаться выяснить, что стало с Пиколино. Все последние годы я регулярно передавал ему кое-какие деньги через знакомых. Я встретился с одним приятелем, который в тысяча девятьсот пятьдесят втором году вручил от меня Пиколино небольшую сумму. Тогда Пиколино сам попросил у меня денег: он хотел перебраться в Ла-Гуайру, поближе к морю. Я не раз предлагал ему переехать ко мне в Маракайбо, и каждый раз он отвечал, что только в Каракасе есть врачи, которые могут ему помочь. Кажется, у него частично восстановилась речь и заработала правая рука. Но сейчас никто не знал, что с ним стало. Как-то раз его видели в Ла-Гуайре, но потом он словно растворился. Вполне возможно, что Пиколино сел на корабль и уехал во Францию. Как знать! Я все время ругал себя, что не съездил в Каракас и не уговорил его переехать в Маракайбо.

Решено: если мы не найдем в Венесуэльской Гвиане то, что нам надо, то вернемся в Каракас и будем жить в столице. А пока там был знаменитый бум, связанный с разработкой богатейших залежей руды, и генерал Равард, главный архитектор этого бума, вел наступление на девственный лес и бурные полноводные реки, чтобы доказать, что их безграничную мощь можно приручить и усмирить.

И вот мы с Ритой снова сидели в нашей зеленой машине, набитой чемоданами, и катили в столицу штата Боливар — Сюдад-Боливар, которая стоит на реке Ориноко. Восемь с лишним лет пролетело с тех пор, как я впервые посетил этот очаровательный провинциальный городок с его добрыми и приветливыми жителями.

Ночь провели в гостинице. На следующий день мы едва успели расположиться на террасе за утренним кофе, как перед нами возник какой-то человек. На вид лет пятидесяти, высокий, худощавый и загорелый, на голове маленькая соломенная шляпа. Он смотрел на нас и шурился так, что глаз почти не было видно.

— Либо я рехнулся, либо ты француз и тебя зовут Папийон.

— Ты несдержан на язык, приятель. А что, если моя дама впервые слышит это прозвище?

— Извини, но я был настолько удивлен, что не заметил, как наговорил глупостей.

— Да ладно, чего уж там. Садись с нами.

Это был мой старый приятель Марсель Б. Разговорились. Он страшно удивился, увидев меня в такой отличной форме и чувствуя, что я твердо стою на ногах. Я не стал отрицать, что мне чертовски повезло. Его же вид говорил об обратном: плохонькая одежонка была красноречивее всяких слов. Я пригласил его позавтракать с нами. Пропустили по несколько стаканчиков чилийского вина.

— Ох, мадам, разве я всегда был таким, каким вы видите меня сейчас? Я был молод, силен и ничего не боялся. Представьте себе, в свой первый побег я добрался до Канады. И там поступил на службу в конную полицию! Да-да, не больше и не меньше. Надо вам сказать, что я старый кавалерист. Так бы и провел там всю жизнь, если бы однажды не ввязался в драку, в которой один парень напоролся на мой нож. Поверьте, так оно и было, мадам

Папийон! Канадец сам наткнулся! Вы мне не верите? Я тогда сразу сообразил, что канадская полиция мне тоже не поверит, и рванул через Соединенные Штаты прямо в Париж. Но там меня выдал какой-то ублюдок. Снова арест и снова каторга, где я и познакомился с вашим мужем. Мы были добрыми друзьями.

— Чем теперь занимаешься, Марсель?

— У меня плантация в Моричале. Выращиваю помидоры.

— Хорошо идут?

— Не очень. Иной раз так затянет все небо облаками, что солнцу даже не пробиться. Знаешь, что оно там, а его не видно. Проникают только какие-то невидимые лучи, которые за несколько часов и губят мои томаты.

— Ничего себе! А почему?

— Загадка природы, приятель. Причины мне неизвестны, но результаты знаю хорошо.

— Много здесь наших?

— Десятка два.

— Довольны жизнью?

— Более или менее.

— Ты в чем-нибудь нуждаешься?

— Папи, честное слово, если бы ты сам не спросил, я бы ни за что к тебе не обратился. Но чувствую, что ты на коне, и, да простит меня мадам, хочу попросить тебя о важном одолжении.

У меня тут же мелькнула мысль: «Только бы не загнул сверх меры!»

— Что тебе надо? Говори, Марсель.

— Штаны, пару ботинок да рубашку с галстуком.

— Пойдем. Залезай в машину.

— Твоя? Ну ты даешь, везет тебе, старина.

— Есть немного.

— Когда уезжаешь?

— Сегодня вечером.

— Жаль, а то мог бы подвезти пару новобранцев на своей тачке.

— Какую пару?

— Да, я же не рассказал тебе самого главного! Костюм мне нужен, чтобы пойти на свадьбу к бывшему каторжнику.

— Я с ним знаком?

- Не знаю. Его зовут Матюрет.
- Что?! Что ты сказал? Матюрет?
- Ну да. А что тут особенного? Он что, твой враг?
- Как раз наоборот — друг, да еще какой!

Я просто не мог опомниться! Матюрет! Юный гомик, когда-то он не только помог нам бежать из больницы в Сен-Лоран-дю-Марони, но и прошел с нами на лодке две тысячи километров в открытом океане.

Вопрос с отъездом отпал сам собой. На следующий день мы гуляли на свадьбе Матюрета. Он женился на миловидной мулатке. Ростом она хоть и не вышла, но оказалась очень славной. Мы взяли на себя расходы по устройству церемонии да одели троих детишек, которых молодые уже успели надеть до венца. Это был один из тех редких моментов моей жизни, когда я пожалел о том, что не крещен, а потому не могу быть свидетелем на свадьбе.

Матюрет жил в бедном квартале, и мой автомобиль произвел там настоящий фурор. Правда, у него был свой кирпичный домик, чистенький, с кухней, душем и столовой. Он мне ничего не рассказал о своем втором побеге, я тоже промолчал о своем. Лишь один-единственный раз он коснулся прошлого, и то намеком:

— Если б нам повезло чуточку больше, мы бы вырвались на свободу еще десять лет назад.

— Да, но тогда наши судьбы сложились бы иначе. Я счастлив, Матюрет, думаю, что и ты тоже.

При расставании у меня к горлу подкатил комок. Мы расчувствовались.

— До свидания. До скорой встречи!

Отправились дальше. Вскоре мы уже подъезжали к Сьюдад-Пиару, городу, который рос прямо из-под земли, рядом с открытой залежью руды. Вот-вот должна была начаться ее разработка. Я рассказал Рите о Матюрете и о том, как переменчива наша жизнь. Мы с ним могли десять раз умереть в море, рисковали всем, но нас снова захватили и вернули; так же, как и я, он отсидел два года в одиночке. И надо же было такому случиться, чтобы на нашем с Ритой пути к новым приключениям я снова повстречал Матюрета, да еще накануне его свадьбы! Да, Матюрет

тоже переменялся. Пусть он жил скромнее, чем я, но по-своему он был счастлив. И нам с Ритой одновременно пришла в голову такая мысль: «Не важно, кем ты был, важно, кем ты стал».

В Сьюдад-Пиаре мы не нашли для себя ничего подходящего и возвратились в Каракас, чтобы купить какое-нибудь доходное дело.

И вскоре нам подвернулся бизнес и по нашим способностям, и по кошельку. Нас словно дожидался ресторан «Арагон», вполне подходящее заведение рядом с очень красивым местом — парком Карбобо. Поначалу было несладко, поскольку прежние владельцы ресторана были родом с Канарских островов, и нам пришлось все переделывать заново. Мы решили, что наше меню должно состоять наполовину из французских и наполовину из венесуэльских блюд. И не ошиблись. Поток посетителей рос день ото дня. Среди них было много представителей свободных профессий: врачи, дантисты, фармацевты, адвокаты. Заходили и промышленники. В этой приятной атмосфере несколько месяцев пролетело без каких-либо происшествий.

Однажды в понедельник, а точнее, шестого июня тысяча девятьсот пятьдесят шестого года, в девять утра нас ждала замечательная новость: Министерство внутренних дел республики сообщило, что моя просьба о предоставлении мне венесуэльского гражданства удовлетворена.

Это был большой день — я удостоился величайшей награды за более чем десятилетний срок проживания в Венесуэле: власти не нашли ничего предосудительного в моем поведении как будущего гражданина страны. Пятого июля тысяча девятьсот пятьдесят шестого года, в день национального праздника, я присягнул на верность флагу моей новой родины, принявшей меня, несмотря на мое прошлое. Перед флагом нас собралось триста человек. Рита и Клотильда сидели среди публики. Трудно выразить, что я чувствовал в тот момент. В голове проносилось множество мыслей; я волновался. Думал о том, что дал мне народ Венесуэлы: моральную и материальную поддержку, и ни слова о моем прошлом. Я размышлял над легендой, бытующей среди индейцев племени яномама, что живет на границе с Бразилией. По этой легенде, они — сыновья Перибо. Перибо был

великим воином. Однажды на него напали враги, и он, спасаясь от их стрел, прыгнул так высоко, что улетел в небо. Однако много стрел пронзило его тело. Он поднимался все выше и выше, из его ран текла кровь, и капли ее падали на землю. А из капель крови выросло племя яномама. И я задумался: возможно, Симон Боливар так же окропил эту землю своей кровью, чтобы зародить такую щедрую и человечную нацию, передав ей лучшую часть самого себя...

Зазвучал национальный гимн. Все встали. Я не отрывал глаз от звездного флага, плывущего вверх. По щекам текли слезы.

И вот я, давший слово никогда больше не петь национальных гимнов, ору во весь голос вместе со всеми священные слова, восхваляющие мою новую отчизну:

«*Abajo cadenos!*»¹

Да, в тот день я действительно ощутил, что с меня свалились цепи, которые на меня надели когда-то. Я избавился от них навсегда.

— Клянитесь на верность этому флагу. Теперь это и ваш флаг.

Все мы, три сотни человек, торжественно поклялись, но я уверен, что самая искренняя клятва была моей, клятва Папийона, которого родина-мать обрекла на нечто худшее, чем сама смерть, за преступление, которого он не совершал.

Пусть Франция — моя родина, зато Венесуэла — мой дом родной.

¹ Долой цепи! (*исп.*)

Глава тринадцатая

ДВАДЦАТЬ СЕМЬ ЛЕТ СПУСТЯ. ДЕТСТВО

События разворачивались стремительно. Отныне я был венецуэльцем и мог иметь паспорт. Когда мне его вручали, я дрожал от волнения. Так же, как и в тот день, когда забирал его из испанского посольства с красивой трехмесячной визой. Я дрожал, когда в нем проставляли штамп при посадке на борт прекрасного корабля «Неаполь», на котором мы с Ритой отправились в Европу, в Барселону. Я дрожал, получая его из рук испанского гвардейца с визой на въезд. Этот паспорт сделал из меня гражданина страны, он — мое сокровище, и чтобы я не потерял его ни при каких обстоятельствах, Рита вшила застёжки-молнии во все внутренние карманы моей куртки.

В той поездке все было прекрасно: даже море, когда оно бушевало; даже дождь, когда он хлестал по палубе; даже трюмный сторож-брюзга, неохотно разрешивший мне спуститься вниз, чтобы я мог посмотреть, хорошо ли закреплен большой автомобиль «линкольн», который мы недавно купили. Все было прекрасно, потому что наши с Ритой сердца ликовали. Будь то в ресторане, баре, салоне, среди людей или наедине, наши взгляды встречались, и мы понимали друг друга без слов. Мы едем в Испанию, будем рядом с французской границей, о чем, по известной причине, я не мог даже мечтать, а тем более надеяться все эти годы, и мои глаза говорят Рите: «Спасибо, милая. Благодаря тебе я снова увижу своих близких. Это ты везешь меня к ним».

И ее глаза отвечают: «Я же тебе обещала: если ты доверишься мне, то придет день и ты снова обнимешь свою семью,

где бы и когда бы ты ни пожелал это сделать. И тебе нечего будет бояться».

И действительно, наши поспешные сборы и путешествие по морю имели единственную цель: встретиться с моими родственниками на земле Испании, недосыгаемой для французской полиции. Двадцать шесть лет прошло с тех пор, как мы не виделись. Все мое семейство согласилось присоединиться к нам. Я пригласил их в Испанию, и мы проведем целый месяц вместе. У них в августе отпуск.

Проходили дни, и я частенько подолгу задерживался на носовой палубе, ведь эта часть корабля ближе всего к нашей цели. Когда мы прошли Гибралтар, земля вновь скрылась из виду, но уже чувствовалось, что мы приближаемся.

Устроившись поудобнее в шезлонге на палубе «Неаполя» и вытянув ноги вдоль серповидного удлинения деревянного кресла, я всматривался в горизонт, где с минуты на минуту должен был появиться берег Европы — земля Испании, соседствующая с французской.

Тысяча девятьсот тридцатый — тысяча девятьсот пятьдесят шестой — двадцать шесть лет. Тогда мне было двадцать четыре, а сейчас пятьдесят. Целая жизнь. Сколько людей умирает, не дотянув до этого возраста! Сердце забило сильнее: я уже видел берег! Лайнер шел быстро, рассекая воду клином, основание которого все больше и больше расширялось, пока совсем не исчезло за кормой в морской дали.

Когда я покидал Францию на борту «Мартиньера», того проклятого судна из каторжного конвоя, увозившего нас в Гвиану, да, в тот момент, когда оно отчаливало, я не видел земли, моей земли, удалявшейся от меня навсегда (так я думал тогда), поскольку мы сидели в железных клетках в глубине трюма.

А сегодня в кармане моей штормовки, под надежной охраной застежки-молнии, лежал новенький паспорт моей новой родины, выданный на имя гражданина Венесуэлы. Венесуэлец? Ты же француз, и родители твои французы, сельские учителя в Ардеше. Разве не так? Ну да, так, и все-таки!..

Европейский континент приближался настолько стремительно, что я уже отчетливо различал неровности берега. В этой

земле покоились моя мать, отец и многие другие родственники. И на этой земле жили мои близкие.

Мама? Она моя сказочная фея, добрая и нежная, наша связь настолько глубока, что, мне кажется, мы составляли единое целое.

Мне было лет пять, когда мой дед Тьерри купил мне прекрасную механическую лошадку. Великолепный, замечательный конь. Светло-каурый, почти рыжий. А какая грива! Черная, волос из натуральной конской гривы, она всегда ниспадала на правую сторону. Я так сильно давил на педали на ровной дорожке, что моей няне приходилось бежать вприпрыжку, чтобы не отстать. Затем она подталкивала меня сзади, помогая преодолеть небольшой подъем, который я называл «пригорком», и я снова катился по ровной дорожке до самого детского сада.

Меня встречала мадам Бонно, директриса и мамаина подруга. Она гладила мои длинные кудрявые волосы, волнами ниспадавшие на плечи, как у девочки, и говорила привратнику Луи:

— Открывай-ка пошире ворота, видишь, к нам пожаловал Рири на своем большом коне.

Гордый, как Артабан¹, я жал на педали и влетал на детскую площадку. Совершал круг почета, останавливался и не спеша слезал с коня, держа его под уздцы, чтобы не укатился дальше. Потом целовал няню Терезу. Она оставляла мадам Бонно сэндвичи для меня. Ко мне подходили мои маленькие товарищи, мальчики и девочки, и восхищенно гладили это чудо, единственную механическую лошадку на две деревушки — Пон-д'Юсель и Пон-д'Обена.

Каждый раз, собирая меня в детский сад, мама наказывала: надо всем по очереди дать покататься на лошадке. Мне это не очень нравилось, но я все-таки поступал, как велела мама. После звонка привратник Луи ставил моего коня под навес, мы строились и с песенкой «Не пойдем мы больше в лес» расходились по классам.

Возможно, моя манера рассказывать заставит некоторых читателей улыбнуться, но не следует забывать, что, описывая

¹ *Артабан* — имя нескольких парфянских царей, правивших с III века до н. э. по III век н. э. — *Примеч. переводчика.*

свое детство, я ощущаю себя не шестидесятипятилетним мужем, пишущим для светских салонов, а мальчиком Рири из деревни Пон-д'Юсель. Детство настолько глубоко засело в его душе, что он пишет теми же словами, какие он употреблял тогда и какие были у него на слуху в то время, когда мать для него была сказочной феей, сестры — сестричками, он для них — братиком, а отец — неизменно папа.

Детство... Сад, где рос крыжовник. Мы вместе с сестрами рвали его и ели еще зеленым. А вот сочные груши отец не велел трогать, пока не поспеют. Он должен сказать, когда можно. Но груша была низкая, приземистая, и я, словно индеец из племени сиу, подбирался к ней так, чтобы меня не заметили из окна. Обьедался до отвала, а потом маялся животом.

Мне уже исполнилось восемь лет, но я еще частенько засыпал на коленях у папы или на руках у мамы. Я не чувствовал ни как меня раздевали, ни как мамины тонкие пальцы надевали на меня пижаму. Иногда, когда она подходила к моей кровати, я просыпался на минутку и, обхватив ее шею руками, крепко прижимался к ней. Мама еще долго оставалась со мной, ее теплое дыхание смешивалось с моим, я крепко засыпал и не чувствовал, как она уходила. Из нас троих я был самый избалованный, это правда. Ведь я мальчик и будущий продолжатель рода. А сестрички — девочки, да к тому же старше меня. Намного старше! Первой уже исполнилось одиннадцать, а второй десять. Но все-таки я справедлив, правда, мама? Я король, а они — принцессы.

Мама у меня была красавицей: стройная, всегда элегантная! К чему все эти описания?! Да к тому, что она была лучше всех, самая изящная, самая нежная. Вы бы послушали, как она играла на пианино, даже когда я, стоя на коленях на табурете позади ее вращающегося стула, крепко зажимал ей глаза своими ручонками. Разве не чудо, что у тебя такая мама, которая играет на пианино, не видя ни нот, ни клавиш! Впрочем, она никогда не думала, что ей придется стать учительницей. Мой дед был очень богат, и мама не ходила в обычную школу, а вместе с сестрой Леонтиной училась в Авиньоне, в самых дорогих и престижных школах, как и полагалось девушкам из зажиточных буржуазных семей. И конечно, моя мама совсем не виновата, что дедушка

Тьерри любил жить на широкую ногу. У него был прекрасный выезд: то в коляске, запряженной парой серых в яблоках лошадей, то в двуколке из тикового дерева, именно тикового, которую мчал по деревне чистокровный вороной рысак. Моя милая мама не должна была работать, ведь с тем завидным приданым, которое ей причиталось, она могла очень удачно выйти замуж. А стала простой учительницей. Бедная мамочка! Хотя ее отец и был милейшим человеком, но любил пожить в свое удовольствие (кто бы мог подумать, увидев его!), закатывая пиры на весь Авиньон и милуясь с красивыми фермершами во время загородных прогулок. В результате мама осталась без приданого, и ей пришлось зарабатывать себе на жизнь.

Эти сведения, разумеется, я ловил на лету, когда взрослые вели разговоры, не обращая внимания на присутствие ребенка. Особенно отличалась тетя Онтина (Леонтина), приютившая дедушку у себя в Фабра. Впрочем, мама и ее сестра еще могли спасти кое-что из состояния, не приди деду в голову бредовая идея соорудить на крышах своих домов в Сорге висячие сады. «Он вообразил себе, что он в Вавилоне!» — говаривала тетушка Онтина. А мама спокойно поправляла ее: «Надо быть справедливыми, сады на крышах смотрелись великолепно». Единственным огорчением от этих «великолепных садов» было то, что стены домов потрескались, и их пришлось укреплять мощными железными крестовинами. В результате при продаже дома ушли за бесценок.

И все же дед у меня был потрясающий! У него были козлиная бородка и пышные белоснежные усы, как у Раймона Пуанкаре. По утрам, взявшись за руки, мы шагали с ним от фермы к ферме. Он служил секретарем в мэрии Фабра, куда я постоянно приезжал на каникулы. («Пусть зарабатывает себе на табак», — говорила тетушка Леонтина.) У деда при себе всегда было много бумаг, которые он приносил крестьянам или забирал у них. Я заметил, что тетя действительно была права, когда говорила, что дед особенно любит задерживаться на одной ферме, хозяйка которой отличалась красотой. Но дед уверял, будто красота фермерши еще не главное, он любит с ней поговорить, потому что она учтива и хорошая собеседница. Я тоже очень любил бывать там: это была единственная ферма, где мне разрешали покататься

на ослике и где я мог встретиться с Мирей, моей ровесницей, которая умела играть в дочки-матери лучше, чем моя соседка из Пон-д'Юсея.

— Не было бы счастья, да несчастье помогло, — обычно говорила мама. — Мой отец разорился, и мне довелось узнать твоего папу, самого лучшего из людей. К тому же, Рири, если бы я не лишилась приданого, тебя бы не было на этом свете.

— А где бы я был тогда?

— Далеко, очень далеко, но определенно не здесь.

— О, милая мамочка, как же мне повезло, что дедушка любил висячие сады!

В восемь лет я уже начал проказничать: без спроса ходил купаться в Ардеше. Плавать я научился сам, в канале. Он был глубокий, но не широкий — всего пять метров. Нас было семь или восемь ребят, все без плавок, так что купались мы нагишом. Следили, чтобы нас не заметил сельский сторож. Я стремительно прыгал в канал, плюхаясь на живот, и за один нырок оказывался почти на другом берегу. Два или три быстрых гребка руками — и я уже хватался за камыши. Там старший из нас ждал малышей. В том числе и меня. Старшему было двенадцать, он внимательно следил за нами и осознавал свою ответственность: подавал нам руку и помогал выбраться на берег. Или быстро прыгал в воду и помогал тому, кто не мог ухватиться за камыши.

Ах, эти солнечные деньки в водах Ардеша! Форель ловилась прямо руками! Домой я возвращался, только когда полностью обсыхал. Уже два года я ходил с короткой стрижкой, поэтому волосы сохли быстро.

Рядом с начальной школой, где мы занимали два жилых помещения на втором этаже (папа преподавал мальчикам, а мама — девочкам), находилось деревенское кафе. Принадлежало оно семье Дебан. Мама знала, что, когда я нахожусь у этих добрых людей, за меня не надо волноваться. Поэтому, куда бы я ни ходил, на ее вопрос: «Откуда ты пришел, Рири?» — я неизменно отвечал: «От Дебанов». И этого достаточно.

Тысяча девятьсот четырнадцатый год. Война. Папу призвали в армию. Мы провожали его до станции. Он будет служить в полку альпийских стрелков. Он уезжал на поезде, но должен был скоро вернуться. На прощание папа сказал нам: «Будьте

умницами, слушайте маму. А вы, девочки, должны помогать маме по хозяйству, ведь у нее теперь большая нагрузка: будет вести два класса — свой и мой. Война долго не продлится, все так говорят». Вчетвером мы стояли на платформе и смотрели, как трогается поезд. Папа наполовину высунулся из окна вагона и долго-долго махал нам рукой. Он никак не мог оторвать от нас взгляда.

Четыре года войны никак не повлияли на счастье, царившее в нашем доме. Мы лишь еще больше сблизились и стали дружнее. Я спал на большой кровати с мамой, занимая место отца, который храбро сражался на фронте, как и подобает настоящему мужчине.

Четыре года в мировой истории — суший пустяк.

Четыре года в жизни восьмилетнего ребенка — очень значительный срок.

Я быстро рос. Мы играли в солдаты и в войну. Домой я возвращался в драной одежде и весь в шишках. Неважно, побеждал я или нет, я всегда был доволен и никогда не плакал. Мама забинтовывала мои ссадины, прикладывала к синяку под глазом сырое мясо. Мягко журила, но никогда не кричала на меня. Упреки она всегда произносила шепотом, чтобы сестры не слышали, как мне читают мораль. Все должно было остаться между нами: «Будь добр, Рири, твоя мама очень устала: шестьдесят учеников. Совсем замоталась. Я больше так не могу, это выше моих сил. Помогай мне, мое сокровище. Будь добрым и послушным». Все заканчивалось поцелуями и моим обещанием вести себя прилично весь день или даже неделю. Я всегда держал слово.

Старшей сестре тринадцать лет. Ивонне — двенадцать. Я, как и прежде, был самым маленьким в семье, и они меня любили. Правда, иногда я дергал их за волосы, но это бывало крайне редко.

Пианино закрыли в день отъезда отца на войну. И не открывали, пока он не вернулся.

Из нашей поленицы под школьным навесом стали таскать дрова. Мама нервничала и все время чего-то боялась по ночам. Я прижимался к ней, обнимал крепче, давая понять, что я ее защищу. Я говорил ей: «Не бойся, мама, я остался в доме за хозяина. Я уже большой и сумею за тебя постоять». Я снял со

стены папино охотничье ружье и вогнал в стволы два патрона с картечью для охоты на кабанов. Однажды ночью мама проснулась и растолкала меня. Вспотев от страха, она прошептала мне на ухо:

— Там воры. Я слышала стук, они тащат дрова из поленницы.

— Не бойся, мамочка.

Я ее успокоил. Потом тихонько встал с кровати, как будто из нашей комнаты можно было услышать подозрительный шум со двора, взял ружье и направился к окну. Попытался осторожно его открыть, но оно все равно чуть скрипнуло. Я затаил дыхание. Одной рукой потянул ставень на себя и концом ствола ружья, приставленного прикладом к плечу, сбросил крючок. Ставень открылся бесшумно. Я был готов стрелять. Яркая луна освещала двор. Все как на ладони. Под навесом никого не было. Дрова в поленнице лежали в строгом порядке.

— Мамочка, никого нет. Иди посмотри.

Обнявшись, мы вдвоем еще немного постояли у окна. Никаких воров. Мама была счастлива, что у нее такой храбрый сын.

Хотя у нас в доме все обстояло благополучно, все же в отсутствие отца я в свои десять лет нет-нет да и позволял себе кое-какие шалости. При этом, не желая огорчать любимую мамочку, я всегда надеялся и верил, что она ничего не узнает. Однажды мы привязали шнурок от звонка-колокольчика к хвосту кота, в другой раз сбросили с моста в реку велосипед инспектора рыбнадзора, пока тот гонялся за браконьерами, ловившими рыбу сеткой. Охотились на птиц с рогатками, а пару раз с Рике Дебаном отправлялись с ружьем в поле, где росла люцерна, охотиться на кролика. Рике видел, как он прыгал и бегал по полю. Два раза вынести из дома ружье и принести обратно, да так, чтоб не заметила мать, — это ли не подвиг!

Тысяча девятьсот семнадцатый год. Отца ранили. В голове остались крошечные осколки от разорвавшегося снаряда, но жизнь его была вне опасности. Эта жуткая новость пришла через Красный Крест. В доме не слышно ни криков, ни плача. Прошли сутки, все ходили хмурые и серьезные, мама по-прежнему вела уроки, никто ни о чем не знал. Я смотрел на мать и восхищался ею. Обычно я сидел на первой парте, но сегодня пересел назад,

чтобы следить за учениками и не давать им баловаться на уроках. В половине четвертого я почувствовал, что мать на пределе. А еще должны быть естественные науки. Мама написала на доске условия арифметической задачи и сказала ученикам: «Решайте задачу самостоятельно в своих тетрадах по арифметике, а мне нужно выйти на минутку».

Я последовал за ней и увидел, что она стоит, прислонившись к мимозе, которая росла справа от входа. Мама не выдержала, расплакалась. Сестры были далеко, учились в старших классах школы в Обена и возвращались домой не раньше шести вечера.

Я крепко обнял маму, стараясь не расплакаться. Более того, я пытался ее успокоить, и мое детское сердечко сумело подобрать нужные слова, когда мама, всхлипывая, произнесла: «Твой отец ранен» — так, будто я этого не знал.

— Тем лучше, мамочка, потому что для него война закончилась, и теперь мы точно знаем, что он вернется живым.

И вдруг мама осознала, что я прав.

— А ведь верно! Ты прав, дорогой, папа вернется живым!

Она поцеловала меня в лоб, я чмокнул ее в щеку и, взявшись за руки, мы вернулись в класс.

Берег Испании уже отчетливо виднелся на горизонте, я вижу белые пятна, должно быть дома. Я видел этот берег так же ясно, как и те каникулы в тысяча девятьсот семнадцатом году, проведенные в Сен-Шама, куда отца перевели в охрану порохового завода. Он числился в резерве, и передовая ему не грозила. Раны были несерьезные, правда немного беспокоили осколки в голове, но оперировать пока было нельзя.

Сен-Шама был серьезно перенаселен, и снять жилье было трудно. Люди жили даже в пещерах. Папе здорово повезло: одна местная учительница предоставила ему свою квартиру на все каникулы. Два месяца с папой! В квартире было все необходимое для домашнего хозяйства, даже норвежский чугунок.

Мы снова были все вместе, довольные, здоровые и счастливые. Мама так и светилась от счастья — мы выбрались из этой ужасной войны, но для других она еще продолжалась. Мама говорила нам: «Нельзя быть такими эгоистами, мои дорогие,

и думать только о себе да своих забавах. Нельзя целыми днями бегать да собирать ягоды. Три часа в день можно подумать и о других».

Теперь мы сопровождали маму в госпиталь, куда она ходила по утрам ухаживать за ранеными. Каждый из нас должен был сделать что-то полезное: помочь раненому в инвалидном кресле; протянуть руку слепому; щипать корпию; предложить раненым ягод, которые мы собрали и отложили для них; написать письмо; послушать рассказы больных, прикованных к койке. Они рассказывали о своих семьях и особенно о детях.

Однажды на обратном пути домой в поезде на станции Вогуэ мама почувствовала себя очень плохо, и мы вынуждены были поехать к сестре отца в Лана, что в тридцати километрах от Обена, тетушке Антуанетте, тоже учительнице.

Маму изолировали от нас: врач установил, что у нее какая-то неизвестная заразная болезнь, наверняка подхваченная в Сен-Шама, когда она ухаживала за ранеными из Индокитая.

Сестры пошли учиться в старшую школу-интернат в Обена, там же оказался и я, но только в интернате для мальчиков.

Мама вроде бы шла на поправку. Но я грустил. Сегодня воскресенье, но я отказался идти на прогулку вместе с другими учениками. Меня навестили сестры, побыли немного и засобирались в свой интернат. Я проводил их за пределы школы. Остался и стал метать ножик в дерево. Почти каждый бросок достигал цели.

Так я проводил время на дороге напротив школы. На сердце было тяжело. Дорога шла от железнодорожного вокзала Обена, до которого было не более пятисот метров.

Вот засвистел паровоз, значит прибыл поезд. Еще свисток — поезд отправился дальше. Я никого не ждал, поэтому даже не смотрел на дорогу в сторону вокзала, откуда должны были появиться люди, сошедшие с поезда.

Я все бросал и бросал свой ножик, не переставая. На моих часах было ровно пять. Солнце уже опустилось довольно низко, и его лучи слепили мне глаза. Я отошел в сторону и тут же увидел, что ко мне тихо приближается смерть.

Вестники смерти. Головы низко опущены, лица закрыты черной вуалью, спускающейся до самой земли. Я их узнал, несмотря

на траурные одежды: тетушка Онтина, тетушка Антуанетта, бабушка по отцу, а за ними мужчины, словно прячась за спинами женщин. Отец, буквально согнувшийся пополам, и оба деда, все в черных костюмах.

Я не пошел им навстречу, даже не шелохнулся, да и как я мог это сделать? Кровь отхлынула от лица, сердце остановилось, а глаза не выжали ни слезинки, хотя мне безумно хотелось разрыдаться. Они остановились в десяти метрах от меня. Им было стыдно, я это чувствовал. Они предпочли бы умереть сами, не сходя с места, чем принести мне ту весть, о которой я уже догадался, ибо черная одежда говорила сама за себя: «Твоя мать умерла, умерла одна». Кто был с ней? Никого. Меня, ее любимчика, не было рядом, я не видел, как ее хоронили. Она умерла, не поцеловав меня на прощание. Отец выдвинулся вперед, словно из окопа. Ему почти удалось выпрямиться. Его лицо — застывшая маска глубокого отчаяния. По щекам беспрерывно текут слезы. Я не двинулся с места, а он не протянул мне руки навстречу. Он знал, что я не в силах пошевелиться. Наконец он подошел ко мне и обнял без слов. Я разрыдался, только когда услышал от него: «Она умерла с твоим именем на устах». Тут я потерял сознание.

Дом, в который приехала тетушка Антуанетта, чтобы занять место матери и взять на себя оба ее класса; дом, в котором живут дед с бабушкой по материнской линии; дом, куда меня вернули, побоявшись оставить в школе-интернате; дом, где несчастный старик и две женщины стараются быть со мною ласковыми, в то время как отец еще не демобилизован; дом, где каждая комната для меня — святыня и любой предмет — реликвия; дом, который еще наполнен солнцем уходящего лета, но уже мрачен, темен и печален, когда дед постоянно твердит о скором возвращении отца, а отец все не едет; дом, где меня все раздражает и ранит, где жесты и слова, какими бы искренними они ни были, действуют, скорее, наоборот, — такой дом мне больше не дом.

«Мама так бы не разговаривала со мной, да и какое право они имеют думать, что смогут заменить мне маму, такую маму, как моя!» Не хочу больше слышать их нежные слова. Доброе отношение со стороны теток, дедов — еще куда ни шло, но уж никак

не материнские слова. Не хочу, чтобы меня баюкали и лелеяли, кто бы это ни был. Я так и сказал им напрямую, этим двум замечательным женщинам, без крика, без возмущения, скорее с мольбой. Думаю, они меня поняли.

— Я не хочу больше здесь жить. Отправьте меня в интернат. Достаточно, что в этом бараке я провожу каникулы. Тем более что занятия уже идут.

Каникулы. А зачем проводить каникулы здесь? Нет, это невозможно. Этого нельзя допустить. Играть и смеяться в этом доме — да это же чудовищное святотатство. На каникулы буду ездить в Фабра к тетушке Онтине, и буду пасти там коз и овец со своими сверстниками, и пойду в широкое поле, куда моя милая мама никогда не ходила.

Кончилась война, вернулся отец. Однажды к нему пришел какой-то человек. Поели сыра, выпили красного вина, разговорились, вспомнили тех, кто не вернулся с фронта, а затем гостя угораздило произнести такие злополучные слова:

— Мы с вами еще легко отделались, не так ли, мсье Шарьер? И зять ваш тоже. Пусть мы ничего не выиграли, но ничего и не потеряли.

Я подстерег его во дворе. Стояла ночь. Подождав, когда он пройдет мимо, я залепил ему камнем из рогатки прямо в затылок. Он заорал благим матом и бросился в соседний дом перевязывать кровоточащую рану. Он так и не узнал, что получил этот удар за то, что в списке жертв той проклятой войны забыл упомянуть самую главную и невосполнимую для меня утрату — мою маму.

Нет, не так-то легко мы выпутались из этой злосчастной войны.

Каждый год с началом занятий я возвращаюсь в Крес, департамент Дром, в старшие классы школы-интерната, где готовлюсь к конкурсным экзаменам для поступления в сельскохозяйственный институт. И каждый год на каникулы мы всей семьей удираем в Фабра. Потрясающие каникулы, поскольку у папы для нас находятся и мамины слова, и мамины жесты, и мамина теплота.

В школе я стал грубым и несносным. Играю в регби на месте разыгрывающего. Сам не жду снисхождения и другим спуску не даю.

Вот уже шесть лет, как я учусь в Кресе, шесть лет числюсь хорошим учеником, особенно по математике, и все шесть лет у меня двойка по поведению. Замечен во всех хулиганских выходках. Регулярно, раз или два раза в месяц, дерусь с товарищами, и всегда по четвергам. По воскресеньям хожу на тренировку, играю в регби.

А по четвергам у нас в школе родительский день. И мне обязательно надо подраться, но не один на один, а один против четверых, иногда двоих. Иначе нельзя.

Матери приезжали повидать своих сынков, вели их в город обедать, а днем, когда стояла хорошая погода, не находили ничего лучшего, как прогуливаться по школьному двору под каштанами. Каждую среду я давал себе слово не смотреть на этот спектакль из окна библиотеки, но на следующий день был не в силах удержаться. Ничего не мог с собой поделывать: устраивался у окна поудобнее, чтобы все хорошо было видно. Так я открыл для себя два типа отношений с матерью, и каждый по-своему выводил меня из равновесия.

У одних матери некрасивы, или плохо одеты, или по-крестьянски неуклюжи и угловаты. Тут сразу видно, что сынки стыдятся своих матерей. Смотрю на них широко раскрыв глаза. Боже мой! Так оно и есть: им стыдно! Подлецы, сволочи, негодяи! Настоящие мерзавцы! Вместо того чтобы пройтись с мамашами по кругу или с одного конца двора в другой, они устраивались на скамеечке где-нибудь в тени и оттуда ни шагу! Не хотели показывать своих матерей, попросту прятали их. Не инженеры еще, а уж смотри как разбираются, каким должен быть образованный и благовоспитанный человек. Подлецы! Им хотелось напрочь забыть о своем происхождении. Именно такие типы способны впоследствии на крайнюю подлость: случись родителям нежданно-негаданно заявиться к ним, когда у них в доме гости, так они живо выпроводят своих предков на кухню да еще будут оправдываться перед приглашенными: «Извините, это дальние родственники из провинции как снег на голову свалились».

С такими субчиками развязать драку было несложно. Завидев одного из них, который только что спровадил свою мать раньше времени, чтобы его не раздражала, на пути в библиотеку, я тут же переходил в атаку:

— Скажи, Пьерро, что это ты так быстро выпроводил свою мать?

— Она торопилась.

— Неправда. Ты врун. Поезд в Гап, которым едет твоя мать, отправляется в семь. Вот что, я скажу, почему ты это сделал. Просто ты ее стыдишься. А ну, попробуй отопрись, мерзавец!

Из этих драк я почти всегда выходил победителем. Дрался часто, поэтому поднаторел в кулачном бою. И мне было наплевать, даже если я получал больше тумаков, чем противник. Я все равно был почти счастлив. Но я никогда не нападал на тех, кто был слабее меня.

Были и другие. Я называл их бахвалами. Они страшно выводили меня из себя, и с ними я бился особенно яростно. Их матери были красивые, изящные и элегантные. Когда тебе шестнадцать или семнадцать, тебя так и распирает от гордости и хочется покрасоваться рядом с нею. И вот они расхаживали по двору; он вел ее под руку и красовался: жеманство так и перло! А я закипаю от злости.

Стоило мне заметить, что один из них совсем уж развоображался, словно провоцируя меня, да еще если походка его матери напоминала мне походку моей или она носила перчатки с особенной грациозностью, я не выдерживал и буквально слетал с катушек.

Едва провинившийся возвращался во двор, как я тут же налетал на него:

— И стоило тебе устраивать этот парад во дворе, увалень, да еще с мамашей, одетой по прошлогодней моде! Моя была по красивее, поэlegantнее — не чета твоей! Да и камешки носила натуральные, а не подделку какую-нибудь. Самая настоящая дешевка! Любой мальчишка, который не разбирается в этом, и то поймет.

Стоит ли говорить, что в большинстве своем ребята, которых я задираю таким образом, сразу же заезжали мне кулаком в мор-

ду, не дожидаясь, пока мой словарный запас истощится. Иногда от первого удара я словно хмелел. И тогда я дрался жестоко, по-хулигански: бил головой, лягался, как корова, наносил удары локтями при тесном контакте, и дикая радость распирала меня изнутри, как будто я крушил всех матерей, имевших дерзость быть такими же красивыми и элегантными, как моя мама.

Это было выше моих сил, я не мог поступать иначе. Со дня смерти матери, когда мне почти исполнилось одиннадцать лет, обостренное чувство несправедливости жгло меня, как раскаленное железо, которое вонзала в меня моя судьба. Невозможно понять смерть в одиннадцать лет и нельзя с ней смириться. Умереть в глубокой старости — куда ни шло. Но мама, фея молодости, красоты и здоровья, моя любящая мама, разве возможно, чтобы она умерла? Мало того что смерть сама по себе отвратительна, так еще ее надо понять и принять. Нет, это невыносимо! Непостижимо! Ребятам следовало бы попрыгать своих матерей, если они хотели, чтобы я не взрывался. Думаю, я мог бы позавидовать даже ягненку, которого мать вылизывает, чтобы он не блял.

Одна такая вот драка перевернула мою жизнь вверх дном.

В самом деле, этот парень не имел права спокойно спать после той комедии, которую он разыграл днем. Высокомерный, гордый тем, что ему уже девятнадцать и что он отлично успевает по математике — первый кандидат на поступление в институт. Высокий, даже слишком, хотя не атлет, поскольку все время зубрит, но очень сильный. Однажды на прогулке он в одиночку поднял большой ствол дерева, чтобы мы могли добраться до норы, куда юркнула полевая мышь.

В тот четверг он позволил себе устроить настоящее праздничное гулянье! У него была стройная мать с тонкой, почти как у моей мамы, нет, будем честны — такой же тонкой талией, на ней белое платье в синий горошек, рукава буфами. Если она захотела скопировать одно из платьев мамы, то ей это удалось как нельзя лучше. Большие черные глаза, аккуратная маленькая шляпка с фиалкой, отороченная белой вуалью.

И будущий инженер, словно павлин, целый день разгуливал с ней по двору: взад и вперед, вдоль и поперек, по кругу и по диагонали. Они то и дело целовались, как влюбленные. Это

я должен был быть на его месте с моей грациозной, как газель, мамой. Она опиралась бы на мою руку, и я тоже целовал бы ее нежную щечку.

Как только он остался один, я тут же перешел в атаку:

— Хорош гусь! Из тебя получится отличный циркач, не хуе, чем математик! Не думал, что ты настолько...

— Что с тобой, Анри?

— Со мной то, что я должен тебе сказать: ты выставляешь свою мать напоказ, словно медведя в цирке, чтобы поразить своих однокашников. Так знай, меня ты ничем не поразил. И твою мать со своей я и рядом не поставил бы, она просто расфуфыренная кокотка, каких я видел в Вальс-ле-Бене во время купального сезона!

— Я тебе сейчас испорчу физиономию! И ты знаешь, что бью я больно. Возьми свои слова назад. Тебе известно, что я сильнее тебя.

— Ты сдрейфил? Послушай, я знаю, что ты сильнее меня. В таком случае давай уравнием силы, будем драться на дуэли. Сразимся на школьных циркулях с острыми концами. Иди за своим, а я принесу свой. Если ты не говно и способен защищаться и защитить свою мать, я тебя жду за туалетами через пять минут.

— Я приду.

Через несколько минут он уже свалился: острие моего циркуля вонзилось глубоко, под самое сердце.

Приехал папа. Рослый — под метр восемьдесят, в меру грузный, как и полагается сыну сельского учителя и крестьянки. Лицо круглое, очень мягкое, светло-карие глаза с золотыми искорками, взгляд многозначительный, но почти детский, наверное, оттого, что все ученики смотрят в его глаза, словно в зеркало. И действительно, если взглядеться в них хорошенько, то увидишь там целый кладезь чего-то чистого, загадочного, присущего только ребенку: наивности и бесхитрости.

Для него смерть матери была просто страшной потерей. Эта смерть не стала для него раной, которая постепенно заживает, нет, она кровоточила постоянно, так же, как в первый день. Его любовь, его неповторимая Лулу, как называл он мою мать, больше не существовала физически, они не могли идти дальше рука

об руку, но духовно она нашла в нем вечное прибежище. Однако чело его по-прежнему ясное и спокойное. Печали и заботы не оставили на нем следа. Ничто не выдавало тех сверхчеловеческих усилий, которые он делал во имя продолжения жизни, во благо детей, своих и чужих. Он просто больше не мог ни смеяться, ни петь, ни даже тихонько напевать себе под нос. Следы рубцов остались у него внутри, в самом сердце. Но, несмотря на них, он заставлял себя быть сдержанным и внешне спокойным. Я знаю, что он, как и раньше, отказывал себе в удовольствии сходить на охоту, если кого-нибудь из его учеников требовалось подготовить к экзаменам. Как в самой деревне, так и в ее окрестностях хорошо знали, что он очень любит трости, и у нас в прихожей их скопилось целая куча, самых разных. Достаточно посмотреть на них один раз, чтобы понять, скольких мальчишек привел он к успеху благодаря своему терпению, мягкости и настойчивости.

Мне уже исполнилось семнадцать, когда мы с отцом вышли от судебного следователя, занимавшегося моим делом. Следователь посоветовал отцу уговорить меня подписать контракт на службу в военно-морском флоте, чтобы прекратить процесс. В здании жандармерии в Обена я подписал контракт на три года.

Отец не слишком ругал меня за тот тяжкий проступок.

— Если я правильно тебя понимаю, а думаю, что это так, Анри (когда папа сердится, он называет меня Анри), ты предложил биться с оружием в руках, потому что твой противник был сильнее тебя?

— Да, папа.

— Ты поступил дурно. Так бьются только негодяи. Ведь ты же не такой, малыш.

— Нет.

— Видишь, в какую историю ты попал, да и нас заодно втравил. Подумай, как больно твоей матери смотреть на это оттуда.

— Не думаю, что я причинил ей боль.

— Почему ты так считаешь, Анри?

— Потому что я бился за нее.

— Что ты хочешь этим сказать?

— То, что я не мог смотреть, как мои товарищи прогуливались передо мной со своими матерями.

— Знаешь, Анри, ты ведь не из-за матери развязал эту драку, да и все другие тоже. И не из-за настоящей любви к ней. Причина, скажу я тебе, в том, что ты — эгоист. Понял? Судьба лишила тебя матери, и поэтому тебе хотелось, чтобы и у других детей их тоже не было. Это нехорошо, это несправедливо, и это меня страшно удивляет в тебе. Я ведь тоже страдаю, когда меня навещает кто-нибудь из моих коллег под ручку с женой. И я не могу не думать об их счастье, о том, как был бы счастлив я сам, если бы не та трагическая несправедливость. Только я не завидую им черной завистью, напротив, я никому не желаю, чтобы с ним произошло то, что случилось со мной.

Если бы ты действительно был отражением души матери, то радовался бы счастьем других. Видишь, теперь, чтобы выпутаться из этой истории, тебе придется служить на флоте: минимум три года, а ведь будет совсем не легко. И я тоже наказан, поскольку в течение трех лет мой сын будет вдали от меня.

И потом он произнес фразу, которая навсегда врезалась в мою память: ..

— Знаешь, дорогой, терять родителей тяжело в любом возрасте. Запомни это на всю жизнь.

...Гудок «Наполи» заставил меня подскочить. Он начисто стер все образы далекого прошлого, когда мне было семнадцать лет и мы с отцом выходили из здания жандармерии, где я только что поставил свою подпись под контрактом с военно-морскими силами. Но тут же в моей памяти возникло еще более страшное видение, та отчаянная минута, когда я видел отца в последний раз.

Это произошло в зловещей комнате свиданий тюрьмы Санте. Каждый из нас стоял за решеткой своего рода камеры, нас разделял коридор шириной в метр. Меня терзали стыд и отвращение к тому, что называлось моей жизнью, что привело отца на тридцать минут туда, в эту клетку для диких зверей.

Он пришел не для того, чтобы упрекать меня за то, что я главный подозреваемый в том грязном деле. У него было такое же изможденное лицо, как и в тот день, когда он объявил мне о смерти матери. Он пришел по доброй воле на получасовое свидание с сыном без всякого намерения выговаривать ему за плохое

поведение и вовсе не для того, чтобы тот прочувствовал всю глубину горьких последствий этого дела для чести и покоя всей семьи. Он пришел не для того, чтобы сказать мне: «Ты плохой сын». Нет. Он пришел попросить у меня прощения за то, что не сумел воспитать меня как следует.

Он не пришел с обвинениями. Напротив. Он сказал мне то, чего я меньше всего ожидал услышать, но что было сильнее всех упреков и могло тронуть меня до глубины души:

— Это моя вина, малыш, что ты здесь, прости меня, да, прости меня, это я тебя слишком баловал.

После нескольких недель пребывания в пятом учебном отряде в Тулоне я поднялся на борт военного корабля «Тионвиль». Было это на том же Средиземном море, воды которого сейчас с такой легкостью рассекает «Наполи». «Тионвиль» был сторожевым кораблем, изящным и быстрым, где все было задумано и сделано так, чтобы выжать предельную скорость. Пусть там не было даже минимума удобств, зато имелись огромные угольные трюмы.

На флоте в тысяча девятьсот двадцать третьем году ничто так не было ненавистно матросу, как железная дисциплина. Кроме того, моряков в зависимости от образования делили на шесть категорий. Я оказался в самой высокой — шестой. Семнадцатилетний молодец, только что вышедший из подготовительных классов для поступления в институт, я совершенно не понимал смысла слепого повиновения, не мог взять в толк, что приказы, отдаваемые бравыми старшинами, должны выполняться немедленно и беспрекословно, несмотря на то что интеллектуальный уровень последних был значительно ниже, чем у меня. По уровню образования мои начальники находились максимум в третьем классе. Почти все были бретонцы. Я ничего не имел против бретонцев. Как моряки они были то, что надо, — привычны тянуть лямку, тут ничего не скажешь. А вот что касается психологии, тут дела обстояли иначе.

Я сразу же вступил с ними в войну. Никак не мог смириться с приказами, в которых отсутствовал здравый смысл. Я отказывался посещать занятия по общеобразовательным дисциплинам, которые давно освоил. И меня тут же записали в команду «разгильдяев», ни на что не пригодных, «без специальности».

Самая отвратительная, самая нудная, самая хреновая работа отводилась нам. «Вы ни на что не годитесь? Ладно, сделаем так, чтобы у нас вы на все годились!» Мы до одури чистили картошку, мыли гальюны, целыми днями надраивали медь до золотого блеска, затем танцевали «вальс-конфетти» (грузили на борт брикеты угля, по пять кило каждый, и укладывали их в трюмах, словно книги в библиотеке), мыли палубу — все это было нашей привилегией.

— Какого черта вы прячетесь там за дымовой трубой?

— Старшина, мы только что закончили драить палубу.

— Что вы говорите? Ну тогда приступайте заново, но на этот раз гоните от кормы к носу, и до блеска, если не хотите, чтоб я снова напомнил о себе!

И такой вот кретин служил на море пятнадцать лет. Образование? Два коридора, если не меньше. Говорят, он даже не бретонец с побережья, а откуда-то из глубинки, короче, «от сохи».

Настоящий матрос — просто загляденье: форменка с широким синим воротником, берет-блин с помпоном, чуть сдвинутый на ухо, хорошо подогнанная униформа, как говорят, безупречно. Ну а мы, никуда не годные, не имели права перешивать свои шмотки. И чем хуже мы были одеты, чем более жалким был наш вид, тем счастливее казались сундуки (старшины). В такой обстановке забуренные головы постоянно шли на всевозможные серьезные нарушения дисциплины. Каждый раз, когда корабль швартовался у причала, мы прыгали за борт и проводили ночь в городе. Куда мы шли? В бордели, разумеется. С парой приятелей мы быстро освоили эту науку. Каждый мигмом обзаводился девочкой на ночь и умудрялся получить от нее не только бесплатную любовь, но и пару банкнот на выпивку и закуску. Выходило, что не мы их заякорили, а они нас захомутали. В четыре утра мы возвращались через арсенал, до смерти уставшие от секса и слегка захмелевшие.

Пройти на территорию — дело нехитрое. Видим — на посту араб.

— Стой, кто идет? Отвечай или буду стрелять! Пароль? Не скажешь — не пройдешь.

— Да ты его, чурка, сам не знаешь. С твоей пустой черепушкой ты уже давно его забыл.

- Что, я забыл? Сегодня — «Рошфор»!
- Верно. Ты прав.
- Здесь пронесло. Идем к другому часовому.
- Кто идет? Пароль!
- «Рошфор».
- Верно. Проходи!

Наказания ужесточались. Пятнадцать суток ареста, затем тридцать. Чтобы проучить кока, отказавшего нам в куске мяса и буханке хлеба, после того как мы начистили гору картошки, мы, как только повар отвернулся, стянули у него зажаренную заднюю ляжку барана целиком, подцепив ее крючком, пропущенным через вытяжной шкаф над плитой. Сожрали баранью ногу в угольном бункере. В результате сорок пять суток во флотской тюрьме, где я познакомился со знаменитой командой: «Раздеться догола! Вы что, не понимаете?» И вот я уже стою в чем мать родила во дворе тулонской тюрьмы зимой перед бассейном с ледяной водой, куда мы должны нырять.

Из-за матросского берета, который и десяти-то франков не стоил, я предстал перед дисциплинарной комиссией. Причина: порча военного имущества.

На флоте, во всяком случае в то время, все занимались порчей беретов, и не для того, чтобы их уничтожить, а просто так, для шика. Сначала берет замачивался в воде, затем трое брали и растягивали его что есть мочи, а когда он увеличивался в размерах, пропускали по внутреннему канту китовый ус. Получался настоящий блин. Как выражались девочки: «Этот красавчик — форменный блин». Особенно если у него на берете красивый помпон цвета морковки, хорошо подрезанный ножницами. Для городских девушек любого сословия потрогать помпон означало обрести счастье, и за это матросу полагался легкий поцелуй.

У командира корабля возникли проблемы с детьми: они с трудом сдавали выпускные экзамены в школе. И не их в том вина, это всё учителя — на устных экзаменах задают им такие вопросы, на которые они не знают ответов. Зато к своим детям у них другие требования: им дается поблажка и при ответах разрешается помогать друг другу. И тут я, учительский сынок.

— Вот и ты, Шарьер, дождался своей очереди. От меня по-блажек не жди. Скорее наоборот!

У этого скота я стал козлом отпущения. Он не давал мне спуска ни днем ни ночью. До того допек, что я три раза подряд убегал в самоволку. Но ни разу больше чем на пять суток и двадцать три часа, потому что шесть суток отсутствия считалось дезертирством. А дезертиром я чуть было не стал в Ницце. Провел ночь с потрясающей девчонкой и проснулся очень поздно. Еще один час — и я дезертир. Быстро оделся и побежал искать полицейского, чтобы он меня арестовал. А вот и он. Бросился к нему и попросил об одолжении. А он был такой полный и добродушный:

— Ну, сынок! Только без паники! Тихонько проберись на корабль и объясни как следует. Все мы были молодыми!

Я пытался ему втолковать, что через час стану дезертиром, а он никак не хотел понимать. Тогда я схватил камень и, повернувшись к витрине, заявил:

— Считаю до трех. Если не арестуете, разнесу все вдребезги!

— Как ты разошелся, малыш! Идем в участок.

И все-таки не за этот проступок, а за порчу берета, которому я хотел придать элегантный вид, я угодил в штрафной батальон, расквартированный в Кальви, на Корсике. Никто не сомневался, что это был первый шаг на каторгу.

Штрафбат — та же каторга. Там тебе выдают специальную униформу. По прибытии тебя встречает «приемная комиссия» из «старичков», которая устанавливает, годишься ли ты в настоящие штрафники, или ты просто размазня и педераст. Эта веселенькая церемония называется «показательным выступлением». Надо продемонстрировать свои мужские качества, дерясь поочередно с двумя или тремя «старичками». Опыт, приобретенный мной в старшей школе в Кресе, очень пригодился. На второй схватке, когда мне рассекли губу и расквасили нос, «старички» посчитали, что с меня хватит. Я оказался причисленным к настоящим штрафникам.

В штрафбате я работал на виноградниках у одного корсиканского сенатора. От восхода до заката, без сна и отдыха, без каких бы то ни было вознаграждений за труд. Строптивых укро-щают.

Мы теперь даже не моряки. Мы приписаны к Сто семьдесят третьему пехотному полку в Бастии. До сих пор перед глазами стоит цитадель Кальви и те пять километров до Калензаны, куда нас строем гонят на работу. Вечером мы возвращались в тюрьму ускоренным шагом с киркой или лопатой на плече. Нечеловеческие условия. Мы взбунтовались, и меня в числе дюжины зачинщиков отправили в Корте, в дисциплинарный лагерь с еще более тяжелыми условиями.

Тюрьма стояла на горе. Шестьсот шагов вниз и вверх дважды в день. Мы трудились близ железнодорожного вокзала в Корте. Сооружали плац и спортивные площадки для солдат расквартированных здесь воинских частей.

В этом аду, в обстановке всеобщего беспредела, я получил весточку из Тулона, тайно переданную мне одним гражданским из Корте: «Дорогой, если ты хочешь избежать этой каторги, отруби себе большой палец. Закон гласит, что потеря большого пальца, с сохранением или без сохранения первого кистевого сустава, автоматически предполагает перевод в запас. Если же увечье получено непосредственно при выполнении служебных обязанностей, то оно влечет за собой полное отстранение от военной службы, то есть комиссование за непригодностью. Закон 1831 года, подзаконный акт от 23 июля 1883 года. Я жду тебя. Клара». Адрес: «Мулен Руж», квартал Резерве, Тулон.

Я не стал затягивать. Наша работа заключалась в том, чтобы набрать в день два кубометра грунта у подножия горы и перевезти его на тачке за пятьдесят метров, где подходящая земля шла на отсыпку и выравнивание площадок, а остальное грузилось на машины и увозилось в отвал. Работал я с напарником. Я не мог оттяпать себе палец режущим инструментом, иначе меня обвинили бы в членовредительстве, что грозило еще пятью годами штрафбата.

Моим напарником был корсиканец Франки. Мы с ним вгрызлись в подошву горы и уже отрыли порядочную пещеру. Еще один удар киркой, и вся верхняя глыба земли должна была обрушиться на меня. Унтер-офицеры, выступающие в роли надзирателей, — всё крутые мужики. Сержант Альбертини стоял у нас за спиной, в двух-трех метрах. С одной стороны, это осложняло

задачу, а с другой — давало определенное преимущество: если все получится, он мог стать беспристрастным свидетелем.

Под нависшую глыбу земли Франки пристроил большой камень с острым ребром, а я положил на него большой палец и, чтобы не закричать от боли, зачихнул себе в рот носовой платок. Оставалось пять-шесть секунд, прежде чем глыба обрушится на меня. Франки приготовил еще один увесистый камень, которым собирался бить по пальцу. Он не подведет. Если палец не отскочит напрочь, его все равно придется ампутировать.

Сержант, находившийся в трех метрах от нас, принялся очищать грязь с ботинок. Франки схватил камень, занес его над пальцем и с силой обрушил. От пальца остались одни ошметки. Этот страшный удар заглушили удары кирки, так что сержант ничего не заметил. Еще два удара кирки, и сверху посыпалась земля, завалив меня с головой. Шум, гам. Крики о помощи. Меня принялись откапывать, и вот я наконец появляюсь живой, но без пальца. Боль просто дикая, адская боль, и все же я нахожу в себе силы сказать сержанту:

— Вот увидите, скажут, что я это сделал нарочно.

— Нет, Шарьер. Я видел, что произошло. Я свидетель. Я суров, но справедлив. Скажу все, что видел, не бойся.

Спустя два месяца меня комиссовали вчистую и при пенсии. Перевели в 5-й учебный отряд в Тулоне, откуда я и демобилизовался. А свой большой палец мне пришлось похоронить на Корсике.

Я пошел поблагодарить Клару в «Мулен Руж». Она нашла, что отсутствие большого пальца на левой руке почти незаметно и что я ласкаю четырьмя пальцами ничуть не хуже, чем пятью. А это самое главное. Прощай, флот! Прощай, штрафбат и веселые кабачки!

— В тебе что-то изменилось, сынок. Не пойму, что именно. Надеюсь, те три месяца, что ты провел в нежелательной компании, не слишком на тебе отразились.

Я снова сижу с отцом в доме моего детства, куда я вернулся вскоре после комиссования. Могли ли во мне произойти серьезные перемены?

— Не могу ответить, папа, сам не знаю. Мне кажется, я стал грубее и не всегда следую правилам, которым ты учил меня в детстве. Ты, вероятно, прав, во мне произошли некоторые перемены. Здесь, в стенах дома, где мы были так счастливы с мамой и сестрами, я это чувствую. Мне уже не так больно здесь находиться. Должно быть, очерствел.

— Чем думаешь заняться?

— А что ты посоветуешь?

— побыстрее найти работу. Тебе двадцать лет, мой мальчик.

Два конкурсных экзамена. Один в Прива — на должность почтового служащего, другой в Авиньоне — на должность гражданского служащего в военном ведомстве. Со мной поехал дед Тьерри.

Письменный и устный экзамены прошли просто отлично. Если я и не первый, то должен быть в первой десятке. А поскольку вакантных мест аж сто десять, можно было считать, что этот мыс мы уже обогнули. Я играю свою роль и готов следовать советам отца. Стану служащим. Я не лукавил, считал, что мои родители это заслужили. Буду жить достойно и честно. Но сегодня, когда я пишу эти строки, я никак не могу удержаться от вопроса к самому себе: как долго молодой Шарьер, хоть и сын учителя, собирался быть служащим со всем тем, что накопело у него внутри?

Когда с утренней почтой пришли мои результаты экзаменов, обрадованный отец решил устроить небольшой праздник в мою честь. Тетюшка Леонтина, дядюшка Дюмарше, дедушка Тьерри, бабушка. Большой пирог, бутылка настоящего шампанского и дочка папиного коллеги, приглашенная на церемонию. «Она будет хорошей женой для моего сыночка».

Первый раз за десять лет наш дом наполнился радостью. Поначалу я было упрекнул себя, а потом согласился с тем, что впервые после смерти матери в этом доме не грех и посмеяться. Я принял решение жить так, как жили мать с отцом и как живут все добрые люди.

Я был уверен, что ничто не омрачит моего будущего.

— Полюбуйтесь, наш Анри идет третьим в конкурсном списке. В двадцать лет открываются хорошие перспективы сделать карьеру.

Я прогулялся по саду с девушкой, которую папа мечтал видеть своей снохой и которая могла составить счастье его сыночку. Она была красива, образованна, умна, хорошо воспитана. В ней было еще кое-что привлекательное для меня: ее мать умерла в родах, так что в отношении материнской любви и ласки мне повезло больше, чем ей. Пусть я не стану инженером, но все равно сумею сделать карьеру.

Прошло два месяца, и — гром среди бела дня!

«В связи с тем, что вы не смогли представить нам служебную характеристику о хорошем поведении на флоте, мы вынуждены с сожалением поставить вас в известность, что не можем зачислить вас в штат наших служащих».

В то утро, когда почтальон принес мне денежный перевод — пенсию за шесть месяцев, — отца не было дома. Со дня получения того злополучного письма, разбившего все его надежды, он стал грустным и неразговорчивым. Он страдал.

А чего тянуть? Быстренько соберем чемодан, кинем туда кой-какое барахло и воспользуемся съездом учителей в Обена, чтобы исчезнуть отсюда.

Бабушка перехватывает меня на лестнице:

— Куда ты идешь, Анри?

— Туда, где не спрашивают характеристику о хорошем поведении на флоте. Разущу кого-нибудь из бывших штрафбатовцев, с которыми я познакомился в Кальви. Он меня научит, как жить вне общества, в которое я, как идиот, еще верил, в то время как оно прекрасно знало, что от него нечего ожидать. Я еду в Париж, на Монмартр, бабушка.

— Что ты собираешься делать?

— Пока не знаю, но определенно ничего хорошего! Прощай, бабуленька, и крепко поцелуй за меня отца.

Земля быстро приближалась. Уже виднелись окна домов.

Я возвращался к моим близким после долгого-долгого путешествия. Скоро мы встретимся. Разлука длилась двадцать семь лет.

Как там моя семья? В течение двадцати семи лет они жили, стараясь меня забыть. Для них я был мертвым, для их детей никогда не существовал, мое имя никогда не произносилось.

А если и произносилось, то редко, наедине с отцом. Только в последние пять лет им пришлось осторожно объяснять ребятишкам, что в Венесуэле живет их дядюшка Анри.

Да, они вынуждены были делать все, чтобы вычеркнуть меня, своего брата, племянника и дядю своих детей, из списка любимых людей. Пять лет мы вели переписку, обменивались чудесными письмами. Но нельзя забывать, что они — узники прошлого, своего общества. Письма нежные и прекрасные, спору нет, но не боятся ли они, что скажут другие, не ощущают ли некоторого неудобства от предстоящей встречи со мной? С братом, беглым каторжником, назначившим им встречу в Испании.

Мне бы не хотелось, чтобы они приезжали из чувства долга, мне бы хотелось, чтобы они съехались сюда, испытывая ко мне настоящие добрые чувства.

Ох, если бы они знали...

Если бы они знали, как медленно приближается сейчас этот берег и как он быстро удалялся от меня двадцать семь лет назад! Если бы они знали, что тринадцать лет на каторге я не переставал думать о них!

Если бы сестры только могли увидеть, какие картины нашего детства рисовало мое воображение в карцерах, камерах, клетках тюрьмы-одиночки!

Если бы сестры знали, как их образы и все то, что было связано с семьей, поддерживали меня; как я черпал в этом силы, чтобы победить непобедимое, обрести успокоение в отчаянии, забыть, что я узник, отказаться от самоубийства; если бы они знали, что месяцы, дни, часы, минуты, секунды этих лет полного одиночества, абсолютной тишины были наполнены до краев воспоминаниями нашего чудного детства!

Берег все ближе и ближе. Уже видна Барселона! Скоро мы войдем в порт. У-у-у! У-у-у! Корабль дал гудок. Мне страшно хотелось сложить руки рупором, поднести ко рту и радостно крикнуть что есть мочи: «Эй, вы, я здесь! Бегите скорей сюда!» Так я им кричал еще ребенком, когда находил в полях Фабра огромный ковер из фиалок. «Чур, мое!» — кричала Ивонна, очерчивая пальцем воображаемый круг и тем самым показывая, что все фиалки в нем ее. «А это мой кусочек», — говорила

Элен, всегда более скромная и щедрая. А я быстро собирал где хотелось, стараясь нарвать побольше и не обращая внимания, чье это место.

— Что ты здесь делаешь, дорогой? Я целый час тебя ищу, даже к машине спускалась.

Не вставая с шезлонга, я обнял Риту за талию. Она наклонилась и поцеловала меня в щеку. И в этот момент я понял, что, несмотря на все внутренние терзания и множество вопросов к своей родне, у меня уже есть собственная семья, созданная мной, и это она привела меня сюда на встречу с первой. И, подумав про себя: «На какие только чудеса не способна любовь!» — я сказал:

— Дорогая, я вновь переживал прошлое, глядя на приближающуюся землю, где находятся мои близкие — и живые, и мертвые.

Барселона. Наш блестящий автомобиль стоял на набережной у причала. Все чемоданы были уложены в багажник. Мы не стали задерживаться на ночь в большом городе, не терпелось промчатся днем по сельской местности, залитой солнцем, к французской границе. Но через два часа наплыв чувств оказался настолько сильным, что я вынужден был свернуть на обочину дороги, потому что не мог дальше вести машину.

Я вылез из автомобиля. Пейзаж — очей очарованье: возделанные поля, гигантские платаны, колышущиеся камыши, крыши крестьянских домов и коттеджей, крытые соломой и красной черепицей; поющие на ветру тополя, луга, покрытые сплошным зеленым ковром, пасущиеся коровы с позвякивающими колокольчиками, виноградники. Ах, эти виноградники и виноградные лозы, чьи листья никак не могут укрыть все гроздья винограда! Этот участок Каталонии точно повторяет сады моей Франции, все это вечно со мной с рождения: те же краски, та же растительность, те же колосья, среди которых мы прогуливались с дедом, когда он вел меня за руку; через такие же поля мы ходили с отцом, и я нес ягдташ. Отправляясь на охоту, мы брали с собой собаку Клару и подбадривали ее, чтобы она спугнула для нас

кролика или стайку куропаток. Даже изгороди вокруг ферм точно такие же, как у нас. И небольшие оросительные каналы, по которым течет вода, и деревянные отводные щиты, установленные поперек каналов, чтобы направлять воду в нужную часть поля. Мне не надо туда даже ходить: я и так знаю, что там лягушек. Мне приходилось их ловить: берешь нитку с рыболовным крючком, на него насаживаешь кусочек красной материи и таскай сколько хочешь.

И я забыл, что эта большая равнина находится в Испании, настолько точно она воспроизводила долину Ардеша или Роны.

И эта природа, которую я позабыл, столь отличная от той, на которой мне довелось жить двадцать семь лет и которой я восхищался каждый раз в зависимости от увиденного. И эти многочисленные небольшие и ухоженные наделы земли, теряющиеся вдаль, так похожи на сады наших кюре или учителей. Эта природа берет меня за живое: она, словно мать, прижимает сына к своей груди. А впрочем, так и есть, разве я не сын этой земли?

И вот здесь, на пути между Барселоной и Фигерасом, я рыдался. Рыдал долго, пока рука Риты, нежная и ласковая, не легла мне на затылок, пока моя жена не сказала: «Возблагодарим Господа за то, что он привел нас сюда, так близко к Франции, и за то, что через пару дней ты встретишься со своими близкими».

Мы остановились в гостинице, ближайшей от французской границы. На следующий день Рита отправилась поездом в Сен-Пере за тетушкой Жю. Пока она ездит, я успею снять виллу. Я бы и сам с удовольствием поехал, но для французской полиции я был и остаюсь беглым каторжником из Гвианы. Я нашел прекрасную виллу в городке Росас, прямо на берегу моря с чудесным пляжем.

Еще несколько минут терпения, Папи, и ты увидишь ту женщину, которая любила твоего отца, которая поддерживала в своем доме присутствие и дух твоей матери, которая писала тебе добрые письма, будившие и оживлявшие в тебе память о тех, кто любил тебя и кого любил ты.

Рита первой вышла из вагона. С предупредительностью и вниманием дочери она помогла высокой и миловидной женщине

крестьянского телосложения ступить на платформу. Следом появился чемодан, поданный галантным господином.

И затем две большие руки обвили меня вокруг, крепко прижали к груди, передавая мне жизненное тепло и еще очень многое, что невозможно выразить словами. Руки говорили мне: «Наконец-то! Через двадцать семь лет. Хоть ты и лишился отца на веки вечные и мать покинула тебя тридцать девять лет назад, кто-то ведь должен был занять их место. Это я. Теперь я заменю тебе их обоих. Они во мне, ты знаешь, и не мои руки душат тебя в объятиях, это не две руки, а шесть возвращаются к тебе навсегда и говорят, что никогда, малыш, мы не переставали любить тебя, никакое время не могло даже отчасти затуманить твой образ, мы никогда не верили, что ты виновен, и никогда не вычеркивали твое имя из списка дорогих нам людей. Ну же, Рири, наш блудный сын, возвратившийся к нам, не говори, не бормочи, не заикайся и даже не думай, что ты должен просить у нас прощения, потому что мы тебя уже давно простили».

Подхватив Риту за талию одной рукой, а мою вторую мать — другой, я вышел с ними на вокзал, совершенно позабыв, что чемоданы, если их не нести, сами за хозяевами не пойдут.

Тут тетушка Жю вскрикнула от восторга, как маленькая девочка, при виде шикарной машины ее детей, и еще — на этот раз от изумления, вызванного тем, что в такой исключительно волнующий момент чемоданы не участвуют в сотворении чуда и не бегут сами за хозяевами, обалдевшими от радости. Тетушка Жю говорит мне, что надо бы сходить за этим проклятым бездушным чемоданом, и в то же время не прекращает разговора со своим мальчиком, совсем не переживая, что никто не торопится за ним идти. На ее лице словно написано: «А пропадешь — так невелика потеря. Мне ничуть не жаль: ведь если за тобой идти, значит надо расстаться на некоторое время со своим ребенком, которого я только что обрела».

Рита и тетушка Жю приехали в одиннадцать утра, а в три часа ночи тетушка Жю наконец уснула у меня на плече тихо и мирно, с лицом невинного младенца, когда я пришел в ее комнату пожелать ей спокойной ночи. Сказались усталость после дороги, возраст, эмоциональность встречи и шестнадцать часов беспрепятственных воспоминаний.

Я упал на свою кровать и тут же уснул, разбитый, разомлевший. Великое счастье потрясает так же сильно, как страшное горе.

Обе мои женщины проснулись первыми. Это они вывели меня из глубокого сна и сказали, что уже одиннадцать утра, что солнце ярко светит, небо голубое, песок горячий и что меня ждет кофе с бутербродами. Надо побыстрее позавтракать и мчаться на границу встречать сестру со всем ее племенем. К двум часам они должны приехать.

— Даже раньше, — сказала тетушка Жю, — потому что твой зять поедет очень быстро, чтобы по дороге его не заклевало семейство. Им так не терпится поскорее тебя обнять.

Я припарковал свой «линкольн» рядом с постом испанской таможни.

А вот и они!

Идут, нет, бегут, оставив моего зятя в «ситроене» дожидаться в очереди на французской таможне.

Первой с простертыми руками навстречу мне бросилась сестра Элен. Вот она пересекла нейтральную полосу между двумя постами, между Францией и Испанией. Я спешил к ней навстречу и чувствовал, как от волнения скручивает живот. В четырех метрах друг от друга мы остановились и посмотрели друг другу прямо в глаза. «Это она, моя Нэн, из моего детства; это он, Рири, мой братик», — говорят наши глаза, полные слез. И мы бросились друг другу в объятия. Странно! Для меня сестра была все той же пятнадцатилетней девушкой. Я не замечал ее постаревшего лица, ибо огонек в ее глазах остался прежним, и ее милые черты для меня нисколько не изменились.

Мы забыли обо всем на свете, не в силах выпустить друг друга из объятий. Рита уже перецеловала всех детей, и я услышал:

— Какая ты красивая, тетя!

Я обернулся, отстраняясь от сестры, и толкнул Риту в ее объятия, приговаривая при этом:

— Люби ее крепко, это она привела меня к вам.

Три мои племянницы оказались просто очаровательны, зять в полном порядке; он был искренне рад познакомиться

со мной. Не хватало только его старшего сына Жака, которого призвали в армию. Он воевал в Алжире.

Мы направились в Росас. «Линкольн» мчался впереди, и рядом со мной сидела моя сестричка.

Никогда не забуду свой первый семейный обед за круглым столом. Иногда колени дрожали так сильно, что приходилось держать их под скатертью обеими руками.

Тысяча девятьсот двадцать девятый — тысяча девятьсот пятьдесят шестой.. Много воды утекло за это время как для них, так и для меня. Сколько пришлось пройти дорог, сколько борьбы выдержать, сколько преодолеть препятствий, чтобы добраться сюда! За обедом я не говорил о каторге. Я просто спрашивал зятя, много ли бед и хлопот доставил им мой приговор. Он вежливо пытался меня убедить в обратном, но я-то знал, как я заставил их страдать. Чего уж хорошего, когда братец и шурин — каторжник!

— Мы никогда в тебе не сомневались. И уверяю тебя, если бы ты и в самом деле оказался виновен, мы просто сожалели бы об этом, но никогда и ни за что от тебя бы не отреклись.

Нет, я ничего не рассказывал о каторге, ничего не рассказывал о моем судебном процессе. Для них, в чем я искренне убежден, как и для меня, моя жизнь началась в тот день, когда я благодаря Рите похоронил прежнего себя, авантюриста, чтобы воскресить Анри Шарьера, мальчика Рири, сына учителя и учительницы из Ардеша.

Мое семейство разрослось, я вновь обрел родных. Племянницы были в диком восторге: дядя на живописной американской машине прямо с неба свалился, а какие истории рассказывает про индейцев и про многое другое из жизни в Южной Америке! Настоящий американский дядюшка. Как тут не восхищаться!

Август на песчаном пляже в Росасе пролетел очень быстро.

В сестре я обнаружил все манеры и жесты матери, особенно это заметно, когда она окликает своих птенцов. Веселый крик детства, смех без причины, всплески юношеской радости на пляже в Палава, куда мы ездили когда-то с родителями.

Месяц. Тридцать дней. Как это долго в одиночной камере наедине с собой и как это ужасно быстротечно среди своих вновь обретенных близких! Я буквально опьянел от счастья. Я обрел

не только сестру и зятя, но также новых любимых родственников, моих племянниц, незнакомых мне еще вчера, а сегодня ставших для меня почти дочерьми.

Мы с Ритой пришли на пляж. Ее лицо сияло: она была в восторге оттого, что видела меня счастливым. Для нее это триумф, она сделала лучший подарок мне и моим близким: наконец-то мы воссоединились, вне досягаемости от французской полиции. Я лежал на песке в полудреме. Было уже поздно, почти полночь. Рита лежала рядом на песке, положив голову мне на бедро, и я гладил ее волосы.

— Завтра они все улетают. Как быстро пролетело время! Да, но как все было чудесно! Нельзя требовать от судьбы слишком многого, я это понимаю, дорогая, но все-таки! Мне очень грустно с ними расставаться. Бог знает, когда мы вновь свидимся. Такие поездки стоят слишком дорого!

— Положись на будущее. Я уверена, что наступит день и мы снова встретимся.

Мы проводили их до границы. Они взяли с собой и тетюшку Жю. За сто метров от французской земли мы расстались. Никто не плакал, потому что я дал им слово: через два года мы проведем отпуск все вместе, и не один месяц, а целых два.

— Это правда, дядя?

— Правда, мои роднуньки, сушая правда.

«Ситроен» медленно тронулся с места. Я стоял на дороге. Рита опиралась на мою руку. Их лица были обращены в нашу сторону, мы долго махали друг другу на прощание, пока они не приблизились к посту таможни и не скрылись за другим автомобилем, подъехавшим сзади.

До свидания! Знайте, что мы снова увидимся.

Через неделю в аэропорту Барселоны я уже встречал другую сестру. Она прилетела одна, не смогла привезти с собой семью. Я признал ее сразу, еще когда она спускалась по трапу в числе сорока пассажиров. И она, пройдя таможенный досмотр, уверенно и без колебаний направилась в мою сторону.

Сестра смогла пробыть с нами только три дня и три ночи. Так мало! Но зато мы времени зря не теряли. Предавались воспоминаниям все трое суток. Между ней и Ритой сразу же установились теплые отношения, возникло чувство взаимной при-

вязанности. Она нам все о себе рассказала, и я ей открылся насколько мог.

Ты проиграл первый тур, прокурор, и вы тоже, французские судьи! Как вы тешились, самодовольные граждане, услышав, что мне впаляли «пожизненное» на основании вашего взвешенного, мудрого, честного и очень справедливого приговора! Никто из вас даже не мог предположить, что человек, отправленный вами на верную гибель, правда спустя много лет, но все же будет стоять в ста метрах от французской границы и встречать своих близких. Он не станет прятаться за кустом, озираясь по сторонам в страхе, что за ним гонятся. Он придет сюда не за тем, чтобы просить семью о помощи, чтобы вымалывать крохи любви и сострадания. Нет, он придет не побежденным, а победителем! Победителем вашего бесчеловечного и несправедливого приговора, победителем над самим собой, ибо он примет решение жить, как все нормальные люди. Победителем в жизни, победителем в удаче, чтобы видели все, что он приехал на красивой машине, шикарной до неприличия.

Через два дня приехала мать Риты из Танжера. Она взяла мою голову в свои нежные ладони и принялась без устали целовать меня да приговаривать: «Сын мой, как я счастлива, что ты любишь Риту и она любит тебя!» Из ореола седых волос тепло и нежно на меня смотрело открытое и красивое лицо. Эту нежность я всегда видел в чертах Риты.

Мы оставались в Испании очень долго, но счастливые часы не наблюдают. Возвращение на корабле заняло бы слишком много времени — шестнадцать дней. Решили лететь самолетом, поскольку дома ждали дела. Наш «линкольн» последует за нами морским путем.

И все же от маленького путешествия по Испании мы не отказались. Посетили Гранаду и полюбовались на чудо арабской цивилизации — висячие сады, где у основания башни «Мирадор» я прочитал выгравированные на камне слова поэта:

Dale limosna, mujer, que no hay en la vida nada como
la pena de ser ciego en Granada,

что означает: «Дай милостыню, женщина, ему, ибо нет в жизни большей печали, чем быть слепым в Гранаде».

Нет, есть вещи похуже, чем быть слепым в Гранаде. Скажем, в двадцать четыре года, молодым, сильным, здоровым, уверенным в жизни, правда не очень дисциплинированным, не очень честным, но уж и не совсем опустившимся и тем более не убийцей, услышать, что тебя приговаривают к пожизненному заключению за чужое преступление. То есть исчезнуть навсегда без обжалования, без всякой надежды, чтобы гнить заживо, морально и физически, не имея одного шанса из сотни тысяч или даже миллиона однажды поднять голову и стать человеком.

Сколько людей, сломленных и раздавленных безжалостным правосудием и бесчеловечной карательно-исправительной системой, предпочли бы оказаться слепыми в Гранаде! И я один из них.

Глава четырнадцатая

НОЧНЫЕ БАРЫ. РЕВОЛЮЦИЯ

Самолет, на который мы сели в Мадриде, совершил мягкую посадку в каракасском аэропорту Майкетия. Нас встречали друзья и дочь. Двадцать минут спустя мы уже были дома. Наши собаки устроили нам радостный прием. Добрая служанка-индианка, ставшая членом семьи, без усталости расспрашивала:

— Все ли благополучно в семье Анри, сеньора? Понравилась ли тебе мама Риты, Анри? Я уж опасалась, что вы совсем не вернетесь: шутка ли — сколько там любящих вас людей. Слава богу! Приехали! И снова все вместе.

Да, слава богу, как говорит Мария, мы приехали и снова были все вместе. Более чем вместе, потому что восстановленные связи с родственниками для меня очень важны. Я должен оправдать их доверие, поэтому впредь буду вести себя как можно лучше. Во всяком случае, постараюсь сделать все от меня зависящее.

Борьба за жизнь продолжалась. Мы продали ресторан — я был сыт по горло всеми этими ром-бифштексами с жареным картофелем, утками с ломтиком апельсина, цыплятами под винным соусом — и купили ночной бар «Кати».

Мы стали владельцами ночного бара в Каракасе. Клиенты — только мужчины, поскольку у нас работали свои девочки, которые всегда составят им компанию, чтобы поговорить, а больше послушать, выпить или, если не очень мучает жажда, просто пригубить. Ночная жизнь совсем не та, что днем, куда более напряженная, ни минуты покоя, но зато каждую ночь узнаешь для себя что-то новое, интересное: у каждого посетителя ночного бара открывается второе «я».

Сенаторы, депутаты, банкиры, адвокаты, высокопоставленные чиновники собирались по ночам, чтобы спустить пары, скопившиеся в течение дня под гнетом самодисциплины, желания произвести впечатление человека, ведущего образцовую жизнь, чем бы они ни занимались. А в баре «Кати» каждый раскрывался, выставляя напоказ свое нутро. Это взрыв, отторжение социального лицемерия, которому они вынуждены следовать, отрешенность от всех забот, связанных с работой или семьей, крик свободного человека, раскрепостившегося от условностей и страха перед молвой.

На несколько часов все без исключения молодели. Спиртное помогало отбросить социальные условности и зажечь свободной жизнью весельчака. Можно поговорить, разыграть из себя донжуана перед самыми красивыми девушками в баре. Но у нас все было строго, далеко никто не заходил. За дисциплиной следила Рита. Она не позволяла девушкам покидать свои места до окончания работы. Тем не менее все мужчины были вне себя от радости, ведь их внимательно слушали такие прелестные создания (а мужчины любят рассказывать о себе), заполняя часы досуга только красотой и юностью.

Сколько мне пришлось повидать их, уже на рассвете, оставшихся наедине с собой (девушки выходили через другую дверь) и все-таки довольных и успокоенных! Один из них, человек, занимавший очень ответственный пост, наш постоянный посетитель, всегда уезжал на работу к девяти. Я провожал его до машины, как, впрочем, и остальных. Он частенько клал мне руку на плечо, а широким жестом другой обводил ясно выписанный контур гор Каракаса, за которыми занимался новый день. Он говорил мне:

— Ночь кончилась, Энрике, солнце встает за Авилловыми горами. Эта ночь уже прошла, и нет никакой надежды ее продолжить — все уже закрыто. Наступил день с его реальными делами и ответственностью. Меня ждет работа, офис, ежедневное рабство, но разве мы могли бы тянуть эту лямку без таких вот ночей? Однако ночь кончилась, Энрике, девушки разлетелись по своим гнездышкам, и мы остались с тобой вдвоем, как два старых дураля.

Но, несмотря на все разочарование, неизменно сопровождавшее эти восхитительные и одновременно тягостные моменты, они приходили снова и снова, чтобы повторить ночную мечту, твердо зная наперед, что грядущий день ее безжалостно унесет и рассеет.

И я, крутясь среди них, часто переживал незабываемые мгновения, совершенно выпадавшие из разряда повседневной жизни.

Очень быстро я приобрел и другое заведение — «Мадригал», а затем и третье — «Нормандия».

Вместе с социалистом Гонсало Дюраном, заклятым врагом режима, денно и ночно готовым драться за интересы владельцев ночных клубов, баров и ресторанов, мы создали ассоциацию по защите заведений этой категории в провинции Миранда и в федеральном округе. Спустя некоторое время меня назначили президентом ассоциации, и мы принялись изо всех сил защищать интересы наших членов против злоупотреблений некоторых чиновников.

Поскольку сногшибательных идей в моей голове всегда было хоть отбавляй, я превратил ночной бар «Мадригал» в русский кабак «Ниночка», а для придания ему соответствующего колорита обряжал испанца с Канарских островов в форму казака и усаживал его на спокойную по причине преклонного возраста клячу. Им обоим надлежало исполнять службу привратника при кабаке. Но вот беда, клиенты начинали спаивать моего казака, который при жаловании полдоллара в час каждый раз умудрялся нажраться вусмерть. Хуже того, они ухитрялись накачать и лошадь. Она хоть и не прикладывалась к стакану виски, зато очень уважала сахар, смоченный в спиртном, особенно в тминной водке. Результат: подвыпившая кляча и пьяный в стельку казак. Нередко в таких случаях оба привратника пускались в карьер вниз по проспекту Миранда, где находился мой кабак. Этот проспект был одной из главных артерий города, почти всегда перегруженной транспортом. И вот по нему туда-сюда скакал казак и призывал к атаке. Так что представьте себе картину: визг тормозов, когда колеса автомобиля рвут асфальт, сталкиваются машины, ругань и брань водителей, в домах открываются окна, оттуда

несутся сердитые крики, требующие прекратить безобразие в такой поздний час. Разумеется, возникали скандалы, которые приходилось улаживать и утрясать, но зато и веселья хватало.

В довершение всего мой единственный музыкант тоже оказался не лыком шит. Немец Курт Ловендаль, органист. Музыкант с руками боксера. Бывало, начнет играть ча-ча-ча на своем органе, да так усердно, что от музыкальных волн стены здания дрожат аж до девятого этажа. Мне в это трудно было поверить, пока швейцар и владелец дома однажды не отвели меня наверх, чтобы я сам смог убедиться. Надо признаться, они не преувеличивали.

Другое мое питейное заведение — «Нормандия» — располагалось в поистине прекрасном месте: как раз напротив штаб-квартиры Национальной службы безопасности. С одной стороны — террор и плохое обращение, с другой — все удовольствия жизни. Хоть раз я наконец-то оказался на правильной стороне. Такое соседство не гарантировало мне личную безопасность: я ввязывался в весьма деликатные дела, от передачи писем политических заключенных к подпольщикам до переписки уголовников. Для тех и других я служил почтовым ящиком.

Тысяча девятьсот пятьдесят восьмой год. Всего за несколько месяцев диктатура Переса Хименеса расшаталась донельзя. Венесуэлу стало серьезно потряхивать. От диктатора откололись даже привилегированные классы. Он еще держался, но лишь благодаря армии и страшной политической полиции Seguridad Nacional. Шли многочисленные аресты.

А в это время в Нью-Йорке три самых главных политических лидера Венесуэлы, находившиеся в изгнании, разрабатывали план захвата власти. Это были Рафаэль Кальдера, Ховито Вильяльба и исключительный человек — Ромуло Бетанкур. Лидера коммунистической партии Мачадо не пригласили. Однако коммунисты тоже сложили немало голов в ходе истории страны.

Первого января генерал ВВС Кастро Леон попытался поднять своих людей на мятеж: небольшая группа летчиков сбросила несколько бомб на Каракас, в частности на президентский дворец Переса Хименеса. Однако операция провалилась, и Кастро Леон бежал в Колумбию.

А двадцать третьего января в два часа ночи над Каракасом поднялся самолет, уносивший Переса Хименеса с семьей и ближайшими сподвижниками. Воздушное судно было набито до отказа не только живым грузом, но и ценностями. Так что венесуэльцы не зря окрестили его «священной коровой». Перес Хименес знал, что он проиграл партию: армия его оставила. Самолет направлялся напрямик в Сан-Доминго, где другой диктатор, генерал Трухильо, сердечно принял своего собрата.

Когда Каракас проснулся, им уже правила военная хунта во главе с адмиралом Вольфгангом Ларрасабалем, взявшим в свои руки штурвал корабля, с которого сбежала команда вместе с капитаном. Произошла революция. Очень важную роль в ней сыграл молодой человек по имени Фабрисо Охеда. Он мог бы запросто сделать карьеру, добиться высоких постов и привилегированного положения. Но он не позволил себе никаких слабостей и впоследствии стал одним из самых честных и стойких борцов против режима. Он кончил «самоубийством» в застенках полиции. Я его знал и воздаю ему дань уважения. Может быть, придет день и ему поставят памятник.

Почти три недели на улицах не было полиции. Конечно, случались и грабежи, и насилия, но почти все они были направлены против «пересхименистов». Народ взорвался, содрал с себя десятилетний намордник. Штаб-квартира политической полиции, находившаяся напротив ночного бара «Нормандия», была разгромлена, большинство полицейских перебито.

В первые три дня, последовавшие за отъездом Переса Хименеса, я чуть было не потерял все, что мне удалось нажить за двенадцать лет работы.

Мне позвонили из нескольких мест и сообщили, что все бары, ночные клубы, шикарные рестораны, места встреч высокопоставленных «пересхименистов» громят и предают разграблению. Для тех, кто не живет в своих заведениях, это еще полбеды. Что касается нас, то мы жили в своем ночном баре «Кати», этажом выше. Это была небольшая вилла в глубине тупикового переулка, сам бар располагался на первом этаже, мы занимали второй, а дальше — плоская крыша в стиле арабской террасы.

Я решил защищать свой дом, свое дело, своих близких до конца. Припас двадцать бутылок зажигательной смеси — «коктейль

Молотова» — и аккуратно разложил их в ряд на крыше. Рита ни за что не хотела меня покидать, стояла рядом и держала наготове зажигалку.

Толпа приближалась. В ней было больше сотни погромщиков. Поскольку бар «Кати» стоял в тупике, то кто бы ни появился в переулке, непременно направлялся к нам.

Толпа была уже близко, и я слышал возгласы: «Вот где встречались эти „пересхименисты“! Громи, ребята!» Нападавшие бросились вперед со всех ног, размахивая на ходу железными прутьями и заступами. Я щелкнул зажигалкой — и фитиль вспыхнул.

Вдруг толпа остановилась. Четыре парня, расставив руки в стороны, преградили ей путь, расположившись по всей ширине переулка. До меня донеслось:

— Мы тоже рабочие, из простого народа, и мы тоже революционеры. Мы уже много лет знаем этих людей. Хозяин, Энрике, — француз и друг народа. Он много раз нам это доказывал. Уходите, здесь вам делать нечего!

Разгорелась дискуссия, но не жаркая, скорее умеренная. Я услышал, как эти храбрецы объясняют, почему они выступают в нашу защиту. Мы с Ритой все еще стояли на крыше с зажигалкой наготове. Судя по всему, тем четверым удалось убедить толпу оставить нас в покое: она схлынула безо всяких угроз.

Уф-ф! Пронесло! Все висело на волоске, а впрочем, для некоторых из них тоже. Больше нас не беспокоили.

Четверо наших защитников оказались работниками муниципальной службы водоснабжения в Каракасе. Дело в том, что боковые двери в бар «Кати», те, что ближе к тупику, находились рядом с воротами в автопарк службы. Через эти ворота сновали туда-сюда машины-цистерны, доставлявшие воду в разные части городка, где по той или иной причине ее не хватало. Естественно, люди из этой службы придерживались в основном левых взглядов. Мы их часто подкармливали, а когда они заглядывали к нам за бутылкой кока-колы, мы не брали с них денег. В общем, мы были добрыми соседями, и рабочие понимали, что для нас они такие же люди, как и другие. В условиях диктатуры они почти никогда не заговаривали на политические темы, но бывали случаи, когда после хорошего подпития у них с языка срывались

неблагоразумные, неожиданные, неосторожные слова, что приводило к аресту или увольнению с работы.

Иногда кому-нибудь из нас, мне или Рите, удавалось через какого-нибудь из наших клиентов добиться освобождения виновного или восстановления его на службе. Между прочим, среди сенаторов, депутатов или военных было очень много добрых и отзывчивых людей. Редко кто отказывал нам в услуге.

В тот памятный день работники службы водоснабжения с большим мужеством и риском (иначе не скажешь) пришли отплатить нам добром за добро. И вот что интересно: два других наших заведения тоже не пострадали, с ними повторилось то же чудо. В «Ниночке» не разбили даже ни одного стекла. В «Нормандии», что стояла напротив ужасной Seguridad Nacional, в самой горячей точке революции, где стреляли без разбору, в кого и куда попало, где революционеры грабили, жгли и крушили направо и налево все коммерческие заведения на проспекте Мехико, в нашей «Нормандии» ничего, абсолютно ничего не было разрушено или украдено. Каким чудом? Я до сих пор не знаю.

При Пересе Хименесе на первом месте была железная дисциплина, работа и поддержание общественного порядка. В течение десяти лет никто ни о чем не спорил, все были послушны. На прессу набросили намордник.

При Ларрасабале, человеке флотском, все танцевали, пели, никто никого не слушал, говорили и писали все, что взбрдет в голову умным политикам и демагогам; при полном попустительстве болтали глупости, жили на всю катушку. Свобода пьянила, дурманила. И это здорово, дышать стало легче.

Более того, моряк — поэт, художник в душе — сочувствовал тысячам несчастных и бедных, хлынувших, как волны, со всех концов Венесуэлы в Каракас. Он создал «План экстренных мер» по оказанию помощи обездоленным слоям населения и ухлопал миллионы из государственной казны.

Он обещал провести выборы и сдержал слово. Выборы были подготовлены и проведены свободно и демократично. Адмирал вышел победителем в Каракасе, но общую победу одержал Бетанкур. Он сразу же столкнулся с трудной ситуацией: не проходило и дня без заговоров, без стычек с реакционерами.

Я только что купил самое большое кафе в Каракасе — «Гран-кафе» на улице Сабана Гранде. В нем было более четырехсот посадочных мест. Еще в тысяча девятьсот тридцать первом году Жюло Уинар, ограбивший ювелирный магазин «Леви», назначил мне там встречу. Как-то в коридоре тюрьмы Санте он сказал мне: «Мужайся, Папи, встретимся в „Гран-кафе“ в Каракасе!» И вот я пришел в условленное место, правда спустя двадцать восемь лет. Но я все-таки пришел, и в качестве владельца. А Жюло — нет.

У меня пока все вроде бы шло хорошо. Но для Бетанкура политическая ситуация в стране была отнюдь не легкой задачей. Чудовищное покушение, совершенное на него, потрясло до основания еще юную и очень шаткую демократию.

Когда президент на своем автомобиле ехал на официальную церемонию, дорогу ему перекрыла машина, начиненная взрывчаткой и управляемая дистанционно из Сан-Доминго рукой диктатора Трухильо. Начальник военного сопровождения был убит, шофер тяжело ранен, генерал Лопес Энрикес и его супруга страшно обгорели, а у самого президента обе руки обуглились почти по локоть. Спустя сутки, с забинтованными руками, президент обратился к нации. Это казалось настолько маловероятным, что некоторые решили, что говорит не президент, а его двойник.

Вот в такой атмосфере эта благословенная страна начинала заражаться вирусом политических страстей. Все становились носителями этого микроба, или почти все. Засновали шпики и фараоны — рождалась новая, дотоле неизвестная раса. Среди функционеров появилось много таких, кто злоупотребляет своими политическими связями. Возникла ужасная фраза: «Здесь командуем мы».

Представители различных администраций несколько раз приходили по мою душу. Появлялись инспектора с различными проверками: по спиртным напиткам, муниципальным налогам, тому, сему. Большинство из них не имели профессиональной подготовки и заняли свои места лишь благодаря принадлежности к той или иной партии.

Более того, поскольку власти знали о моем прошлом, поскольку у меня неизбежно возникали контакты с заезжими проходимцами, хотя жил я честно и никаких дел с ними не имел, помня

о том, что здесь я получил убежище, а во Франции дело на меня еще не закрыто, полиция начала шантажировать меня, играя на моем прошлом. Например, они выкопали нераскрытое дело двухлетней давности об убийстве одного француза. Снова принялись искать виновного. Может, я что знаю? Ничего не знаю? Может, в моем положении в моих же интересах будет вспомнить кое о чем?

О, меня уже тошнило от этих встреч! Эти ублюдки мне порядком надоели! Пока они еще не сильно наседали, но что, если так пошло бы и дальше? Через год-два я мог не выдержать и взорваться! Нет, в этой стране взрываться было нельзя. Здесь я стал свободным человеком и обрел свой дом.

Я решил не тянуть и продать «Гран-кафе» вместе с остальными заведениями! Мы с Ритой собрались попытать счастья в Испании. Я надеялся, что смогу там акклиматизироваться и обзавестись делом.

Но пристроиться и прижиться там я не сумел. Европейские страны слишком хороши для меня — вот где настоящая бюрократия! В Мадриде я представил чертову дюжину разрешений на открытие дела, а мне вежливо сказали, что не хватает еще одного.

Я понял, что это уже слишком. И вот, увидев, что я буквально не могу жить вдали от Венесуэлы, что мне не хватает даже достававших меня там ублюдков, Рита решила, что нам лучше вернуться, несмотря на то что мы там все распродали.

Глава пятнадцатая

КРЕВЕТКИ И МЕДЬ

Снова Каракас. Тысяча девятьсот шестьдесят первый год. Шестнадцать лет прошло с тех пор, как я вышел из тюрьмы в Эль-Дорадо. Мы были счастливы, радовались жизни, у нас не было особых проблем. Обстоятельства не позволили мне снова встретиться со своей семьей в Испании, но переписка не затухала, поэтому благодаря письмам мы знали все о жизни друг друга.

Ночной бизнес в Каракасе претерпел сильные изменения. Купить стоящее и доходное заведение, как, например, проданное мной «Гран-кафе», стало невозможно. Во-первых, оно мне было уже не по карману, да к тому же его было просто не найти, не говоря уже о том, чтобы создать самому. Во-вторых, был принят смехотворный закон, который причислял владельцев ресторанов и баров, продавцов спиртных напитков к разряду растлителей общественных нравов. Последнее означало, что правительственные чиновники всех уровней получали возможность всячески эксплуатировать этих лиц. Я больше не хотел влезать в такие дела.

Надо было приниматься за что-то другое. Залежей алмазов я не обнаружил, но зато нашел залежи крупных креветок. И опять в Маракайбо.

Мы поселились в красивой квартире. Я выкупил часть пляжа на побережье и основал компанию «Капитан Чико» — по названию квартала, где находился этот пляж. Единственным акционером компании значился Анри Шарьер. Генеральным директором — Анри Шарьер. Коммерческим директором — Анри Шарьер. Первым заместителем и помощником — Рита.

И вот мы пустились в захватывающее приключение. Я купил восемнадцать рыбацких лодок. Это были большие баркасы с выносным мотором на пятьдесят лошадиных сил, длина сети составляла двести пятьдесят морских саженей. На каждую лодку приходилось по пять рыбаков. Лодка в комплекте с экипировкой стоила двенадцать с половиной тысяч боливаров. Помножить на восемнадцать — куча денег.

Мы крутились как белки в колесе. Надо было вдохнуть новую жизнь в окрестные рыбацкие деревни, преобразить их быт, избавиться от нищеты, привить вкус к работе, благо она хорошо оплачивалась, разбудить все вокруг от спячки и безразличия. И вскоре мне это удалось, что особенно заметно по рыбацкой деревне Сан-Франциско на берегу озера Маракайбо.

У этих бедняков ничего не было, и мы, не требуя никаких гарантий, предоставляли им лодку и снасти, по одной на каждую команду из пяти человек. Они могли ловить как угодно, их свобода никак не ограничивалась, но с одним лишь условием: они должны были продавать нам весь улов по цене на полболивара ниже рыночной, так как лодки, снасти и все остальное принадлежало мне.

Дело шло, работа кипела, и я отдавался ей полностью. У нас было три машины-холодильника. Они безостановочно разъезжали по пляжу и забирали улов, который привозили наши лодки, да еще прихватывали у других рыбаков, готовых продать и свой.

На озере я построил свайный пирс, на тридцать метров уходящий от берега, да еще большую платформу под навесом. Здесь под командой Риты трудилось от ста двадцати до ста сорока женщин. Они отрезали креветкам головы, потрошили их и хорошенько промывали в ледяной воде. Потом шла сортировка по весу. За единицу веса принимался американский фунт. В зависимости от размера креветок на фунт шло от десяти до пятнадцати моллюсков, от двадцати до двадцати пяти, от двадцати пяти до тридцати. Чем они крупнее, тем дороже. Каждую неделю я получал из Америки так называемый «зеленый лист», где указывался курс креветок, который устанавливался по вторникам. Каждый день в Майами улетал самолет «Дуглас-8» или два самолета «Дуглас-4»; первый брал на борт двадцать четыре

тысячи восемьсот фунтов креветок, вторые два — по двенадцать тысяч четыреста фунтов каждый.

Я мог бы заработать уйму денег, если бы однажды не сваял дурака, взяв себе в компаньоны одного янки. Лицо — полная луна. По виду — добрейший человек, даже глуповатый. Он не говорил ни по-испански, ни по-французски, а я не говорил по-английски. Как тут поспоришь или поругаешься?

Этот янки никаких денег в компанию не вложил, но взял напрокат холодильники известной марки, продававшиеся на каждом углу в самом Маракайбо и его пригородах. Они прекрасно подходили для заморозки креветок и лангустов.

Мне приходилось везде поспевать: следить, как идет лов и в каком состоянии лодки, руководить погрузкой в машины дневного улова или кому-то это поручать, напрямую расплачиваться с рыбаками за товар, а следовательно, иметь дело с большими деньгами. Иногда я отправлялся на пляж с тридцатью тысячами боливаров в кармане, а возвращался домой без единого сантима.

Все было хорошо отлажено и организовано, но ничего не делалось само собой. Я постоянно воевал как со своими рыбаками, так и с пиратами-перекупщиками.

Рыбаки от природы народ честный. Они стали работать, привлеченные заработком. Но свой заработок они расходовали не совсем по делу, продолжая жить в более чем скромных условиях. Может, это и разумно, но я не замечал у них никакой потребности обустроить свой дом, обзавестись мебелью, иметь настоящую кухню, настоящую спальню. Мне приходилось им объяснять, страстно доказывать необходимость таких преобразований, но они оставались глухи к моим доводам, по-прежнему проявляя безразличие, с которым я ничего не мог поделать. Очень жаль, но это мне не мешало быть крестным отцом многих детей!

С пиратами-перекупщиками дело обстояло хуже. Я уже упоминал о своей договоренности с рыбаками, согласно которой за пользование моими лодками и снастями они должны были продавать мне улов по цене ниже рыночной на полболивара за кило. И это было справедливо. Пираты-перекупщики ничем не рисковали. У них не было лодок, от силы одна машина-рефрижератор, вот и все. Они крутились по побережью, и им было неважно, у кого покупать креветки. Положим, лодка привезла восемьсот

килограммов креветок. По полболивара в гору за кило — получаем четыреста боливаров разницы. Делим на пятерых — и вот тебе восемьдесят боливаров на нос сверх того, что установлено мной. Есть разница между тем, что даю я и что дают «пираты»? Надо быть святым, чтобы не поддаться искушению! Поэтому, как только моим рыбакам подворачивался такой случай, они тут же принимали предложение «пиратов». Вот и приходилось мне дено и ночью защищать свои интересы, но такая борьба была мне по нутру, и я радовался напряженной жизни.

Когда мы отправляли креветки в Соединенные Штаты, расчет производился по аккредитиву после представления погрузочных документов в банк вместе с сертификатом качества продукции и ее надлежащего замораживания. Банк оплачивал восемьдесят пять процентов от общей стоимости груза, остальные пятнадцать процентов погашались через семьдесят два часа по уведомлению из Майами в Маракайбо о том, что груз прибыл и принят после соответствующей проверки.

Бывало, что по субботам, когда мы отправляли два самолета с креветками, мой партнер улетал на одном из них и сопровождал груз. По таким дням поставка для отправителя стоила дороже на пятьсот долларов, а перевалочные базы в Майами по субботам не работали. Поэтому нужно быть на месте, чтобы организовать разгрузку самолетов специальными бригадами, которые тут же перегружали товар в трейлеры и отвозили на перерабатывающие фабрики в Майами, Тампу или Джексонвилл. Банки по субботам тоже не работали, поэтому никакого тебе аккредитива, никакой страховки груза. Но по понедельникам с утра продукция стоила дороже на десять-пятнадцать процентов. На такой операции можно было заработать.

Все шло как по маслу, и я не мог нарадоваться на своего партнера за его превосходные субботние операции. Но так продолжалось до поры до времени. Однажды он улетел и больше не вернулся.

Как назло, это случилось как раз в тот период, когда креветки в озере ловятся плохо. Мне пришлось нанять большое рыболовецкое судно в порту Пунто-Фихо и отправиться на острова Лос-Рокес за лангустами в надежде взять богатый улов. Вернулся я нагруженный доверху первоклассным продуктом. На месте провел разделку, отделив головы и оставив только хвосты.

Великолепный товар — только хвосты от кило двести до кило триста. Лучше не бывает.

И вот в один прекрасный субботний день два самолета «Дуглас-8», загруженные хвостами лангустов, взлетели с луноликим святошей на борту и растаяли в облаках. Разумеется, перевозку и все остальное оплачивал я.

В понедельник — нет вестей. Во вторник — то же самое. Я отправился в банк — из Майами ничего не слышно. Не хотелось в это верить, но я уже знал, что остался в дураках. Поскольку аккредитивами ведал мой партнер, а из-за субботы груз ушел незастрахованным, он по прибытии на место все продал и был таков со всей «капустой».

Я страшно разозлился и отправился в США на поиски луноликого проходимца, сунув кое-что за пояс специально для него. Я напал на его след, поскольку сделать это было не очень сложно, но по каждому адресу меня встречала какая-нибудь милая женщина, представлялась мне его законной женой и говорила, что не знает, где сейчас находится ее муж. И так три раза в трех разных городах! Мне так и не удалось найти своего «милого» партнера.

Я оказался на мели. Мы потеряли сто пятьдесят тысяч долларов. Остались лодки, но они уже пребывали в плохом состоянии, да и моторы тоже. А поскольку этот бизнес требовал ежедневных вложений, мы не могли справиться с убытками и снова встать на ноги. Мы были почти разорены. Продали все. Рита не жаловалась и не корила меня за доверчивость. Весь капитал, все сбережения за четырнадцать лет тяжелой работы плюс два года бесполезных жертв и постоянных усилий — все было потеряно.

Со слезами на глазах мы расстались с большой семьей рыбаков и служащих, которую мы создали. Они тоже были страшно удручены, переживали за нас. Они были нам признательны и благодарны за все то, что мы им дали за два года, за то благополучие, о каком они раньше и не помышляли.

Мы вернулись в Каракас. Обосновались в славной квартирке недалеко от «Гран-кафе», на Сабана Гранде, и стали думать, чем теперь заняться.

На покупку какого-то дела денег не хватало. Надо было что-то подыскивать.

До меня дошли слухи, что какие-то группы иностранцев интересуются ломом электролитической меди в любых количествах. Дело было весьма деликатное, поскольку медь считалась стратегическим материалом. Во всей Южной Америке этот вопрос находился под контролем янки, которые неусыпно следили, чтобы эта медь не уплыла за «железный занавес». В Венесуэле государственным органом, занимающимся подобным контролем, являлся армейский отдел снабжения и перевозок. По заявлениям покупателей, в Венесуэле горы такой меди лежали без дела, потому что в стране не было промышленных мощностей для ее переработки. Они знали, что вывезти медь из страны было практически невозможно, поскольку на это требовалась экспортная лицензия, которую нельзя было получить без специального на то разрешения армейских органов или хотя бы документа, что армия не возражает против выдачи лицензии.

Тут-то и началась самая безрассудная история, приключившаяся со мной.

Я вступил в контакт с группой покупателей и объяснил, что я и есть тот человек, который им нужен, ибо владею ситуацией. Очень быстро, буквально с первых же встреч, я убедил их в необходимости открыть аккредитивы на проведение операций, потому что на этот раз, прежде чем что-либо предпринять, я должен быть уверен, что дело пойдет хорошо, а на такое дело потребуются миллионы долларов. И доллары начинали поступать — на их имя, разумеется.

Я стал предпринимать дальнейшие ходы, устанавливая контакт за контактом. Со всех сторон на меня посыпались предложения на крупные партии меди, готовой к переработке. Одни знали, где находится отслуживший свой срок подводный телефонный кабель, где его прячут и охраняют под большим секретом, словно какую драгоценность. Знают, на каком складе он лежит под неусыпным оком национальных гвардейцев, которые и сами не ведают, что там на самом деле. Продавец мне разъяснил, что тот, кто его надоумил на это дело, сообщил ему очень ценную деталь: кабель разрезан на небольшие куски и заложен в старые бочки, а сверху засыпан черным металлоломом —

чугуном и сталью. Это на случай проверки, потому что вывоз черного металлолома разрешен.

У другого весьма уважаемого коммерсанта-каталонца зять служил в «Электрической компании». У этой компании скопились километры старого медного кабеля для линий высокого напряжения. Старый кабель заменили на новый из другого металла. Он уверял, что я могу получить этот кабель, когда захочу, но платить должен наличными. Оказалось, в Венесуэле повсюду лежали груды меди, припрятанные и ревностно охраняемые, которые ждут не дождутся своего покупателя.

Каждый продавец держал в секрете источники меди, но чаще всего он действовал лишь как посредник другого продавца. Первый под большим секретом, только между нами, делал мне неясные намеки на того, второго, но имени его никогда не называл. В общем, игра велась на полном взаимном доверии. Все было окутано завесой тайны.

Я покупал, продавал, снова покупал и снова продавал, устраивая в своей маленькой квартире роскошные обеды для моих будущих покупателей и для продавцов. Рита хлопотала на кухне. Я возомнил себя самым хитрым, самым ловким коммерсантом. Я был приводным ремнем, стержнем всего дела. Покупатели не знали никого, кроме меня, так же как и продавцы.

Я действовал как искусный и коварный дипломат, покупая всех с потрохами (к счастью, в кредит): одних — для того, чтобы в нужный момент получить экспортные лицензии, других — для того, чтобы обеспечить продажу запасов меди различными компаниями только через меня, разумеется за комиссионное вознаграждение.

Для этого мне потребовались все мои способности, все мое время, все средства, оставшиеся в доме после кривоточной катастрофы. Деньги уходили на разъезды, проживание в гостиницах, вино, виски, изысканные блюда, чтобы всех ублажить на самом высоком деловом уровне.

Я устраивал совещания, на которых каждый непреклонно отстаивал свои миллионные прибыли. Доли участников в будущих прибылях были весьма существенны, хоть и неравны. Иногда я устраивал обеды и тайные совещания с покупателями, которые начинали проявлять нетерпение. Случались и еще более тайные —

с друзьями друзей тех друзей, которые могли достать экспортные лицензии в министерстве. Один из посредников предложил мне порт отправки, из которого, по его словам, можно было вывозить что угодно: на груз там закрывали глаза и медь превращалась в свинец, чугун или железный лом. Подсчитывая транспортные расходы, я пришел к выводу, что на каждый регион нужен был свой порт. Для Востока — Гуанта, для Запада — Маракайбо. Короче, чем больше уделять внимания покупателям, тем больше заплатят, а там уж дели свои большие миллионы.

Я почти что преуспел. После очередного памятного ужина, приготовленного Ритой, о котором до сих пор вспоминают некоторые уважаемые коммерсанты из Каракаса, я уточнил со своими основными продавцами детали операции. Все было отрегулировано и согласовано. Оговорили, сколько тонн меди поставит мне каждый, обсудили комиссионные. Установили даты поставки, выбрали тару.

Поскольку со всех сторон все было отлажено и сыграно как по нотам, мне ничего не оставалось, как уточнить через одного армейского офицера, что мне следовало предпринять, чтобы получить «добро» армейского ведомства на выдачу в министерстве экспортных лицензий. Я предоставил ему досье, в котором указывалось количество, качество и происхождение меди.

На следующий день как гром среди ясного неба раздался телефонный звонок и офицер сообщил:

— Мой дорогой друг, я страшно огорчен, но должен сообщить тебе о том, что ты продал больше меди, чем имеется в наличии в Центральной и Южной Америке, вместе взятых.

«Что за ерунда! Он что — дурак? Не хочет заниматься этим делом? Находит его бесчестным или слишком рискованным? Ведь медь-то есть! Иначе быть не может! Завязано столько людей, не могут же все они врать?!»

Но вечером он заявился ко мне с документами в руках и привел неопровержимые доказательства. Мне не пришлось больше сомневаться в реальности катастрофы.

Я надеялся на своих продавцов, они надеялись на своих, а те в свою очередь зачастую были только посредниками между предшествующим и последующим звеном в цепи. Но в последнем звене меди чаще всего никогда и не было, она существовала лишь

в воображении. Очень часто медь служила только приманкой, чтобы провернуть другое дело. Так случилось и с каталонцем, а впрочем, все каталонцы жулики! Ему всучили три дюжины испорченных холодильников, которые никто бы и даром не взял, даже в придачу, но он их купил, потому что ему светило второе дело: ему обещали продать, как пить дать, тридцать тонн меди. Другой мой продавец, венгр, с той же надеждой доверху забил свою квартиру черенками от мотыг. С тех пор при виде дорожных рабочих он только морду воротит.

Я прижал своих продавцов к стенке, но было уже поздно. С этого надо было начинать. Пройдя по всей цепочке, я увидел, что тонны меди превращались в килограммы, а иногда и в фунты. На месте мифического склада оказывалась кучка стреляных гильз от артиллерийских снарядов, сожженных армией на учебных стрельбах, не более того. Подводный телефонный кабель вообще не существовал в природе, равно как и кабель линии высокого напряжения. И вообще не было никаких линий, замененных нефтяной компанией.

Я оказался в тяжелейшем положении. Я не то что опустился, а прямо так рухнул на землю. Да с такой высоты! Истратил за год почти все деньги, успокаивая себя тем, что любые расходы в будущем окупятся с лихвой.

Если кто действительно и существовал в этой истории, так это покупатели. Им я не мог возместить даже понесенных расходов по переводу денежных средств и открытию аккредитивов. С ними у меня не возникло особых конфликтов, ибо они видели, как я сам нажегся. Я допустил только одну ошибку: поверил на слово всем этим людям, всем этим «честным» коммерсантам.

Стоит ли описывать, в каком состоянии я пребывал. За два года меня дважды надули проходимцы. Сначала луноликий янки, а затем деловые люди, с виду честные, а на самом деле продувные бестии!

Я настолько разозлился на самого себя, что однажды заорал в собственной столовой:

— Отныне никаких дел с честными людьми, все они — лжецы и воры! В будущем никаких якшаний ни с кем, кроме настоящих проходимцев! По крайней мере, от них знаешь чего ожидать!

Глава шестнадцатая

ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. ПАБЛИТО

Раздался стук в дверь (звонок не работал), и я пошел открывать в предвкушении, что это кто-нибудь из моих многочисленных продавцов меди, на ком — пусть хотя бы на одном из них — я смогу выместить свою злость, обрушив на него весь свой запас бранных слов, а может, даже поколотить, если он окажется слабаком.

Но на пороге стоял мой лучший друг — полковник Боланьо. Он, как и члены его семьи, всегда называл меня Папийоном. Только они, и никто больше в Венесуэле. Для всех остальных я был Энрике или дон Энрике, в зависимости от того положения, которое я занимал на тот или иной момент. На этот счет у венесуэльцев отличное чутье: они сразу видят, процветаешь ты или на мели.

— Привет, Папийон! Сколько же лет мы не виделись! Наверное, уже больше трех.

— Да, Франсиско, три года.

— Что же не заходишь? Посмотрел бы, как я устроился на новом месте, я ведь недавно построил дом.

— Ты меня не приглашал.

— Друга не приглашают, он приходит сам, когда захочет. Если у твоего друга есть дом, то это и твой дом. Пригласить друга — значит оскорбить его, уравнивать с теми, кто не может прийти без приглашения.

Я не стал возражать, чувствуя, что он прав.

Боланьо обнял Риту, сел и в задумчивости облокотился на стол. Снял полковничью фуражку.

Рита подала ему кофе, а я спросил:

- Как ты узнал мой адрес?
- Это мое дело. А почему ты сам не сообщил мне его?
- Много дел и много забот.
- Забот?
- Предостаточно.
- Значит, не вовремя пришел.
- Почему?
- Хотел попросить у тебя в долг пять тысяч боливаров.

Немного прижало.

- Никак не могу, Франсиско.
- Мы разорены, — сказала Рита.
- Ах, вы разорены? Ты разорен, Папийон? Неужто правда разорен? И у тебя хватает наглости заявлять мне об этом? Ты разорен и скрываешься от меня? Потому и ко мне не заходишь, чтобы не рассказывать о своих бедах?

— Да.

— Ну тогда позволь сказать тебе, что ты мерзавец. Когда у тебя есть друг, то именно ему и рассказывают о своих заботах и от друга должно ждать, что он поможет выбраться из беды. А ты большой мерзавец, потому что и не вспомнил обо мне, своем друге, готовом подставить тебе плечо. Представь себе, о твоих несчастьях я услышал от других. Вот и пришел сюда, чтобы помочь.

Мы с Ритой не знали, куда деться, и от волнения не могли даже говорить. Мы действительно ни к кому не обращались и ничего ни у кого не просили. Хотя многие, кому я оказывал большие услуги, кто был обязан мне даже своим положением в обществе, знали о наших трудностях, никто из них не пришел и не предложил нам хоть чем-то помочь. В основном это были французы, а среди них встречались как порядочные люди, так и проходимцы.

— Говори, что я могу для тебя сделать, Папийон.

— Нужно очень много денег, чтобы открыть новое дело. Только так мы могли бы зарабатывать себе на жизнь. Если у тебя и есть такие деньги, ты не можешь позволить себе одолжить их нам. К тому же вряд ли они у тебя есть, потому что сумма требуется серьезная.

— Так, Рита, одевайся, мы все вместе едем обедать в лучший французский ресторан.

К концу обеда договорились, что я подыщу себе подходящее дело и скажу ему, какая необходима сумма. Наш разговор Боляньо заключил такими словами:

— Если у меня хватит денег — нет проблем, если не хватит — займу у братьев и у зятя. Но, даю слово, ты получишь столько, сколько тебе потребуется.

Всю остальную часть дня до самого вечера мы с Ритой только и говорили что о Франсиско Боляньо, о его чуткости.

— Тогда, на каторге в Эль-Дорадо, он отдал мне свой последний костюм, хотя был еще простым капралом, и только для того, чтобы я прилично выглядел, а сегодня он пришел и протянул нам руку, чтобы мы могли встать на ноги и идти дальше.

Мы заплатили просроченный долг за нашу квартиру, прежде чем перебраться в прекрасный ресторан, удобно расположенный на авеню Лас-Делисиас, все в том же квартале Сабана Гранде. Он назывался бар-ресторан «Габ». Там нас и застал приезд Длинного Шарля.

Шарль де Голль, тогдашний президент Франции, прибыл с официальным визитом по приглашению президента Венесуэлы Рауля Леони.

Каракас, как и вся Венесуэла, отмечал это событие. Не только официальные лица или привилегированные классы, а как я и сказал, вся страна. Простые люди с мозолистыми руками, в соломенных шляпах и холщовой обуви, весь этот добросердечный народ взволнованно ждал Шарля де Голля, чтобы приветствовать его.

В «Габе» имелась малая крытая терраса; сидя там с одним французом, который пытался посвятить меня в тайны производства рыбной муки, я спокойно потягивал аперитив. Француз тихонько рассказывал мне о своем изобретении в этой области, усовершенствованием которого он как раз занимался. Когда на него выдадут патент, можно будет заработать миллионы. По значимости его изобретение можно сравнить с появлением первого кино. Он перешел на шепот и принялся косить глазами в сторону, чтобы придать нашему разговору еще более конфиденциаль-

ный характер и назвать сумму, которую я мог бы вложить в его исследования. Не дурак. Проходимец выражался изысканными словами, позаимствованными не в какой-нибудь Центральной школе, как, например, Клэрво, а в знаменитой Центральной школе Парижа, альма-матер выдающихся инженеров.

Всегда забавно слушать, когда собеседник рассказывает вам истории с единственной целью — навешать вам лапшу на уши. Я настолько увлекся его трепом, что совсем не заметил соседа за другим столиком, наострившего уши и склонившегося в нашу сторону. И не замечал его до тех пор, пока не развернул маленькую записку от Риты, переданную мне через гарсона. Сама Рита стояла за кассой. В записке говорилось: «Не знаю, что ты обсуждаешь с этим типом, но уверена, что твоему соседу очень интересно подслушать ваш разговор. Смахивает на тихаря».

Чтобы отделаться от изобретателя, я настоятельно посоветовал ему продолжать исследования и добавил, что лично я настолько верю в его успех, что незамедлительно вступил бы в дело, если бы у меня были накопления, но, к сожалению, это не так. Он ушел, а я поднялся и, обернувшись, оказался лицом к другому столику.

Там сидел очень крепко сбитый парень, безупречно одетый — галстук и прочее, костюм стального цвета; перед ним стоял стакан аперитива и лежала пачка французских сигарет «Голуаз». Спрашивать о его профессии или национальности не было никакой надобности.

— *Perdone usted, fuma cigarillos franceses?*¹

— Да, я француз.

— А я вас не знаю. Скажите, вы, случайно, не телохранитель при Длинном Шарле?

Крепыш поднялся из-за стола и представился:

— Я комиссар Бельон, отвечаю за безопасность генерала.

— Очень приятно.

— А вы тоже француз?

— Не надо, комиссар, вы прекрасно знаете, кто я, и совсем не случайно сидите на террасе у меня в ресторане.

— Однако...

¹ Извините, вы курите французские сигареты? (*исп.*)

— Не тратьте слов. Одно говорит в вашу пользу: вы намеренно выложили пачку сигарет на стол и сделали это для того, чтобы я с вами заговорил. Да или нет?

— Совершенно верно.

— Еще аперитив?

— О'кей. Я пришел к вам, потому что отвечаю за безопасность президента. С помощью нашего посольства я должен подготовить список подозрительных лиц, которым надлежит покинуть Каракас перед приездом генерала. Этот список будет представлен в Министерство внутренних дел, и оно примет необходимые меры.

— Я тоже в списке?

— Пока нет.

— Что вы знаете обо мне?

— У вас семья, и живете вы честно.

— А еще что?

— Одну из ваших сестер зовут мадам... и живет она в Париже. А другая — мадам... — проживает в Гренобле.

— А дальше?

— Ваш приговор теряет силу за истечением срока давности в следующем году, в июне шестьдесят седьмого.

— Кто вам сказал?

— Я знал об этом еще до отъезда из Парижа, и здешнее консульство тоже поставлено в известность.

— Почему же консул не дал мне знать?

— Официально он не знал вашего адреса.

— Он знал его, когда посылал ко мне французов, оказавшихся в затруднительном положении, чтобы я им помог.

— Это по линии французского землячества, совсем другое дело.

— Может быть. И все же спасибо за хорошую новость. Могу я пойти в консульство и получить официальное подтверждение?

— В любое время.

— Но скажите, комиссар, вы ведь сидите с утра у меня на террасе не для того, чтобы сообщить мне о прекращении моего дела за давностью лет, и не для того, чтобы дать мне знать, что мои сестры не изменили своего адреса? Не так ли?

— Верно. Я пришел, чтобы познакомиться с вами, Папийон.

— Вы знаете только одного Папийона — человека из полицейского досье в Париже, этого сборника лжи и преувеличений, вы знаете его по фальсифицированным протоколам допросов. Вы знаете его из досье, по которому невозможно установить, каким он был раньше, а уж тем более каким он стал.

— Откровенно говоря, я тоже так считаю, с чем вас и поздравляю.

— Вот вы со мной и познакомились. А теперь вы включаете меня в список на выдворение на время пребывания де Голля?

— Нет.

— Прекрасно. Хотите, комиссар, я вам скажу, почему вы здесь?

— Это будет забавно.

— Да потому, что вы рассуждаете так: авантюрист, он всегда ищет способ, как бы урвать деньги. Значит, Папийон, даже если он исправился, по всем меркам авантюрист. Отказаться за солидную сумму самому действовать против де Голля он, пожалуй, может, но чтобы отказаться от тугой пачки за простое соучастие в подготовке покушения — вряд ли.

— Продолжайте.

— Вы попали пальцем в небо, дорогой комиссар. Во-первых, даже за целое состояние я никогда не вяжусь в преступную политическую акцию, тем более против де Голля. А во-вторых, кто может быть заинтересован в организации покушения в Венесуэле?

— ОАС¹.

— Верно. И это не только возможно, но и вполне вероятно. Уж сколько раз оасовцы терпели провал во Франции, а в такой стране, как Венесуэла, им проще простого добиться своего.

— Проще простого? Почему?

— С такой организацией, как у них, оасовцам не надо проникать в Венесуэлу обычным путем, скажем, через морские порты или аэропорты, не говоря уж о береговой линии почти в две тысячи километров. Сухопутные границы страны весьма про-

¹ ОАС — военная нелегальная организация ультраколониалистов, действовавшая во Франции в начале 1960-х годов с целью не допустить предоставления независимости Алжиру. — *Примеч. переводчика.*

тяженны: Бразилия, Колумбия, Британская Гвиана. Они могут перейти их запросто, когда захотят, в любое время. И никто их не заметит, не сможет заметить. Это ваша первая ошибка, комиссар. Но есть и другая.

— Какая? — спрашивает Бельон, улыбаясь.

— Оасовцы, если они такие крутые ребята, как о них говорят, ни за что не станут вступать в контакт с местными французами. Они знают, что полиция непременно выйдет на французов. Поэтому первый шаг предосторожности — на пушечный выстрел не приближаться ни к кому из французов. Не забывайте также, что ни один злоумышленник не остановится в отеле. Здесь сотни людей, готовых сдать комнату кому угодно, не спрашивая документов. Поэтому ребят, готовящих здесь покушение на де Голля, не стоит искать среди французов, как проходимцев, так и добропорядочных.

Мне показалось, что при этих словах улыбка на лице Бельона слегка потускнела. Я почувствовал, что он ушел озабоченный, пригласив меня напоследок навестить его в Париже, когда я смогу туда вернуться. Он дал мне свой адрес на Елисейских Полях. В свое время я наведалься туда и получил ответ: «Такого не знаем». А жаль, было бы забавно вновь повидать комиссара, который проявил ко мне такую корректность. Меня не выдворяли из Каракаса, как других французов, во время пребывания де Голля: впрочем, этот визит прошел без всяких историй.

И как дурак я аплодировал де Голлю.

И как дурак я прослезился при виде президента моей страны.

И как дважды дурак, едва оказавшись в присутствии этого великого лидера, спасшего честь моей родины, я забыл, что эта страна послала меня на вечную каторгу.

И как трижды дурак я готов был дать палец на отсечение, чтобы только пожать ему руку или принять участие в торжественном обеде, данном в посольстве в его честь, на который меня, конечно, не пригласили. Но косвенно преступный мир сумел все-таки взять реванш: на торжество проскользнули несколько бывших французских шлюх, которые, сменив шкуру, если так можно выразиться, благодаря удачному замужеству, вручили охапки цветов восхищенной «тетушке» Ивонне — жене президента.

Я посетил консула, и он зачитал мне извещение о закрытии моего дела за давностью лет в следующем году. Еще год — и я поеду во Францию.

Должен заметить, что ни в начале моей жизни на воле в Венесуэле, ни в последующие годы и ни при каких обстоятельствах я не испытывал неудобств со стороны посольства или консульства. Они меня не беспокоили и не надоедали. За все эти долгие годы ноги моей у них не было, но зато в моем ресторане часто засиживались как посольские, так и консульские сотрудники.

Наше положение быстро улучшалось, и я снова занялся ночными барами, купив «Scotch Club»¹ в Чакаито, на пересечении всех дорог, в самом центре Каракаса. Любопытная история, поскольку я встрял в это дело, чтобы выручить одного беднягу, француза-парикмахера, которого грязные подонки задумали ободрать как липку. Этот жест поборника справедливости в будущем обернется к моей выгоде.

В течение многих лет я перестраивался на ночной образ жизни. Сейчас ночная жизнь Каракаса становится день ото дня все более и более пошлой, теряет свою богемность, которая в прошлом придавала ей шарм. Не тот пошел народ. У новых посетителей не хватает культуры и светскости привилегированного сословия.

Я практически все время проводил на улице, стараясь как можно реже появляться в баре, бродил по городу, по ближайшим кварталам и волей-неволей знакомился с жизнью городских ребят, уличных мальчишек, стайками кочующих по ночному городу в надежде заработать несколько монет, а также с их неистощимой фантазией и изобретательностью, столь обычной за бортом нормальной жизни, если твои родители ютятся в кроличьих клетках. Впрочем, это были не всегда хорошие родители, среди них много встречалось и таких, кто из-за нужды без малейших колебаний эксплуатировал своих детей.

И эти мальчишки отважно шли в ночь, чтобы принести в свой барак ту небольшую сумму денег, которую от них требовали. В этих шайках обретались ребята от пяти до двенадцати лет.

¹ Шотландский клуб (англ.).

Одни чистили обувь, другие стояли у дверей кабаре и предлагали подъехавшему гуляке покараулить его автомобиль, пока он накачивается вином, третьи, опережая швейцара, бросались открывать дверцу подкатившей машины. Тысячи уверток, тысячи унижений, тысячи хитроумных находок, чтобы боливар за боливаром насобирать десятку и к пяти-шести утра принести ее домой.

Разумеется, у меня завелись друзья из их числа, очень достойные и понимающие смысл дружбы. Они не просили меня о помощи сразу и напрямую — только когда уже почти выдыхались, ночь была на исходе, а собрать не удалось почти ничего. Тогда они приходили ко мне.

Наша дружба, почти что сообщничество, была очень трогательна. Частенько, когда мой знакомый клиент собирался сесть в свой большой автомобиль, я просил его не обижать мальчишек. У меня на этот случай была припасена сакраментальная фраза: «Послушайте, сделайте широкий жест! Сотая доля денег, которую вы посадили в этом заведении, очень пригодилась бы бедному мальчонке». В девяти случаях из десяти она срабатывала, и расщедрившийся гуляка отваливал парнишке десять или двадцать боливаров одной купюрой.

Моего лучшего друга звали Паблито. Он был маленький, тощенький, но смелый и дрался как лев с более рослыми и старшими по возрасту. В борьбе за выживание каждый искал свою выгоду, и если посетитель не указывал определенно, кто будет сторожить его автомобиль, то при выходе из бара его монету получал самый шустрый. Из-за этого случались рукопашные схватки, чтобы заставить уважать себя и отстоять то, что тебе принадлежит.

Моему маленькому приятелю нельзя было отказать в уме и смысленности. Читать он научился по газетам, которые иногда продавал. Мог обставить любого в борьбе за право открыть дверцы подкатившей к тротуару машины. Быстрее других выполнял мелкие поручения: приносил бутерброды, кукурузные лепешки или сигареты — все то, чего не было в баре.

Малыш Паблито сражался ночи напролет, чтобы помочь своей бабушке, совсем старенькой, с седыми волосами и выцветшими голубыми глазами. У нее был ревматизм, да такой сильный,

что она совсем не могла работать. Мама сидела в тюрьме за то, что дала бутылкой по голове соседу, который хотел украсть у них радио. Мама была очень красивая. В свои девять лет он оказался единственным кормильцем в семье. Заботился о старенькой бабушке, младших братике и сестричке. Он не хотел, чтобы они выходили на улицы Каракаса ни днем ни ночью. Он был главным в семье, и ему приходилось обо всех заботиться, всех защищать.

И я помогал Паблито, когда у него выдавалась неудачная ночь или когда возникали разные трудности, что бывало довольно часто: то нужны деньги бабушке на лекарство, то нужно нанять такси, чтобы отвезти ее в больницу для бедняков.

— А еще моя бабушка страдает от приступов астмы, Энрике. Ты представляешь, какие это расходы!

Каждую ночь Паблито выдавал мне устную сводку о здоровье своей бабушки. Однажды от него поступила большая просьба: ему нужны были сорок боливаров, чтобы купить бабушке матрац. Из-за астмы бабушка не могла спать в гамаке, врач сказал, что от этого у нее сжимается грудная клетка.

Паблито часто устраивался в моей машине. И вот однажды с ним разговорился постовой, опершись одной рукой на дверцу автомобиля, а другой поигрывая револьвером. Случайно произошел выстрел, и постовой без всякого умысла всадил Паблито пулю в плечо. Мальчишку срочно доставили в больницу и сделали операцию. На следующий день я его навестил. Спросил, где стоит его хибара и как ее найти. Он ответил, что без его помощи найти ее невозможно, а в таком состоянии врач не позволяет ему подниматься с постели.

Ночью я разыскал товарищей Паблито в надежде, что кто-нибудь проводит меня к его бабушке. Замечательная уличная солидарность: все в один голос утверждали, что не знают, где она живет. Я не поверил ни единому слову, поскольку каждое утро на заре они дожидались друг друга, чтобы всем вместе идти в свой квартал.

Я был заинтригован и попросил медсестру дать мне знать, когда Паблито навестит кто-нибудь из родственников или соседей. Я оставил ей номер телефона своей квартиры. Два дня спустя, после звонка медсестры, я приехал в больницу.

- А, Паблито, ну как дела? Ты чем-то недоволен?
- Нет, Энрике, просто спина побаливает.
- А всего несколько минут назад смеялся, — говорит посетительница.
- Вы его родственница, мадам?
- Нет, соседка.
- А как чувствуют себя бабушка и малыши?
- Какая бабушка?
- Бабушка Паблито, конечно же.
- Но у Паблито нет бабушки!
- Вот те на!

Я отвел женщину в сторону. Оказалось, что у него действительно были младшие сестра и брат, но никакой бабушки не было. А мать вовсе не сидела в тюрьме. Она несчастная душевнобольная, неопасная для окружающих, но совершенно безответственная.

До чего же замечательный этот малыш с улиц Каракаса! Ему так не хотелось, чтобы его друг Энрике знал, что мама у него полоумная. Он предпочел бы, чтобы она сидела в тюрьме, но была красивой. Вот он и сочинил небылицу о бабушке-астматичке, чтобы его приятель-француз, помогая ей, на самом деле мог облегчить страдания его матери.

Я вернулся к постели своего дружка, который не смел поднять на меня глаза. Я осторожно приподнял его подбородок. Глаза были закрыты. Наконец, когда он открыл их, я произнес:

— Паблито, *eres un tronco de hombre*¹.

Я незаметно сунул ему купюру в сто боливаров на содержание семьи и вышел счастливый и гордый оттого, что у меня такой друг.

Думаете, Паблито был всего лишь маленьким бродягой с улиц Каракаса? Нет. Это была исключительная душа, закаленная превратностями жизни с первых же своих шагов. Этот девятилетний мальчонка каждую ночь боролся за то, чтобы у его семьи на столе был кусок хлеба.

¹ Ты настоящий мужчина (*исп.*).

Глава семнадцатая

МОНМАРТР. МОЙ СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

В тысяча девятьсот шестьдесят седьмом году истекал срок давности по моему судебному делу. Во Францию я отправился один. Мы не могли оставить наше заведение на кого бы то ни было. Чтобы поддерживать в нем здоровую атмосферу, требовалась сильная рука, мужество и уважение окружающих. Кроме Риты, никто бы не справился. Провожая меня, она сказала:

— Поезжай и обними своих близких, сходи на могилу отца, а потом отправляйся в Израиль и навести мою мать. Она уже совсем стара.

Я въехал во Францию через Ниццу. Несмотря на то что у меня на руках был венесуэльский паспорт и виза французского консульства, я летел рейсом Каракас — Мадрид — Барселона, а затем Барселона — Ницца. Почему Ницца?

Вместе с визой консул выдал мне официальный документ о прекращении дела апелляционным судом Парижа. Но, вручая мне этот документ вместе с визой, консул сказал:

— Подождите, пока я запрошу инструкции из Франции, чтобы выяснить, на каких условиях вы можете вернуться в страну.

Я живо представил себе эту картину. Стоит мне вернуться к консулу, когда он получит ответ из Парижа, как он вручит мне уведомление о пожизненном запрете на пребывание в департаменте Сена. У меня же имелось твердое намерение заехать в Париж.

Таким образом, я избавил себя от подобных уведомлений, ведь, не получив этого документа и не расписавшись в его получении, я ровным счетом ничего не нарушал. Правда, консул, узнав о моем отъезде, мог попросить, чтобы французская поли-

ция вручила мне его по прибытии в парижский аэропорт. Отсюда и два этапа моего путешествия: сначала я прибыл в Ниццу, как если бы летел из Испании.

Тысяча девятьсот тридцатый — тысяча девятьсот шестьдесят седьмой годы. Прошло тридцать семь лет.

Тринадцать из них я провел в сточной канаве, двадцать четыре — на свободе, из них двадцать два — у семейного очага, благодаря которому, став полноправным членом общества, я вел честный образ жизни, хотя и не приучил себя строго соблюдать общепринятую дисциплину.

В тысяча девятьсот пятьдесят шестом я провел со своими родственниками месяц в Испании, затем наступил перерыв в одиннадцать лет, в течение которых благодаря оживленной переписке я поддерживал контакт с моей семьей.

В тысяча девятьсот шестьдесят седьмом я повидался со всеми.

Я вошел в их дом, посидел у них за столом, подержал у себя на коленях их детей и даже внуков. Гренобль, Лион, Канны, Сен-При и, наконец, Сен-Пере, где стоял дом отца и где тетушка Жю, как всегда, была на своем посту. Я заботливо упаковал большие фотографии родителей, с чувством гордости принял отцовские боевые медали, полученные им в тысяча девятьсот четырнадцатом году. Как сокровище я сохранил сберегательную книжку, открытую отцом на мое имя спустя месяц после моего рождения. Там значилось: «Декабрь 1906, Сент-Этьенн-де-Люгдаре, Анри Шарьер, 5 франков». Были вклады в два франка, три франка и даже в один франк. Это был символ любви к своему младенцу, для которого эти франки, пусть он их никогда не снимал, представляли собой миллионы, исчисленные в проявлении нежности к нему.

Я слушал рассказ тетушки Жю о причине безвременной кончины отца. Он сам поливал свой сад и огород, часами таскал воду лейками более чем за двести метров. «Подумать только, дорогой, в его-то возрасте! А мог бы купить резиновый шланг, но куда там! Упрямый, как баран. Соседи никак не хотели платить половину, а он знал, что стоит ему купить шланг — все равно они будут просить разрешения им пользоваться. Вот и таскал свои лейки до последнего дня, пока не сдало сердце».

Я очень живо представлял, как отец несет тяжелые ведра к грядкам с салатом, помидорами и зелеными бобами.

Как он упрямится, не желая покупать тот пресловутый шланг, в то время как тетушка Жю каждый день уговаривает его сделать это.

Представлял, как этот сельский учитель останавливается на дороге, чтобы перевести дух и вытереть носовым платком пот со лба, или дать хороший совет соседу, или преподать урок ботаники одному из своих внуков, присланных к нему на период выздоровления после коклюша или свинки.

Представлял, как он раздает часть своего урожая тем, у кого нет огорода, и шлет посылки во все уголки Франции своим близким и друзьям, чтобы помочь им пережить послевоенные трудности с продовольствием.

Перед тем как пойти на кладбище на могилу отца, я попросил тетушку Жю провести меня по тем местам, где он любил прогуливаться.

Мы прошли с ней теми же путями, теми же каменистыми дорожками, вдоль которых поднимается тростник, растут ромашки и цветет мак-самосейка... И вдруг межевой столб, или пчелы, или вспорхнувшая птица напоминали тетушке Жю о каком-нибудь пустяковом случае из прошлого, взволновавшем некогда их обоих. Тогда она, счастливая, принималась описывать мне тот момент, когда мой отец рассказывал ей, как его внука Мишеля ужалила оса: «Вон там, видишь, Анри? Он стоял как раз там».

На глаза наворачивались слезы, мне хотелось узнать как можно больше, хотелось услышать мельчайшие подробности из жизни отца. Я слушал, восхищенный, и он вставал передо мной словно живой.

«Ты знаешь, Жю, когда мой сын был еще маленьким, лет пяти-шести от силы, мы с ним однажды гуляли, его тоже укусила оса, не один раз, как Мишеля, а два. Он даже не заплакал. И никакими силами нельзя было его удержать от того, чтобы не отыскать осиное гнездо и не разорить его. Храбрый он был, мой Рири!»

Я не поехал в Ардеш и дальше Сен-Пере никуда не ездил.

Мне хотелось вернуться в свою деревню с Ритой, а это будет года через два-три, не раньше.

Все еще переполненный воспоминаниями об этих чудесных минутах, я сошел с поезда на Лионском вокзале. Чемоданы оставил в камере хранения, чтобы не заполнять в гостинице регистрационную карточку. И вот я снова шагал по парижскому асфальту, тридцать семь лет спустя.

Но по-настоящему *мой* асфальт я мог ощутить только в *моем* квартале, на Монмартре. Разумеется, я пошел туда ночью. Папийон тридцатых годов не признавал другого солнца, кроме солнца электрических лампочек.

Вот и Монмартр, площадь Пигаль, и кафе «Ле-Пьерро», и свет луны, и улица Элизе де Бозар, и гуляки, и смех, и шлюхи, и сутенеры, которых посвященный сразу узнает по повадкам, и битком набитые бары, где люди разговаривают между собой, сидя за стойкой на расстоянии трех метров. Но это лишь мое первое впечатление.

Прошло тридцать семь лет, и никто меня не замечал. Да и кто обратит внимание на почти старого (шестьдесят лет) человека? Шлюхи еще могут пригласить меня подняться в номер, да молодые парни могут бесцеремонно отодвинуть мой стакан или совсем неуважительно оттолкнуть локтем с места за стойкой.

Я для них чужак, случайный клиент, какой-нибудь промышленник из провинции, нелепый господин, хорошо одетый и при галстукке, случайно забредший в столь поздний час в бар сомнительной репутации. Впрочем, сразу видно, что он не частый гость в этих краях, и воспринимают его недружелюбно.

Разумеется, я чувствовал себя не в своей тарелке. Люди здесь были уже не те, да и физиономии тоже. С первого взгляда было заметно, что все тут смешалось и перепуталось. Все не то. И фараоны, и лесбиянки, и шулера, и педерасты, и блатные, и опустившиеся на самое дно, и негры, и арабы. Только несколько марсельцев или корсиканцев с южным выговором напоминали мне о прошлых временах. Словом, все совсем не похоже на то, что было мне знакомо.

Не стало даже тех столов, за которыми в мое время всегда собирались группами от семи до десяти человек поэты, художники, артисты, все с длинными волосами, от которых за версту несло богемой, мятежным духом и авангардизмом. А сегодня каждый сопляк носит длинные волосы.

И я брел, как сомнамбула, от бара к бару, поднимался по лестницам, чтобы посмотреть, по-прежнему ли стоят там, на втором этаже, бильярдные столы. Вежливо отказался от предложений гида познакомиться меня с Монмартром. Однако все же спросил у него:

— Вы не считаете, что с тридцатых годов Монмартр потерял ту душу, которая у него была когда-то?

И мне захотелось вlepить ему пощечину, когда своим ответом он нанес оскорбление моему Монмартру:

— Но, мсье, Монмартр бессмертен! Я здесь живу уже сорок лет, я приехал сюда десятилетним ребенком. И поверьте мне на слово, площади Пигаль, Бланш, Клиши и все улицы, идущие от них, вечно пребудут неизменными, так же как и атмосфера, что их наполняет.

Я бросился подальше от этого несчастного идиота, под деревья, что растут на бульваре посередине проспекта. Отсюда, когда видны лишь смутные очертания людей, Монмартр казался таким же, как прежде. Я медленно двинулся к тому месту, где в ночь с двадцать пятого на двадцать шестое марта тысяча девятьсот тридцатого года я якобы убил Ролана Леграна.

Та самая скамья, которую перекрашивали каждый год (эта скамья, из таких толстых досок, вполне могла отстоять тридцать семь лет), оказалась на месте, так же как электрический фонарь, и бар, и каменные дома, и полуоткрытые ставни в доме напротив. «Но говорите, говорите же, вы, камни, древесина, деревья и стекло! Вы видели, вы были здесь тогда, поскольку и сегодня вы на прежнем месте, вы первые, единственные, настоящие свидетели разыгравшейся драмы, и вы прекрасно знаете, что той ночью стрелял не я. Так почему же вы ничего не сказали?»

Мимо проходили безучастные люди, они шли и не замечали шестидесятилетнего мужчину, прислонившегося к дереву, к тому самому, что росло здесь и тогда, когда прозвучал револьверный выстрел.

Мужчина гладил кору дерева и просил у него прощения: всего несколько секунд назад он по глупости упрекал его за то, что оно промолчало, как и другие вечные немые, вечные свидетели жизни людей — камни и деревья Монмартра.

В тысяча девятьсот тридцатом году мне было двадцать три, тогда я вприпрыжку сбегал вниз по улице Лепик, но и сегодня

я еще в состоянии подняться по ней вверх твердым шагом. К счастью, я пока силен физически и пребываю в добром здравии. Я молод. Да, я молод, и действительно надо всегда быть молодым душой и телом, чтобы в минуту эмоционального потрясения не сдохнуть от сердечного приступа или не впасть в безумие и не закричать от избытка чувств.

Я все-таки вернулся против вашей воли, я сдвинул камень с могилы, в которой вы похоронили меня живьем. «Остановитесь, вы, прохожие, страдающие близорукостью, посмотрите на невинного человека, осужденного за убийство в этом самом месте, в окружении этих самых деревьев, этих самых камней. Остановитесь и спросите этих немых свидетелей, пусть они заговорят сегодня. И если вы им как следует поклонитесь, да хорошенько попросите, чтобы они заговорили, то сможете их услышать, как слышу их я. Они вам прошепчут: «Нет, тридцать семь лет назад, в ночь с двадцать пятого на двадцать шестое марта, в половине четвертого утра, этого человека здесь не было». — «А где же он был тогда?» — воскликнут скептики. Все очень просто. Я был в баре «Ирис», в каких-то ста метрах отсюда, в баре «Ирис», куда вбежал какой-то таксист и выпалил: «На улице только что стреляли из револьвера». — «Не может быть!» — сказали фараоны. «Не может быть!» — повторили хозяин бара и официант по подсказке фараонов.

Я снова вижу весь ход расследования, снова вижу судебный процесс. Я не хочу отказываться от встречи с прошлым. «Ты хочешь снова пережить все это, старина? Ты настаиваешь? Минуло почти сорок лет, и ты хочешь воскресить тот кошмар? Тебе не страшно? Ты не боишься, что возврат в прошлое вновь разожжет в тебе уже потухшую жажду мести? Ты уверен в себе, уверен, что, снова окунувшись в грязь, ты не станешь дожидаться утра, когда откроют магазины, чтобы купить чемоданчик, набить его взрывчаткой и отнести сам знаешь куда? Не станешь листать телефонный справочник, чтобы найти номер прокурора? Не станешь разыскивать Гольдштейна? Нет, я абсолютно уверен: ни тому ни другому меня нечего бояться. Пропади они все пропадом, если сами не сдохли и их не сожрали черви.

Ну что же, старина, оживить эту пьесу, достойную кукольного театра, в которой ты играл роль героя и жертвы, будет несложно. Присядь на зеленую скамью, ту самую, что стала свидетелем

убийства, как раз напротив улицы Жермен-Пилон, на бульваре Клиши, недалеко от бара «Клиши», где, согласно расследованию, и разыгралась драма. Уж если ты так упрям, старина Папи, и настаиваешь на том, чтобы двадцатитрехлетний Папийон заново все пережил и рассказал тебе, как это было, — что ж, пожалуйста!»

В ночь с двадцать пятого на двадцать шестое марта, в половине четвертого утра, какой-то человек вошел в бар «Клиши» и спросил мадам Нини.

«Это я», — ответила путана.

«Ваш приятель только что получил пулю в живот. Идемте, он в такси».

Нини спешно последовала за незнакомцем в сопровождении подруги. Она села в такси и увидела на заднем сиденье Ролана Леграна. Нини попросила незнакомца, предупредившего о случившемся, сопровождать ее, но он ответил, что не может, и исчез.

«Скорее в больницу Ларибуазьер!» — велела путана.

Только в пути шофер, русский, узнал, что его пассажир ранен. До этого он ничего не заметил.

Оставив своего клиента в больнице, он быстро направился в полицию, где заявил о случившемся, а именно: его остановили двое мужчин на бульваре Клиши, 17, один держал другого под руку. В машину сел *только Ролан Легран*. Другой попросил шофера подъехать к бару «Клиши», а сам последовал за автомобилем пешком. Он зашел в бар и вышел оттуда с двумя женщинами, а потом исчез; женщины велели шоферу ехать в больницу Ларибуазьер.

«Только в дороге я узнал, что мой пассажир ранен».

Полиция все это тщательно записала, а также занесла в протокол показания Нини, которая заявила, что ее друг всю ночь играл в карты в том же баре, где она занималась своим ремеслом, с каким-то незнакомцем; затем он играл в кости и пил за стойкой опять-таки в кругу незнакомых посетителей. Потом все разошлись, а Ролан ушел последним. Он вышел из бара один. Ничто из заявления Нини не указывало на то, что за ним кто-либо приходил. Он вышел один после того, как неизвестные ушли.

Комиссар Жирарден и инспектор Гримальди беседовали с умирающим Роланом Леграном в присутствии его матери. Мед-

сестры им сказали, что его состояние безнадежно. Я привожу здесь дословно их рапорт и хотел бы заверить всех, что ничего не сочиняю, поскольку он был опубликован в книге, где меня разнесли в пух и прах, с предисловием дивизионного комиссара Поля Ромена. Вот что там написано.

«Два фараона допрашивают Леграна:

— Рядом с вами находится комиссар полиции и ваша мать. Мать для нас самое святое на свете. Скажите правду. Кто в вас стрелял?

— Папийон Роже, — отвечает он.

Мы попросили его поклясться, что он говорит правду.

— Да, мсье, я сказал вам правду.

Мы удалились, оставив мать наедине с сыном».

Таким образом, было ясно как божий день, что двадцатитрехлетний парень, стрелявший в ночь с двадцать пятого на двадцать шестое марта, был Папийоном Роже.

Ролан Легран был сутенером. Он эксплуатировал свою подружку Нини, с которой жил на улице Элизе де Бозар, 4. По сути, он даже не был членом преступного мира, но, как и все заведомо Монмартра, как и все, кто соприкасался с преступной средой, он знал нескольких Папийонов. И, опасаясь, что полиция вместо убийцы может арестовать другого Папийона, он вместе с кличкой назвал и его настоящее имя. И хотя он всю жизнь занимался сутенерством, ему, как и всякому французу, хотелось, чтобы полиция наказала его врага. Короче, он назвал не только марку машины, но и точно указал номерной знак. Да, Папийон, но Папийон Роже.

И снова события давних лет навалились на меня в этом злощастном месте. Они и раньше проворачивались у меня в голове тысячи раз. Мои адвокаты дали мне возможность ознакомиться с делом. Времени в камере было достаточно, и я выучил его наизусть, словно Библию, перед судом присяжных.

Итак, в деле имелось предсмертное заявление Леграна и показания его девчонки Нини. Никто из них не указывал на меня как на убийцу.

На сцене появляются четыре человека. В ту ночь они побывали в больнице Ларибуазьер, чтобы выяснить:

1. Действительно ли был ранен Ролан Легран?
2. В каком состоянии он находился?

Предупрежденная полиция немедленно бросилась их разыскивать. Поскольку они не принадлежали к преступному миру, им незачем было прятаться. Они пришли пешком и так же ушли. Их арестовали на бульваре Рошешуар и доставили в комиссариат.

Вот их имена:

Гольдштейн Жорж, двадцати четырех лет;

Дорен Роже, двадцати четырех лет;

Журмар Роже, двадцати одного года;

Кап Эмиль, восемнадцати лет.

Их показания были взяты по горячим следам и запротоколированы в комиссариате в день убийства. Все четко и ясно.

Гольдштейн заявил, что он услышал разговор в толпе. Говорили, что ранен парень по имени Легран *тремя выстрелами* из револьвера. Подумав, что им мог оказаться его друг Ролан Легран, бывавший в этих местах, он пошел в больницу пешком, чтобы все разузнать. По дороге ему повстречался Дорен, потом еще двое, и он их попросил пойти вместе с ним. Последние трое ничего не знали об этом деле и не были знакомы с жертвой.

— Вы знаете Папийона? — спрашивает комиссар Гольдштейна.

— Немного. Встречал несколько раз. Он знает Леграна. Это все, что я могу сказать.

— Ну и что из того? Что значит Папийон? На Монмартре их пять или шесть. Не волнуйся, Папи.

Вспоминая все это, я опять представляю себя двадцатитрехлетним парнем. Я сижу в камере тюрьмы Консьержери и перечитываю свое дело.

Показания Дорена:

«Гольдштейн попросил проводить его до больницы Ларибуазьер, чтобы справиться о состоянии его товарища, имени которого он не называл. Мы с Гольдштейном вошли в больницу вместе, и тот спросил, тяжело ли ранен госпитализированный Легран.

— Вы знаете Леграна? Вам что-нибудь говорит имя Папийон Роже? — спрашивает его комиссар.

— Я не знаю Леграна ни по имени, ни в лицо. Знаю одного парня, которого зовут Папийон. Случалось видеть его на буль-

варе. Его многие хорошо знают и боятся. Мне с ним разговаривать не приходилось. Больше ничего не знаю».

И ни слова о Папийоне Роже.

Журмар заявил, что Гольдштейн по выходе из больницы, куда он заходил вместе с Дореном, сказал ему: «Так и есть, это мой приятель».

Значит, пока он не сходил в больницу, он точно не знал, кто ранен?

«Комиссар:

— Вы знаете Папийона Роже и человека по имени Легран?

— Я знаю одного Папийона. Он часто бывает на площади Пигаль. Но в последний раз я его видел месяца три назад».

То же самое и с четвертым мошенником. Он не знает Леграна. Папийона знает, но так — только в лицо.

Мать Леграна в своих первых показаниях подтвердила, что сын говорил о Папийоне Роже.

Только после этих первых заявлений и закрутилось грязное дело. А до этого все было ясно, честно и точно. Никаких разглаговольствований, никаких фараонов. Главные свидетели дали свои показания участковому комиссару полиции откровенно и свободно. Им не подсказывали, не угрожали и не внушали, что и как надо говорить.

Вывод: в баре «Клиши», где находился Ролан перед началом драмы, не было никого, кроме незнакомых посетителей. Будь то картежники или игроки в кости, они знакомые Ролана. Для остальных они неизвестные люди. И вот что было странно и очень настораживало: они так и остались неизвестными до самого конца.

Второй момент: Ролан Легран, согласно заявлению его девчонки, вышел из бара последним и в одиночестве. Никто за ним не приходил. Почти сразу же после выхода его ранил какой-то неизвестный, которого он совершенно точно называл на смертном одре Папийоном Роже. Тот, кто приходил предупредить Нини, — еще один неизвестный, и он тоже остался неизвестным до конца. Однако это он помог Леграну сесть в такси сразу же после выстрела. Сам неизвестный не стал садиться в машину,

а шел следом до бара, где он собирался предупредить Нини. И этот ключевой свидетель так и остался неизвестным, хотя все его действия доказывали, что он из преступного мира, с Монмартра, и, следовательно, известен полиции. Поразительно!

Третий момент: Гольдштейн, который впоследствии станет главным свидетелем обвинения, не знал, кого именно ранили. Он пошел в больницу Ларибуазьер, чтобы выяснить, не его ли это друг Легран.

Единственным ключом к тому Папийону было то, что его звали Роже и его боялись.

«В двадцать три года, Папи, ты был грозен и опасен? Нет еще, но, пожалуй, вполне мог таким стать». То, что я был тогда «плохим мальчиком», это определено, но верно и то, что в двадцать три года (пусть задумаются те, у кого есть сыновья такого возраста) из меня еще не мог сложиться раз и навсегда определенный тип человека. За два года пребывания на Монмартре я, конечно же, не мог стать ни главарем банды, ни пугалом площади Пигаль. Правда, я нарушал общественный порядок, меня подозревали, что я принимал участие в некоторых крутых делах, но на этот счет не было никаких доказательств. Верно и то, что меня несколько раз «приводили» на набережную Орфевр, 36, но вытянуть из меня ничего не удавалось — никаких признаний, никаких имен. Верно и то, что после трагедии моего детства, после «красивой» службы на флоте, после того, как администрация отказала мне в нормальной гражданской карьере, я решил жить вне общества марионеток и хотел, чтобы оно об этом знало. Верно и то, что каждый раз, когда меня приволакивали на набережную Орфевр и устраивали мне «жаркий прием» по поводу какого-нибудь серьезного преступления, полагая, что в нем замешан и я, своих мучителей я оскорблял и унижал любым возможным способом, говоря им, что придет день и я стану таким же позорником, как и они, и тогда уж они от меня не уйдут. Разумеется, оскорбленные до глубины души и униженные полицейские могли говорить: «Этому Папийону надо подрезать крылья при первом удобном случае».

И все же мне было всего двадцать три! Моя жизнь складывалась не только из негодования и затаенной злобы против общества, против обывателей, подчиняющихся дурацким правилам,

но также из постоянных озорных забав, смешных походов, искрометного веселья. Правда, совершались и серьезные проказы, но совсем незлые. Кроме того, когда меня замели, в досье, заведенном на меня полицией, значился единственный судебный приговор: четыре месяца условно за хранение краденых вещей. Неужели я заслуживал быть вычеркнутым из жизни только за то, что издевался над полицейскими и однажды мог стать опасным? Мыслимое ли это дело!

Если бы Венесуэла отнеслась ко мне подобным образом, я бы никогда не получил там убежище и тем более гражданство. Ведь мне тогда уже стукнуло тридцать восемь, я был уже посильнее и покруче, а моя визитная карточка выглядела весьма непривлекательно: в двадцать четыре года приговорен к пожизненной каторге за убийство, два побега, опасен.

Все неприятности для меня начались, когда за дело взялась криминальная полиция. Бросились искать Папийонов. А меня звали Папийоном с двадцати лет. С этой кличкой я расстался только в Венесуэле. Быть может, она еще вернется ко мне.

В общем, по всему Монмартру пополз слух, что ищут Папийонов: Малыша Папийона, Пуссини Папийона, Папийона Доходягу, Папийона Роже и так далее.

Меня звали просто Папийон или, чтобы не перепутать, Папийон Оторванный Палец, хотя мое настоящее имя было Анри Антуан. Но, несмотря на это, мне не захотелось вступать в какие-либо отношения с полицией, и я быстро смотался. Рванул без оглядки.

«А почему ты сбежал, Папи, ведь не ты же стрелял?»

Только сейчас задаешь себе этот вопрос? В шестьдесят лет поглупел? Или ты забыл, сколько раз тебя таскали на набережную Орфевр и там пытали? Помнишь, ты ведь не испытывал никакого удовольствия, когда по тебе прохаживались кулаки полицейских. Тебе очень не нравилась их изобретательность в области пыток: «лохань», куда запихивали твою голову и держали под водой до тех пор, пока ты не начинал задыхаться, а потом даже не понимал, жив ты или мертв; «крутые яйца», когда твою мошонку закручивали пять-шесть раз и ты неделями ходил враскорячку с распухшими колоколами, как аргентинский пастух из пампас, долго не слезавший с лошади; «зажим для бумаг»,

когда так прижмут тебе ногти, что из кончиков пальцев брызжет кровь, а сами ногти совсем отваливаются; «пляска резиновых дубинок», когда тебе так отбивали легкие, что ты начинал харкать кровью; «трамплин» — когда эти хряки под восемьдесят — сто килограммов так прыгали на твоём животе, что прямо дух вон. Может, хватит? Или у тебя с годами совсем отшибло память? У меня была не одна, а целых сто причин, чтобы бежать. Правда, бежать недалеко, потому что я не был виноват. Не было никакой необходимости удирать за границу. Чуть подальше от Парижа — и вполне достаточно. Пройдет время, кого надо арестуют или, во всяком случае, выяснят, кто такой Папийон Роже, тогда можно будет взять такси — и ты снова в Париже! И все! Твои яйца, ногти и другие части тела — в безопасности.

Только полиции не удалось установить, кто такой этот Папийон Роже. Виновного не нашли.

И вдруг он появился, словно из волшебного ящика фокусника. Тот самый Папийон Роже? Зачем такие сложности? Просто Папийон! Вычеркнули Роже — и получился Папийон, Мотылек — кличка Анри Шарьера. Игра сыграна, осталось только собрать доказательства. Побоку честное дознание в поисках истины, к чертям беспристрастность, охотникам нужна картина, которую они желают видеть. Началась фабрикация, подтасовка фактов, и на свет родился преступник.

Представим себя на месте полицейских. Что им нужно было для того, чтобы заслужить продвижение в нашей благородной и честной карьере? Раскрытие убийства! А клиент подходил по всем статьям. И для начальства, которое им доверяло, и для судебного следователя, который вел дело, и для дюжины присяжных вонючек, которые дадут ему от силы червонец. Он был молод, смахивал на сутенера. Да и девица его сошла бы за шлюху. Вор. Имел несколько приводов. Но его либо отпускали за отсутствием улик, либо оправдывали по суду. Только раз вlepили четыре месяца за сокрытие краденого, да и то условно.

Вдобавок ко всему этот парень доставлял им много хлопот, посылал их куда подальше, когда его арестовывали, насмехался, оскорблял, звал своего щенка Кьяпом (фамилия тогдашнего префекта парижской полиции) и угрожал: «Вы бы полегче со своей „обработкой“, если хотите дотянуть до пенсии». Эти

угрозы с намеком на возмездие за применение «современных» и «продуманных» средств при допросах не могли их не беспокоить.

«Так что милости просим к нам, голубчик. Так-то будет лучше, и нам спокойнее».

Тут для Папи началось самое печальное. В апреле, десятого числа, через три недели после убийства, в Сен-Клу, на него как снег на голову свалились два паршивых фараона, в то время как он спокойно поедал устрицы.

Поспели в самый раз, ничего не скажешь! Сколько энергии, настойчивости, напора, страсти, сколько дьявольской хитрости, чтобы однажды нагряться и подвести его под суд присяжных, чтобы нанести ему хлесткий удар, от которого он сможет оправиться только через тринадцать лет!

Что это — схватили убийцу, пристукнувшего другого мерзавца из преступного мира? Да нет же! Попался громила, угробивший банкира или честного отца семейства. А если и не так, то дело надо сфабриковать!

Ох, как же нелегко им было превратить Папи в преступника! Но инспектор криминальной полиции Мэйзо, который вел дело, специалист по Монмартру, так ожесточился против него, что повел открытую войну с его защитниками и воевал с ними даже в суде, о чем писали тогда газеты. Оскорбления, жалобы, удары ниже пояса. Проклятый Мэйзо старался вовсю, у него под рукой был толстячок Гольдштейн, сын суконщика, сопляк, готовый лизать подметки у настоящих преступников в надежде, что однажды его могут принять за своего. До чего ж послушный этот Гольдштейн! Мэйзо (он сам скажет об этом на суде) не раз случайно встречался с ним во время следствия. И этот ценный свидетель заявил, что в день убийства он слышал, как в толпе говорили, будто некий Ролан получил три пули в живот, и что он пошел в больницу, чтобы выяснить, кто был жертвой и насколько опасна рана. Соответственно перекроили свои заявления и три его приятеля, не имевших к делу никакого отношения. Тот же Гольдштейн, после неоднократных контактов с Мэйзо, более чем через три недели после преступления, а именно восемнадцатого апреля, заявил, что в ночь с двадцать пятого на двадцать шестое марта, до убийства, он встретил Папийона (меня)

в сопровождении двух неизвестных (опять неизвестных?). Папийон спросил его, где находится Легран. Гольдштейн: «В „Клиши“». Папийон ушел, а Гольдштейн тут же помчался предупредить Леграна. Пока он разговаривал с Леграном, один из сопровождавших Папийона парней вошел в бар и попросил Леграна выйти на улицу. Он тоже вскоре вышел и увидел, что Папийон и Легран спокойно беседуют. Но Гольдштейн не стал задерживаться и ушел. Затем он снова вернулся на площадь Пигаль и опять встретил Папийона, который ему сказал, что он только что уложил Леграна и попросил его сходить в больницу Ларибуазьер и выяснить, в каком тот состоянии, и, если еще жив, посоветовать ему держать язык за зубами.

Да уж, Папи представили в суде как очень опасного человека, умного и хитрого, а значит тем более опасного, сделали из него чуть ли не главаря преступного мира. На самом деле выходило, что он настоящий мудака: стреляет в парня прямо на бульваре и остается *на месте преступления*, возле площади Пигаль, поджидая, когда мимо снова прошествует Гольдштейн. Нет, он даже не отправился в другой квартал перевести дух, не уехал за город. Он остался стоять на месте, как верстовой столб на проселочной дороге в Ардеше, делая все возможное, чтобы поскорее объявилась полиция и спросила у него, как идут дела.

Сам же Гольдштейн, утверждавший, что хорошо меня знает, вовсе не был дураком. На следующий день после своего заявления он смотался в Англию.

А я тем временем твердо стоял на своем и защищался как сущий дьявол: «Гольдштейн? Не знаю такого. Вполне допускаю, что мог его видеть, даже перекинуться с ним парой слов, как это бывает между людьми, часто посещающими одно и то же место, но в то же время не ведающими, с кем они разговаривают». И действительно, мне никак не удавалось приладить рыло к этому имени вплоть до первой очной ставки, когда я едва-едва его опознал. Я был настолько поражен, что какой-то незнакомый мне сопляк выдвигает против меня такое аргументированное обвинение, что невольно задался вопросом: какое же преступление он мог совершить — мелочь, разумеется, судя по его ничтожеству, — что полиция вертит им как хочет? Я до сих пор

задаю себе этот вопрос. Сексуальные извращения или наркомания?

Без него самого, без его последующих показаний, каждый раз добавлявших новые кирпичики в здание, что воздвигалось полицией, без тех заявлений, которые широко распахивали двери для всякого рода «знаете, говорят, что...», ничего не вышло бы. Ровным счетом ничего.

Он говорил: «Я слышал, что мадам такая-то сказала...» Идут к мадам такой-то, а та в свою очередь заявляет, что вполне могло быть, что... и так далее. Из всех этих «может быть» и «возможно», сказанных людьми, которым докучали фараоны, складывалась бóльшая часть моего дела.

И тут произошло нечто такое, что поначалу могло показаться просто чудом, но что впоследствии обернулось чрезвычайно опасным событием, прямо-таки фатальным. Полиция провернула дьявольскую махинацию, поставив волчий капкан, куда я и влетел со всего размаху вместе со своими адвокатами. Помышляя о спасении, я рыл себе могилу. Поскольку в досье ничего неопровержимого против меня не было, то и дальнейшие показания Гольдштейна выглядели неправдоподобными. Настолько все было шатко, что для приписываемого мне убийства не хватало даже такого пустяка, как мотив преступления. Не имея причины для неприязни к жертве и будучи в здравом уме, я оказался в этом деле столь же уместным, как, скажем, волос в супе. Любой суд, составленный даже из самых последних тупиц, не мог этого не заметить.

И тогда полиция изобрела мотив. Его предоставил свинья в полицейской форме, инспектор Мазилье, утюживший Монмартр уже десять лет.

Один из моих защитников, мэтр Беффе, часто посещал Монмартр в часы досуга. И вот однажды он встретил там этого фараона, который заявил, будто ему доподлинно известно, что произошло на самом деле в ночь с двадцать пятого на двадцать шестое марта и что он готов дать на суде соответствующие показания, которые, несомненно, будут в мою пользу. Мы обсудили этот вопрос и пришли к выводу: либо Мазилье заела профессиональная честность, либо, что более вероятно, между ним и Мэйзо существует некое соперничество.

И мы заявили его свидетелем. *Сами*.

Но такого заявления от Мазилье мы никак не ожидали. Он сообщил, что хорошо меня знает, что я оказал ему немало услуг, и добавил: «Благодаря информации, которой снабжал меня Шарьер, мне удалось провести ряд арестов. Обстоятельства, относящиеся к убийству, мне неизвестны. Однако я слышал (боже, сколько таких вот „я слышал“, „мне говорили“ было на моем процессе!), что Шарьер был на ножах с некоторыми неизвестными мне лицами (так-так, дальше!), упрекавшими его за связи с полицией».

Вот вам и причина убийства! Я «замочил» Ролана Леграна во время разборки за то, что тот разнес по всему Монмартру о моем стукачестве.

И когда же выступил со своим заявлением инспектор Мазилье? Четырнадцатого апреля. А когда Гольдштейн дал другие показания, полностью перечеркнувшие те, что были даны в день убийства? Восемнадцатого апреля, через четыре дня после Мазилье.

Но в отличие от судебного следователя Роббе, сидевшего с самого начала в кармане у полиции, другие члены суда не были готовы проглотить месиво, приготовленное фараонами. Оно оказалось настолько несъедобным, что разразился первый скандал.

Когда суд первой инстанции ознакомился со всей этой стряпней, массой слухов, лжи, показаний, сделанных по подсказке или под давлением, он почувствовал, что в деле не все гладко. Так что, Папи, хотя ты часто сваливаешь всех в одну кучу: судей, фараонов, присяжных заседателей, администрацию тюрем и лагерей как одного поля ягоды — ты должен все же признать и порадоваться тому, что среди них попадались в высшей степени порядочные служители правосудия.

В результате суд первой инстанции отказался отправить мое дело в суд присяжных и вернул его на доследование.

Ярость полиции не знала границ. Везде искали свидетелей. В тюрьме — среди тех, кто вот-вот должен был выйти на волю, а также среди только что освободившихся. Прибавьте сюда разного рода «мне сказали», «я слышал», «кажется, что...». И так до бесконечности. Но доследование ничего не дало, абсолютно ничего, ни малейшего намека на новую и серьезную улику.

Наконец, так и не приготовив ничего свежего, кроме скверной рыбной похлебки, в которой мелкая речная рыба, выловленная в мутной воде, должна была сойти за первоклассную средиземноморскую, они отправили мое дело в суд присяжных.

И тут раздался второй удар грома. Такое крайне редко происходит в судебном мире: прокурор, государственный обвинитель, роль которого и личная заинтересованность состоят в том, чтобы защищать общество, продвигаться по службе, отправляя как можно больше обвиняемых за решетку, этот прокурор, которому передали мое дело, чтобы выступить с обвинением против меня, поднял его со стола, словно пинцетом, кончиками пальцев и положил обратно со словами: «Я не собираюсь выступать обвинителем по этому делу. Оно с душком и шито белыми нитками. Поручите это кому-нибудь другому».

В тот день лицо мэтра Раймона Юбера светилось от удовольствия, когда он сообщил мне в Консьержери эту сногшибательную новость!

— Представьте себе, Шарьер, ваше дело настолько хлипкое, что в суде разразился настоящий скандал: прокурор, заметьте, отказался выдвигать против вас обвинение и предложил передать дело другому!

...Сегодня вечером на скамье бульвара Клиши было свежо. Я сделал несколько шагов назад и вперед под сенью деревьев. Не хотел выходить на свет, опасаясь потерять луч волшебного фонаря, доносящего до меня картины и образы тридцатисемилетней давности. Я поднял воротник плаща, чуть сдвинул шляпу на затылок, чтобы проветрился череп, разгоряченный и вспотевший от воспоминаний. Затем я снова сел, закинул полы плаща на колени и, повернувшись спиной к проспекту, взялся за спинку скамьи обеими руками. Точно так же держался я руками за барьер ограждения для подсудимых на своем первом процессе в июле тысяча девятьсот тридцать первого года.

Ведь у меня был не один процесс. Их было два.

Как же они отличались друг от друга! Первый состоялся в июле, второй — в октябре.

Все шло слишком хорошо, Папи! И зал суда поначалу не был кроваво-красным. Ничего похожего на скотобойню, скорее — огромный будуар. В свете чудесного июльского дня занавеси,

ковры, мантии судей выглядели почти бледно-розовыми. И улыбающийся председатель суда, добрый, как ребенок, и слегка скептический. Не очень-то доверял он тому, что было написано в деле. Это следовало из его вступительного слова на открытии заседания:

— Шарьер Анри, поскольку обвинительное заключение ни в коей мере не отвечает тому, что мы желали бы в нем найти, будьте добры сами изложить свое дело членам суда и присяжным заседателям.

«Потрясающий случай, неслыханный, неожиданный. Такой выпадает один раз на тысячу, и вот он представился тебе, Папи. Воспользуйся им! Председатель суда просит обвиняемого изложить свое дело! Хорошо ли запомнился тебе тот щедрый на солнце июльский суд, те замечательные судьи? Это было чересчур хорошо, Папи. Судьи вели процесс беспристрастно, председатель спокойно и честно занимался поиском истины, задавал обескураживающие вопросы полицейским и свидетелям, заставляя Гольдштейна вертеться словно угорь на сковородке, в результате чего обнажались противоречия в его показаниях. Председатель разрешил мне и моим защитникам по ходу разбирательства задавать самые щекотливые вопросы противной стороне. Это было слишком хорошо! Я не устану повторять тебе, Папи, что это было правосудие, освещенное солнцем, как если бы судьи решили провести праздничное судебное заседание, приняв мою сторону из-за несуразниц в сомнительных показаниях еще более сомнительных полицейских.

Тогда ты мог бороться и защищаться, Папи. Бороться с кем? Таких хватало, их было в избытке».

Мой главный свидетель — мать потерпевшего — уже обработан фараонами. Не думаю, что она сделала это из злого умысла, она поступила так бессознательно, принявшись выдавать инсинуации полиции за свои собственные.

Мать уже не заявляла, что слышала в присутствии комиссара полиции: «Папийон Роже». Теперь она утверждала, будто Легран добавил (когда?), что один из его друзей, Гольдштейн, хорошо знает Папийона. Сегодня она показывала, что слышала: «Это Папийон, Гольдштейн его знает». Она забыла про «Роже» и добавила: «Гольдштейн его знает». Таких слов не слышали ни

комиссар Жерарден, ни инспектор Гримальди. Очень странно, когда комиссар полиции не замечает и не записывает столь важные вещи, не так ли?

Мэтр Готра, представлявший интересы потерпевшей стороны, предложил мне попросить прощения у матери жертвы. И я сказал ей:

— Мадам, мне не за что просить у вас прощения, поскольку я не убивал вашего сына. Единственное, что я могу сделать, — это посочувствовать вашему горю.

Но комиссар Жирарден с инспектором Гримальди не изменили своих первоначальных показаний. Легран сказал: «Это Папийон Роже». И все.

И тогда появился вечный свидетель, который был хорош под любым соусом, Гольдштейн. Этот свидетель — настоящая патефонная пластинка, сработанная на набережной Орфевр, 36. Он давал пять или шесть показаний, обвинение строилось на трех. Каждое его заявление усиливало выдвинутое против меня обвинение, и неважно, что они противоречивы. По сути каждое из них являлось новым кирпичиком в том здании, которое соорудила полиция. Я снова вижу этого свидетеля, как если бы все происходило сегодня. Он говорит тихо и едва поднимает руку, произнося «я клянусь». Когда он заканчивает давать показания, мэтр Беффе сразу же переходит в атаку:

— Прежде всего, скажите, Гольдштейн, сколько раз вы «случайно» встречали инспектора Мэйзо, который сам заявляет, что «случайно» встречался и разговаривал с вами об этом деле много раз? Странно, Гольдштейн. Сначала вы утверждаете, что вам ничего не известно о деле, затем — что вы знаете Папийона, потом — что вы встречались с ним в ночь преступления перед совершением преступления, далее — что он послал вас в больницу Ларибуазьер узнать, как обстоят дела у Леграна. Как вы сами объясните столь разные показания?

Ответ Гольдштейна свелся к повторению:

— Я боялся, потому что Папийон на Монмартре был крайне опасен.

Я сделал протестующий жест, и председатель обратился ко мне:

— Обвиняемый, у вас есть вопросы к свидетелю?

— Да, мсье председатель.

Я посмотрел прямо на Гольдштейна:

— Гольдштейн, повернитесь ко мне, посмотрите мне в лицо. Что это за мотив, который заставляет вас врать и возводить на меня напраслину? Какое преступление, известное Мэйзо, вы отработываете, выдвигая против меня эти лживые обвинения?

Негодяй посмотрел мне в глаза, весь дрожа, но все-таки внятно произнес:

— Я говорю правду.

Жаль, что я не мог тогда убить этого мерзавца! Я повернулся к суду:

— Господа судьи! Господа присяжные! Прокурор утверждает, что я находчив, умен и хитер, но показания свидетеля говорят об обратном. В свете его заявлений я выгляжу полным идиотом, что и собираюсь вам доказать. Если ты признаешься кому-то в том, что совершил тягчайшее преступление, скажем только что убил его друга, и если ты умный человек, то такое признание можно сделать только тому, кого ты хорошо знаешь. И нужно быть круглым идиотом, чтобы признаться в содеянном незнакомому человеку. А Гольдштейн мне незнаком. — И, повернувшись к Гольдштейну, я продолжаю: — Пожалуйста, Гольдштейн, назовите кого-то в Париже или во Франции, кто может сказать, что он хотя бы раз видел нас с вами за беседой.

— Я не знаю никого, кто бы это засвидетельствовал.

— Правильно. Назовите, пожалуйста, хотя бы один ресторан, бар или бистро на Монмартре, в Париже, в целой Франции, где мы ели или пили хотя бы однажды.

— Я никогда не ел и не пил с вами.

— Очень хорошо. Вы говорите, что, когда встретили меня первый раз той злополучной ночью, со мной были еще двое. Кто они такие?

— Я их не знаю.

— И я не знаю, между прочим. Скажите, только быстро и не раздумывая, куда я вас просил прийти с ответом, когда давал вам поручение сходить в больницу, и называли ли вы то место тем, кто вас сопровождал? Если нет, то почему?

Ответа нет..

— Отвечайте, Гольдштейн. Почему вы не отвечаете?

— Я не знал, где вас искать.

Мэтр Раймон Юбер:

— Значит, мой клиент посылает вас с очень важным поручением — узнать, в каком состоянии находится Ролан Легран, — и вы не знаете, куда вам идти с ответом? Это так же смешно, как и неправдоподобно.

«Да, Папи, это было совершенно неправдоподобно; и тем более прискорбно, что все обвинение позволялось строить на последовательных и с каждым разом все более отягчающих мою вину показаниях этого несчастного подонка, к тому же совсем не умного и не способного, даже при всей натасканности в полиции, быстро отвечать на вопросы».

Председатель суда:

— Шарьер, полиция утверждает, что вы убили Леграна, потому что он называл вас осведомителем. Что вы можете сказать на это?

— Я шесть раз имел дело с полицией, и каждый раз меня освобождали за отсутствием улик или состава преступления. И только однажды меня осудили на четыре месяца условно. Никогда меня не арестовывали вдвоем с кем-нибудь, и никогда никого не арестовывали из-за меня. Вряд ли можно предположить, что, будучи в руках полиции, я молчу, а когда оказываюсь на свободе, доношу на своих друзей.

— Инспектор полиции утверждает, что вы ходите у него в осведомителях. Попросите войти инспектора Мазилье.

— Я заявляю, что Шарьер был моим осведомителем и помог мне арестовать многих весьма опасных лиц. Об этом были разговоры на Монмартре. Что касается дела Леграна, то мне о нем ничего не известно.

— Что вы на это скажете, Шарьер?

— По совету моего адвоката мэтра Беффе, который сказал мне, что инспектор знает правду об убийстве Леграна, я заявил его в качестве свидетеля. Но теперь я вижу, что мы вместе с моим защитником угодили в страшную ловушку. Когда инспектор Мазилье предложил свои услуги мэтру Беффе, он утверждал, что знает все по делу об убийстве. Мой защитник ему поверил, так же как и я. Мы полагали, что либо он честный полицейский,

либо между ним и Мэйзо существует какое-то соперничество, что побуждает его дать показания о преступлении. А теперь, как вы видите сами, этот полицейский говорит, что ничего не знает о драме.

Зато стало совершенно очевидно, что показания инспектора предоставили наконец мотив, столь необходимый моему предполагаемому преступлению, — мотива как раз явно не хватало. В самом деле, заявление полицейского, словно манна с небес, упало на здание обвинения и спасло его от разрушения. Кроме того, оно придало обвинительному заключению некоторое основание, без которого оно бы непременно рассыпалось.

Не было никаких сомнений, что без помощи Мазилье обвинительное заключение развалилось бы на части, несмотря на все усилия инспектора Мэйзо. Маневр казался настолько очевидным, что приходилось удивляться, как еще обвинение может за него цепляться.

Я продолжал сражаться:

— Господа судьи, господа присяжные, окажись я на самом деле доносителем полиции, получилось бы одно из двух: или я вовсе не убивал бы Леграна за то, что он назвал меня стукачом, ибо человек, павший так низко, проглатывает подобные оскорбления не моргнув глазом, или если бы, придя в ярость, я стрелял в Леграна, то будьте уверены, что тогда полиция сыграла бы свою игру: она воздержалась бы от столь яростного и неуклюжего преследования стукача, потому что я был бы ей весьма полезен. Более того, полиция закрыла бы глаза, представив все это дело как сведение счетов между двумя шишкобоями из известного мира, даже пошла бы на трюк, выставив меня обороняющейся стороной в пределах допустимой самозащиты. Можно привести множество примеров такого рода, но, к счастью, это не мой случай. Мсье председатель, могу я задать вопрос свидетелю?

— Да.

Зная, к чему я клоню, мэтр Раймон Юбер обратился к суду с просьбой освободить инспектора Мазилье от необходимости соблюдения профессиональной тайны, без чего он не мог бы мне отвечать.

Председатель:

— Суд силой своей дискреционной власти¹ освобождает инспектора Мазилье от соблюдения профессиональной тайны и просит его в интересах истины и правосудия ответить на вопрос, который собирается задать ему обвиняемый.

— Мазилье, назовите, пожалуйста, хотя бы одного человека во Франции, в ее колониях или за границей, которого вы арестовали по моей наводке.

— Я не могу отвечать.

— Вы лжец, инспектор! Вы не можете отвечать, потому что такого никогда не было!

— Шарьер, будьте сдержанны в выражениях, — сказал мне председатель суда.

— Мсье председатель, я защищаю здесь две вещи — мою жизнь и мою честь.

Но инцидент не получил дальнейшего развития. Мазилье удалился.

И пошли-поехали другие свидетели! Одежонка на всех из одного куска ткани, скроена и сшита по одной мерке и одному фасону в ателье «Фараоны и компания» по адресу: Париж, набережная Орфевр, 36, криминальная полиция, тысяча девятьсот тридцатый год. Хочется надеяться, что с тех пор там все изменилось. Надеяться надейся, да не очень-то доверяй.

«А твое последнее объяснение, Папи, последнее и самое логичное? Разве ты его не помнишь?» — «Помню ли я его? Я его, как сейчас, слышу»:

— Мсье, будьте ко мне справедливы и выслушайте меня: Легран получил только одну пулю, в него стреляли всего один раз. Он остался жив, стоял на ногах, и ему дали возможность сесть в такси. Следовательно, стрелявший человек не хотел его убивать, иначе он сделал бы четыре, пять, шесть выстрелов из пистолета, как это принято в той среде. На Монмартре каждый об этом знает. Так или нет?

Итак, предположим, что это был я и что я в этом сознаюсь и говорю: «Мсье, этот человек, мотивируя тем-то и тем-то, справедливо или нет, затеял со мной ссору и обвинил меня в том-то.

¹ *Дискреционная власть* — особые полномочия, дающие право действовать по собственному усмотрению. — *Примеч. переводчика.*

Во время ссоры он опустил руку в карман, и, поскольку я знаю, в какой среде мы общаемся, я испугался и в целях самозащиты выстрелил один раз». Если я вам так заявлю, то одновременно дам в руки доказательство, что я не хотел убивать и отпустил его живым на такси. Тогда в заключение я скажу: «Поскольку инспектор утверждает, что я очень полезен полиции, то прошу вас принять то, что я вам только что сказал, за чистую правду, как мое признание, и впредь трактовать это дело как нанесение огнестрельного ранения, повлекшего за собой смерть, то есть как дело о непреднамеренном убийстве».

Суд слушал меня в полной тишине и, по-моему, начал задумываться. Я продолжал:

— Десять раз, сто раз мэтр Юбер и мэтр Беффе задавали мне вопрос: «Это вы стреляли? Если да, то скажите. Вам дадут от силы лет пять, а то и меньше. Вас не могут приговорить к большому сроку. При аресте вам было двадцать три, и вы выйдете на свободу еще очень молодым».

Но, господа судьи, господа присяжные заседатели, я не могу идти этим путем, даже спасаясь от гильотины или каторги, потому что я невиновен и являюсь жертвой полицейской махинации.

В залитом солнцем зале суда мне была предоставлена возможность полностью объясниться. «Что ни говори, Папи, все шло слишком хорошо, просто прекрасно. Ты чувствовал, как забеспокоился суд, и победа была возможна. Бедный самонадеянный ребенок, ты просто не отдавал себе отчета, что это „хорошо“ не может продолжаться вечно».

И тут произошел каверзный инцидент, срочно подстроенный Мэйзо, в котором ясно и без всякого сомнения проявилась его дьявольская натура. Понимая, что партия для него проиграна и что все усилия, предпринятые им в течение пятнадцати месяцев, будут сведены к нулю, Мэйзо пошел на противоправное действие. Во время перерыва в слушании дела он нашел меня в зале, где я находился один под охраной республиканских гвардейцев и куда он не имел права входить. И там, приблизившись ко мне, он спросил с откровенной наглостью:

- А почему бы тебе не сказать, что это Роже Корсиканец? Совершенно ошарашенный, я ему ответил:
- Но я не знаю Роже Корсиканца.

Он поговорил со мной еще с минуту, быстро вышел и направился к прокурору.

— Папийон только что мне признался, что это был Роже Корсиканец.

Случилось то, чего и добивался злосчастный Мэйзо. Судебное разбирательство было приостановлено, несмотря на мои протесты, и все же я пытался защищаться:

— В течение пятнадцати месяцев инспектор Мэйзо говорит, что в этом деле есть только один Папийон, то есть я, что я убийца Леграна и в этом нет никакого сомнения, что он не только утверждает это, но и представил суду свидетелей честных, неопровержимо и однозначно доказывающих мою вину.

Уж если полицейские нашли всех свидетелей и необходимые против меня доказательства, то почему же рушится их оружие?

А не потому ли, что в этом деле, кроме лжи, ничего нет? Неужто достаточно появления нового имени, чтобы посеять сомнения в невиновности Папийона?

И поскольку вы говорите, что у вас имеются все доказательства моей вины, то неужели призрака Роже Корсиканца, выдуманного Мэйзо, если вы верите мне, или придуманного мной, если вы снова верите ему, достаточно, чтобы приостановить судебное разбирательство и начать все сначала?

Это невозможно. Я требую продолжения прений сторон и вынесения приговора.

Я вас убедительно прошу, господа присяжные заседатели и господин председатель!

«Ты выигрывал, Папи, ты почти выиграл, и только честность прокурора обратила победу в поражение». Потому что прокурор Кассаньо встал и сказал:

— Господа присяжные, господа судьи, я не могу поддержать обвинение... Я не знаю... Последнему заявлению следует дать оценку. Прошу суд отложить разбирательство и вернуть дело на следствие.

«Вот и все, Папи. Три фразы прокурора Кассаньо доказывают, что тебя осудили по сфабрикованному делу».

Окажись в руках этого честного прокурора нечто неопровержимое и ясное, в чем он был бы совершенно уверен, он бы не заявил: «...Я не могу поддержать обвинение».

Он бы сказал: «Еще одна выдумка Шарьера. Обвиняемому очень хочется сбить нас с толку этим Роже Корсиканцем, я не верю ни одному его слову. У меня в руках имеется все необходимое, чтобы доказать виновность Шарьера, и я не премину это сделать».

Но он так не сказал, он этого не сделал, а почему? Да потому, что, поступая по велению совести, прокурор сильно засомневался в объективности собранного материала и наверняка стал задавать вопросы о честности фараонов, сострывавших дело.

«И вот так, двадцатитрехлетний мальчишка, фараоны, начав позорно проигрывать, заделали тебе козу на финише. Они-то прекрасно знали, что Роже Корсиканец — туфта чистой воды, и надеялись, что до следующего суда присяжных успеют придумать еще какую-нибудь грязную комбинацию. Они определенно рассчитывали, при всей извращенности их сознания, что следующий суд, другой председатель, новый прокурор, хмурый и дождливый октябрь, настрой новых присяжных заседателей не будут ко мне так благосклонны и что для меня зал суда превратится из будуара в скотобойню».

Суд отложили, и дело послали на следствие, на повторное следствие!

Кто-то из журналистов потом напишет:

«Редко приходится наблюдать такую неуверенность в ходе судебного процесса».

Конечно же, следствие не принесет ни одного нового факта. Роже Корсиканец? Его так и не найдут.

Во время следствия республиканские гвардейцы, когда их спросили об июльском инциденте, честно засвидетельствовали против Мэйзо. Да и как человек, кричавший о своей невиновности, логично ее доказавший и понимавший, что суд склоняется в его пользу, как же этот человек мог пустить все по ветру и с бухты-барахты сказать: «Я был там, но стрелял не я, а Роже Корсиканец»?

«А что скажешь о другом процессе, Папи? О последнем и решающем, когда пришла в действие бездушная гильотина, когда твоей молодости и вере в жизнь был нанесен страшнейший удар, запомнившийся навсегда, когда Мэйзо, снова обретший уверенность в себе, извинился перед прокурором за июльский инцидент,

а ты крикнул ему: „Я сорву с тебя маску честного человека, Мэйзо!“ ...Ты действительно хочешь пережить его заново?

Ты действительно хочешь снова увидеть тот зал суда, тот хмурым осенний день? Тридцать семь лет прошло с тех пор, дружище, сколько раз тебе надо это повторять? Ты снова желаешь почувствовать тот удар-скуловорот, который тебя потряс, который вынудил тебя бороться долгих тридцать семь лет за право приехать сюда и сесть на эту скамью на бульваре Клиши, на твоём Монмартре? Да, истинно так. Я хочу снова спуститься по первым ступеням лестницы, приведшей меня на самое дно человеческого бесчестья, ступенька за ступенькой, чтобы лучше и взвешеннее почувствовать тот путь, который мне довелось пройти.

Ты помнишь? Помнишь, как красивым парнем, которому по физиономии не дашь больше двадцати, в прекрасно скроенном двубортном костюме ты вошел в зал суда и заметил, как разительно он отличался от прежнего! Хотя это был тот самый зал».

Прежде всего, было облачно и шел дождь, так что пришлось даже зажечь люстры. На этот раз все было одето в кроваво-красный цвет: ковры, занавеси, мантии судей, как если бы все это было пропитано кровью в корзине с человеческими головами, отрубленными на гильотине. На этот раз и судьи не собирались в летние отпуска, они, наоборот, только что вернулись. Не то что в июле! А потом, кому приятно приступать к своим судебным обязанностям, начиная с ничтожного дельца о разборках между юнцами с Монмартра, да притом так надоедливо затянувшегося? Ведь есть куда более серьезные дела.

Старые волки из дворцов правосудия, адвокаты и судьи знают лучше, чем кто бы то ни было, как влияют иногда на весы Фемиды погода, время года, личность председателя и его настроение в день слушания, прокурор, присяжные заседатели, вид подсудимого и его защитника.

На этот раз председатель не потрафил мне и не попросил рассказать самому о своем деле, он вполне удовольствовался монотонным чтением обвинительного заключения секретарем суда.

У дюжины присяжных вонючек мозги были разжижены под стать погоде, о чем говорили их невыразительные, дебилские глаза. Они проглотили за милую душу обвинительное заключение в жанре литературного бреда.

У прокурора — первого фуражира гильотины — не было ничего человеческого. Это не Кассаньо. Такой не скажет: «Я не могу дальше поддерживать обвинение...»

Когда я вошел в зал, достаточно было одного беглого взгляда на сборище, чтобы прочувствовать все это. «Берегись, Папийон, в таком суде присяжных ты не сможешь защищаться». И я не ошибся: в течение двух дней разбирательства мне почти не давали слова. Ничего похожего на июльский процесс. Тот был слишком хорош.

И пошли-поехали те же самые показания, те же свидетельства, те же «говорят, что...» или «я слышал, что...» и т. п., что и в июле. Нет надобности описывать это в деталях — тот же самый цирк, с той только разницей, что, если я негодовал и взрывался, меня тут же лишали слова.

Единственным новым фактом стало появление в суде свидетеля, подтвердившего мое алиби. Это был таксист Леллю Фернан, не имевший возможности дать показания в июле, перед приостановлением процесса. Единственного свидетеля, которого полицейские так и не смогли отыскать, а потому окрестили его мифическим свидетелем.

И все же для меня это был очень важный свидетель, поскольку именно он заявил, что, когда он вошел в бар «Ирис» со словами: «На улице только что стреляли из револьвера», я *находился в баре*.

Прелюбопытная история. Во время следствия фараоны никак не могли обнаружить Леллю, зато каким-то образом отыскали свидетеля, давшего показания против моего будущего свидетеля. Им оказался рецидивист с десятью отсроченными судимостями, который, ничтоже сумняшеся, заявил, что свидетель, который однажды явится давать показания в мою пользу, будет подставным лицом.

А инспектор Мэйзо, который в своем длинном рапорте отрицал существование Леллю и категорически заявлял, что он все нашел и все доказал, так и не смог разыскать свидетеля, которого выставляли мы. Знал ли он, что этот свидетель, несмотря на то что полиция никак не могла его найти, был полон решимости явиться в суд по своей воле? Свидетель, о котором участковый комиссар отзывался как о честном труженике?

Леллю подтвердил свои показания, а его обвинили в том, что он подставное лицо. Мэтр Раймон Юбер воздевает руки к небесам:

— После этого вам ничего не остается, как продолжать честно платить свои налоги, мсье Леллю!

И вновь меня охватила ярость на этой зеленой скамье. Я не чувствовал ни холода, ни мелкого дождика, который стал накрапывать.

Снова вижу хозяина бара «Ирис», заявляющего в суде, что я не мог находиться у него в тот момент, когда в бар вошел таксист и сказал, что на улице стреляли, так как за две недели до того он сам запретил мне появляться в его заведении.

А это значит, что я такой дуралей, что в столь серьезной переделке, когда на карте стояла не только моя свобода, но и жизнь, в качестве своего алиби назвал именно то место, кудаходить мне было строго заказано! И официант подтвердил показания хозяина. Только оба забыли добавить, что работать до пяти утра им благосклонно разрешила полиция. Скажешь правду — выступишь против нее. Значит, и заведение придется закрывать в два ночи. Хозяин отстаивал свой кассовый сбор, официант — свои чаевые.

Мэтр Раймон Юбер и мэтр Беффе делали все, что могли. Мэтр Беффе был крайне возмущен безобразными выходками Мэйзо и дошел почти до открытой войны с ним. Последний в конфиденциальных донесениях (не столь уж конфиденциальных, если некий журналист их опубликовал при содействии одного полицейского) пытался очернить профессиональную репутацию моего защитника, копаясь в его любовных связях, не имевших никакого отношения к делу.

Заседание подошло к концу. Мне предоставили последнее слово. Что я мог сказать?

— Я невиновен. Я жертва полицейской махинации. Это все.

Судьи и присяжные удалились на совещание. Спустя час они вернулись в зал суда. Я встал, ожидая, пока они займут свои места. Снова сел. Затем в свою очередь поднялся с места председатель и собрался зачитать приговор.

— Подсудимый, встаньте!

У меня полное ощущение, что я нахожусь в зале суда, пусть даже под деревьями бульвара Клиши, так что я мигом вскакиваю на ноги, забыв, что они продеты между сиденьем и спинкой скамьи, и тут же снова брякаюсь на задницу.

И так, сидя, а не стоя, как полагается, в тысяча девятьсот шестьдесят седьмом году под деревьями бульвара я слушаю невыразительный голос председателя суда, объявляющего мне приговор в октябре тысяча девятьсот тридцать первого года.

— Вы приговариваетесь к каторжным работам пожизненно. Стража, уведите осужденного!

Я уже готов протянуть руки, но некому надеть на них наручники. И нет рядом жандармов. Совсем никого, кроме старушки, прикорнувшей на краешке скамьи. Чтобы защититься от холода и мороси, она прикрыла голову газетами.

Я высвобождаю ноги, встаю наконец и жду, когда пройдет онемелость. Приподнимаю газеты и просовываю в ладонь приговоренной к пожизненной нищете старухи стофранковую бумажку.

Мой пожизненный срок длился только тринадцать лет.

Все так же под деревьями, я брел посередине бульвара Клиши и дошел до площади Бланш, преследуемый последней сценой суда, когда я, стоя, получил невероятный по силе удар, стерший меня с лица Монмартра, моего Монмартра, почти на сорок лет.

Едва только свет этой чудесной площади окутал меня, как волшебный фонарь потух, и я уже никого не видел, кроме нескольких клошаров, сидящих на корточках у выхода из метро и дремлющих, уткнув голову в колени.

Скорее бы отыскать такси. Ничто больше меня не привлекало: ни тень деревьев, скрывающая меня от лучей искусственного света, ни блеск площади Бланш с кабаре «Мулен Руж», сверкающего всеми огнями. Одно живо напоминало мне прошлое, другое кричало: «Ты уже не здешний!» Все, да-да, все изменилось. Надо было поскорее убираться оттуда, чтобы не видеть собственными глазами, как все, что напоминало мне о моей молодости, умерло и похоронено.

— Эй! Такси! Лионский вокзал, пожалуйста.

Уже сидя в пригородном поезде, увозящем меня к племяннику, я вспоминал все статьи из газет, которые дал мне почитать

мэтр Раймон Юбер после вынесения приговора. Ни одна из них, будь то «Депеш», «Франс», «Матэн», «Энтрасижан», «Юманите», «Журналь», не обошлась без того, чтобы высказать свои сомнения, каковых по ходу судебного разбирательства накопилось полным-полно. Последняя дала такой заголовок: «Сомнительное дело».

Вернувшись во Францию, я снова отыскал эти газеты. Вот несколько цитат, для примера:

«Депеш» от 07.10.31. Устами моего защитника: «Три возврата дела на доследование — из прокуратуры и с судебного слушания — говорят о его шаткости».

«Матэн» от 27.10.31. «Суд вызвал тридцать свидетелей, хотя достаточно было бы одного — неизвестного, усадившего раненого в такси, предупредившего его „жену“ и затем бесследно исчезнувшего. Но этот неизвестный так и остается неизвестным, и тридцать последовавших одно за другим свидетельств вряд ли помогут установить его личность...» Стражники: «Инспектор Мэйзо подошел к Шарьеру и сказал: „Ты знаешь, кто это сделал“».

«Франс» от 28.10.31. «Обвиняемый отвечает спокойно и твердо... Обвиняемый: „Мне больно это слышать. У Гольдштейна нет никаких причин желать мне зла, но он в руках инспектора Мэйзо, как, впрочем, и другие, у кого совесть нечиста. Вот правда“. Вызывают инспектора Мэйзо для дачи показаний. Он сразу же протестует: „В течение десяти лет я „курирую Пигаль“ и знаю, что Гольдштейн не из преступного мира. Если бы он был из преступного мира, он бы никогда не заговорил“ (sic¹)».

«Юманите» от 28.10.31. Статья заслуживает того, чтобы процитировать ее полностью. Заголовок: «Шарьер—Папийон приговорен к пожизненной каторге».

«Несмотря на серьезные сомнения в том, что установлена личность настоящего Папийона, которому приписывается убийство Ролана Леграна в мартовскую ночь на Монмартре, суд присяжных департамента Сена приговорил Шарьера».

В начале вчерашнего слушания свидетель Гольдштейн, на чьих заявлениях полностью строится обвинение, продолжал давать показания. Свидетель, который находился в постоянном

¹ Так (лат.).

контакте с полицией — а, по словам инспектора Мэйзо, таких встреч с момента трагедии было больше сотни, — сделал три заявления, причем каждое последующее было серьезнее предыдущего. Ясно, что данный свидетель является верным помощником криминальной полиции.

Когда он высказывает свои обвинения, Шарьер внимательно его слушает. Когда он заканчивает последнее, Шарьер восклицает:

— Не понимаю, я не понимаю этого Гольдштейна! Я не сделал ему ничего плохого, но он приходит в суд и изливает подобные потоки лжи с единственной целью — отправить меня на каторгу!

Вызывается инспектор Мэйзо. На этот раз он заявляет, что Гольдштейн дает показания без всякой подказки. Это замечание вызывает кое у кого скептическую улыбку.

Прокурор Сирами в своем бессвязном выступлении констатирует, что на Монмартре много Папийонов, как и по всей стране. Однако он настаивает на осуждении, хотя не уточняет тяжести наказания, оставляя это на усмотрение присяжных.

Мэтр Готра, гражданский истец, насмешил всех, назвав каторгу школой „нравственного совершенствования“, и потребовал отправить туда Шарьера ему же во благо, чтобы там из него сделали „честного человека“.

Адвокаты — мэтр Беффе и Раймон Юбер — настаивают на оправдании своего подзащитного, поскольку тот факт, что полиции не удалось найти Роже Корсиканца, по прозвищу Папийон, вовсе не означает, что виновен Шарьер, имеющий такое же прозвище.

Но присяжные после длительного совещания возвращаются в зал суда с вердиктом „виновен“, и суд приговаривает Анри Шарьера к пожизненным каторжным работам с возмещением ущерба в один франк пострадавшей стороне».

В течение многих лет я задавал себе вопрос: почему полиция с таким остервенением набросилась на двадцатитрехлетнего мелкого уголовника, которого она сама же называла одним из лучших своих помощников? Я нашел единственный логичный ответ: она прикрывала кого-то другого — настоящего осведомителя.

На следующий день светило солнце, и я снова пришел на Монмартр. Вот он, мой квартал между улицей Толозе и улицей Дюрантен, вот рынок на улице Лепик. Но где же столь милые мне рожи?

Я вошел в дом двадцать шесть по улице Толозе, чтобы повидать консьержку, притворяясь, будто кого-то ищу. Моя консьержка была добродушной толстухой с ужасной, поросшей волосами родинкой на щеке. Она исчезла. Ее место занимала бретонка. Я был настолько раздосадован, что не стал даже спрашивать, видела ли она большую волосатую родинку, когда приехала сюда.

Нет, Монмартр моей юности не украли, все было на своем месте, но все изменилось. Молочная лавка стала прачечной-автоматом, угловой бар — аптекой, фруктовый магазин — магазином самообслуживания. Ну и ну, это уж слишком!

Бар «Бандеве» на пересечении улиц Толозе и Дюрантен — место встречи девушек из почтового отделения на площади Аббатис, забегавших сюда пропустить стаканчик черносмородиновой наливки. И мы, бывало, тут как тут. Чтобы их подзавести, подходим с самым серьезным видом и начинаем выговаривать, что вот-де смачиваете горлышко, в то время как бедные мужья вкалывают на работе. Да, бар никуда не подевался, но стойка уже с другой стороны, и два стола, какого-то хрена, не на своем месте. Более того, хозяйка-негритянка из Алжира, а посетители — арабы, испанцы или португальцы. Куда же мог деться прежний хозяин, выходец из Оверни?

Я поднялся вверх по ступенькам, ведущим от улицы Толозе к Мулен-де-ла-Галет. Перила, по крайней мере, не поменяли, они по-прежнему резко обрываются. Тут я как-то помог подняться на ноги одному бедному старикашке, который, не заметив, как под рукой исчезли перила, полетел вниз и прочертил носом землю. Я погладил их рукой и снова перед глазами возникла та сценка, и я услышал голос старичка, рассыпавшегося в благодарностях: «Молодой человек, вы очень любезны и хорошо воспитаны, с чем я вас поздравляю и благодарю». Эта простая фраза настолько меня тронула, что я не знал, как мне изловчиться и незаметно для старика поднять наган, выпавший из кармана, когда я наклонился ему помочь. Мне не хотелось, чтобы он увидел, что молодой человек может быть не таким милым, каким кажется.

Да, мой Монмартр пока здесь, его у меня не украли, просто украли людей, дружеские лица и улыбки тех, кто мне говорил когда-то: «Привет, Папийон, как дела?» И от этого страшно защемило сердце.

Наступил вечер. Я вошел в какой-то крутой бар. Среди пожилых посетителей выбрал самого старого и спросил его:

— Прости, знаешь такого-то?

— Да.

— А где он?

— Здесь.

— А такого?

— Умер.

— А такого?

— Не знаю. Но, извини, ты задаешь много вопросов. Ты кто?

Он нарочно повысил голос, чтобы привлечь внимание других. На всякий случай. А то пришел тут какой-то тип в мужской бар, совершенно один, и не представился. Непонятно, чего он хочет.

— Меня зовут Анри, я из Авиньона, а приехал из Колумбии. Поэтому вы меня и не знаете, до свидания.

Я не стал задерживаться и быстро ушел, торопясь сесть на поезд, чтобы переночевать за пределами департамента Сена. Все эти меры предосторожности я принимал ради того, чтобы ни в коем случае не услышать, что мое пребывание здесь запрещено.

Но все-таки я был в Париже! Я ходил танцевать на маленьких площадках вокруг площади Бастилии. Сдвигал шляпу на затылок, снимал галстук. Рискнул даже предложить одной крошке пройтись со мной в танце, как делал это в двадцать лет. Мы вальсировали под звуки аккордеона, как это бывало в дни молодости. На вопрос моей цыпочки, чем занимаюсь, я ответил, что содержу притон в провинции, после чего она уже смотрела на меня с большим уважением.

Я пообедал в ресторане «Куполь». Явившись из другого мира, я наивно поинтересовался у официанта, по-прежнему ли здесь играют в петанк на крыше-террасе. Гарсон служил в этом заведении уже четверть века, но даже его мой вопрос привел в недоумение.

И в «Ротонде» я тщетно пытался отыскать уголок художника Фуджиты¹, напрасно обводил взглядом мебель, расстановку столов, бар в надежде встретиться с предметами прошлого. С отвращением и неудовольствием я заметил, что все перевернуто с ног на голову, разрушено то, что я знал и любил. Не в силах это вынести, я резко поднялся из-за стола и направился к выходу, забыв даже заплатить. Уже у входа в метро на станции «Вавен» меня догнал официант и грубо схватил за руку. Очевидно, во Франции забыли о хороших манерах. Он орал мне прямо в лицо, требовал немедленно оплатить счет, иначе грозил позвать полицейского. Разумеется, я расплатился, но дал ему такие жалкие чаевые, что он, уходя, бросил их мне обратно:

— Приберегите их лучше для своей тещи, ей больше пригодятся ваши чаевые!

Но Париж есть Париж! С молодым задором я гулял по Елисейским Полям, залитым тысячами огней. Огни Парижа согревают вас, передают вам свое чудесное очарование и заставляют петь ваше сердце. Ах, как сладко жить в Париже!

Ни у ворот Сен-Дени, ни в предместье Монмартра, рядом с офисом старейшей газеты «Ото», где Ригуло, тогдашний чемпион мира по тяжелой атлетике, поднимал огромный рулон газетной бумаги, я не чувствовал никакого раздражения. Со спокойным сердцем я прошел мимо клуба, где когда-то играл в баккара со Стависким. Тихо и мирно в одиночестве посмотрел спектакль в «Лидо». Так же спокойно в течение нескольких часов толкался в толпе на Центральном рынке. Все выглядело почти как раньше.

И только на Монмартре мое сердце исходило горечью.

Я пробыл восемь дней в Париже. Восемь раз возвращался к месту пресловутого убийства.

Восемь раз гладил кору дерева и потом садился на скамью.

Восемь раз, с закрытыми глазами, стыковал события, связанные с расследованием дела и с двумя судебными процессами.

Восемь раз снова видел мерзкие рожи подлых ублюдков, авторов приговора.

¹ *Фуджита Цугухару* (1886–1968) — французский художник японского происхождения. — *Примеч. переводчика.*

Восемь раз шептал: «Вот где началось то, из-за чего у тебя украли тринадцать лет юности».

Восемь раз повторял: «Ты оставил помыслы о мести, это хорошо. Но простить ты не сможешь никогда».

Восемь раз просил Господа сделать так, чтобы ни с кем больше такого не случилось. И пусть это будет воздаянием за то, что я оставил помыслы о мести.

Восемь раз спрашивал у скамьи, не сидели ли на ней «случайный» лжесвидетель и лицемерный фараон, обсуждая дальнейшие показания во время своих многочисленных «случайных» встреч.

Восемь раз уходил отсюда, с каждым разом все больше и больше выпрямляя спину, а в последний раз ушел прямым и гибким, словно юноша, шепотом повторяя про себя: «И все же ты победил, дружище. Ты здесь, ты на свободе, ты в добром здравии, ты любим, и твое будущее в твоих руках. Не поддавайся искушению узнать, что случилось с теми, кто остался в прошлом. Ты здесь, и это почти чудо. А такие чудеса Господь творит не каждый день. Так будь уверен, что из всех ты самый счастливый».

Глава восемнадцатая

ИЗРАИЛЬ. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ

Я вылетел из Парижа через Орли и отправился в Израиль, где должен был повидаться с матерью Риты. Мне было любопытно познакомиться с этой страной и этим народом, преследуемым испокон веков, а сейчас, как говорят во всем мире, творящим чудеса.

Откровенно говоря, я был настроен весьма скептически. Я рассматривал Израиль и его народ как люд подневольный, находящийся в плену у своей религии, которому раввины да святоши навязывают как образ мыслей, так и образ жизни.

Самолет сел в Тель-Авиве. Мне надо было добраться до Хайфы: там, где-то рядом, в местечке под названием Тель-Ханам, жила мать Риты.

Сразу же бросилось в глаза, что молодое поколение этой страны не без царя в голове.

Все водители такси помимо иврита владели по крайней мере одним иностранным языком, некоторые — двумя. Первый из подошедших ко мне говорил по-английски. Потребовалось всего три минуты, чтобы найти того, который знал бы французский или испанский. И вот мы в стареньком такси, за рулем которого сидел молодой парень, одинаково хорошо говоривший по-испански и по-французски. Я начал разговор:

— Ты откуда?

— Родился в Касабланке, закончил там учебу и получил диплом. Я сефард.

— А кто такие сефарды?

— Это евреи, изгнанные испанской королевой Изабеллой Кастильской. В школе я учился на французском, а испанскому научился от отца и матери.

— Давно уже живешь здесь?
 — Десять лет. Приехал вместе с отцом, матерью, бабушкой и двумя сестрами. Здесь нормально, у всех есть работа. Мы у себя дома, на своей земле. Все выучили иврит. Зачем? Обязательно должен быть какой-то общий язык, поскольку в Израиль съехались евреи со всего мира. Каждый приехал со своим языком. Как же нам быть без единого языка для всех?

— Работаешь на себя? Твоя машина?
 — Нет, я не настолько богат, чтобы иметь свое такси.
 — Дорого стоит?
 — Очень дорого, около пятидесяти тысяч франков.
 — Значит, здесь, как и везде, есть богатые и бедные.
 — Есть богатые, это верно, но бедных нет, потому что здесь не надо выклянчивать ни работу, ни деньги.

— А престарелые?
 — Ими тут занимаются серьезно. Они получают хорошую пенсию и маленький домик с садиком.

— У тебя есть дом?
 — Пока нет. В администрации засели польские евреи, так что сефардов слегка прижимают. Своего рода расовая сегрегация.

— Неужто! Значит, вы последние, у кого еще есть расовые проблемы!

Он смеется.

— Что верно, то верно. Но всегда смешно. Это изживется в следующем поколении. Они все будут сабрами.

— А нынешние сабры, они не расисты? Сабры — это те, кто родился в Израиле, не так ли?

— Да. Но они тоже расисты. Они мнят себя высшей расой и полагают, что должны иметь больше прав, чем остальные. И только из-за того, что родились в Израиле.

— Значит, у себя в поселке ты не в числе избранных.

— Да, но мы забываем обо всем, когда действуем как единая нация, то есть когда мы работаем все вместе ради процветания экономики.

— А евреи из других стран помогают вам деньгами?

— Эти средства не разбазариваются, а используются только на то, чтобы люди жили нормально. На них создаются предприя-

тия, орошаются пустыни, сажаются деревья и строится все, что может быть полезно обществу.

— Ты любишь свою страну?

— Я отдам за нее жизнь.

— А что в тебе сидит крепче всего? Религиозный фанатизм?

— Нет. Я еврей, но в нашей семье мы едва ли следуем законам Торы. Видите ли, надо понять, что ни в одной стране к нам не относятся как к равным. Мой отец воевал вместе с французами и вместе с марокканцами. Но всегда находился какой-нибудь идиот, будь то француз или араб, кто обзывал его грязным иудеем.

— Согласен, но по одному человеку нельзя судить о нации!

— Верно, но когда рискуешь жизнью и носишь форму армии этой нации, тогда и относиться к тебе должны, как к другим.

— Тоже верно.

Хайфа. Через четверть часа мы приедем в Тель-Ханам.

— Ты знаешь этот адрес?

— Нет, но нам подскажут.

В десять вечера мы прибыли в Тель-Ханам, большой пригород Хайфы. На улицах было полно народу, мальчишки и девчонки всех возрастов ходили группами. Они смеялись, пели, галдели, обнимались. Подростки тринадцати-четырнадцати лет фланировали в обнимку со сверстницами. Без всякого стеснения, у всех на виду, они миловались, познавая основы игры в любовь. На мой непривычный взгляд, это было что-то совсем новое.

Я спросил адрес.

— Это там. Но надо выйти здесь, такси не сможет подъехать к двери дома, потому что нужно подниматься по лестнице.

Я расплатился с таксистом. Один мальчишка по-хозяйски взял мой чемодан, а три девочки и три мальчика любезно нас сопровождали.

— Вы приехали издалека?

— Из Венесуэлы. Слышали?

— Конечно, это в Южной Америке.

— Где научился французскому?

— А я француз, и он тоже, танжерец, а этот — марокканец.

— А девочки?

— Все три — польки.

- Красивые. Ваши невесты?
- Нет, подружки. Хорошие подружки.
- А как вы разговариваете между собой?
- На иврите.
- И как вы объяснялись, когда еще не все знали иврит?
- А знаете, чтобы играть, гулять вместе да обниматься, не надо знать иврит, — ответил, смеясь, мальчишка, который нес чемодан. — Между прочим, мы теперь не французы, не поляки. Мы все — израильтяне.

Когда мы подошли к дому, они все захотели подняться со мной на третий этаж и ушли только тогда, когда открылась дверь и мать Риты бросилась мне в объятия.

Необыкновенный Израиль, необыкновенная страна, которую мне предстояло открыть! Встреча с матерью Риты была волнующей, она мне многое рассказала, я тоже должен был рассказать ей немало, но, разумеется, отнюдь не все время я проводил с тещей. Отправлялся куда глаза глядят, быстро обзаводился друзьями, особенно среди молодежи, которая интересовала меня больше, чем пожилые люди.

Постепенно я открывал для себя молодежь Израиля. Она оказалась не мудрее других молодых людей: парни так же любили жизнь, мотоциклы, бешеные гонки, забавы, девчонок, танцы. Но я замечал у большинства из них умело привитую им воспитателями убежденность в том, что неплохо владеть иностранными языками и освоить хорошую профессию, чтобы потом зарабатывать себе на жизнь, а главным образом чтобы быть полезным своей стране. Я видел много ребят, способных на лишения ради того, чтобы играть в обществе роль, которой можно гордиться. К высокому положению они стремились не из-за денег и роскоши.

И вот еще какое открытие я сделал: евреев Израиля не интересуют деньги. Как получилось, что эта предприимчивая нация, которая в других странах и дня не мыслит прожить без того, чтобы не приумножить свой капитал, так радикально изменилась, переехав в свою страну?

Но все же, чтобы проверить, насколько крепки и стойки эти чувства у молодежи, я спросил одного парня, много ли он получает, работая механиком, и выяснил, что зарплата весьма скромная — менее двухсот долларов.

— Ты знаешь, с твоей профессией в Венесуэле ты зарабатывал бы в пять раз больше.

Он рассмеялся и ответил, что во Франции ему предлагали в четыре раза больше, но его это не интересует. Здесь он свободен, чувствует себя хорошо, и, самое главное, он в своей стране.

Он не соблюдает никакие религиозные обряды, разве что строго необходимые. Ему не нравятся старые бородатые евреи в черных ермолках, особенно раввины-поляки, настроенные чересчур сектантски и желающие заковать всех в цепи религии. Он любит свой народ, но народ молодой, спортивный, свободный, открытый сексу и без всяких комплексов. Когда живут дружно и все вместе, парни и девушки, это ему больше всего по душе. Он считает себя причастным к любому успеху своего народа, будь то в промышленности или сельском хозяйстве, и радуется этому.

Надо отметить, что из-за языкового барьера мне удалось поговорить только с молодыми людьми, приехавшими в Израиль из Франции, Северной Африки и Испании. Один из них объяснил мне, что по политическим убеждениям он, скорее всего, социалист, как и большинство его товарищей. Другой, выходец из Марокко, сообщил, что у него нет ненависти к арабам. Он прекрасно знает, что вражду между арабами и евреями посеяли пропаганда и надуманные интересы. Он сожалеет об этом и с большой теплотой вспоминает то время, когда ему в Касабланке приходилось играть и общаться на улице с арабскими ребятами и между ними, ни с той, ни с другой стороны, не возникало никаких проблем. Он много думал и пришел к выводу, что подобная ситуация создана какими-то другими людьми, не арабами и не евреями.

— Зачем арабы хотят развязать с нами войну? — добавляет он, так как слухи о войне в конце мая тысяча девятьсот шестьдесят седьмого года всерьез начинают будоражить население. — Чтобы отобрать пустыни, которые мы превратили в плодородные земли? А разве у них мало необработанной земли на их собственной территории? Они говорят о свободе арабского мира и своей независимости, но, развязывая войну в надежде победить, они отдаются в руки русских. Неужели русский меньше отличается от араба, чем еврей? По сути, араб и еврей — двоюродные братья.

Однако я смог убедиться в том, что он страшный сионист, как и его друзья.

Я приехал повидаться с матерью Риты и, конечно же, познакомиться с кибуцами, с их коллективной формой ведения хозяйства и управления. Этот вопрос интересовал меня с самого начала, но особенно с того момента, когда я затеял собственную авантюру с креветками в Маракайбо. Если бы, как я неоднократно говорил себе, дела сложились удачно, мне бы удалось создать для моих рыбаков и других людей нечто похожее, что неизбежно привело бы к более высокому уровню жизни.

Меня сразу же поразили не только результаты труда, но и благосостояние этих маленьких коллективов.

Я посетил несколько кибуцев с различным родом занятий.

Эти общины, где каждый выполняет свою задачу, произвели на меня сильное впечатление. Все что-нибудь да делают. Коллектив процветает, продает свою продукцию, если это сельскохозяйственный кибуц, и каждый получает свою долю прибыли наравне со всеми. Но, пожалуй, больше всего меня поразили отхожий промысел крупных врачей, преподавателей, адвокатов, ведущих практику в городе и возвращающихся вечером в кибуц. Все, что они зарабатывали, они вносили в общую кассу.

Разумеется, я совершал и туристические прогулки. Хайфа — очень важный город. Порт, большой транспортный узел, оживленные улицы. Ночью там весело. Я заходил в несколько кабаков и даже нашел бары с девочками. Просто здорово! Во-первых, они разговаривают на трех-пяти языках, а в умении общипать клиента дадут фору своим коллегам из любой другой страны. Стаканчик мятной стоит четыре доллара, а если учесть, с какой скоростью они пьют да просят повторить, то тут невольно возникает желание побыстрее смотаться, если хочешь, чтобы у тебя осталось несколько долларов в кармане.

Таким образом, мне удалось установить, что в Израиле нет жесткой дисциплины, жизнь действительно свободная, каждый развлекается или работает как его душе угодно, по собственному разумению. На улицах нет нищих — ни стариков, ни детей.

Наблюдал я и забавные истории. Скажем, на автобусной остановке собралось два десятка человек. Разумеется, все ждут автобус. А если первым подойдет автобус с арабом за рулем, то все

равно будут садиться? Есть евреи, для которых нет никакой разницы, и они садятся, другие же непременно объяснят, что в данный момент они очень торопятся и поэтому не могут ждать еврейский автобус.

Араб в ниспадающей на плечи чалме, серьезный, как римский папа, собирает деньги за проезд и никогда не говорит спасибо. Взял плату — и поехал.

Другая забавная особенность. В стране, в которой Иисус ходил на рыбалку, евреи продают христианским паломникам бутылки с водой, помеченные крестом, с приложением документа, подписанного епископом, удостоверяющего, что данная вода взята из Иордана, где ловил рыбу Иисус. Еще они продают мешочки, наполненные святой землей. К ним также прилагается свой сертификат о происхождении земли, заверенный епископом. Каждая бутылка и каждый мешочек стоят два доллара. Дело, что называется, стоящее, поскольку земля не очень дорогая, а в Иордане всегда полно воды.

Уже две недели, как я в Израиле. Я собрал кучу материала о том, как управлять коллективным хозяйством.

На этой неделе объявили, что страна находится в состоянии войны. Я не видел абсолютно никакой необходимости вмешиваться в это дело, опасаясь получить по голове. Но, явившись в представительство авиакомпании «Эр Франс», чтобы срочно заказать билет на самолет, я узнал, что все рейсы зарезервированы для женщин и детей. Наконец мне удалось найти самолет авиакомпании «Сабена», летящий в Белград. Рейс через два дня, вечером.

В оставшееся время я наблюдал за подготовительными работами по защите города от возможных воздушных налетов и бомбардировок. Складские помещения на цокольных этажах всех зданий Тель-Ханама срочно освобождались от пожитков. Люди не проявляли ни страха, ни подавленности. Они все делали спокойно. Только мать Риты в силу возраста выказывала некоторую обеспокоенность.

А еще они рыли траншеи. В этом принимали участие все, в том числе женщины и дети.

В наш квартал приехали автобусы за мужчинами. Сержант со списком в руке стал выкликать тех, кто должен был уехать.

Перед отъездом он снова провел переключку и обнаружил семь или восемь «лишних», в списке не обозначенных, но проскользнувших в ряды защитников. Хороший признак на будущее: никто не уклоняется.

В Белград я отправлялся с надеждой, что в последний момент войну удастся предотвратить. Еще через два дня я вылетел из Белграда в Каракас.

В самолете у меня перед глазами беспрестанно мелькали образы этого длительного путешествия. Но ярче всего представлялась Тиберия, она буквально преследовала меня: узкие улочки, ослики, арабы, мавританки, евреи, арабы-христиане, базар, продавцы святой воды. По этим самым улочкам, между теми же каменными домами, по тем же мостовым, мимо тех же фонтанов, под те же крики, ругань или песнопения Иисус Христос шел босиком к Иордану купаться или ловить рыбу. Насколько глубоким должно быть впечатление, чтобы отозваться во мне, атеисте, с такой силой!

Самолет мягко приземлился в аэропорту Каракаса. Рита пришла меня встретить. Мы обнялись.

— Тебя могла бы застать война!

— Война? Почему война, Рита? Будем надеяться, что она не начнется.

— Поздно, Анри, вот уже три часа, как она началась.

Через шесть дней война, которая могла бы застать нас врасплох, закончилась. С матерью Риты ничего плохого не случилось, а мы спокойно вступили в первые числа июля.

Дела шли хорошо, мы были счастливы вместе. Из Франции я привез огромный букет засушенных цветов, так что если каждый день брать оттуда по цветочку, то можно предаваться мечтам и воспоминаниям до конца своих дней.

Грядущее, о котором я не переставал думать все последние годы (надо хорошенько позаботиться о собственной старости), представлялось мне безмятежным, ведь мы приняли все необходимые меры для обеспечения безбедной старости, если, конечно, и дальше все пойдет нормально.

Двадцать восьмое июля тысяча девятьсот шестьдесят седьмого года Каракас праздновал четырехсотую годовщину со дня своего основания.

Восемь часов вечера. Я только что сходил в бар, чтобы зажечь огни неоновой рекламы. Бар располагался как раз напротив восьмиэтажного дома, где у нас была большая квартира на шестом этаже. Застекленная дверь балкона была распахнута, две люстры полыхали огнями, а мы с Ритой сидели рядышком на банкетке и смотрели какую-то передачу по телевизору.

— Уходящий месяц был хорошим, Анри, как ты считаешь?

— Очень хорошим, моя дорогая. Как, впрочем, и июнь. Не очень устала?

— Да нет, все хорошо. Ах, боже мой!..

Наш дом вдруг затрясло, словно шальной грузовик, выскокивший на ухабистую дорогу; какой-то монстр расшатывал здание влево, вправо, вперед, назад; люстры заходили ходуном, раскачиваясь туда-сюда, будто маятники; пол на глазах превращался в горку для скоростного спуска на санях с уклоном более тридцати градусов то в одну, то в другую сторону; две наши маленькие собачонки заскользили по навощенному паркету от стенки к стенке; картины полетели со стен; сами стены стали трескаться, как переспелый гранат; телевизор взорвался; столы со стульями катались по комнате, словно их поставили на роликовые коньки; металлический скрежет был куда сильнее, чем грохот листового железа, когда на театральной сцене хотят изобразить грозу; треск стоял повсюду; наша домработница Мария и кто-то на улице страшно кричали; а мы с Ритой прижались друг к другу щека к щеке и ждали, что вот-вот на нас обрушится потолок и увлечет за собой в бездну...

Все это длилось ровно тридцать пять секунд. Я думал, что восемь минут бомбардировки президентского дворца Бетанкура были самыми длинными в моей жизни, но они не шли ни в какое сравнение с этими секундами.

Едва только все то, что плясало, трещало и каталось, успокоилось, как мы тут же, держась за руки, бросились к лестнице. Мы сбежали с шестого этажа в мгновение ока. За нами на улицу пулей выскочила Мария, а за нею кубарем — обе собачонки.

Мы оказались среди сотен людей, кричащих от ужаса и радости. Они были счастливы, что уцелели в этом страшном землетрясении силой шесть и семь десятых балла по шкале Рихтера.

И те, кто с самого начала землетрясения находился на улице, и те, кто успел выбежать из домов на середину дороги в страхе

быть раздавленным обломками шатающихся зданий, все жали нам руки и восторгались тем, что наше здание не развалилось словно карточный домик.

В восемь часов сорок одну минуту последовал второй толчок, он длился десять секунд.

Никто не решался вернуться домой, в том числе и мы. Могли последовать другие толчки, в результате которых все могло рухнуть.

Вот так, на земле, крепко опершись на нее ногами, под открытым небом вместо крыши над головой нам придется есть, спать и ждать.

И все-таки мы решились проникнуть в наш бар, расположенный на небольшой вилле на другой стороне улицы, ожидая найти там следы полного разрушения. Ничего подобного: с полдюжины бутылок упало с полок бара, и все. Электричество не пострадало, телефон работал. Тут совсем другое дело, не надо спускаться с шестого этажа, всего десять ступенек вниз — и ты на улице. При первых же толчках можно даже выпрыгнуть через окно. Я предложил Рите остаться в баре и приютить там еще несколько человек, которым понадобится помощь.

Она отреагировала так:

— Как неслыханно нам повезло, дорогой!

Мы все обнимались и обнимались. Служанка обнимала собачек, мы обнимали служанку, собак, соседей, нашу дочь, которая прибежала белее полотна.

Мы снова вышли на улицу, которая уже бурлила новостями. Разрушены здания. Какие? Такой-то дом и еще другой, там и сям, громадный домина и совсем маленький. Мы пошли посмотреть на груды огромных глыб и камней — это все, что осталось от двенадцати-пятнадцатизэтажных зданий. Пожарные команды уже разбирали завалы в надежде найти чудом уцелевших людей. Это происходило на большой площади Альгамира перед огромным строением, словно рассеченным пополам. Одна половина была разрушена полностью, другая еще стояла, опасно накренясь, и могла рухнуть в любую минуту. Там находилась жена моего друга Жана Малле де ла Треванша, директора агентства Франс Пресс в Каракасе. Она оставалась одна в квартире, а Жана землетрясение застало за рулем в машине. Его жена

каким-то чудом вышла живой из уцелевшей, но шаткой половины дома.

Ругая Господа нашего за эту катастрофу, я вдруг увидел перед зданием двух братьев, моих больших приятелей Дюкурно. Я окликнул их, как обычно:

— Эй, вы, Дюговно! Вы тоже, значит, выбрались живыми? Браво!

Они медленно подошли ко мне. Лица были мрачные, в глазах стояли слезы.

— Анри, Рита, видите эту грудку обломков? Под ними — мать, отец, наша сестра с маленькой дочкой и служанкой.

Мы крепко обняли их и сами разрыдались.

Поспешив прочь от этого страшного места, я сказал Рите:

— Возблагодарим Бога за то, что Он проявил к нам великодушие.

На следующий день среди прочих жутких историй, рассказанных нам, мы узнали о трагедии семьи Азера, проживавшей на восьмом этаже «Эдифисио Невери».

Отец, мать и четверо детей сидели за столом и ужинали, когда при первом же толчке здание рухнуло. Словно заглохенное землей, здание переломилось надвое, и семья Азера оказалась погребенной под его обломками почти в том же положении, какое она занимала за столом. Отца с одним ребенком отделила от матери с тремя детьми бетонная плита. Она придавила бедную женщину и оказавшихся с ней несчастных детишек. Они умерли не сразу, конец матери и троих детей был ужасным.

Муж и жена, пребывая в агонии, сознания, однако, не теряли. В темноте они могли переговариваться, хотя и не видели друг друга. С раздавленной грудью, мать присутствовала при кончине троих ребятишек, находившихся рядом с ней, среди которых был восьмимесячный младенец. В какой-то момент она сообщила: «Малютка умер». Потом, через несколько часов: «Другой только что умер». И тишина: она перестала отвечать на голос мужа — тоже умерла.

Отец, Жан-Клод Азера, тридцати восьми лет, и четвертый ребенок, Реми, были обнаружены в завале в бессознательном состоянии. Их удалось вытащить и реанимировать. Маленькому Реми ампутировали ногу. Отец перенес несколько операций,

он был весь переломан, особенно пострадали почки. Первую операцию делал доктор Бенайм в Каракасе, а консультировал его по телексу и телефону профессор Амбюрже из Неккерского госпиталя в Париже, знаменитый специалист по хирургии почек. Азера-старший выкарабкался из безнадежного положения, но ни о чем, кроме смерти, не думал. Потребовались долгие недели внушений, чтобы убедить отца, что он нужен своему маленькому Реми.

Больше недели люди спали в машинах, парках, на скамьях, небольших площадях, но только не в помещениях. Земля вздрагивала еще несколько раз, но затем, после грозы, все успокоилось. А со спокойствием пришла и уверенность, и люди возвратились в свои квартиры. То же самое сделали и мы.

Глава девятнадцатая

РОЖДЕНИЕ «МОТЫЛЬКА»

И все-таки во время землетрясения мы потеряли больше, чем предполагали: дела наши пошли на спад. В конце августа сумма, которую мы позволили себе отложить, оказалась ничтожной, и я не мог не беспокоиться, не мог не думать о будущем без некоторой опаски, ведь мне уже перевалило за шестьдесят.

Я прикидывал и так и эдак: чем бы еще заняться, чем?

Страхивая пыль со старой папки, где хранился проект ловли креветок на побережье Гвианы, собирая материал по разведению форели, производству рыбной муки, охоте на акул, я не переставал размышлять: «Что для меня ближе и понятнее, на чем можно было бы остановиться? Что придумать, чтобы заработать не только на хлеб насущный, но и обеспечить нашу старость?

Что-то надо найти, но что?»

Я совершенно забыл об одном случае, который произошел перед землетрясением.

Одиннадцатого июля тысяча девятьсот шестьдесят седьмого года умерла после операции Альбертина Сарразен. Не читая французских газет уже многие годы, я вдруг узнал, что эта молодая женщина была писательницей и пользовалась успехом. В двух романах она рассказала о своей жизни в заключении и побеге из тюрьмы. Роман «Астрагал» сделал ее богатой, но несчастная девушка так и не успела этим воспользоваться. Статью о ней я прочитал в серьезной и толстой венесуэльской газете «Насьональ».

А не написать ли мне о своих приключениях?

— Рита!

— Что тебе?

— Я собираюсь написать о своей жизни.

— Уже пятнадцать лет, как ты мне твердишь об этом, и каждый раз повторяешь, что, как только ты опубликуешь свои мемуары, это будет настоящая бомба. Что-то она долго не взрывается. Бедный мой Анри, я уже не верю в это.

А ведь она права, моя малышка Рита, ибо каждый раз, когда мы собирались вечером в кругу друзей, кто-нибудь да говорил: «Анри, а почему бы тебе не описать все свои приключения?» И каждый раз я отвечал одно и то же: «Придет день, и я о них напишу, и, знаете, это будет настоящая бомба!»

— Увидишь, на этот раз я точно напишу!

— Ничего мне не обещай, все равно ты этого не сделаешь.

Разумеется, я так ничего и не сделал.

Почему? Прежде всего потому, что не считал себя способным к творчеству. Я был убежден, что не умею писать. Говорить? Да. Рассказывать истории? Сколько угодно, это пожалуйста. Но быть хорошим рассказчиком — одно, а уметь писать — совсем другое. Короче, я отбросил эту затею и перестал думать об этом.

Два месяца спустя после землетрясения, в конце сентября, я вытащил из пачки старых газет последний из оставшихся номеров «Насьональ», а все остальные отдал Марии. Газеты ей нужны, чтобы уберечь паркет от пятен краски. Пришли рабочие, зашпаклевали трещины в стенах, следы от землетрясения, и приготовились их перекрашивать. И снова на полосе этой смятой газеты мне бросилось в глаза сообщение о смерти Альбертины Сарразен.

Уже больше двух месяцев прошло. Бедняжка, она уже на том свете, а я вот живу, правда небогато.

«А ты ведь даже не попытался написать свои мемуары, сразу сдулся. Как некрасиво с твоей стороны!» Но у меня имелось столько веских причин для оправдания! Здесь почти никто не знал о моем прошлом, моя дочь уже семь лет как работала в британском посольстве, и нас с женой принимали за честных коммерсантов с безупречной репутацией. Кроме нескольких высоких полицейских чинов, никто ни о чем не ведал. Так неужто стоило всем пренебречь и бросить вызов? А что скажут во Франции мои сестры, племянники, тетушка Жю? И к тому же добиться успеха в литературе очень трудно, почти невозможно. «Нет, это несерьезно, Папи. Чтобы выйти из создавшегося положения, когда ты живешь хорошо, но зарабатываешь недостаточно для того, чтобы обеспечить себе старость, надо придумать что-нибудь

другое». Что другое? Да у меня не было ничего другого на примете. Если бы я знал, где это другое. Но надо было выходить из положения — и точка. Это стало уже навязчивой идеей. И я начинал заниматься ею всерьез.

Прошло еще несколько дней, и случилось мне идти по улице Акведукто. Я опять забыл про Альбертину, забыл и о том, что совсем недавно хотел написать книгу. Этим воспоминаниям, как говорила Рита, уготована судьба бомбы, которой не суждено взорваться и даже пшикнуть, потому что она никогда не будет изготовлена.

На этой чертовой улице Акведукто располагался магазин французской книги, и мой путь лежал мимо витрины, а в ней — книжонка, а на книжонке красная полоса: 123 000 экземпляров, и эта проклятая полоса не могла скрыть от моих глаз название — «Астрагал».

«Ни хрена себе, продано сто двадцать три тысячи экземпляров! Почем же идет эта книжица? Тридцать боливаров, то есть почти тридцать три франка». И я раскошелился, чтобы стать обладателем этой знаменитой книжки.

«Вот так Альбертина! На одной книжонке отхватила такую пачку денег! С такими бабками ей больше не надо было промышлять квартирными кражами, чтобы жить припеваючи со своим Жюльеном».

Прочитав «Астрагал», я был восхищен. Но что же поразило меня в «Астрагале»? Что я там нашел? Приключения или музыку слов? Да не было там почти никаких приключений. Во время побега она сломала ногу. Встретила Жюльена, и тот ее спрятал. Она влюбилась, и когда казалось, что между ними уже все на мази, он надул ее и слинял. Вот незадача! Но зато как написано! Не просто какая-то картина, а шедевр!

А кто читает шедевры?

Кого можно убаюкать словами, красивыми, отточенными фразами?

Кто ходит в оперу? Мало кто.

А эта книга — опера. Это так. Значит, не так уж и плохо, если сто двадцать три тысячи человек любят оперу, да если с каждого проданного билета двадцать процентов идут девчонке, замесившей книжку на астрагальной мучке. Такое начало позволяло

открыть счет в банке, купить домик где-нибудь в теплых краях, чтобы укрыться от дождя... Я ей положил двадцать процентов, как если бы сам был издателем. Но в издательских делах я пока не разбирался.

Я отложил книгу в сторону. Как тут было не обалдеть, узнав, что есть такие крали, которые, сдав экзамен на бакалавра в тюрьме, готовятся там же к университетскому экзамену и пишут такими мудренными словами, не заглядывая в словарь!

«Представь себе, приятель, что у тебя приключений в сто раз больше, чем у нее, и тысяча мелочей, более интересных для рассказа. И если бы ты мог все это изложить, то продали бы не сто двадцать три тысячи книг, а в десять раз больше». Это определенно, но только, увы, надо уметь писать, а это не мой случай.

А что, если, вместо того чтобы подыскивать красивые фразы и убаюкивать моего читателя музыкой красивого слога, я возьму да и растормошу его? Если, вместо того чтобы писать для него, я ему все расскажу?

Рассказать ему? А почему бы нет? У меня уже есть опыт выступлений перед большой аудиторией!

— Рита! Ты не сохранила письмо от «Европы-1»? Ох, давнишнее письмо, думаю, оно пришло в пятьдесят седьмом или пятьдесят восьмом, лет десять назад.

— Да, дорогой, сохранила, а как ты думал!

— А ты можешь мне его дать?

Через минуту она приносит письмо.

— Что ты хочешь с ним делать?

— Подзарядиться хочу от него, чтобы оно дало мне мужество написать мою знаменитую книгу.

— Бомбу? Она взорвется наконец?

Вот это письмо:

«ЕВРОПА-1»

РАДИО-ТЕЛЕВИДЕНИЕ

22 января 1958 г.

Мсье Анри Шарьеру.

Каракас (Венесуэла)

Дорогой мсье!

Уже несколько недель назад я решил обратиться к Вам с письмом и в нескольких строках выразить Вам свои поздравления и самую искреннюю благодарность. И если большая занятость

в конце года мешала мне осуществить мое решение, то сегодня я не хочу больше откладывать, поскольку мой большой друг Карлос Аламон, с которым я только что с огромным удовольствием встретился в Париже, завтра улетает в Каракас и передаст Вам мое письмо. Вы согласились дать интервью Пьеру Роберу Транье, одному из семи радиожурналистов, которых мы направили в разные страны мира, и Ваша личность придала этой беседе ~~такую~~ красочность и живость, что передача сразу же пошла в эфир «Европы-1», она взволновала наших слушателей, была признана лучшим репортажем, переданным в тот вечер, и обеспечила Транье первую премию. Я совершенно убежден, что это прежде всего Ваша заслуга, и мне следует сказать Вам «браво». Вне всякого сомнения, Ваше обращение будет услышано, и я вместе с Вами выражаю надежду, что оно сослужит добрую службу Вашим товарищам, которые, как и Вы сами, доказали свою способность вновь адаптироваться к жизни на свободе.

Еще раз «браво», и спасибо Вам за то, что Вы помогли заинтересовать и взволновать наших слушателей.

Позвольте мне, дорогой мсье, выразить Вам мои самые лучшие пожелания.

Луи Мерлен,
директор «Европы-1»

Стало быть, мои рассказы вызывали интерес не только у моей жены, племянников, племянниц, друзей, незнакомых людей, скажем, при встрече, но также у невидимых слушателей радиостанции «Европа-1».

Семь корреспондентов, разъезжающих по странам мира и берущих по одному интервью в неделю, за два месяца сделали пятьдесят шесть репортажей. И надо же — интервью с Папийоном отдали первое место! Да, я вполне серьезно мог рассчитывать на удачу.

Так вперед, к этой новой авантюре!

Незачем ломать голову — буду писать, как говорю.

Значит, надо говорить перед тем, как писать.

На следующий день в каракасском универмаге «Сиарс» я купил самый лучший магнитофон из имевшихся в наличии, разумеется в кредит. Пятьсот долларов.

И пошел наговаривать — говорил и говорил, а магнитофон все крутился и крутился. Стоп — пуск. Стоп — пуск. Я мерил шагами комнату и продолжал говорить: то от магнитофона иду, то к магнитофону, надо же было убедиться, что он крутится. При этом я не выпускал из рук микрофон.

Я наговаривал на пленку ночью.

Наговаривал утром.

Наговаривал днем.

Наговорил столько, что сели голосовые связки и охрипший голос перестал проходить в микрофон.

Я тут же бросился переписывать содержание с ленты на бумагу. Я был полон энергии и набит историями до отказа. Потрясающий материал! Прослушав некоторые отрывки, Рита плакала, словно кающаяся грешница. Больше не было вопросов. Если ты рассказываешь своей жене истории, известные ей в деталях, а она снова заливается слезами, разве могут быть сомнения в успехе?!

Еще как! Едва магнитофонная запись легла на бумагу, как вышло настоящее дерьмо!

Я не мог опомниться, я ничего не понимал.

Перечитав пятьдесят две страницы, я попросил Риту, чтобы она тоже прочла, и в конце концов мы решили напрочь отказаться от этой дряни.

Сказано — сделано. Днем я помог Клотильде уложить аппарат за пятьсот долларов в багажник ее машины — не хотел его больше ни слышать, ни видеть. Для Клотильды это был ценный подарок, а для меня истинное облегчение избавиться от него.

Я снова напрягал голосовые связки, но на этот раз виной тому был не магнитофон.

— Все. Хватит. Не будем больше говорить об этом, милая. Прощайте, телята, коровы, свиньи и все их отродье! Жан-Жак Повер, издатель, может спать спокойно: не будет конкурента, способного унять буйный ветер, посеянный «Астрагалом».

Наступил ноябрь. Я по-прежнему ломал голову, как бы мне найти нечто такое оригинальное, чтобы заработать на пансионат для престарелых, но ничего не вырисовывалось.

Поскольку друзей у меня хватало, и люди это были самые разные, то и предложения мне поступали всякие, одно затейливее

другого. У одного приятеля был собственный участок земли в Венесуэльской Гвиане, и он знал, что там в окрестностях водится золотишко. Он предложил мне «открыть» золотую жилу и, подав заявление, зарегистрировав и надлежащим образом установив границы, подыскать лоха, который бы ее купил. Простая операция. Достаточно зарядить патрон от охотничьего ружья золотым песком да крохотными самородками и выстрелить в землю в разных местах. Когда геолог, нанятый ошалелым покупателем, придет покопаться там, где ему укажут, он даст положительное заключение. Пришлось объяснить ему, что патроны, начиненные золотым песком, — дорогое удовольствие и вряд ли принесут доход. Стоит нам выпалить сотню раз из ружья, и мы определенно разоримся. А если к тому же не найдется покупатель?..

Первые наброски я сделал в рабочем кабинете нашего бара «Скотч».

За последнее время в ночных барах Каракаса произошли перемены. Туда зачастили юнцы; они делали набеги небольшими группками, пить не умели, только искали себе на задницу приключений. До землетрясения они ко мне ни разу не заходили. Но после пары нашествий, обернувшихся скандалом, я понял, что надо делать. Для поддержания порядка в баре я постоянно должен быть на месте, но не на виду у всех. Маленький кабинет, примыкающий к залу, позволял мне не мозолить глаза, когда все в порядке, и появляться в баре, когда потребуется. Чтобы скоротать время, я приносил в кабинет газеты и свои деловые бумаги.

Среди прочих тетрадей появилась еще одна. Школьная тетрадь, скрепленная спиралью. В таких тетрадях мы записывали свои ежедневные расходы, поставку спиртных напитков и так далее. Скучно до чертиков.

И вот, вновь обретя уверенность, что я смогу собраться с духом, я написал первую тетрадь «Мотылька».

Закончив, как-то в воскресенье я решил прочитать написанное жене, дочери и шурина, пришедшему к нам на обед.

Они слушали с таким интересом, что забыли посмотреть передачу «5 и 6», своего рода спортивную лотерею, по которой можно выиграть больше миллиона боливаров. Каждое воскресенье триста тысяч игроков живут этой надеждой.

Ободренный таким результатом, на который я особенно не рассчитывал, я принялся за вторую тетрадь. Результат был тот же — попадание в самое яблочко. Мы все так считали. Но потом я начал сомневаться. Не делали ли они мне снисхождение, ведь это мои близкие? Было бы глупо продолжать, не узнав заранее мнение других людей, самых разных, даже если оно окажется менее положительным.

Я приготовил бутылку виски, бутылку аперитива, оплетенную бутылку кьянти и все остальное, чтобы в субботу во второй половине дня принять несколько человек, которые должны были откровенно высказаться по поводу моего сочинения. Один профессор из числа приглашенных пояснил мне, что такое собрание разных людей во Франции называется «литературно-художественным комитетом».

Я нервничал. Гости ожидались к шести, а часы уже показывали четыре. «А что, если придут, послушают и, выйдя из дома, посмеются надо мной?»

Оставалось надеяться, что они не окажутся слишком лицемерными. Я подбирал их весьма тщательно. Во-первых, два сутенера, ставшие честными коммерсантами. Я им отводил важную роль за их глубокое знание историй из жизни преступного мира. Затем шел инженер, известный экономист, в прошлом ближайший сотрудник Лавалья. Парикмахер, он много читал и знал все произведения Альбертины Сарразен и не только ее. Преподаватель французского языка. Профессор литературы из Каракасского университета, дзюдоист из Лиможа, обладатель черного пояса. Химик из Лиона. Парижский кондитер. Все — французы.

Почти все явились ровно в назначенный час. Не хватало только преподавателя французского. Он пришел, когда я уже прочитал двадцать страниц.

От длительного чтения и от страха у меня пересохло в горле. Все молчали, лица слушателей оставались непроницаемы. Настоящее испытание огнем. Появление опоздавшего вызвало оживление. Он извинился, шумно опустил несколько кусочков льда в свой стакан и наконец уселся.

— Итак, я продолжу, господа.

— Нет, — возразил профессор литературы. — Я настаиваю на том, чтобы Анри перечитал нам те же страницы. Они превосходят

ны, и я хочу, чтобы вы их тоже послушали, а мы получим возможность насладиться ими дважды. Все согласны?

Согласны были все. И мое сердце запело. Я читал несколько часов подряд. И в течение этого времени они ничего не ели и почти не пили. Значит, им было интересно.

Из дома мы вышли поздно. Я усадил их в ресторане напротив нашего бара «Скотч» и, перед тем как самому присоединиться к ним за столом, заскочил на минутку в бар, вытащил Риту из кассы, завел ее в кабинет, крепко обнял и стал целовать, приговаривая:

— Победа, милая! Дело в шляпе! Уверен. Я это чувствую. Бомба взорвется и гроыхнет так, что всем чертям станет тошно!

И я оставил ее со слезами на глазах, а сам поспешил присоединиться к «литературно-художественному комитету». Мы наслаждались прекрасным мясом, зажаренным на гриле, и со всех сторон на меня сыпались похвалы.

Бывший сутенер: «Дружище, до сих пор не можем прийти в себя. Честное слово».

Сотрудник Лавая: «Написано живо, энергично, легко читается».

Преподаватель французского языка и профессор литературы: «Вы очень одаренный человек».

Дзюдоист, кондитер и химик в один голос заявили, что мне надо продолжать и что меня ждет неременный успех.

Парикмахер: «Если ты напишешь всю книжку так же, как эти две тетради, выйдет что-то потрясающее».

На завершение работы мне потребовалось два с половиной месяца.

Поскольку члены «литературно-художественного комитета» оспаривали между собой право первому прочесть тетради и спорили из-за места в очереди, при условии, что каждый держит у себя тетради не более сорока восьми часов, я решил, что все идет хорошо.

Закончил я в январе тысяча девятьсот шестьдесят восьмого года.

Вот они, мои тетради, все до единой. Я перечитывал их так часто, что знал почти наизусть.

Итак, тетради лежали дома на письменном столе. Но что с ними делать дальше? Нельзя же посылать рукописи. И кому посылать? Если не сделать себе копию, то обязательно найдется какой-нибудь проходимец, который скажет, что не знает, кто это написал, и денежки прикарманит, если тут вообще пахнет деньгами.

Отлично! Написал книжку и сам не знаю, на кой ляд и что с ней делать! И я принял решение: для начала перепечатать все на пишущей машинке в трех экземплярах.

Ох уж эти машинистки: югославка, русская, немка и последняя — мартиниканка. Из-за них Кастиельно придется написать в предисловии: «Эта книга печаталась непрофессиональными машинистками, которые менялись и не всегда хорошо владели французским...»

О да, они не всегда хорошо владели французским, но зато были до такой степени увлечены, что однажды, когда я бесшумно вошел в комнату, где работала машинистка, я увидел, как она стоит перед пишущей машинкой и энергично жестикулирует. Так она разыгрывала какую-то сцену из книги.

Эта история начинала влетать мне в копеечку: деньги требовались на магнитофон, пишущую машинку, виски, обеды «литературно-художественного комитета», пачки бумаги, оплату работы машинисток, по крайней мере двуязычных (поскольку мы жили в Венесуэле). Книга действительно приобретала весомость. В отпечатанном виде в ней оказалось шестьсот двадцать страниц. На перепечатку ушло восемь недель — по четырнадцать листов в день. Я подбил расходы — получилось три тысячи пятисот долларов. К счастью, мы могли себе это позволить, и Рита, чтобы меня успокоить, сказала, что деньги потрачены не зря, потому что, если даже книгу не издадут, это будет три необычных подарка для членов семьи на Рождество.

— Нет, — ответил я, — два подарка. Один экземпляр — для тебя. Никогда не знаешь, что будет потом. Так что лучше один приберечь.

Итак, передо мной лежали три стопки отпечатанной бумаги, по шестьсот двадцать страниц каждая, а я пребывал все в том же затруднении, что и прежде. А может быть, еще в большем.

Тетради принадлежали мне, и только мне. Они были написаны моей рукой, пусть даже с помощью подсознания, или вто-

рого «я». Бумага отображала мой почерк, им были выписаны все буквы. Никто не мог воспроизвести их в точности, ведь почерк у всех разный. В своей писанине только автор и может разобрать, не задумываясь ни на секунду, те фразы, которые повествуют о его прошлой жизни. Когда же я собственноручно переносил их на бумагу, то вновь переживал это прошлое, и столь явственно, что, казалось, будто я не писал эти фразы, а жил в них.

Тетради принадлежали мне, и только мне. Но когда двуязычные машинистки перевели мои фразы и мой стиль в печатные буквы, произошло нечто серьезное и очень важное.

Эти листы перестали быть моими. Во всяком случае, они стали не только моими. Теперь страницы могли подвергнуться настоящему судебному процессу, где судьями будут читатели, и я не смогу защитить написанное. Ведь к каждому читателю не приставишь своего адвоката, их приговор нельзя будет обжаловать.

Я задумался о том, как же теперь издать книгу? И прежде всего о том, заинтересует ли она издателя? Как это узнать? Надо до него добраться. Я размышлял так: «Книга понравилась всем членам пресловутого „литературно-художественного комитета“, всей моей семье, друзьям-венесуэльцам, говорящим по-французски, бывшему послу в Лондоне Гектору Сантаэлле, даже моему близкому приятелю, человеку авторитетному и искусному в такого рода историях, Жану Майе де ла Треваншу, и одному полемисту-коммунисту, Эрнани Портокарреро. О чем все это говорит? Да ровным счетом ни о чем.

Может быть, они просто любят приключения сами по себе. А это вовсе не значит, что публика полюбит книгу. Поэтому ее без всяких претензий нужно предлагать со словами: «Если она вам не нравится, то, может, вы ее перепишите?» Если только я сам не перепишу ее раньше, да только это дело мне дорого обойдется. Придется еще выбросить деньги на эту затею, не будучи уверенным, что тебя издадут».

Решение вопроса подсказал мне один приятель, бывший в Каракасе проездом. Он ждал у меня в баре Жозефа Карита, брата сестер Карита, знаменитых парижских парикмахерш. Жозеф опаздывал, и приятель попросил у меня разрешения полистать отпечатанную рукопись. Он даже не заметил, что его ожидание затянулось на два часа. Хороший знак.

Он увез во Францию две тетради. Один из его друзей должен был их посмотреть и в случае необходимости перепечатать.

Целый месяц по утрам я ждал почтальона. Мне не терпелось увидеть отзыв профессионального писателя и переписанный отрывок об острове прокаженных.

Наконец я получил письмо и бандероль, но никак не мог решить, что открывать сначала — ведь прокаженные уже не будут «моими прокаженными». Часы пробили одиннадцать, а я так ни к чему и не притронулся, не вскрывал ни письмо, ни бандероль. Они лежали нераспечатанными на письменном столе. Я ждал, когда все соберутся к обеду.

Волею случая на обед к нам заглянули двое гостей — преподаватель французского языка с женой.

— Открывай сначала письмо.

Французский писатель сообщил мне, что моя история его очень заинтересовала, он обещал мне сделать хорошую книгу из моих мемуаров, написанную на хорошем французском языке. Серьезную книгу, высокого литературного достоинства. Условия предлагались следующие: пятьдесят процентов моего авторского права плюс 18 000 франков за работу и на прочие расходы. «Прилагаю эпизод о прокаженных. Надеюсь, он вам понравится».

Мертвая тишина. У меня сдавило горло, и я начал читать «эпизод о прокаженных на хорошем французском». Наконец-то я увижу свой рассказ в форме, пригодной для издания.

Я закончил. «И это мои прокаженные? Но это невозможно! Это не мои прокаженные! Их больше нет! Я проиграл».

— Но послушайте, Анри, у вас прокаженные получились потрясающие, совсем не то что здесь, — заверил меня преподаватель французского языка. — У вас такой подавленный вид, Анри!

— Ты шутишь! Нет, я удивлен, я в недоумении. Как не недоумевать, когда читаешь эти страницы и видишь своих прокаженных обезглавленными! Если издатели все такие, то это хуже, чем на каторге; с ними нужно держать ухо востро, чтобы не сожрали живьем. Он еще и в накладе не останется, исправляя мою книгу. Ишь ты, хочет пятьдесят процентов, ни больше ни меньше! Не беспокойся, я люблю драку. Уже начинаю заводиться,

авантюра только подхлестывает. Я собирался играть по-честному, как, мне казалось, и должны поступать в этом особом мире, но вижу, в этих джунглях придется действовать в зависимости от людей и от обстоятельств. Не сомневайся, я справлюсь и с дебрями, и с проходимцами при галстуках и наградах и не раскрою свои карты до того самого момента, когда смогу объявить, что выиграл и срываю банк.

Превосходно. Будет очень увлекательно никому не доверяться и никому не верить. Первое, что нужно сделать, — так это прикинуться дурачком, несчастным, легко уживающимся в двух лицах, как бальзаковский отец Горио, заикаться, отвечая на вопросы, и прикидываться глухим, чтобы подольше потянуть с ответом.

Кто кого — издательский мир или негры-поденщики?

Нужно будет внушить им, что ваша проза, пусть даже на самом деле она лучше, чем у них, обязательно должна быть переписана.

Кого же упрашивать первого? «Ашетт»? «Плон»? Я знаю только этих двоих. Но ведь должны быть и другие.

— А почему бы не издателя Альбертины Сарразен? — говорит Клотильда.

— Великолепная мысль, малышка!

После обеда Клотильда позвонила в магазин французской книги, чтобы узнать адрес Повера. Через пять минут она уже печатала письмо: г-ну Жан-Жаку Поверу, Париж, Шестой округ, улица Нель, 8, — в котором говорилось, что я каторжник, бежавший более двадцати пяти лет назад, разорен землетрясением, что мне шестьдесят один год и в таком возрасте трудно поправить свои финансовые дела, а поскольку он издал «Астрагал», так почему бы не помочь и мне, опубликовав мои мемуары, разумеется плохо написанные, но я ведь не писатель, и он легко подыщет кого-нибудь, кто из этого материала мог бы сделать хорошую книгу. «Старый уголовник обращается к вам; что-то мне подсказывает, что я сделал правильный выбор. Надо доверять людям, я заранее принимаю все условия, которые вы сочтете честными и разумными. Прилагаю несколько отрывков и прошу вас их просмотреть».

Я не дурак, чтобы посылать им всё. Кто знает, что они могут сделать!

Двадцатого августа письмо и отрывки из книги отправились заказной почтой.

«Чего ты ждешь, парень? Повер наверняка выбросил твои отрывки в корзину! Уже двадцатое сентября, целый месяц без ответа. Заинтересованный человек давно бы ответил!».

И все же я надеялся, что Повер в отпуске. Ведь издатель может себе позволить длительный и шикарный отпуск за счет трудящихся в поте лица авторов. Если до тридцатого сентября ничего не придет, напишу в другое место.

Утром двадцать восьмого я получил желтый конверт. Вскрывая его, я весь дрожал. Внутри обнаружился простой лист бумаги, тоже желтый. В поисках очков, которые, как назло, куда-то запропастились, я ворчал: «Вечно в этом доме бардак!»

Подошла Рита.

— Все-таки ответили.

— Посмотрим.

И я принялся читать:

Дорогой мсье Шарьер!

Нас действительно очень заинтересовали те фрагменты из книги, которые Вы нам выслали. Они послужат основой для отличного повествования.

Если Вы этого еще не сделали, постарайтесь написать всю книгу в том же духе, что и прочитанный нами материал. Все получилось очень живо и непосредственно. Этому замыслу мы уделим самое пристальное внимание.

Прежде чем делать Вам какие-либо предложения, мы хотели бы прочитать полностью все, что Вы написали.

И так далее.

Подпись: Жан-Пьер Кастельно.

Мы трижды прочитали это письмо. Сначала я, затем Рита, потом опять я. Произносили вслух каждую фразу, каждое слово, взвешивая все нюансы, как нотариус, который читает завещание

так, чтобы наследники поняли, что говорится в документе в целом и точное значение каждого слова в отдельности.

— Ура, милая! Ура! Дело сдвинулось! И этот, как его там... ну, чья подпись там стоит? Ах да... Этот Кастельно найдет еще много живого и непосредственного в таких историях, о которых он даже не догадывается.

— Спокойно, дорогой. Новость действительно прекрасная. Но от нее до издания книги — целая пропасть.

— Милая, эти парни не тратят свое время на бессмысленную переписку. Если они ответили, значит их это заинтересовало. Да или нет?

— Да. Но что дальше?

— С другой стороны, они делают мне комплименты: «Все получилось живо, непосредственно, это послужит основой для отличного повествования». Тебе смешно? Не думаешь же ты, что эти жулики-издатели станут рассыпаться перед тобой в комплиментах просто так? Чем больше они тебе говорят, что все хорошо, тем дороже им это будет стоить. Значит, они действительно такого мнения. Но так как они хитры, то позволяют себе высказываться только наполовину. Хочешь, я, беглый каторжник и писатель с улицы, скажу тебе, что означает это самое «живо, непосредственно, основа для отличного повествования, присылайте всю книгу»?

— Ну?

— Это значит: получили три потрясающих отрывка из книги. Если остальное выдержано в том же духе, книга исключительная.

— И ты собираешься послать им все шестьсот двадцать страниц?

— Ты что, смеешься? Я сам все отвезу.

— Поездка обойдется недешево.

— Идет игра, малышка! Идет игра, разве нужно говорить об этом? Мы ставим на кон нашу халупу, те гроши, которые лежат в банке, весь наш актив. Игра, ты слышишь? Банко. Иду ва-банк. И слушай меня хорошенько. На этот раз я чувствую, я уверен, что французы скажут: «Девятка в выигрыше, загребай денежки, Папийон. Наконец-то ты сорвал банк в твоей беспутной жизни!»

Глава двадцатая

ГОСПОДА ИЗДАТЕЛИ

С небольшим чемоданчиком, в котором уместилось три с половиной килограмма машинописного текста, я сел на рейс Каракас — Париж. Билет «туда и обратно» мы взяли в кредит.

Мне так не терпелось встретиться с издателем, что я даже пребрег опасностью столкновения с полицией в Орли. Я надеялся, что меня не вычислят, не арестуют и не заставят подписывать документ, запрещающий мое пребывание в Париже! Тогда пришлось бы клянуть разрешение, что для меня унижительно. Спустя тридцать восемь лет я, должно быть, исчез из списка лиц, находящихся под наблюдением полиции.

Улица Нель, дом 8, издательство Жан-Жака Повера. Мне, прибывшему из Каракаса, с его широкими современными проспектами, улочка показалась узкой, грязной и запущенной, а дом — облупившимся, словно больным проказой. Двор выглядел столь же омерзительно, как и улица. Мостовая из крупного булыжника — таким камнем мостили улицы Парижа сто лет назад, ворота, в которые давным-давно, должно быть, въезжали фиакры или коляски. Чтобы выехать из таких, надо было хорошенько все рассчитать. Второй этаж был высокий, туда вела лестница без ковра с высокими ступенями, по которым было трудно взбираться. На лестнице было холодно (на дворе стоял октябрь), ступени были обшарпаны — в общем, все это сильно напоминало вход в карцер центральной тюрьмы в Кане. Ну и ну! У издательства Повера оказался не очень-то обнадеживающий вид.

Как бы то ни было, а это был один из самых старых кварталов Парижа, и немало молодых, напичканных познаниями в области искусства, отдали бы жизнь за то, чтобы здесь не тронули

ни единого камня, а вот для молодца, прибывшего из Южной Америки с «бомбой» под мышкой, все это были мелочи, не заслуживающие внимания, на них не сделаешь большой бизнес.

Однако на втором этаже меня встретила красивая дверь, покрытая лаком, огромная, как у всех провинциальных нотариусов. А сверху блестящими медными буквами значилось: «Жан-Жак Повер, издатель».

Дверь открывалась нажатием кнопки. В этой конторе не боялись воров! Правда, в этом логове ничего и не было, кроме бумаги. И все же, когда открываешь дверь сам, чувствуешь себя как-то увереннее.

Однако я заранее предупредил о своем приходе по телефону.

— Алло! Мсье Кастельно? Говорит Шарьер.

— Вот как! Вы звоните из Каракаса?

— Нет, я в Париже.

— Вот это да!

Он никак не мог опомниться и попросил меня зайти к нему в конце дня.

В приемной ожидали двое с рукописями на коленях. Когда секретарша предложила мне сесть, пожилая дама наклонилась ко мне и сказала:

— Надеюсь, вы не очень спешите, поскольку я жду уже порядочно.

— Нет, я не спешу.

Через минуту я услышал голос:

— Просто невероятно видеть вас здесь, мсье Шарьер.

Говорил человек лет сорока, молодежавый на вид, улыбочивый, с приятной внешностью, тощий как жердь. Казалось, он утонул в своем выдавшем виды костюме.

Он представился:

— Жан-Пьер Кастельно. — И, смеясь, добавил: — Честное слово, просто не верится. Всего мог бы ожидать, только не встречи с вами здесь.

Он вежливо и очень любезно увлек меня в свой кабинет. Внутри было тепло, все обставлено строго, но книжный шкаф и всевозможные рисунки и афишки на стенах придавали помещению живость.

— Никак не приду в себя от того, что вижу вас здесь. Простите, после моего письма я ждал другие тетради, но только не вас.

— Вы удивлены, что разорившийся человек приезжает из Каракаса, получив обычное письмо, которое вас ни к чему не обязывает, верно?

— Да, это так, — ответил он, смеясь, — признаюсь, что именно так.

— Видите ли, я на мели, это правда, но все же за телефон и жилье пока плачу.

— Важно, что вы приехали. Жан-Жак будет доволен. У вас есть рукопись? Она закончена?

— Да, рукопись есть. Она полностью закончена.

— Она у вас с собой?

— Нет, я принесу ее завтра. Сегодня у нас просто знакомство.

Мы болтали уже какое-то время, когда в кабинет вдруг зашел молодой человек с ясными глазами и приятной улыбкой.

— Представляю вам Жана Каstellи, — сказал Каstellьно.

— Очень рад. Анри Шарьер. У вас такая же фамилия, как у одного из каторжников в моей книге. Вас это не смущает?

— Вовсе нет, — ответил он, смеясь. — Я читал ваши отрывки, и они мне очень понравились. Поздравляю вас.

С этими словами он ушел. Мы поговорили еще немного, и я поднялся.

— До завтра.

— Как, вы не хотите со мной пообедать?

— Спасибо, завтра.

— Значит, до завтра, с тетрадами.

— Со всеми тетрадами.

Я вернулся в пригород, к моему племяннику Жаку. Он знал Париж как свои пять пальцев и имел довольно точное представление о литературных кругах, поскольку сам работал в «Пари матч». Он у нас художник. Вместе со своей очаровательной женой Жаклин, декоратором, и двумя дочерьми он ждал в уютной вилле, окруженной садом.

— Ну и как, дядюшка? — поинтересовался Жак, едва я успел открыть дверь.

— А вот так... — И я рассказал. — Этот Каstellьно — приятный малый.

— А Повер?

— Я его не видел.

— Ты не видел его?

— Да нет же!

— А это хороший или плохой признак, как считаешь?

— Думаю, что Каstellьно занимается рукописями и принимает первоначальные решения. Хозяин же должен работать в стиле американского делового человека.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Как и во всяком деле, любое предложение сначала рассматривается сотрудниками. Они объясняют, почему рекомендуют тот или иной продукт, будь то литературное произведение или новая модель водопроводного крана. И только в последний момент вступает босс. А поскольку он никогда с тобой не встречался, не обедал, не пил виски, не симпатизировал тебе, а тем более не проронил ни одного похвального слова, то его появление действует, как гильотина: либо голову снесет, либо спасет. Тут он начинает разглагольствовать: «Вы понимаете, это не совсем то, что требуется, сейчас это не очень-то пойдет, мои сотрудники легко увлекаются, и это понятно, ведь не они же платят и рискуют, а я не могу себе этого позволить. Сейчас мы могли бы посмотреть, попробовать, разумеется, если вы согласитесь работать с нами на более скромных условиях». Так вот Повер должен быть таким.

— Ну ты уж, дядюшка, слишком пессимистичен!

— Напротив, я тонкий психолог, сынок. И вот что я тебе скажу: когда такой тип, как я, возвращается из ада, из тех жутких условий, проделывает двенадцать тысяч километров на самолете, чтобы привезти тебе страницы с описаниями своей голгофы, то ты, если в тебе есть хоть что-то человеческое, даже если ты очень занят, придешь к нему, хотя бы просто поздороваться. А он не пришел, так что не нужно делать ему рентгеноскопию, ее результат известен заранее: как и у некоторых американских бизнесменов, его сердце бьется только в такт звонкой монете. Будь уверен.

От этих объяснений Жак и Жаклин чуть не умерли со смеху.

Утром я встал рано, чтобы ровно в десять быть в Париже.

С собой я прихватил шестьсот двадцать страниц отпечатанной рукописи. Такси высадило меня на углу улиц Нель и Дофин, и там, у входа в бистро, я заметил Жан-Пьера Каstellьно.

Он был в пальто, и не напрасно: на улице было прохладно, а при его худобе на подкожный жирок надеяться не стоило — не защитит. Он подошел ко мне и предложил выпить кофе.

Случайно или нет он оказался на тротуаре и дождался меня? Кто знает!

— Как дела, мсье Кастьельно?

— Спасибо, хорошо. Рукопись в чемоданчике?

— Да.

Принесли два кофе.

— Вы позволите взглянуть?

— Да, конечно. (Торопится приятель. Значит, она его интересуется.)

Я водрузил холщовый чемоданчик на стол, открыл застежку-молнию.

В ту же секунду веселый, любезный, милый Кастьельно забыл про свой кофе, остывающий рядом, и быстро пробежал глазами профессионала то одни, то другие страницы. Я вглядывался в его сосредоточенное лицо, в слегка прищуренные и напряженные глаза. Он забыл про меня. Хороший признак.

— Вот что, мой дорогой Шарьер, сегодня четверг, я буду читать эту толстую рукопись в субботу и воскресенье. Приходите ко мне в понедельник, и я вам скажу, что мы сможем предпринять. Не стоит подниматься ко мне в кабинет; по сути, все сказано. Согласны?

— Очень хорошо.

— Значит, до свидания, до понедельника.

Все это он произнес с совершенной непринужденностью, милой улыбкой и открытым взглядом, пока закрывал застежку-молнию. Став обладателем парусинового чемоданчика, он совершенно естественно дал мне понять, что ему не терпится оказаться наедине с рукописью.

— До свидания, мсье Кастьельно, до понедельника.

Милый человек отправился по улице Нель, а я поднялся по улице Дофин к станции метро «Одеон».

Моросил мелкий дождик, но мне не было холодно: меня спасало пальто, да и подкожного жирка вполне хватало.

Поездке на метро я предпочел такси, и лишь в пригородном поезде мысленно вернулся к тому, что только что произошло.

До этого все мое внимание было поглощено жизнью парижских улиц, которую я наблюдал из такси.

«Может, надо было взять с него расписку? Зачем, Папи? Твоя книжка хоть и не сокровище, но ее, в конце концов, можно скопировать либо полностью, либо частично. Кажется, мой племянник говорил мне, что, прежде чем передать рукопись кому бы то ни было, надо принять меры предосторожности и зарегистрировать ее в Обществе литераторов. Но я же не писатель. И потом, никто не может занять место Папийона, высланного на вечную каторгу двенадцатью вонючками из суда присяжных, это вам не настоящий писатель.

Постой, а почему он не захотел, чтобы ты поднялся к нему в кабинет? Может быть, на то была причина? Да будет, Папи, осторожность не помешает, согласен, но не до такой же степени! Ты же видел его приятную физиономию честного парня, дружелюбного и веселого. Я-то видел, да, но у того луноликого янки, что нажег меня с креветками, хрен бы ему в глотку за его добрые глаза, тоже ведь была физиономия честного человека! Нет, этот, видимо, просто не хотел заставлять тебя подниматься по лестнице. Будем надеяться на лучшее.

Во всяком случае, через четыре дня с небольшим тебе все станет ясно. Очень даже здорово, что этот главный управляющий в конторе Повера будет читать твою книгу в выходные. Сколько рукописям выпадает такой шанс, особенно если их приносят неизвестные авторы? Да к тому же если это бывший каторжник?

Четыре дня — это целая вечность. А не навесить ли тем временем племянницу в Сен-При?»

На следующее утро я взял билет на «Каравеллу», обслуживающую внутренние авиалинии, и отправился в Лион. Самолет был набит до отказа, кресло неудобное. Я курил, а рядом со мной какая-то милая женщина читала «Франс суар». Поскольку я отказался от газеты, предложенной мне стюардессой, я краешком глаза следил за заголовками в газете соседки, которая любезно развернула ее передо мной.

Боже мой! Нет, это невозможно! Огромными буквами за подписью Эдгара Шнайдера было набрано:

«КАКАЯ ПОЛЬЗА ОБЩЕСТВУ ОТ ПОВЕРА?»

Кроме заголовка, я ничего не мог разобрать без очков. Они лежали в кармане пальто на сетчатой полке над головой. Я сидел рядом с иллюминатором, и, чтобы их достать, потребовалось бы побеспокоить двоих и занять весь проход между креслами. А это неудобно для всех и очень долго.

«А может, этот Повер и вовсе не мой. Вряд ли такими крупными буквами станут писать о каком-то Повере-издателе, скорее, о Повере-министре».

В конце концов мое терпение иссякло.

— Мадам, простите, не могли бы вы сказать мне, кто такой этот Повер?

— Вы хотите газету?

— Нет, спасибо, я без очков. Будьте добры, прочитайте мне, что там написано мелким шрифтом.

И моя любезная соседка начала читать бесстрастным тоном:

— «Жан-Жака Повера (больше нет сомнений) могли бы спасти от банкротства его собственные кредиторы.

То, что этот издатель, самый главный нонконформист в Париже, называет судебным казусом, на самом деле оборачивается долговой ямой в... новых франков».

— Спасибо, мадам, большое спасибо. Я возьму у вас газету, когда вы закончите читать, мне хочется сохранить эту статью. Она меня заинтересовала.

— Вы знакомы с Жан-Жаком Повером?

— Нет, хуже того, я рискую познакомиться с ним в понедельник.

Ее лицо приняло удивленное выражение, а «Каравелла» продолжала мягко прошивать пушистые октябрьские облака.

«Черт с ними, с моими соседями, если я их беспокою. Тем хуже для них». От волнения захотелось помочиться.

— Извините, мадам. Простите, мсье.

Вместо того чтобы оправиться стоя, я уселся на стульчак. Теперь можно было поразмыслить наедине с собой, на свой собственный лад. Приходилось, однако, держаться за дверную ручку, чтобы не потерять равновесие. Так, должно быть, поступают и другие, когда оправляются.

«Да, приятель, вот уж действительно, катастрофа так катастрофа. Ты уже почти нашел издателя, он был у тебя чуть ли не в кармане, а на самом деле оказался в чьей-то заднице.

И в довершение всего — у него еще и твоя рукопись.

Понял теперь, почему этот парень с обворожительной улыбкой поджидал тебя перед бистро и не хотел, чтобы ты поднимался к нему в кабинет?!

Черт возьми! Тебе следовало бы носом чують, что тут жареным пахнет! Может быть, там, наверху, судебный исполнитель уже готовился наложить арест на движимое имущество, машины, оборудование. Ну и дела!

А недурная газетка, эта „Франс суар“, благодаря ей ты узнал свежие новости. Неважно какие, простите, зато свежие! От таких новостей и вправду может хватить удар!

Что же делать? Взять у доброй женщины газету и немедленно возвращаться в Париж!»

В 10:00 самолет совершил посадку в Лионе.

В 10:20 я забрал свой чемодан из багажного отделения.

В 10:30 прошел регистрацию на рейс Лион — Париж.

В 15:00 ворвался в приемную издательства Повера.

В 15:01 проник, без доклада и не спрашивая разрешения, в кабинет Кастельно и застал его вместе с Жаном Кастелли за чтением и обсуждением моей рукописи.

В 15:06 спокойно уложил ее в холщовый чемоданчик, убедившись, что в ней ровно шестьсот двадцать страниц.

В 15:10 у входа в кафе Кастельно объяснил мне, что Жан-Жак Повер не может меня издать вовсе не потому, что фирма, носящая его имя, испытывает серьезные затруднения, он мог бы это сделать в одном из филиалов, которые находятся в хорошем финансовом положении, а совсем по другой причине.

В 15:15 я без обиняков заявил Кастельно, что не желаю ничего больше знать об этом слишком ловком дельце.

В 15:20 мы решили поужинать вместе в ресторане «Купол» в восемь вечера.

И там передо мной предстал самый благородный, самый сердечный и самый искренний человек, какого я когда-либо знал.

За виски я узнал, что Кастельно очень плотно и с самого начала занимался делом Альбертины Сарразен;

за устрицами — что он на мели и уходит от Повера, потому что тот не в состоянии ему платить, и что только в отдаленной перспективе ему светят небольшие деньжата;

за рыбой — что Повер его друг и что он оставляет ему в бесплатное пользование маленькую комнатку во дворе, малость запущенную, но он переделает ее в офис с наступлением лучших времен, когда можно будет не опасаться за будущее;

за бифштексом — что у него вдобавок ко всему имеется пятеро очаровательных детишек — четыре девочки и один мальчик — и милая жена;

за сыром — что он все равно счастливчик, потому что в семье все доброжелательны и очень любят друг друга;

за десертом — что у него есть небольшие долги, но это не страшно, потому что за обучение детей в школе заплачено и на зиму они одеты;

за кофе — что если я не хочу больше слышать о Повере, то почему бы мне не доверить рукопись ему;

за коньяком — что он уверен, что через шесть месяцев сумеет опубликовать мою книгу, и на очень хороших условиях.

— Какие гарантии ты мне можешь дать?

— Материально — никаких. Вопрос упирается в абсолютное доверие. Ты не пожалеешь.

«Ишь, куда клонит! Либо он проходимец из проходимцев, либо...»

— Могу я зайти к тебе домой завтра? Если да, то во сколько?

— Приходи обедать к часу. Устраивает?

— О'кей.

Мы зашли еще в несколько баров. Пил он без дураков, но при этом держался великолепно. Все время оставался любезен и весел, а виски лил за воротник, как заправский знаток этого дела.

— До завтра, Жан-Пьер.

— До завтра, Анри.

Не знаю, что произошло, но, обмениваясь прощальным рукопожатием, мы громко рассмеялись.

В час ночи я добрался до своих. Дети уже спали.

— Это ты, дядюшка? Я думал, что ты в Лионе. Что случилось? Все в порядке?

— Да, что ни делается, все к лучшему. Мой издатель, вернее, тот, кто должен был бы им стать, обанкротился.

И мы дружно расхохотались.

— Поистине, дядюшка, у тебя вечно все не так, как у всех. Каждый раз происходит что-нибудь неожиданное!

— Верно. Всем спокойной ночи.

И вскоре я крепко уснул в своей комнате, совсем не беспокоясь о будущем моей книги.

Не могу объяснить почему, но у меня было доброе предчувствие.

Завтра все должно было проясниться. Ночь прошла мирно.

В час дня в субботу я поднялся на третий этаж опрятного здания в Шестом округе Парижа. Взойти по ступеням было легко (а это для меня много значило с тех пор, как я сломал обе ступни в Барранкилье) благодаря в том числе добротной ковровой дорожке, на которой не скользила обувь. А на улице все еще шел дождь.

У Жан-Пьера оказалось настоящее индейское племя.

Две красивые дочери, Оливия и Флоранс, восемнадцати и шестнадцати лет, затем довольно длительный перерыв на Марианнином производстве (его жену звали Марианной). Я отметил ее мягкую улыбку и то, как блестели ее глаза, когда она смотрела на малышей, начавших появляться на свет через шесть лет после Флоранс. «Когда их уже больше не ждали», — заметил я, смеясь.

Семья жила в просторной квартире, ухоженной и довольно богатой. Кое-что из предметов старинной мебели указывало на то, что у кого-то из супругов, а быть может у обоих, в роду были бабушки из привилегированного сословия. За разговором я внимательно рассматривал детали.

Во время обеда я отметил две очень важные вещи.

В семье Жан-Пьера умели вести себя за столом, дети ели так же красиво, как и взрослые, лучше Папийона, кандидата на литературный успех.

Стол был круглый, и все хорошо друг друга видели. Старшие дочери с вежливой предупредительностью помогали подавать на стол: одна пошла за чем-то, вторая принесла еще что-то. Видно, что трое малышей обожали отца и разговаривали только с его разрешения, что случалось редко, поскольку Жан-Пьер любил поболтать не меньше, чем я, а этим все сказано — другим почти никогда не представлялся случай вставить слово.

Жан-Пьер действительно разговорился: об открытии Альбертины Сарразен, о ее успехе, о проблемах рекламирования и выпуска в свет нового автора, о взаимоотношениях с прессой, радио и критиками. Он назвал имена всех критиков, дал их характеристику и представил родословную. Легкость, с которой эта информация отскакивала от зубов моего будущего издателя, произвела на меня большое впечатление.

Было видно, что черепок у него варит, что он хорошо знает свое ремесло, рассуждает логично, говорит непринужденно. Так у него в гостиной мы и пришли к соглашению.

— Я доверяю тебе издать мою книгу и представлять мои интересы. Ты знаешь, что я написал ее, чтобы подзаработать, а не из других соображений. И ты знаешь почему.

Он слегка улыбнулся:

- Никому точно не известно, почему пишутся книги.
- Возможно, но я это знаю.
- Ты можешь на меня положиться.
- До свидания.
- До скорого.
- Будем надеяться.

В пригородном поезде, увозящем меня к племяннику, я уже ни в чем не сомневался и никого не подозревал. У Жан-Пьера все было в порядке, это ясно, ведь у ненадежного человека не могло быть такой прекрасной семьи. Ловок он был сверх меры, но все потому, что плотно сидел на мели и ему надо было вертеться, чтобы обеспечить безоблачное будущее своих родных в тихом семейном кругу.

Четырнадцать часов полета, и мой самолет приземлился в Каракасе.

- Милая! Я возвращаюсь с победой!
- Правда? Тебя издают?
- Больше того, мне готовят потрясающий успех.

С октября по декабрь мы с Кастельно вели активную переписку. Он очень уважительно отзывался и о рукописи, и обо всем, что он сам прочувствовал, прочитав ее. А прочувствовал он хорошо: «По приезде в Каракас ты, должно быть, спрашивал себя:

„А не сон ли это, не лапша ли на уши и т. д.?” И речи быть не может о том, чтобы переписывать твою книгу и пытаться сделать из нее роман. Нужно просто исправить некоторые ошибки во французском, орфографию и пунктуацию... У твоей книги есть голос, что бывает редко. Мы не станем ничего менять, это будет *твоя* книга, не беспокойся, и т. д.»

Тридцатого января тысяча девятьсот шестьдесят девятого года я получил телеграмму следующего содержания: «Победа. Подписан договор с крупным издателем Робером Лаффонем. Он в восторге. Лично прослежу за выпуском книги мае-июне. Подробности — письмом. Жан-Пьер».

И солнце вернулось в мой дом вместе с телеграммой моего друга.

И солнце вернулось в наши сердца при сообщении, что моя книга обязательно выйдет.

А вместе с солнцем все выше и выше поднималась радуга надежды, потому что меня, так сказать, опубликует «крупный» издатель, Робер Лаффон.

Телеграмма пришла, когда мы с Ритой были в доме одни. Мы еще спали, когда телеграфист разбудил нас в десять утра (легли мы в шесть, после закрытия бара «Скотч»), и снова отправились в постель, но уже с телеграммой. Перед тем как уснуть, мы еще раз ее перечитали.

— Подожди, милая. Секундочку.

Я позвонил нашей дочери в посольство, чтобы сообщить ей чрезвычайную новость. Она закричала от радости:

— Кто издатель? (Она у нас много читает.)

— Робер Лаффон. Ты должна его знать.

В голосе больше не чувствовалось радости:

— Я не знаю такого издателя. Должно быть, мелкий какой-нибудь. Откровенно говоря, я вообще не слышала этого имени.

Я положил трубку, слегка разочарованный, что моя дочь не знает моего крупного издателя.

В четыре часа дня Клотильда вернулась домой. Рита задерживалась у парикмахера. Дочь снова и снова перечитывала телеграмму.

— Робер Лаффон — крупный издатель? Он преувеличивает, уверяю тебя, Анри, поскольку я такого не знаю.

— Однако Каstellьно — серьезный человек!
 — Быть того не может. В посольстве я справлялась у приятельницы. Она читает больше меня и категорически заявляет, что знать не знает Лаффона. А ведь она француженка, да к тому же парижанка.

Очень странно.

Зазвонил телефон.

— Анри? Это я, Рита. Все верно, это крупный издатель!
 — Как? Что ты говоришь?
 — Здесь, в парикмахерской, лежит старый журнал с фотографией твоего издателя. Во всю полосу.
 — Немедленно возвращайся!
 — Но мне еще не успели сделать прическу.
 — Беги быстрее, крошка, будь добра, завтра причешешься!

Через четверть часа все подтвердилось: Каstellьно несколько не преувеличивал, называя Лаффона «крупным издателем».

На крупных снимках в «Жур де Франс» в шикарном кабинете сидят двое: Робер Лаффон и романист Бернар Клавелль. Они в восторге, и на то есть причина: Бернару Клавеллю, автору Лаффона, только что присудили 63-ю Гонкуровскую премию, которая, если верить журналу, принесла издателю целое состояние (тем лучше, поскольку теперь у него будет на что издать мою книгу), а писателю, по совокупности авторских прав, — около миллиона франков.

Еще я узнал, что этот обаятельный Лаффон (на фото он выглядит, выражаясь языком театра, первым любовником) основал свой издательский дом в тысяча девятьсот сорок первом году. Это уже серьезно!

Кроме того, оказалось, что гонкуровский лауреат Бернар Клавелль терпел и жестокие разочарования по причине «отказа издателей» или «недовольной гримасы критиков», прежде чем выпустил свои первые книги.

А я и тут на коне! Издатели мне не отказывали, нашелся для меня один, исключительный. Теперь осталось посмотреть, как искривится рот у критиков, какую гримасу состроят они при виде моей книги. Надеюсь, их гримаса не будет столь же кислой, как куриная гузка.

Тут уж мы с Ритой решительно перевели Клотильду и ее подругу в разряд недоучек, настолько невежественных, что они

даже не знают такого важного, такого крупного издателя, как мой Робер Лаффон. Клотильда, смеясь, согласилась, немедленно вставила в рамку две страницы из журнала и повесила их на стену в моем кабинете.

Что за чудесный денек! Желанная телеграмма от Жан-Пьера, желанный журнал, из которого мы узнали то, чего нам так не хватало для полного счастья!

Так, через широко распахнутые двери я вступил в неведомый мне мир.

Кастельно прислал письмо, в котором просил меня приехать на несколько недель в Париж. Ему бы хотелось, с согласия Лаффона, который мечтал со мной познакомиться, чтобы я сам, если не возражаю, убрал из текста некоторые длинноты и переделал пару пассажей, изложенных менее удачно, чем все остальное.

Я прилетел в Париж через неделю, в начале марта.

В Орли меня встретил Кастельно. За завтраком в бистро он объяснил, чего ждет от меня: он хотел, чтобы я полностью изъясил несколько очень интересных историй, которые я слышал на картотеке от других.

— Почему?

— Потому что местами, Анри, ты на десяти, а то и на двадцати страницах рассказываешь историю другого человека, и если она захватывающая, то, выходит, ты надолго прерываешь рассказ о приключениях главного героя — Папийона, за которыми читатель следит затаив дыхание.

— Я понял: никого, кроме Папийона. О'кей.

В самом деле, каждый день узнаешь что-то новое. Ведь когда я пишу книгу, я говорю себе: «Папийон, опять Папийон, всегда Папийон — так читателю оскомину набьешь. В то время как та или иная история о ком-то другом может внести разнообразие и сделать повествование интереснее». Но раз уж Кастельно с издателем настаивают на том, чтобы я их убрал, тогда нет вопросов, так и поступлю.

Я встретился с Лаффоном у него в кабинете, и между нами сразу же завязалась искренняя дружба.

Он был красив, как сорокалетний мужчина, этакий тип «юного бога» в зрелых годах. Уравновешенный, спокойный, с мане-

рами дипломата, но чувствовалось, что внутри у него могут кипеть страсти, хотя он и не давал им вырваться наружу. Этот вельможа принимал бывшего каторжника так, словно давно был с ним на дружеской ноге, и, чтобы показать ему это, причем очень тонко, пригласил его пообедать вместе на следующий день, в субботу, но не в ресторане, а в своем буржуазном гнездышке.

Никогда не забыть мне этого обеда, по сути впервые устроенного для меня, в роскошных апартаментах на краю Булонского леса. За всю мою жизнь мне довелось близко познакомиться только с обществом простых учителей да побывать в первоклассных ресторанах. В такой богатый дом и такое изысканное окружение мне попадать не приходилось!

Но это вовсе не означало, что я так и не смог опомниться, так и стоял с разинутым ртом и ослепленным взором — до такого дело не дошло; я был очень взволнован тем вниманием, которое со дня нашей первой встречи оказывали мне Робер Лаффон и его супруга.

За столом присутствовал Робер с семьей, некий банкир и Кастельно с женой.

Робер говорил о книге. Оказалось, она его настолько увлекла, что, принявшись за чтение в субботу утром, он оторвался только около полуночи в воскресенье. Его жена добавила, что на протяжении тех двух дней Лаффон рта не раскрывал и никто не мог к нему подступиться.

И еще за этим обедом я отметил, что мой издатель — человек прямодушный, благородный и щедрый. Полная противоположность типу изворотливого бизнесмена, который не ищет ничего, кроме выгоды.

Я не в силах описать, мой читатель, прелесть, духовное единство и трогательность этих мгновений. Но ты сам можешь представить, какой мощный наплыв чувств я испытываю, открывая для себя другой мир, общество людей, столь отличное от того, что было мне знакомо до сих пор, и переживая неожиданную перемену в моей жизни. Счастье буквально пьянило меня.

Надо же, сказать человеку с таким прошлым, как у меня: «Ты ничуть не хуже, чем кто бы то ни было, ты заслуживаешь уважения как незаурядная личность, здесь, у меня в доме, в кругу моей семьи, ты на своем месте, ты не выглядишь чужаком, и я счаст-

лив, что ты пришел ко мне». Все это, конечно, не говорилось вслух, но тебе давали это почувствовать, не расточая комплименты, вызывающие скорее досаду, чем удовольствие. Да, ничто иное не могло так глубоко тронуть мое сердце.

Для Лаффона и Кастельно оказалось совершенно неожиданным, что в нашем разговоре моя книга и вожделенный успех отступили для меня на второй план. Книга дала мне целую гамму таких прекрасных чувств, что мне казалось, будто все мои усилия, затраченные на ее написание, уже оплачены сторицей. Дошло до того, что я даже принялся убеждать банкира, друга Робера, открыть со мной в Венесуэле совместное дело по ловле креветок.

Среди прочих я был также представлен великолепной и энергичной Франсуазе Лебер, пресс-атташе при издательстве Лаффона. У нее не было времени прочитать рукопись, которая в срочном порядке была отправлена в набор. Кастельно устроил мне встречу с ней в семь часов вечера в ресторане «Купол», где она имела неосторожность обратиться ко мне: «Расскажите в общих словах, о чем ваша книга». В результате мы встали из-за стола только в половине второго ночи. Наутро она позвонила Кастельно: «Я еще никогда так замечательно не проводила вечер. Я уверена в успехе». Добрый знак.

В Каракас я улетал преисполненный гордости.

Я настолько погрузился в размышления о пережитом, что не услышал объявления о посадке в самолет и он улетел без меня. До следующего рейса оставалось шестнадцать часов. Пришлось давать телеграмму Рите.

В течение шестнадцати часов, сначала в кафетерии, затем в баре, потом в ресторане аэропорта Орли, я мысленно воспроизводил эти необычные, слишком короткие три недели, проведенные в Париже.

После обеда у Лаффона меня пригласил к себе крупный французский интеллектуал Жан-Франсуа Ревель. Это одна из светлейших голов Парижа, сообщил мне Кастельно, замечательный писатель, философ и все прочее; Лаффон давал ему читать мою рукопись, и он тоже пришел в полный восторг. Он даже собирался написать кое-что о моей книге.

Мне не терпелось с ним познакомиться, и я остался под большим впечатлением от его квартиры и, конечно, семьи. Квартира

находилась на набережной Сены — светлая, радостная, хорошо спланированная и вся заставленная книгами. Сама ее атмосфера говорила о том, что в этом доме имеют право селиться только возвышенные чувства.

Жан-Франсуа Ревель и его жена приняли меня так, что я не ощутил ни малейшего намека на их превосходство. Они пригласили меня к себе не из милости, а как человека своего круга, как равного.

Несколько раз за время обеда я принимался говорить о своей «реабилитации», своем «перерождении», и Жан-Франсуа Ревель оказался тем человеком, который лучше, чем кто бы то ни было, лучше, чем я сам, дал мне понять, что я не должен говорить об этом. Он объяснил мне, что моя внутренняя суть всегда была со мной, ее сформировали не другие люди и даже не те мерзавцы, которые встретились мне на жизненном пути.

Реабилитированный? Перерожденный? Но для кого? Для чего? Все качества, заложенные во мне, какими бы ни были их значимость и ценность, — душевные силы, характер, ум, любовь к приключениям, чувство справедливости, сердечность, жизнерадостность, — все это всегда было во мне. Это было изначально, еще до Монмартра и каторги, без этого я никогда бы не смог сделать того, что совершил, чтобы выбраться из сточной канавы, и никогда не сделал бы этого так, как сделал.

Есть люди на голову выше вас, продолжал он, способные заставить вас взглянуть на вещи несколько по-другому, отлично от вашего привычного видения, но они не в силах сделать так, чтобы это новое видение стало вашим жизненным кредо, чтобы вы руководствовались им и добивались успеха. Никто меня не «перерождает», потому что даже если некоторые обстоятельства моей юности набросили легкую пелену на то, чем был молодой Анри Шарьер, если эти обстоятельства заставляли его какое-то время вести образ жизни, представляющий его в другом свете, все равно те качества, которые проявились во всей своей полноте в моей борьбе с ужасами каторги, были заложены во мне заранее. Потеря матери решительно повлияла на мою жизнь, она взорвалась как вулкан в сознании одиннадцатилетнего ребенка; я не мог смириться с этим чудовищным событием, с этой полнейшей несправедливостью, я, бойкий мальчишка, слишком

чувствительный, с богатым воображением; и никто не говорит, никто не имеет права сказать, что, не случись той драмы, не лишись я благотворного влияния матери и ее любви до наступления зрелости, я не мог бы стать другим, оставаясь самим собой. Созидателем, быть может, изобретателем чего-то нового и революционного, о чем я так мечтал, авантюристом — да, завоевателем — возможно, но только в рамках общества, в его интересах.

Нельзя переродить то, что уже родилось, но существующему можно дать возможность рано или поздно проявиться во всей полноте. Венесуэльцы не сделали меня таким, какой я сейчас есть; но они дали мне шанс, свободу и веру в возможность выбора нового образа жизни, при котором все, что было заложено во мне и что французское правосудие отрицало и обрекло на исчезновение, могло бы положительно проявиться в нормальном обществе. Уже за это я обязан венесуэльцам вечной признательностью.

Он говорил мне, что я ни в коей мере не должен испытывать чувство моральной неполноценности по отношению к людям этого общества, в которое я возвращаюсь со своей книгой, и если даже она будет иметь шумный успех, мне не следует заноситься. Да, я делал глупости; да, я был наказан; но смогли бы все эти честные люди совершить то, что сумел я, чтобы выбраться из болота, хватило бы у них на то душевных сил и веры?

Нет, не следует ставить французов ниже себя лишь из-за того, что мне пришлось пережить после того, как эти самые французы послали меня на каторгу; вместе с тем и у них, несмотря на мое прошлое, нет никакого права ставить под сомнение мое достоинство, презирать меня и говорить мне: «Замолчи, ты, ничтожество, вспомни-ка, откуда ты явился».

Все эти мысли я уже иногда высказывал про себя, но когда выкарабкиваешься из самого ада, пообщавшись с теми, с кем общался я, после стольких лет, когда сначала в суде присяжных, а потом везде мне говорили, повторяли, допекали тем, что я подонок, я не мог быть спокоен, я переживал, мне было страшно подумать, что это на самом деле так. И надо было появиться таким людям, как Лаффон, Кастельно, Ревель, чтобы я смог наконец хорошенько посмотреть на себя в зеркало и без всякого волнения увидеть в нем человека с полным набором недостатков,

далекого от совершенства, разумеется, но все-таки человека, человека не менее достойного, чем другие.

Когда я приходил к ним домой, у меня было ощущение, будто я приближаюсь к креслу, не зная, имею ли я право в него сесть. А они мне говорили: «Садись, это твое место».

Все это я уяснил сам для себя во время ожидания в Орли и сказал себе, что когда вновь приеду в Париж по случаю выхода моей книги, то определенно встречу там и других истинно достойных людей.

Только авантюристы, по-моему, и могут быть счастливы по-настоящему. У каждого мужчины, у каждой женщины есть своя история, но, откуда бы они ни явились, из какого бы слоя общества или точки мира, среди них сразу же распознаешь тех, кто не прогибался перед общепринятой моралью, если, вникнув в нее, они не находили ее справедливой.

Глава двадцать первая

ВПЕРЕДИ ПАРИЖ

Вот и аэропорт Каракаса, где меня встречала семья в окружении друзей, получавших через Риту все новости, которые я сообщал ей каждый день.

— Дело на мази, дорогая, «бомба» взорвется со страшной силой!

И поцелуй, снова поцелуй.

— Книга выйдет девятнадцатого мая. Первый тираж — двадцать пять тысяч экземпляров, Лаффон мне обещал.

Приехал и преподаватель французского, и «литературно-художественный комитет» почти в полном составе.

— Сегодня среди встречающих нет ни одного официального лица, — обратился ко мне преподаватель, — но в следующий раз будет телевидение.

— Не будем преувеличивать, — предупредила всегда сдержанная Рита.

Я рассмеялся и только дома за дегустацией виски по случаю моего приезда вернулся к этой теме:

— Итак, вы хотите, чтобы я вам сказал, что действительно думаю по этому поводу?

— Валяй.

— Искренне верю, что, когда я вернусь в Каракас после выхода книги, меня непременно будет встречать телевидение.

— Ты сошел с ума, дорогой! — воскликнула Рита.

— Нисколько, я абсолютно уверен!

Раздался смех: хохотали все, полагая, что на сей раз я хватил через край.

В апреле тысяча девятьсот шестьдесят девятого года произошло еще одно маленькое чудо. Обложка для моей книги, представленная на конкурс моим племянником Жаком Бурже, оказалась лучшей. Никто в издательстве Лаффона и не догадывался, что этот участник конкурса — мой родной племянник, сын моей сестры Элен. Парень еще не родился, когда начались мои приключения. Целых двадцать лет он не знал о моем существовании и познакомился со мной только два года назад, в тысяча девятьсот шестьдесят седьмом.

И вот Провидение решило, чтобы именно он сделал обложку для моей книги, книги своего дядюшки, который в течение стольких лет для него просто не существовал! Да, много странных обстоятельств сопровождало рождение моей книги.

Невероятное приключение продолжалось.

Из письма Каstellно от восьмого апреля я узнал, что:

- сотрудники издательства Лаффона во главе с Мерме вычитали гранки и готовы запустить тираж книги;
- ребята из «Радио-Люксембург», с которыми он неоднократно разговаривал, очень воодушевлены;
- потрясающая девушка Полина Невеглиз рассматривает возможность предварительной публикации небольшого отрывка в «Франс суар».

По вечерам, прогуливаясь по улицам Каракаса, я заходил в пару кафе, чтобы пожать руки знакомым, и меня так распирало изнутри, будто я проглотил солнце, излучавшее сильный и мягкий свет. Мне хотелось смеяться, быть любезным и добрым. Мне было немного жаль тех, кому я жал руку: они же не знали и не чувствовали того, что переживал и чувствовал я; они определенно даже не догадывались, что вот-вот произойдет нечто грандиозное. Они были те же, что и вчера, с теми же головами на плечах. Впрочем, как и я. Однако в те минуты, когда из-за горизонта появлялась большая надежда, когда ничего вроде бы не изменилось и в то же время все было по-другому, я сам не знал, что со мной! Я был одновременно и счастлив, и обеспокоен, и взволнован, и безмятежен.

Двадцать второго апреля Жан-Пьер прислал мне текст послесловия к моей книге, написанный «одним из просвещеннейших умов нашего столетия» — Жаном-Франсуа Ревелем.

Читая его, я испытывал сильное волнение и в то же время, признаюсь, легкое смущение — речь там шла о большой литературе, об истории и прочем, и я, оказывается, имел честь быть сродни епископу Григорию Турскому¹, почившему много веков назад. Не слишком ли это большая честь для меня? Но поскольку Кастельно уверял, что это самый безупречный с литературной точки зрения текст, который когда-либо будет написан о моей книге, мне не оставалось ничего другого, как только им восхищаться.

С того же дня члены моей семьи и близкие друзья стали называть меня приятелем Григория Турского.

Я бы никогда не поверил, что такое возможно: после всех пережитых мною приключений я и подумать не мог, что испещренные каракулями странички могут принести человеку столько всего неожиданного, забавного, ошеломляющего и волнующего.

— Жить, жить и жить, милая моя! Да, жизнь непроста, не так ли, дорогая? Не знаю, распродадут ли достаточно экземпляров, чтобы оправдать все наши расходы. Но игра стоит свеч. Да или нет? Все-таки стоит пережить все это.

— Да, Анри, стоит. Я это чувствую всем нутром и не нахожу слов, чтобы сказать, как счастлива прежде всего за тебя, а потом за нас обоих.

— Спасибо. Вот увидишь, в конце мая французы скажут: «Девятка выиграла, мсье Папийон! Загребайте денежки. Хоть раз, да выиграли!»

Я пошел к своему портному, чтобы заказать себе костюм. В кредит, конечно; разве знаешь, как все обернется? В это трудно поверить, но он меня совершенно убедил в том, что мне нужно два костюма — один повседневный, другой вечерний.

— Не волнуйтесь, ваши авторские гонорары позволят вам оплатить заказ.

Портной тоже верил в успех книги.

Сбросили Шарля де Голля. В результате выход моей книги, запланированный на конец мая, приходился на самый разгар президентских выборов. Если объявиться в Париже в такой мо-

¹ *Григорий Турский* (ок. 540 — ок. 594) — епископ Тура в Галлии, автор «Истории Франков» (до 591) — главного источника политической истории Французского государства V–VI веков. — *Примеч. переводчика.*

мент, у кого найдется время заниматься каким-то неизвестным Папийоном? Не лучше ли сделать это пораньше? Только я собрался связаться с Кастельно, как он уже сам мне позвонил. Он тоже считал, что в Париж мне лучше отправиться в начале мая.

Кастельно сообщил, что меня там ждут, в полном смысле слова. Несколько журналистов из газет и радио уже во всеоружии.

Итак, через пару недель я отправлялся в Париж, а книга должна была выйти следом, через несколько дней после моего приезда.

«Да, пройдет еще пара недель, и ты сам лично встретишься с журналистами, литературными критиками, сотрудниками радио и, возможно, телевидения. А за прессой, радио и телевидением стоит целый народ, а это более пятидесяти миллионов человек.

Как-то примут твою книгу и как-то примут тебя?

Твоя книга — это твоя история, верно, но это не только твои приключения. Благодаря им на скамью подсудимых сядет правосудие, полиция и особенно пенитенциарная система такой страны, как Франция.

Но только ли Франции, быть может, всего мира? Всех стран, которые на основании твоей книги будут проводить сравнение со своим собственным правосудием, собственной полицией и обращением с людьми в собственных тюрьмах?

Так что будь уверен, либо Франция, жаждущая знать правду, проглотит твою книгу, чтобы благодаря твоим приключениям открыть для себя то, чего она не ведает, узнать цену, которую нужно заплатить для сохранения общественного спокойствия, либо она отвернется от написанного, отказываясь знать эту слишком тягостную правду.

Ну уж нет! Я убежден, что французы, народ великодушный, пекущийся о том, чтобы иметь настоящее правосудие, приемлемую полицию, с отвращением отвергающий любую исправительную систему, напоминающую бездушную гильотину, внимательно и до конца прочитают мою книгу, ибо эта нация не боится правды. Идеи коммуны еще живы в подсознании народа. Те, кто задумал и написал Хартию прав человека, будут возмущены, узнав, что эти права ни в малейшей степени не соблюдаются в отношении людей, совершивших правонарушения.

И если французы, в чем я уверен, примут, обсудят, проанализируют обвинительное заключение, каковым и является моя книга, то все остальные страны заинтересуются сначала тем, что происходит у нас, а потом зададутся вопросом о том, что происходит у них.

Я прекрасно понимаю, что сейчас уже тысяча девятьсот шестьдесят девятый год, а моя книга повествует о событиях почти сорокалетней давности. Я прекрасно сознаю, что каторги, к счастью, больше не существует, ибо уже в тысяча девятьсот тридцатом году она считалась позором Франции в глазах англичан, голландцев, американцев и представителей других стран, знавших о ней.

Я прекрасно понимаю, что, рассуждая логически, поскольку „Кайенны больше не существует“ и поскольку я был осужден в тысяча девятьсот тридцать первом году, мне могут сказать: „Мсье Папийон, вы говорите о древних временах, о Верцингеторигсе¹ и римских легионах! Ведь были же после и Карл Великий, и революция тысяча семьсот восемьдесят девятого года, и много всего прочего! Все изменилось: правосудие, полиция, тюрьмы!“

Вы считаете, все изменилось? Полиция, правосудие, тюрьмы? А дело Габриэли Рюсье? А дело Дево?

Так ли уж все изменилось?

Не потому ли изменилось, что сейчас в составе суда всего девять присяжных вонючек вместо двенадцати?

Разве не в тех же залах суда присяжных, содержащихся в образцовом порядке, с той же обивкой, коврами, расцветкой, с тем же расположением судей, прокурора, обвиняемого, с теми же жандармами и публикой, ежедневно ставится на кон судьба молодых, пожилых и старых людей? И разве не зависит она от времени года, погоды и настроения участников процесса?

Неужто с тысяча девятьсот шестьдесят восьмого года не было больше отстраненных от должности или осужденных полицейских, не было подозрительных смертей?

Ты шутишь, Папи? Все поймут, если только не предпочтут истине спокойствие своей доброй буржуазной совести, все пой-

¹ *Верцингеторигс* (82 до н. э. — 46 до н. э.) — вождь кельтского племени арвернов в Галлии. Во время Галльской войны возглавил восстание объединенных галльских племен против Цезаря в 52 году до н. э. — *Примеч. переводчика.*

мут, что те нарывы, которые вскрываешь в прошлом, по-прежнему существуют, хоть и стали менее заметны.

Менее заметны? Нужно будет внимательно прочитать французские газеты. Можно даже не очень внимательно, достаточно просмотреть заголовки.

Потому что такие, как Мэйзо, будут всегда.

Потому что гольдштейны, эти пластинки, записанные на набережной Орфевр, 36, будут всегда.

Потому что прогнившие полицейские, бугры-садисты, прево-держиморды сыщутся всегда.

Потому что вонючки-присяжные, ничего не видевшие, ничего не пережившие, ничего не понявшие в жизни, которые могут безответственно заявить: „Этот господин виновен по всем пунктам и заслуживает пожизненного приговора“, — будут всегда.

Впрочем, они существовали во все времена. От своих знакомых я хорошо это знаю. Те же истории, те же песни. Когда эти люди, молодые или старые, рассказывают мне, что им пришлось пережить, вне зависимости от срока давности, у меня частенько создается впечатление, что это было со мной. Приходится даже спрашивать:

— А они говорили тебе то или это? Не делали ли то или другое?

— А откуда ты знаешь?

И мне становится смешно от такой удивительной наивности.

Вот так, Папи, когда ты писал книгу, ты ведь не отдавал себе отчета в том, что ты в действительности выставлял сам себя на показ, ты ее писал, чтобы повернуть дело, заработать бабки на старость себе и Рите, только ради этого, — так ты, по крайней мере, полагал. Даже если в подсознании, воскрешая те страшные тринадцать лет заключения, твою ужасную историю — а такие истории были у многих других, — даже если при этом ты кричал, что хочешь, чтобы об этом все знали, чтобы в конце концов восторжествовала справедливость. Нет, откровенно говоря, ты не отдавал себе полного отчета в этом.

Теперь уже слишком поздно; деньги деньгами, но теперь ты обязан дать бой, пусть даже ты рискуешь потерять спокойствие, свободу и саму жизнь.

Общество образца тысяча девятьсот тридцатого года вполне допускало, что бывший каторжник, вернувшись из Кайенны словно замогильный призрак, мог кануть в небытие, нищету и стыд, но оно никогда бы не потерпело, чтобы он снова стал уважаемым человеком.

Но сейчас на дворе тысяча девятьсот шестьдесят девятый. Все любят свободу, настоящую свободу. Люди не хотят быть колесиками в огромной машине. Все без исключения, от янки до ростбифов, от скандинавов до славян, от немцев до жителей Средиземноморья, хотят чувствовать жизнь, вдыхать полной грудью трепетный воздух приключений, ходить голыми, когда захотят, в полном единении с природой.

Я их вижу здесь, в Венесуэле, молодых немцев, молодых скандинавов, испанцев, англичан, американцев, израильтян. Я вижу их ежедневно; со многими из них дружу, независимо от их расы, национальности или религии. И все они без исключения отвергают конформизм, бунтуют против законов, ничего не просят у Провидения, кроме одного: есть, пить, любить по собственному выбору, не дожидаясь, когда им кто-то разрешит, пусть даже родной отец или мать.

Да, обвинительное заключение, которое представляет собой моя книга „Мотылек“, — это вызов не только народу Франции, но и всему миру.

О, пусть люди поймут и почувствуют, что я с ними и что я их люблю, всех, кто борется и протестует, где бы они ни проживали!

Бескрайние горизонты, сень джунглей, огромные равнины, где можно вскочить на едва объезженных диких лошадей и помчаться неведь куда; какое-нибудь племя индейцев, среди которых можно немного пожить их жизнью; небольшой самолет, приземляющийся близ живописнейших водопадов мира, более величественных, чем Ниагарский, где слышны только музыка падающей воды, пение птиц, крики обезьян и разноцветных попугаев, или лодка — на ней ты выходишь в открытое море и через девяносто миль попадаешь в большущее озеро, образованное сотнями коралловых островков Лос-Рокес, и так проводишь часы, дни, недели, питаешься пойманной рыбой и выловленными своими руками лангустами, где целыми часами любишься гладью

озера с такой прозрачной водой, что на глубине пятнадцати метров можно различить лангустов и осьминогов, а потом летишь оттуда до Лас-Авес, Птичьих островов, на которых тысячи доверчивых птиц, не ведающих о зловредности человеческой, подходят к тебе и осторожно пощипывают тебя клювами, когда ты лежишь и загораешь, растянувшись на песке.

Ну и что? Меня могут упрекать за любовь ко всему этому? Кто?

Меня собираются лишить права говорить об этом, о том, как однажды я провел на тех островах больше недели в компании четырех американских пар, приплывших туда на маленькой лодчонке, среди которых была и негритянская пара, совершенно обезумевшая от радости, что как раз здесь у них сломался мотор, и как я жил с ними, чудесно и естественно, в полном единении духа и тела.

Негритянская пара была просто прекрасна, они походили на статуэтки из черного дерева, к тому же оказались умными, добрыми, открытыми, сексуальными и без всяких комплексов, а белокурые девушки сожалели, что компания у нас такая маленькая. Все это я пережил. Так неужели кто-то хочет, чтобы я променял все это? На что? На девственно-чистую анкету, без записи о судимости? На службу в банке или на каком-либо предприятии, где я буду не Папийоном, а Анри Шарьером, прирученным гражданином, блюдущим законы, написанные другими людьми, применяющими их не к себе и очень довольными тем, что сами-то могут им не подчиняться, поскольку принадлежат к привилегированному сословию?

Вместо большого счета в банке лучше всего иметь пламя в сердце; такой счет никогда не иссякнет и не погаснет, если он дает тебе желание жить, жить бесконечно, на полную катушку.

Да, приближается час возвращения; чемоданы уже наготове; у меня новая виза на трехмесячную поездку во Францию. Я снова выйду из самолета в Орли, но на этот раз будет нелегко остаться незамеченным. Капельно сказал, что меня будет встречать пара журналистов.

Только бы власти не воспользовались этим обстоятельством, чтобы уведомить меня о запрете на пребывание в Париже».

Девятого мая тысяча девятьсот шестьдесят девятого года я улетал в Париж. Я не захотел, чтобы меня провожали, поэтому рядом была только Рита. Мы пили чай на террасе в аэропорту. Она держала меня за руку и слегка пожимала ее, чтобы я не отвлекался и смотрел ей прямо в глаза. Мы не разговаривали; она знала, о чем мои мысли: начиная с одиннадцати часов следующего дня крупье будет тащить из сабо карту за картой. Если девятнадцатого мая мне все же предстоит сорвать банк по случаю выхода моей книги, то партия начнется десятого мая в одиннадцать. Еще легкий нажим пальцев — и я смотрю на Риту и улыбаюсь с полным доверием к ней.

Такова жизнь, когда двое искренне любят друг друга: им не обязательно разговаривать, чтобы обменяться тысячами мелочей, теснящихся в голове; каждый из них знает, о чем думает другой. Если возникает какое-нибудь сомнение, то достаточно взгляда, чтобы убедиться, что оба настроены на одну волну.

В какой-то момент в ее улыбке и взгляде появилась некоторая насмешливость. Я знал, что она хочет сказать: «Ты был только что малость резковат с итальянцем. Ты думаешь о том, что сказал, или просто насмеялся над ним и над собою?» — «Нет, я был серьезен и говорил с ним без всякого злого умысла, не знаю, почему так вышло», — отвечали мои глаза.

Речь шла об одном итальянском предпринимателе, который с полчаса назад пожелал мне приятного путешествия и, желая поговорить со мной об одном деле, спросил меня, когда я предполагаю вернуться в Каракас. Он уже готов был дать мне свой телефон.

А я ему ответил без всякой задней мысли:

— Марио, ты узнаешь о моем возвращении из газет.

— А почему газеты собираются объявлять о твоём возвращении?

— Потому что, когда вернусь в Каракас, я уже стану знаменитым.

Марио, этот простодушный ребенок, расхохотался, довольный ответом и не спрашивая почему; он был убежден, что я просто пошутил, не более того. Пусть так, но я все-таки знал, о чем говорю.

По радио объявили: «Начинается посадка на рейс авиакомпании „Эр Франс“, следующий до Парижа».

Мы поцеловались, она нежно обвила руками мою шею и тихонько прошептала, чтобы никто, кроме меня, не услышал: «Думай обо мне день и ночь, а я буду денно и ночью с тобой. Напиши сразу, если будет время; если нет — телеграфируй».

Я быстро устроился в удобном кресле в салоне первого класса. Это был сюрприз от Риты — она позаботилась, чтобы я летел с наибольшим комфортом. Самолет мягко вырулил на взлетную полосу. Еще две минуты я мог видеть Риту, махавшую мне вслед платком.

Встреча с трудностями и неизвестностью всегда возбуждает. Но самый напряженный момент возникает не в самой борьбе, а до нее, во время ожидания. Вся ситуация прокручивается в голове, и задаешься вопросом: «Как пойдет дело? Кто меня ждет? Скажу то, скажу это, сделаю так или эдак». И ничего не получается, ничего не происходит по задуманному сценарию. Ты как-то сразу оказываешься вовлеченным в схватку, и тогда нужно найти оружие, позволяющее тебе обезвредить противника, победить его или уничтожить. Только следует постоянно говорить себе: «Я должен преодолеть, я преодолею препятствие, будь я сильнее или слабее тех, кто хочет мне помешать».

Если я правильно рассуждал, то все складывалось против выхода моей книги в назначенный день. Францию ожидал разгар предвыборных сражений за президентское кресло. Это был более чем важный момент для французов. Неужели помимо политической борьбы кто-то станет заниматься книгой неизвестного автора? Такое возможно при безоблачном небе и полном штиле. Посмотрим!

В конце концов, выход моей книги сопровождался не только негативными факторами. Он совпадал с годовщиной баррикад, воздвигнутых в мае тысяча девятьсот шестьдесят восьмого года.

Это был толчок, в результате которого в Париже, в его пригородах и далеко за его пределами вся Франция в лице своих граждан встала по ту или другую сторону баррикад или рядом с ними.

Баррикадам отводилась роль того механизма, с помощью которого протестующие хотели заставить представителей опреде-

ленного класса выйти из золоченой башни, чтобы принудить их к диалогу.

Воздвигнув баррикады на улицах и бульварах, народ стремился показать, что больше не желает слепо повиноваться, не поняв происходящего, не обсудив всех этих сотен и тысяч «почему».

Было сожжено несколько машин, сотни людей избиты полицейскими дубинками, раненые с обеих сторон; а они вышли из своей золоченой башни, те, у которых не было поначалу ни ушей, ни языка, и они ответили, как сумели, на эти «почему»; и они пошли еще дальше — дождались ответа на собственный вопрос: «Зачем вы воздвигли баррикады и сожгли автомобили?»

Май тысяча девятьсот шестьдесят девятого года, годовщина пролития крови молодых французских студентов, годовщина взрыва, гремучая смесь которого накапливалась годами, годовщина мощного удара топором по запретному дереву, на котором восседал друид¹, годовщина тех дней, когда народ, приговоренный к вечному молчанию, заставил наконец выслушать себя.

Пришел и на мою улицу праздник, настал день, предназначенный мне судьбой. Я тоже был приговорен к вечному молчанию, а теперь собирался сказать то, что должен был, лишь бы мне уделили немного внимания.

— Еще немного шампанского?

— Нет, спасибо. Но если позволите, ломтик камамбера и красного вина... Это возможно?

— О да! Чего проще!

— Спасибо, мадемуазель Эр Франс.

— Вы летите в Париж?

— Да.

— Вы венесуэлец?

— И да и нет.

Она уходит и очень скоро возвращается.

— Вот прекрасный камамбер и божоле. Значит, вы по происхождению француз, получивший венесуэльское гражданство?

— Да, малышка.

— А не странно ли возвращаться во Францию теперь, когда у вас другая национальность?

¹ Друид — жрец у древних кельтов. — *Примеч. переводчика.*

— Есть немного, но это своего рода приключение.
 — А у вас было много приключений?
 — Предостаточно, и очень захватывающих.
 — Пожалуйста, я уже закончила обслуживать, расскажите немножечко о себе.

— Ну, это очень длинная история, малышка, к тому же через несколько дней ты сможешь прочитать обо всем в книге.

— Вы писатель?
 — Нет. Но я написал о своих приключениях.
 — И как будет называться книга?
 — «Папийон».
 — Почему «Папийон»? Это ваше имя?
 — Нет, прозвище.
 — О чем же ваша книга?
 — Ну ты и любопытная, малышка! Если дашь мне еще ломтик сыра, так и быть, скажу.

Она мигом слетала.

— Пожалуйста. Теперь вы должны мне рассказать. А хотите, я вам тоже скажу откровенно?

— Сделай милость.
 — Обычно я угадываю, чем занимается пассажир первого класса и каково его социальное положение. Но с вами у меня ничего не получилось. Не успели вы войти, как я уже спросила себя, кем может быть этот мсье.

— И не угадала?
 — Ничего не вышло. Я перебрала все профессии, одну за другой, более или менее подходящие вашему облику, и готова откусить себе язык — ничего не нашла.

— Ну хорошо, я удовлетворю твое любопытство. Моя профессия... авантюрист.

— Что вы говорите!..

Девушка поднялась и подала одной даме одеяло. «Самое время провести тест! — сказал я сам себе. — Незнакомка, по своей профессии много летает, должно быть, много читает — прекрасный термометр. Надо проверить температуру „Папийона“».

— Так вот, малышка, что я тебе расскажу: один двадцатитрехлетний довольно красивый парень, немного испорченный, на что имеются свои причины (по крайней мере, он так думает),

плюет на все, что представляет собой порядок и дисциплину. Ну что, ты представляешь этого юношу?

— Да, весьма отчетливо.

— Так вот, этот юноша попадает на скамью подсудимых за убийство, которого не совершал, и приговаривается к пожизненному заключению.

— Это невозможно!

— Возможно. Его осуждают на медленную и мучительную смерть в самом гнилом месте мира, на каторге в Кайенне. В тридцать третьем году этот молодой человек отправляется в Гвиану, запертый в клетке с толстыми железными прутьями в трюме специального судна. Он не мирится с этим, два раза бежит, два или три раза побег срывается. Наконец, через тринадцать лет, он прибывает в Венесуэлу свободным. Там он становится человеком, находит свое место в жизни, женится и почти успокаивается. Тридцать девять лет спустя он, бывший каторжник, возвращается в Париж с книгой, в которой рассказывается о его жизни, страшных испытаниях, камерах, побегах, борьбе и еще о том, как его, в два приема, бросили на три с половиной года в одиночку — медвежью яму с решеткой над головой, без права разговаривать, где он в полумраке, словно зверь, мерил шагами камеру, чтобы не лишиться рассудка, чтобы по выходе оттуда иметь голову на плечах для подготовки нового побега. Вот об этом более или менее моя книга. Жизнь человека на каторге.

Бортпроводница вытаращила на меня свои и без того большие черные глаза и не сказала ни слова, но я чувствовал, что она пытается разглядеть на моем лице нечто другое, о чем ей не терпится поскорее узнать.

— И у вас хватило мужества рассказать обо всем в вашей книге? Абсолютно обо всем?

— Обо всем.

— И вы не боитесь столкнуться с общественным мнением, вы...

— Можешь договаривать: вы, бывший каторжник.

Бедняжка не смела ответить, лишь кивала в знак согласия. Да, так оно и было. Я, бывший каторжник, осужденный на пожизненное заключение за убийство, беглый и постоянно в бегах, несмотря на запрет, возвращался в Париж, неся свое обнажен-

ное сердце на блюде, которое через несколько часов собирался преподнести французам.

И снова большие черные глаза пытались заглянуть в мои. Девчонка дрожала, и в ее взгляде читалось: «Но ты не отдаешь себе отчета в том, какое серьезное дело затеваешь! В том, какое возмущение оно вызовет!»

— О чем, крошка, задумалась? По-твоему, это смелость или самоубийство с моей стороны?

— Мне кажется, без всяких сомнений, эта история наделает шума. Особенно в отношении вас.

— Почему?

— Потому что, судя по вашей внешности, в вас есть что-то необычное.

— У тебя действительно складывается впечатление, что книга может вызвать интерес? Даже в нынешней беспокойной Франции, ищущей замену великому Шарлю?

— Я в этом уверена; мне бы хотелось быть рядом с вами, чтобы хоть чуточку пережить то, что предстоит пережить вам. Не может быть, чтобы во Франции остались безразличными к тому, о чем вы рассказываете, если вы написали так же, как только что рассказали мне. Извините, что покидаю вас, мне нужно быть на своем посту. Я бы предпочла остаться с вами, поверьте мне. До завтра и спокойной ночи. — С участливой вежливостью она наклоняется ко мне, смотрит мне прямо в глаза и продолжает: — Вы идете к большой победе, я в этом уверена. Желаю вам от всего сердца добиться ее.

Тест прошел успешно. Лишь несколько фраз о моей истории вызвали у этой девочки неподдельный интерес. И таких, как она, будет много. Будем надеяться.

Я перевел кресло в горизонтальное положение, но заснуть не смог. Укутал ноги одеялом, которое сам достал с полки над головой. Незачем беспокоить большие черные глаза, да и вообще хотелось побыть одному.

Чему быть, того не миновать... Мой «боинг» летел над ночной Атлантикой со скоростью девятьсот километров в час. Приближался решающий момент.

Я знал все «как» и «почему» своей книги, но для тех, с кем мне предстояло встретиться, я был никто, неизвестный автор.

Вернее всего было действовать напрямую:

- Позвольте представиться: Папийон.
- Ваша профессия до написания книги?
- Сначала каторжник.
- Потом?
- Беглый каторжник, затем каторжник, по приговору которого истек срок давности.
- Национальность?
- Венесуэлец из Ардеша.

«Да... этот беглый каторжник прибывает в Орли. Человек, которого французское правосудие на вполне законных основаниях спустило в канализацию навечно. Совсем не потому, что здесь вступает в действие закон о прекращении преследования за давностью, когда тебе ничего не могут сделать, когда твое положение по отношению к правосудию и фараонам изменилось. Закон законом, но ты все равно остаешься беглым каторжником. Правда... ты не возвращаешься украдкой, прижимаясь к стене в надежде отыскать деревушку, где можно было бы мирно скоротать остаток дней, живя тихо и незаметно, прячась за высоким забором своего огорода, чтоб тебя, не дай бог, не увидели сверху и чтоб не слышать, как о тебе плохо говорят.

Нет, ты приходишь с книгой, и в этой книге ты пишешь: „Французы, вот тот ужас, в котором вы жили в течение восьмидесяти лет“. И в этой книге ты обличаешь карательную систему, полицию, само правосудие страны с населением свыше пятидесяти миллионов, ты обличаешь три ветви власти, на которые возложена охрана общественного спокойствия. Да уж, приятель, ты высоко замахнулся, так что будь начеку.

Более того, твоя книга не просто скромно появится в книжных магазинах девятнадцатого мая. Десятого ты приедешь в Париж (куда не имеешь права ступать ногой по действующему запрету на пребывание), а двенадцатого, как тебе написали, начнется предварительная публикация книжки в газете „Франс суар“. Значит, двенадцатого числа из одного миллиона двухсот тысяч экземпляров газеты вся Франция узнает о твоем существовании. Один экземпляр газеты наверняка прочитают трое, получается три миллиона шестьсот тысяч человек, которые в течение недели

узнают о существовании некоего Анри Шарьера, по кличке Папийон, каторжника, бежавшего из Кайенны, после того как его приговорили к пожизненному заключению, которого прекратили преследовать за давностью срока и который как ни в чем не бывало собирается сказать: „В тысяча девятьсот тридцать первом году дюжина ваших вонючек вычеркнула меня из списка живых. Ваши судьи представляют ваше правосудие и вашу систему безопасности, и вот перед ними в тысяча девятьсот тридцать первом году предстал молодой человек по прозвищу Папийон. Эти судьи поверили полиции и материалам следствия. Эти судьи и двенадцать присяжных вонючек позволили себе допустить чудовищную несправедливость: уничтожить двадцатичетырехлетнего парня. Они посчитали своей обязанностью сделать это, одураченные, как недоумки, одним нечистоплотным полицейским. Затем они передали его в руки администрации исправительных колоний с ее средневековыми способами работы, когда с человеком обращаются хуже, чем с самой последней тварью. Но он чудом воскрес. Вот он перед вами, этот парень, правда, ему уже шестьдесят три, и он здесь для того, чтобы спросить вас: «Вы допускали произвол? Вы были в курсе? Вы были соучастниками? Ведь ни Альбер Лондр, ни многие другие знаменитые журналисты, ни майор Пеан из Армии спасения не смогли тронуть ваши очерстевшие души, не отреагировавшие на требование немедленной отмены сточной канавы и бескровной гильотины!»

Я им все это выскажу. Они прочитают. Надо заставить их посчитать вместе с тобой, как ты это делал в камерах и карцерах: „Раз, два, три, четыре, пять“.

После публикации отрывков из книги в газете „Франс суар“ жди от них всяких пакостей, Папи. На тебя набросятся пресса, радио, телевидение, они сразу встретят тебя в штыки.

Поэтому прежде всего надо бросить им кость:

„Вы мне разрешаете говорить?

Вы полагаете, что я имею право на собственное мнение?

Вы допускаете, что бывший каторжник может снова стать достойным гражданином?

Вы уже отказались и открестились от идей ваших дедов?

Скажите, могу я говорить свободно во Франции образца шестьдесят девятого года? Или я должен спросить разрешения? И у кого?»

Ведь быть не может, чтобы не бросилось в глаза несоответствие наказания тому проступку, в котором тебя обвинили, даже если бы ты на самом деле был виновен. Если, несмотря на выборы, тобой заинтересуются, то поверь, приятель, это будет не подарок.

Почему? Потому что многих будет тошнить при мысли, что бывший каторжник, до сих пор беглый в глазах закона, позволяет себе об этом говорить, да еще в той стране, которая его осудила. А это уж совсем ненормально. Многие французы, представляющие определенный класс людей, заскрежещут зубами. А сколько их? Миллион не миллион, пусть около того, но шума будет достаточно. Это прежде всего консерваторы, привилегированные круги, которые полагают, что в нашем мире все прекрасно и ничего не надо менять, это реваншисты, живые ископаемые, все те, кто не может допустить, что в других слоях общества идут процессы обновления и эволюции. Чем они лучше колонистов?

Подобные им водятся и в Алжире, и в Марокко. Они возмущены тем, что их лишили права гонять грязных арабов до седьмого пота, не могут смириться, что арабы равны им во всем, и поэтому всех, кто так считает, они обзывают коммунистами, утопистами, предателями империалистической Франции. Это та категория людей, которая полагает, что надо подавлять несогласных тем или иным способом, если они мешают жить спокойно. Таким место в тюрьмах, исправительных домах и на каторге. Виновен или нет? Да плевать! В отвратительных нечеловеческих условиях? Да вдвойне плевать! С ними чем жестче, тем лучше!

„С ними только так и следует...“ — это основной лейтмотив. Они считают, что был бы подсудимый, а статья найдется. Они жалеют, что кончилась эпоха галер, что прошло то время, когда можно было осудить человека просто за то, что он „способен на проступок“. Да, Папи, тебе предстоит столкнуться с этими людьми.

Однако прошло сорок лет. К счастью. Во время войны тысячи честных людей узнали, что такое тюрьма, полиция и даже правосудие в определенных случаях, и прочувствовали, как обращаются с теми, кто представляет собой лишь арестантский номер.

Многое, должно быть, изменилось с тех пор, будем надеяться, но несомненно одно: под перекрестным огнем прессы, радио и телевидения я не должен сломаться, не имею права, я обязан сказать правду. Если последствия будут хреновые, тем хуже для последствий.

Предстоят волнующие события, и не все будет в розовом цвете. Но только вперед! Надо смело и открыто идти туда, навстречу будущему, даже если это отразится на продаже моей книги. Черт бы их всех побрал! Даже если я буду слишком точен, слишком откровенен, слишком страстен, отстаивая правду, даже если это повредит финансовому успеху моей книги, я все равно это сделаю, потому что должен. Нужно, чтобы все услышали, что я хочу сказать, чтобы послушали о том, что я видел. Даже если после этого я не смогу купить себе дом, где можно состариться, и мне придется снимать две скромные комнатки на берегу речки Ардеш в каком-нибудь солнечном месте».

В иллюминаторах забрезжил рассвет, и лишь тогда я смог наконец-то предаться сну, умиротворенный только что принятым наедине с самим собой решением.

— Чашечку кофе, мсье авантюрист?

Большие черные глаза приветливо улыбались мне. Я читал в них интерес и симпатию к моей персоне.

— Спасибо, маленькая. Подумать только, уже совсем рассвело!

— Да, скоро прибываем. Осталось чуть больше часа. А скажите, каторгу на самом деле отменили?

— К счастью, да! Вот уже почти двадцать лет.

— Вот видите, сам факт, что ее отменили, говорит о том, что нынешние французы уже заранее соглашаются с вами.

— Ты права, малышка, мне это раньше как-то в голову не приходило.

— Поверьте мне, мсье, они вас будут слушать, они вас поймут, и, более того, многие из них вас полюбят.

— Я от всего сердца желаю этого. Спасибо, малышка.

«Пожалуйста, пристегните ремни. Мы начинаем снижение. Через двадцать минут наш самолет совершит посадку в аэропорту Орли. В Париже девятнадцать градусов тепла. Ясно».

Для всех погода была ясная, но для меня, каторжника, прибывающего в Орли, где одни ждали меня с распростертыми объятиями (как я надеялся), а другие — с камнями, каким-то будет парижское небо?

«Хватит вопросов! Наплевать на все и растереть! Я играл всю свою жизнь и сегодня продолжаю играть. Меня ожидает прекрасная партия. Всей своей шкурой и всеми ее порами мне предстоит прочувствовать накал борьбы с теми, кто лучше меня подготовлен и образован, кто готов разобрать по косточкам то, что я обнажил, или, наоборот, представить по-своему тот скелет, который представил им я, один из каторжников, избежавших акульей пасти.

За тебя встанут твоя голгофа и сама правда».

Черно или нет мое парижское небо, в нем все-таки нашелся небольшой просвет, ибо, пройдя паспортный контроль, я увидел Кастаньо с широкой улыбкой на лице. Он взволнованно обнял меня и протянул мне мою книгу, первый экземпляр «Мотылька».

— Спасибо, Жан-Пьер. Подожди меня там, надо черкнуть пару слов и отправить Рите телеграмму.

— Конечно-конечно, но поторопись. Нас уже ждут.

— Где?

— У меня. Два крупных журналиста. Я тебе все объясню.

В тот момент, когда я отходил от Кастаньо, меня внезапно ослепили две фотовспышки — мои первые фотографии для прессы.

— Это для «Франс суар». Добро пожаловать в Париж, мсье Шарьер!

— Ну, Жан-Пьер, информация в Париже распространяется быстро, стоит только начать!

Возвращая книгу, я заметил на лице Жан-Пьера некоторое беспокойство.

— Ну что, Анри, тебя не пугает то, что готовится?

— Нет, будь уверен. Чтобы меня напугать, нужно что-нибудь посерьезнее.

— Сам понимаешь: Париж, журналисты, критики. Можно столкнуться с тем, чего вовсе не ожидаешь. Перо иногда куда опаснее пистолета.

— Не беспокойся, сынок. Я в отличной форме. Будь уверен.

— Ладно. Но предупреждаю: придется туго, тяжело, если хочешь. Заваруха начнется через час.

— Это по мне, и в мою пользу две вещи: правда и любовь к преодолению препятствий, если правота на моей стороне.

— Тем лучше. Едем ко мне.

Глава двадцать вторая

БАНКО!

И вот два первых «вольных стрелка» вышли из своего окопа — в данном случае встали из кресел в гостиной Кастельно. Тот, что с автоматом, — сам Жак-Лоран Бост, ни больше ни меньше, а его приятель, рослый дядя с длинным карабином с оптическим прицелом, — Серж Лафори.

Нас представили друг другу. Я едва успел поставить свой чемодан у входа, как мы тут же перешли к столу, чтобы позавтракать на скорую руку. Мне сообщили, что эти симпатичные, открытые люди — корреспонденты «Нувель обсерватер», о которых мне говорил Кастельно.

Первое маленькое непредвиденное осложнение: я так бы до сих пор и не знал о существовании «Нувель обсерватер», если бы Кастельно не объяснил мне по дороге, что это очень крупный журнал.

Итак, эти «вольные стрелки» взяли меня в оборот после четырнадцати часов полета, когда я почти не спал, после смены часовых поясов, климата и всего прочего. Уж не думали ли они взять меня измором? Вполне возможно, потому что Бост щедро наполнил мой стакан и сказал, что мне надо взбодриться с дороги. После этого мы перешли в гостиную. Кофе, виски. Началась молниеносная атака.

Они подкупили меня своим обаянием. Для вралей, проныр, опасных выжиг, свержскептиков ничего лучшего не придумаешь, как вызвать симпатию собеседника. Перекрестный огонь продолжался ровно семь часов. Три бутылки виски привели лишь к тому, что еще сильнее распалили Боста и Лафори: «И это правда? А это неправда? Отчасти правда? Не совсем правда? Не

слишком ли? Совсем не слишком?» Эти два парня, что устроили мне «допрос с пристрастием», достойны служить в ФБР. Они так дьявольски переворачивают все вопросы с ног на голову, что смотришь, вопрос вроде бы тот, да уже не тот. Молодцы! Настоящие профессионалы, способные разобрать собеседника по косточкам.

В конце этого допроса я обливался потом, сбросил рубашку. Я был на ногах уже двадцать три часа, из них семь — под градом вопросов.

Хорошенькое начало, черт бы его побрал! Если бы не виски, не обаяние собеседников, то я бы решил, что нахожусь на набережной Орфевр, 36, как сорок лет назад.

Провожая их до машины, я с удовольствием отметил, что они устали больше моего. Не потому ли, что по части виски им со мной не тягаться?

Мы расстались довольные друг другом. Жан-Пьер предложил мне лечь спать.

— Ты, должно быть, валишься с ног.

Услышав мой ответ, он расхохотался, как ребенок:

— Ничего подобного. Мне надо восстановиться — пойдем в бар за углом и пропустим по стаканчику.

Под громкие звуки музыки в одном из баров он наклонился ко мне и произнес:

— Папи, думаю, что это победа. Я это чувствую.

В три часа утра, побывав еще в одном заведении, мы завалились домой. Кастельно предоставил мне комнату своего сына Жана, а сам перенес его, спящего, вместе с подушкой и одеялом в гостиную на диван.

Я вытянулся во весь рост на простынях, еще хранящих тепло одиннадцатилетнего мальчонки, и тут же заснул, провалившись словно в туман. Во сне двое парней, один с автоматом, другой с карабином с оптическим прицелом, танцевали вокруг меня бешеный танец индейцев сиу. Их крики были похожи на вопросы, трещавшие, как пулеметные очереди.

— Вставай, Папи!

Приказ, отданный ласковым тоном, тут же был подкреплён толчком в плечо. Это Кастельно. Он стоял передо мной уже одетый и при галстуке.

- Который час?
- Девять часов.
- Вечера?
- Нет, утра.

— Ты сдурел, приятель! И ведешь себя безответственно! Ты так спокоен, потому что не знаешь, как опасно будить меня в такую рань! Убирайся отсюда, и побыстрее!

И я с головой зарылся в подушку, натянув ее края поплотнее на уши. Но этот бессовестный парень снова принялся тормозить меня и толкать в бок. Я сел на постели, взъерошенный, словно джинн, только что выскочивший из бутылки, готовый на любую крайность, чтобы выгнать этого безумца из комнаты. Но тот продолжал улыбаться.

— Что поделаешь, ужасно неприятно, но мы сами этого захотели. Оба виноваты. Отступить нельзя — тебя ждет куча народа.

Вот черт! Действительно, я попал в настоящий тайфун, какие случаются в тропических морях. Париж — это рай? Нет, это чудовище, которое, открыв миру человека дня, готово сожрать его с потрохами. Вместе с Франсуазой Лебер и Кастельно в кильватере мы бегали, уходили, приходили, отвечали по телефону, принимали приглашения, отказывали. Почему приняли, почему отказали? Боже мой, дайте хоть отдышаться!

— А нам, журналистам, не надо отдышаться после бега за вами?

— Но это же не моя вина!

— Нет ваша! Вы виноваты! У нас здесь все было тихо-мирно, мы писали себе статьи о кандидатах на пост президента, завтракали в обществе какого-нибудь признанного и спокойного автора, но тут являетесь вы. И невесть откуда! Согласны: знаем, что с каторги, после остановки в Венесуэле. И мало того что вы просто являетесь, так еще и бросаете вызов учреждениям, обсуждение которых всегда было под запретом. В общем, вы приехали трепать нам нервы и после этого еще имеете наглость требовать, чтобы вас оставили в покое? Но это бессовестно! Вы, прибывший из спокойной столицы Венесуэлы, ничегошеньки не знаете!

Здесь совершенно другой мир. Вы принадлежите нам денно и ночью, вы — гвоздь программы, главное блюдо нашего обеда, которое все должны отведать, чтобы потом рассказать о нем прожорливой публике, každодневно жаждущей своей порции. Вы сенсация в сенсации, со всеми вашими нюансами, взглядами на жизнь, выводами, желанием принять или прогнать тех, кто хочет задать вам вопросы. И вам начхать на бедного репортера, который хватает вас за пиджак на лестнице, не дает вам сесть в автомобиль, дожидается, когда вы выйдете от издателя, караулит вас у дверей туалетов, вынюхивает, куда вы пошли перекусить, преследует вас в лифте, подкрадывается к вам, как охотник к боровой птице, следует за вами по пятам на улице и мечтает, чтобы вы зашли в парикмахерскую и посидели бы там неподвижно, чтобы можно было вас расспросить! Вы же не думаете, что мы, служители информации, делаем все это ради собственного удовольствия или ради ваших красивых глаз?!

— Так ради чего же?

— Из любви к своему ремеслу. Из-за самой длинной статьи, длиннее, чем у других, с чем-то новеньким о вас. Чтобы показать, что ты не хрен собачий, которого другие умники могут обскакать только потому, что поднялись ни свет ни заря, чтобы тебя не разнес патрон, чтобы не слышать его кусачего голоса: «Все мои люди почему-то смогли заполучить интервью, а вы не принесли ни строчки?! Вы что, идиот? Полная бездарь?»

«Простите, шеф. Мне стало жаль парня, он и так почти не отдыхает, бедняга совсем выбился из сил!»

«Выбился из сил, выжат как лимон, обсосан до хрящика, еле стоит на ногах? Вы пожалели этого человека и его частную жизнь? Вы просто набитый дурак, полный идиот! Он не имеет права ни спать, когда ему захочется, ни есть, ни пить, где и когда ему вздумается. Он прежде всего принадлежит нам, журналистам, чтобы мы в первую очередь могли насытить любопытство нашей публики. Быть героем дня — значит быть полностью в нашем распоряжении, чтобы мы могли представить его таким и подать под любым соусом, какой нам понравится».

Ни одно застолье не обходилось без журналиста или даже нескольких, ни одного застолья без знаменитости. Иногда там происходило такое, что я диву давался. Чего, например, стоила

одна Полин Невеглиз («Франс суар»)! Не успела вернуться из Нумеа¹, как уже примчалась, не заезжая домой, к нам с магнитофоном. Встретились мы в кафе на улице Мазарини. Ну и женщина, какое в ней было изящество, тонкость ума, отточенность мысли и бархатный голос! А ее взгляд, прямой и ясный, излучал такую симпатию, что я совершенно просыпался, словно получив хороший заряд бодрости. И я говорил и говорил, радостно и откровенно. Излить душу, когда тебя понимают, — вот что захватывает и в то же время умиротворяет.

На одном из таких завтраков ко мне подошел некий господин, такой чистый, искренний, довольно худощавый, и, протягивая руку, представился: «Огюст Лебретон». И мы с ним разговорились, да так, что мне потом пришлось бегом бежать к моему издателю, чтобы подписать часть из трех сотен книг, которые он бесплатно рассылал от издательства. Затем я выслушал список лиц, попросивших встречи со мной, и должен был обязательно с ними встретиться, потом поприветствовал всех милых сотрудников издательства «Лаффон», которые работали в течение двух месяцев, чтобы подготовить к выпуску мою книгу.

Я курил, раздавал автографы, говорил, выслушивал вопросы и отвечал, и снова выслушивал, и опять отвечал, даже не вникая, кто спрашивает, когда, в какое время дня и ночи, в кабинете ли, на улице, в кафе, в ресторане, на скамейке ли на площади Пигаль или на скамейке на Елисейских Полях. Меня преследовали молчаливые фотографии — неизменные тени каждого журналиста. Они заставляли меня врасплох за стойкой бара, и я, едва не поперхнувшись, торопясь проглотить свой виски, отвечал:

— О да, вы понимаете, меня подвергли пытке, достойной Средневековья!

— Не может быть! Мы же во Франции!

— Вот именно, во Франции, в стране, где придумали Хартию прав человека, и оттого сам факт становится еще ужаснее!

Устал как собака? Загнан как лошадь? Лишился голоса? Нет, задолбан — вот точное определение, задолбан и духовно, и физически. Бог знает, в каком часу ночи, я падал как подкошенный на маленькую кровать Жана, сына Кастельно, а тот уносил его

¹ *Нумеа* — административный центр французской колонии Новая Каледония. — *Примеч. переводчика.*

спать в гостиную; у меня еще доставало сил снять галстук и ботинки, чтобы тут же провалиться в тяжелый сон.

И среди этой бури, этого урагана, что нес меня как соломинку, в тот момент, когда я должен был смотреть и отвечать налево и направо, вверх и вниз, мужчинам и женщинам, газетам и журналам; когда я обязан был выступать по радио, записывать десятиминутные интервью, которые затем будут передавать в течение десяти или пятнадцати дней подряд, когда у меня уже язык на плече и блуждающий взгляд; когда я почти лишился голоса и носился по аптекам в поисках средства для горла; в тот момент, когда я пытался понять, на каком свете нахожусь, когда спрашивал себя, должен ли я отвечать на все вопросы до конца независимо от ситуации или же могу просто удрать и скрыться, — и вот в этом пламени, которое, словно вырвавшись из вулкана, несло меня вместе с лавой и дымом по волнам международной информации, именно в такой момент я получил письмо о том, что Ненетта, моя Ненетта, еще жива. И я помчался как угорелый в колымаге Жюльена Сарразена, мужа Альбертины, чтобы навестить подругу моей юности в Лимей-Бреванне, где она лежала в больнице.

Я плакал от волнения при виде той, которую оставил целых сорок лет назад и с которой мы ни разу не общались за все эти годы, постаревшей, больной, ставшей ниже ростом в результате несчастного случая, но с прежним огнем в глазах, в общем-то, боевой девчонки. Она тоже плакала. Я вытряхнул из карманов все, что там было, и стремглав бросился к ожидавшей меня своре, пообещав Ненетте на прощание, что еще вернусь и никогда ее не оставлю, и я сдержал свое слово.

И тут же, как это часто бывает, приятный сюрприз сменился неприятностью: меня пригласили в полицейский участок на набережной Орлож, чтобы уведомить о действующем запрете на мое пребывание в Париже. И надо же такому случиться — это оказался тот самый участок при тюрьме Консьержери, куда три года назад Кастельно сопровождал Альбертину Сарразен, поскольку ей тоже было запрещено появляться в Париже, и дело удалось быстро уладить.

В этой охоте с гончими, где мне была отведена роль оленя, случались и короткие передышки. Незабываемый завтрак с Кло-

дом Ланзманом. Поцелуй очаровательной Юдит Магр. Но вот «Радио-Люксембург» увозит меня вместе с Пьером Дюмейе. Потом был вечер в компании великого Даниэля Мерме, коммерческого директора издательства «Лаффон», когда он представил мне свою динамичную команду, сотрудники которой избородили всю Францию. Они были полны решимости: «Летите, Папийон, а мы — за вами!» С такой командой невозможно было не продать хотя бы несколько книжек!

Я приехал в Ком-ла-Виль к своим племянникам. На календаре было восемнадцатое мая. Значит, прошла уже неделя. И все эти дни в газете «Франс суар» появлялись отрывки из моей книги с моим портретом. Таким образом, за столь короткое время вся Франция не только узнала о некоторых приключениях Папийона, но и познакомилась с его физиономией.

Наступило воскресенье. Все развивалось так быстро, грандиозно и неожиданно, что мне потребовалось десять часов сна, чтобы немного взбодриться. Я собирался провести великолепный разгрузочный день с моими племянниками и их двумя дочурками, которые с любопытством взирали на этого дядюшку, о котором так много писали в газетах и чей голос они даже слышали по радио.

— Аперитив, дядюшка?

— Да, пожалуй, я выпью пастис¹. В этом тихом раю, где я проведу целые сутки, он будет весьма кстати. Шутка сказать, завтра все начнется сначала!

— Приготовься к худшему!

— Ты что, с ума сошел?! Хуже уже не может быть!

— Вот увидишь, не то что хуже — будет просто невыносимо.

Дли-и-нь-дли-и-нь-дли-инь! Телефонный звонок меня не встревожил: кто мне мог сюда звонить?! Я сам собирался чуть позже позвонить Рите в Каракас, чтобы сообщить ей, что «бомба» взорвалась, да еще с таким грохотом, о каком мы даже и не мечтали.

— Да, он здесь, — слышался голос Жака. — Передаю трубку. Дядюшка! Это Кастельно по поручению Лаффона.

¹ *Пастис* — анисовая настойка, употребляется повсеместно во Франции как аперитив, при этом обычно разбавляется водой приблизительно в пять-восемь раз. — *Примеч. переводчика.*

— А, спасибо, что позвонил. Да, хорошо, немного прихожу в себя. Прекрасный весенний день, к тому же воскресенье. Надеюсь, ты тоже отдыхаешь?

— Приготовься через три часа выступать по телевидению. Гастон Бонер приглашает тебя принять участие в передаче «Воскресный гость». «Гость» — это он, а ты будешь сопровождать его в числе других знаменитостей. Для тебя это большая честь, и для книги очень важно. Заехать за тобой или ты сам доберешься?

— Сам доберусь.

Я положил трубку.

— Что случилось? — спросил Жак.

— Гастон Бонер пригласил меня поучаствовать в телепередаче «Воскресный гость». Тебе это о чем-нибудь говорит?

— Фантастика, дядюшка, просто невероятно!

— Считаешь, я должен пойти?

— Пулей, дядюшка, пулей!

— Ты будешь выступать по телевизору? — вскричали девушки.

— Да, через несколько часов вы увидите меня на своем экране.

Французское телевидение — государственное учреждение. И я, беглый каторжник, имел возможность выступить на официальном канале, как любой другой гражданин страны. Невежливо, но это так! И это нынешняя Франция! Та самая Франция, которая в тысяча девятьсот тридцать первом году бросила меня в бездонную яму, чтобы я там сгнил, а сегодня хочет знать правду, хочет встретиться со мной лицом к лицу. Поразительно!

Для меня это была сногсшибательная передача. Меня пригласил очень известный французский интеллигент, популярный автор, блестящий и добросердечный человек, вышедший, как и я, из семьи учителей. С необыкновенным радушием он представил меня всей стране:

— Мы оба, сыновья учителей из провинции, приехали когда-то в Париж. Две совершенно разные судьбы. Я, Гастон Бонер, попадаю в круг людей умственного труда и журналистики, где и делаю карьеру. Он, Анри Шарьер, по прозвищу Папийон, задер-

живается в Париже совсем недолго, после чего отправляется на каторгу с приговором пожизненного заключения. Этот бывший каторжник, ставший таким же человеком, как все мы, сейчас расскажет вам кое-что из своей необычной истории.

После моего интервью, блестяще проведенного Жаком Эрто, я со слезами на глазах пожал руку Гастону Бонеру и удалился с площадки.

Уже в бистро за стаканом виски все, кто меня сопровождал, признались, что очень боялись за мой выход: «Для него это непривычно, он оробеет и всякое такое». Нет, скажу откровенно, я чувствовал себя в своей тарелке. Я был убежден, как и они, что успешно выдержал трудный экзамен ради будущего успеха всей этой затеи.

Меня предупреждали, но я и представить себе не мог, какой бурный отклик вызовет состоявшаяся передача. На следующий день, в понедельник, ураган снова подхватил меня с удвоенной силой. Радио, газеты, все без исключения, требовали и публиковали мои интервью, снова требовали, к ним присоединялись журналы, телевидение. «Пари матч», например, осаждал меня со всех сторон. Они не обделяли меня своим вниманием ни днем ни ночью, где бы я ни находился — на площади Пигаль, на площади Бастилии, даже в какой-то начальной школе, где я проводил урок для одиннадцатилетних ребятешек и рассказывал им о свободе. Это вызвало такой взрыв негодования в дирекции телевидения, что сюжет запретили. «Как? Да что он себе позволяет, этот парень?! Беглый каторжник читает лекцию о свободе нашим собственным детям? Они что, с ума все посходили?» В этой шальной и суматошной жизни, когда на сон оставалось от силы часа четыре, бывали и совершенно исключительные моменты. Так, однажды утром я пил чай у Симоны де Бовуар¹. Я был глубоко тронут и взволнован тем, что сижу рядом с ней, что дышу одним воздухом с женщиной столь высокого положения и ума. В ее гостиной, обставленной с тончайшим вкусом, где мельчайшая деталь казалась мне целой поэмой, в непосредственной близости от нее, когда она любезно со мной беседовала и с интере-

¹ *Симона де Бовуар* (1908–1986) — французская писательница, член Французской академии. — *Примеч. переводчика.*

сом и деликатностью задавала вопросы, я вдруг осознал, без долгих раздумий, где нахожусь сейчас, с чем и откуда явился и с кем был раньше. И неожиданно передо мной, прямо на пианино, за изящной статуэткой танцовщицы из богемского фарфора, с присущей галлюцинации четкостью возникла убогая камера тюрьмы-одиночки на острове Сен-Жозеф, охраняемая стражами с садистскими рожами. Потом видение медленно рассеялось, оставив после себя день сегодняшний и этот момент для избранных, когда фарфоровая статуэтка приветствовала меня в этом доме, мило улыбаясь, точь-в-точь как сама Симона де Бовуар, которая говорила мне: «Пройденный путь был долог и тернист. Но вы достигли тихой гавани — это главное. Отдохните спокойно, вы в доме друга». От избытка чувств у меня так сдавило горло, что вместо благодарности я схватил сигарету и глубоко затянулся. Приехал Клод Ланзман, и мы втроем отправились обедать в шикарный ресторан.

И все началось сначала: и «Экспресс», и «Минют», и Иван Одуар с его «Канар аншене», и «Эль», и «Фигаро литерэр», и опять «Европа-1», и еще раз «Радио-Люксембург», и другие средства информации, которых я не помню, ибо я их не видел и больше не увижу. А тайфун все нарастал и нарастал, и я находился в самом его эпицентре, я принадлежал ему, принадлежал другим, я шел туда, куда меня звали, садился там, где мне указывали. Я мог сколько угодно взрываться и говорить гадости, выплескивать все, что накопилось у меня на сердце, — я снова стал узником, но на этот раз узником собственной знаменитой книги.

Я успел телеграфировать Рите: «Все идет чудесно, большой успех, целую». На следующий день получил ответную телеграмму: «Узнала об успехе из прессы Каракаса. Bravo». И я со смехом вспомнил итальянца Марио, повстречавшегося мне в аэропорту. Должно быть, он удивлен больше всех.

Каждый день я просматривал газеты и журналы. «Нувель обсерватер» напечатал материал на семи страницах о моей жаркой встрече с двумя «вольными стрелками». «Эль» выдал чудесную статью Ланзмана. Даже Франсуа Мориак из Французской академии в литературном приложении к газете «Фигаро» написал: «Наш новый собрат — настоящий мастер».

Смеясь, я сказал Кастельно:

— Подумать только! А не запихнут ли они меня часом во Французскую академию?

— Видали там таких, — отвечал он, серьезный, как папа римский.

Это безумие длилось двадцать шесть дней; за двадцать шесть дней никому не известный человек стал знаменитостью, звездой. Его принимали и чествовали в той же стране, в том же Париже и те же люди, которые когда-то осудили его, как и тысячи других, на гибель в Гвиане. Поистине тяжело быть звездой.

Книга продавалась по три, четыре, пять тысяч экземпляров в день.

Я познакомился со многими звездами театра, кино, эстрады. Меня приходил поприветствовать такой человек, как Питер Таусенд, проходивший курс лечения в Американском госпитале в Париже. У своих друзей Армеля и Софи Иссартель я обедал со многими знаменитостями. Художник-миллионер Венсан Ру, друг известного адвоката Поля Ломбара, предоставил в мое распоряжение собственную квартиру, одну из самых шикарных в Париже. Да, все эти высокопоставленные люди оспаривали право принимать меня у себя за столом.

Но все эти почести не затронули глубин моей души. Слишком много повидал я в своей жизни — и плохого, и хорошего, — чтобы забыть о том, что этот блестящий мир так учтив со мной только потому, что я сам теперь стал знаменитым. Но что будет потом, когда с течением времени появится другая знаменитость?

Самыми трогательными, самыми важными для меня остались те мгновения, когда ко мне подходили молоденькая модисточка, обаятельный хиппи, рабочий в пропитанной потом рубашке, чтобы пожать мне руку, сказать «браво!» и попросить поставить автограф на книге или на клочке бумаги.

Шестого июня, измученный, но счастливый, я вернулся в Каракас, оставив в Париже Кастельно и Франсуазу Лебер на последнем издыхании. В аэропорту меня встречало телевидение.

Какой путь от первых шагов свободного человека по этой земле из тюрьмы в Эль-Дорадо!

В Венесуэле у меня состоялась частная беседа с президентом республики Рафаэлем Кальдерой, а также с епископом Каракаса. Все журналисты, за небольшим исключением, превозносили меня в своих статьях. Такие интеллектуалы, как Услар Пьетри, расхваливали мою книгу, особенно Отеро Сильва, знаменитый писатель и владелец одной из крупнейших газет Южной Америки. Отеро Сильва и его жена стали настоящими крестными моей книги, они послали ее Пабло Неруде, и тот удостоил меня поздравлением. Не говоря уже о радио и телевидении, где популярный шоумен Ренни Оттолино представил меня в самых лестных выражениях.

В Каракасе я надеялся прийти в себя и отдохнуть, но куда там! Не прошло и десяти дней, как нагрянули репортеры из Парижа и увлекли меня в организованную «Пари матч» поездку в Гвиану, на острова Солю и в места моих побегов. На Тринидаде я отыскал мистера Боуэна, адвоката, принимавшего у себя беглецов первого побега, в Джорджтауне объявились Пьерро Придурок и седовласый Часовщик, а в тюрьме Эль-Дорадо я снова встретился со своими прежними сотоварищами, освободившимися и снова попавшими туда. Кроме того, там сделали фотографию записи в регистрационном журнале, где указаны мое имя, даты прибытия и убытия.

В начале августа я снова отправился во Францию, и все продолжилось.

Целых восемь месяцев без остановки.

Восемь месяцев, в течение которых я переходил из разряда героя дня в разряд выдающегося писателя, а затем — в опасный разряд звезды.

И за восемь месяцев было продано более восьмисот тысяч экземпляров книги.

А потом начались поездки в страны, где вышел перевод моей книги: Италия, Испания, Германия, Англия, Бельгия, Соединенные Штаты, Греция. И повсюду радио, телевидение, газеты, журналы. И я говорил, говорил. Везде встречал очень радушный прием. Эти дни достойны быть отмеченными золотыми буквами.

А как можно забыть Женеву, где франкоязычное телевидение Швейцарии преподнесло мне сюрприз, пригласив на пере-

дачу в прямом эфире человека, установившего на каторге статую Христа, майора Пеана, который честно сказал, что я описал каторгу не то что правдиво, а, к сожалению, недостаточно правдиво?! Или многочасовой визит в Вене к Чарли Чаплину и вечер, проведенный в обществе его дочери?! А фильм о моей встрече с Жоржем Сименоном, снятый бельгийским телевидением?! Как мне забыть постоянное и неизменное дружеское отношение ко мне такого поэта, как Жак Превер, который не только дарил мне все свои книжки, но и на каждой из них рисовал что-нибудь необыкновенное, чудесное?!

Только в Греции до меня дошло известие об «анти-Папийонах», двух книгах, выпущенных в свет с целью уничтожить меня. Чертовски будоражащая штука — иметь врагов-доброхотов, которым ты ничего плохого не сделал и которых даже не знаешь.

Я допускал опасную откровенность, отвечая в нескольких интервью на вопросы о современном французском правосудии. Так случилось в одной из передач РТЛ¹ — «Вестник неожиданного», которая выходит по субботам в полдень, а ведет ее приглашенная знаменитость, герой дня, прославившийся в той или иной области. В ту субботу главным гостем выпуска был Папийон. Справа от меня — солидный Жан-Пьер Фаркас, слева — Жан Карлье. Что касается злободневной темы, то она тоже была недурно подобрана. С одной стороны, дело молодого преподавателя Габриеля Рюссье, доведенного до самоубийства, с другой — дело коммивояжера Дево, обвиняемого в страшном убийстве.

— Папийон, что вы думаете об этих делах?

Я сразу же почувствовал опасность. Если я не стану отвечать, буду обходить вопросы, то обо мне скажут: «Папийону успех вскружил голову, он слишком много себе позволяет, он забыл, откуда явился. Теперь он даже не желает сотрудничать с журналистами, которые так помогли ему стать известным. Это неблагодарный эгоист». Если же я соглашусь и буду отвечать на каждый вопрос то, что думаю, тогда скажут: «Теперь Папийон — господин Всезнайка, у него на все готов ответ, он дает советы по

¹ РТЛ — радио и телевидение «Люксембург». — *Примеч. переводчица.*

любому вопросу вплоть до кулинарии, более того, этот бывший каторжник считает себя вправе учить нас тому, что мы должны делать и что нет. Так больше продолжаться не может».

Значит, с какой стороны ко мне ни подступятся, придется отвечать напрямик то, что думаю, тем более вряд ли я смогу поступить иначе, когда речь пойдет о том, что меня волнует.

И конечно же, нашлись журналисты, сказавшие себе: «Так больше продолжаться не может. Мы его породили, сделали из него героя, мы же его и уничтожим. Это будет и забавно, и прибыльно. Мы продавали его раньше, сейчас продаем и будем продавать впредь».

Этой передаче РТЛ, посвященной делам Рюссье и Дево, о которой Эдгар Шнейдер писал: «Папийон вогнал в дрожь антенны „Радио-Люксембург“, они до сих пор еще дрожат от негодования», суждено было стать одной из двух капель, переполнивших чашу.

Второй, и последней, стало приглашение меня в качестве «жертвы правосудия» людьми, творящими законы и пекущими о правосудии и о его жертвах. Дело происходило под сводами всеми уважаемого факультета правоведения в Париже. Но чтобы какой-то там каторжник сидел рядом с мэтром Жаном Лемером, председателем коллегии адвокатов Парижа, и высказывал свое мнение, да еще по приглашению таких авторитетов, как профессор Барюк, председатель коллегии адвокатов Брюнуа, профессор Левассер, советник Сакотт и генеральный секретарь международного общества по предупреждению преступности мэтр Стансье, — нет, подобное было недопустимо и невыносимо. Папийону надо было заткнуть рот или, по крайней мере, дискредитировать его.

И тогда фараоны нашли некоего журналиста, «настоящего литературного жандарма», как напишет впоследствии газета «Сюисс», который при покровительстве окружного полицейского комиссара выпустил книгу, направленную против меня.

Бывают в жизни ситуации, совершенно противоположные, находящиеся на разных полюсах, даже слишком противопоставленные друг другу.

Вы знаете, что такое небо?

Вы бывали на небесах, где все с вами любезны, приветливы и превозносят ваши человеческие качества?

Вы бывали на небесах, где музыка, сочиненная исключительно для вас, рассеивается в воздухе и мягко обволакивает вас своей изящной кружевной мелодией?

Вы бывали на небесах, где прелестные ангелы подлетают к вам с листочками бумаги и просят ваш драгоценный автограф?

Вы бывали на небесах, где все, что бы вы ни сказали и ни сделали, удостоивается похвалы?

Вы бывали на небесах, где у вас спрашивают рецепты на все случаи жизни и все их одобряют?

Вы бывали на небесах, где дети людей, обидевших вас, просят у вас за них прощения и осуждают такие поступки?

Вы бывали на небесах, где профессора вас слушают, вместо того чтобы говорить самим?

Вы бывали на небесах, где великие литературные гении принимают вас в своем кругу и рукоплещут вам?

Но, спустившись с этих небес, откуда объедки от пышных застолий падают в сточную канаву, попадали ли вы в эту канаву, где крысы дерутся за выброшенные вами крошки?

Попадали ли вы в эту канаву, подталкиваемые целой сворой завистников, ревнивцев, хищников, червей, живущих в свое удовольствие в зловонной жиже, тучнеющих в ней и размножающихся?

Попадали ли вы в эту канаву, где всякого рода неудачники, оболочки гусениц, из которых выпорхнул мотылек, влачат жалкое существование, подыхая от злобы и ненависти и долгие годы мяса грязь в темноте и забвении?

Вы когда-нибудь падали в эту канаву, увлекаемые, подталкиваемые туда, к этим страдающим бешенством существам, которым только и надо, что впиться зубами в ваше тело, чтобы заразить своей страшной болезнью, потому что они не в силах простить вам ваш успех?

Вам знакомы эти небеса и эти сточные канавы, да или нет?

Вам знакомы эти два Парижа, да или нет?

Быть может, вы не знаете ни того ни другого?

А мне они хорошо знакомы.

Что у меня осталось от всего этого, так это тысячи писем из всех стран, где мои читатели мне кричали:

— Девятка выиграла, Папийон! Хоть раз за всю свою распроклятую жизнь ты сорвал банк! Загребай денежки, старина! Мы рады за тебя.

Я вернулся в Каракас, у которого тоже есть и свои небеса, и свои сточные канавы.

И вот в нашей квартире, той самой, что устояла во время землетрясения, в нашем не слишком популярном квартале Чикаито, на металлическом столе, за которым я написал свою книгу «Мотылек», я люблюсь сокровищами, которые собрал за время этого чудесного приключения.

Только здесь я вскрыл письма — сотни, тысячи писем, побудивших меня написать эту книгу, писем со всего света, писем, в которых раскрываются души и рассказывается самое сокровенное, писем, в которых говорят: «Благодаря вам, благодаря вашей книге я не покончила с собой, я пережила тот час, когда собиралась это сделать, я вновь обрела веру в жизнь, сменила образ жизни, справилась с тем состоянием, которое, как мне казалось, преодолеть невозможно». Это письма, в которых молодые девушки и парни со всего света дают мне понять, что моя книга придала им сил, которых недоставало, чтобы любить жизнь и радоваться ей.

Радоваться жизни, полной приключений, которой я поклоняюсь, в которой ставят на карту все, а проиграв, начинают сначала; той щедрой жизни, которая всегда преподносит что-нибудь новое тем, кто любит рисковать; той жизни, которая потрясает все наше существо до самых потаенных его струн; той жизни, которая трепещет в нас с того самого момента, когда мы начинаем двигаться, с того момента, когда мы прыгаем через окно, чтобы отдаться во власть приключений, а за ними далеко ходить не надо — если очень захотеть, их можно найти даже на собственной лестничной площадке; той жизни, в которой ты никогда не будешь побежденным, ибо, потерпев поражение в одном деле, ты уже задумываешь новое в надежде на этот раз добиться успеха; той жажде жизни, которую никогда не следует утолять до конца; той жизни, в которой независимо от возраста

и при любых обстоятельствах нужно всегда чувствовать себя молодым, чтобы жить, жить, жить совершенно свободным, без всяких преград, способных загнать тебя в рамки или запереть в узком кругу людей.

Вот поэтому, сорвав банк благодаря своей книге, я вовсе не угомонился и не купил себе домишко, чтобы провести там старость, а снял фильм «Попси-Поп», на который много поставил и много проиграл.

Автор, сценарист, актер — все сам. И только ради удовольствия еще раз выиграть или проиграть, испытать острые ощущения. Испытал, но потерпел крах. Банко! Шел ва-банк — и... проиграл.

К счастью, найдутся и другие банки, которые можно будет разыграть. Уверен, что однажды я сорву один из них. Неважно какой. Жизнь так чудесна!

До свидания.



(Мотылек)

Фуэнхирола, август 1971 — Каракас, февраль, 1972

Оглавление

Глава первая. Первые шаги на свободе	7
Глава вторая. Рудник	28
Глава третья. Жожо Ставка	48
Глава четвертая. Прощай, Кальяо!	83
Глава пятая. Каракас	92
Глава шестая. Туннель под банком	104
Глава седьмая. Рыжий и ломбард	119
Глава восьмая. Бомба	138
Глава девятая. Маракайбо. Среди индейцев	157
Глава десятая. Рита. Гостиница «Веракрус»	177
Глава одиннадцатая. Отец	201
Глава двенадцатая. Возобновленные связи. Гражданин Венесуэлы	215
Глава тринадцатая. Двадцать семь лет спустя. Детство	230
Глава четырнадцатая. Ночные бары. Революция	265
Глава пятнадцатая. Креветки и медь	274
Глава шестнадцатая. Телохранилитель. Паблито	283
Глава семнадцатая. Монмартр. Мой судебный процесс	294
Глава восемнадцатая. Израиль. Землетрясение	331
Глава девятнадцатая. Рождение «Мотылька»	343
Глава двадцатая. Господа издатели	358
Глава двадцать первая. Впереди Париж	377
Глава двадцать вторая. Банко!	397

Шарьер А.

Ш 26 Ва-банк : роман / Анри Шарьер ; пер. с фр. И. Стуликова. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2015. — 416 с. — (The Big Book).

ISBN 978-5-389-09997-5

Анри Шарьер по прозвищу Папийон (Мотылек) в двадцать пять лет был обвинен в убийстве и приговорен к пожизненному заключению. Бурная юность, трения с законом, несправедливый суд, каторга, побег... Герой автобиографической книги Анри Шарьера «Мотылек», некогда поразившей миллионы читателей во всем мире, вроде бы больше не способен ничем нас удивить. Ан нет! Открыв «Ва-банк», мы, затаив дыхание, следим за новыми авантюрами неутомимого Папийона. Взрывы, подкопы, любовные радости, побеги, ночная игра в кости с охотниками за бриллиантами в бразильских джунглях, рейсы с контрабандой на спортивном самолете и неотвязная мысль о мести тем, кто на долгие годы отправил его в гибельные места, где **выжить практически невозможно**. Сюжет невероятный, кажется, что события нагромодила компания сбрендивших голливудских сценаристов, но это все правда. Не верите? Пристегните ремни. Поехали!

Впервые на русском языке полная версия книги А. Шарьера «Ва-банк».

УДК 821.133.1
ББК 84(4Фра)-44

АНРИ ШАРЬЕР
ВА-БАНК

Ответственный редактор Галина Соловьева
Редактор Анна Ефремова
Художественный редактор Илья Кучма
Технический редактор Татьяна Тихомирова
Компьютерная верстка Ольги Варламовой
Корректоры Анна Быстрова, Татьяна Бородулина

Главный редактор Александр Жикаренцев

Подписано в печать 10.07.2015. Формат издания 60 × 90 ¹/₁₆.
Печать офсетная. Тираж 10 000 экз. Усл. печ. л. 26. Заказ № 0938/15.

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):

18+

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» –
обладатель товарного знака АЗБУКА®
119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 4

Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
в Санкт-Петербурге
191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12, лит. А

ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»
04073, г. Киев, Московский пр., д. 6 (2-й этаж)

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт».
170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1, комплекс № 3А.
www.pareto-print.ru

ПО ВОПРОСАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

В Москве:

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
Тел.: (495) 933-76-01, факс: (495) 933-76-19
E-mail: sales@atticus-group.ru; info@azbooka-m.ru

В Санкт-Петербурге:

Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
Тел.: (812) 327-04-55, факс: (812) 327-01-60
E-mail: trade@azbooka.spb.ru; atticus@azbooka.spb.ru

В Киеве:

ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»
Тел./факс: (044) 490-99-01. E-mail: sale@machaon.kiev.ua

Информация о новинках и планах, а также условия сотрудничества
на сайтах: www.azbooka.ru, www.atticus-group.ru



YABB1802401R

thebigbook.

Бывают книги просто обреченные на успех. Автобиографический роман Анри Шарьера «Мотылек» стал бестселлером сразу после его опубликования в 1969 году. В первые три года после выхода в свет было напечатано около 10 миллионов экземпляров этой книги. Вниманию читателя предлагается его роман «Ва-банк», где рассказывается о новых приключениях героя.



Анри Шарьер по прозвищу Пашиён (Мотылек) в двадцать пять лет был обвинен в убийстве и приговорен к пожизненному заключению. Бурная юность, трения с законом, несправедливый суд, каторга, побег...

Герой автобиографической книги Анри Шарьера «Мотылек», некогда поразившей миллионы читателей во всем мире, вроде бы больше не способен ничем нас удивить. Аи нет! Открыв «Ва-банк», мы, застав дышание, следим за новыми авантюрами неутомимого Пашиёна. Взрывы, поджоги, любовные радости, побеги, ночная игра в кости с охотниками за бриллиантами в бразильских джунглях, рейсы с контрабандой на спортивном самолете и неотвязная мысль о мести тем, кто на долгие годы отправил его в гибельные места, где выжить практически невозможно. Сюжет невероятный, кажется, что события нагромоздила компания сбрендивших голливудских сценаристов, но это все правда. Не верите? Пристегните ремни. Поехали!

**Впервые на русском языке полная версия
книги Анри Шарьера «Ва-банк»**

ISBN 978-5-389-09997-5

01



9 785389 099975

www.azbooka.ru